

Н О В Ы Й  
М И Р

|| 5 ||

Н О В Ы Й М И Р

|| 1966 ||

5



1966

# НОВОЫЙ МИР

ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ  
И ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

Год издания XLII

№ 5

Май, 1966 г.

---

О Р Г А Н С О Ю З А П И С А Т Е Л Е Й С С С Р

---

## СОДЕРЖАНИЕ

	Стр.
ВАЛЕНТИН КАТАЕВ — Святой колодец	3
В. КОНЮШЕВ — Двенадцать палочек на зеленой траве, повесть	67
ДАВИД КУГУЛЬТИНОВ — Из новых стихов. Перевела с калмыцкого Юлия Нейман	100
ЛЕВ СЛАВИН — Предвестие истины, рассказ	102
А. КУШНЕР — В саду ли, в сыром перелеске... стихотворение	118
ФРАНЦ ФЮМАН — Три рассказа. Перевела с немецкого Э. Львова	119
РОБЕРТО ОБРЕГОН МОРАЛЕС — Два стихотворения. Перевела с испанского Нателла Горская	139

### НА ЗАРУБЕЖНЫЕ ТЕМЫ

ЦЕЦИЛИЯ КИН — Щит и крест	141
---------------------------	-----

### ПУБЛИЦИСТИКА

А. БИРМАН — Продолжение разговора (Мысли после съезда)	187
ЛЕОНИД ИВАНОВ — Лицом к деревне	201

### ДНЕВНИКИ. ВОСПОМИНАНИЯ

ФЕРЕНЦ МЮННИХ — Мате Залка — солдат революции. Перевела с венгерского Елена Тумаркина	222
---	-----

### ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА

Е. ПОЛЯКОВА — Современный путевой очерк	227
---	-----

(См. на обороте)

---

ИЗДАТЕЛЬСТВО  
«ИЗВЕСТИЯ СОВЕТОВ ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ СССР»  
Москва

## СОДЕРЖАНИЕ (продолжение)

	Стр.
<b>КНИЖНОЕ ОБОЗРЕНИЕ</b>	
<i>Литература и искусство</i>	
<b>Е. Старикова.</b> Снова Крош.— <b>И. Виноградов.</b> — В маленьком городе.— <b>Николай Атаров.</b> Твоя родина.— <b>Н. Роскина.</b> Сестра Чехова.— <b>С. Кайдаш.</b> Новое из архивов советских писателей.	243
<i>Политика и наука</i>	
<b>О. Лацис.</b> Открытыми глазами.— <b>Лев Разгон.</b> Современный журнал для семейного чтения.— <b>Мих. Цуц.</b> Подвиги не забываются.— <b>Г. Герасимов.</b> Первые сомнения.— <b>А. Родионов.</b> Демонстрация силы?	263
<b>КОРОТКО О КНИГАХ</b> — <b>В. М. Корочкин.</b> Русские корреспонденты К. Маркса (А. А. Серно-Соловьевич и Н. И. Утин).— <b>П. Лягиль.</b> Энрико Ферми.— <b>Е. Шатров.</b> Подвиг во тьме.— <b>Б. Бантинг.</b> Становление южноафриканского рейха.— 570 вопросов и ответов по советскому законодательству.— <b>Элен и Фрэнк Шрейдер.</b> Ля Тортуга. От Аляски до Огненной Земли.— <b>Георгий Семенов.</b> Распахнутые окна.— <b>Бригантина.</b> Сборник рассказов о путешествиях, поисках, открытиях.— <b>С. Глуховский.</b> Когда выросли крылья.— <b>Мэри Шелли.</b> Франкенштейн, или Современный Прометей.— <b>Н. Снеткова.</b> «Дон Кихот» Сервантеса.— <b>А. В. Чичерин.</b> Идеи и стиль. О природе поэтического слова.— <b>А. О. Богуславский, В. А. Днев.</b> Русская советская драматургия. Основные проблемы развития. 1936—1945.— <b>Л. Бублик.</b> Становление. Из дневника неизвестного строителя.— <b>Александр Перегудов.</b> В те далекие годы.	279
<b>КНИЖНЫЕ НОВИНКИ</b>	287

---

---

ВАЛЕНТИН КАТАЕВ

★

## СВЯТОЙ КОЛОДЕЦ

— Зайте водичкой. Вот так. А теперь спите спокойно. Я вам обещаю райские сны.

— Цветные?

— Какие угодно,— сказала она и вышла из палаты.

После этого начались сны.

Мы сидели под старым деревом на простой, некрашеной, серой от времени скамье где-то позади нашей станции, рядом со Святым колодецем, откуда по железной трубке текла слабая, перекрученная струйка родниковой воды, сбегая потом в очень маленький круглый пруд, на четверть заросший осокой, изысканной, как большинство болотных растений.

Невдалске стояла сосна, совсем не похожая на те мачтовые сосны, которые обычно растут в наших лесах, стесняя друг друга и безмерно вытягиваясь вверх в поисках простора и света, а сосна свободная, одинокая и прекрасная в своей независимости, с толстыми лироподобными развилками, чешуйчато-розовыми, и почти черной хвоей. И во всем этом пейзаже было нечто тонко живописное: в игрушечном прудике, превращавшемся во время короткого, теплого дождика в картинку, кропотливо вышитую бисером, в четырех закрученных облачках, которые ползли по голубым линейкам неба, как белые улитки, на разной высоте и с разной скоростью, но в одном направлении, а в особенности в фигуре старика, пришедшего к Святому источнику мыть свои бутылки.

Старик вынимал бутылки одну за другой из мешка, полоскал в воде и ставил шеренгой для того, чтобы они высохли, прежде чем он пойдет их сдавать в стационарный продовольственный магазин. Здесь были самые разнообразные бутылки — белые и зеленые — из-под вермута, зубровки, портвейна, столичной и московской, кагора, рислинга, «абрау-каберне», «твиши», «мукузани», и многие другие — и среди них лилипутики четвертинок, как маленькие дети среди нищих, — и каждую из них старик тщательно полоскал снаружи и внутри и ставил одну возле другой, причем мы заметили, что, хотя ряд и удлинялся, количество бутылок в мешке не убавилось, как будто бы мешок был волшебный, и это нас немного беспокоило, подобно простому фокусу, который трудно разгадать.

Жена сказала, пожимая плечами, что это вовсе и не мешок, а самая обыкновенная прорва, в смысле прорва времени, попросту говоря — вечность.



Вечность оказалась совсем не страшной и гораздо более доступной пониманию, чем мы предполагали прежде.

Мы заметили над прудом крутой полукруглый мостик, который вместе со своим отражением составлял виньетку заглавного «О», и на этом мостике стоял другой старик — а быть может, и тот же самый. — но только с узкой, чрезвычайно длинной седой бородой и еще более узкими — как тесемки — усами, одетый в шелковый бедный халат; его воронкообразная шапочка по форме и по ярко-оранжевому цвету напоминала перевернутую шляпку известного грибка лисички. Он низко держал в сморщенных старческих руках хрустальную мисочку, в которой плавала глазастая золотая рыбка цвета настурции. Старик предложил нам с церемонной вежливостью купить эту рыбку на обед, но так как он говорил на одном из неизвестных нам диалектов Южного Китая, то мы молча пошли дальше, а старик долго кивал нам вслед своей — в общем-то, еще совсем не старой — головой на тонкой фарфоровой шейке, в то время как появился еще один — третий! — старик, а может быть, все тот же самый — и шел по горизонту, держа на плечах коромысло с двумя мелкими плетеными корзинами, делавшими его похожим на весы.

Слишком большое количество стариков слегка нас встревожило — в особенности встревожил человек-весы, — и мы поспешили покинуть эту прелестную местность, напоминавшую окрестности Куньминя, города вечной весны, и переселиться в другое место, быть может, куда-то в Западную Европу.

Куньминь — город вечной весны.

А старик — заметьте себе! — тем временем все полоскал и полоскал свои бутылки, и в музыкальном бульканье воды мне чудились спорящие голоса.

— Здравствуйте. Как самочувствие?

Я уже был морально подготовлен ко всему и не слишком испугался.

Мне понравилось его почти юношеское лицо, узкое, с темными ласковыми глазами гипнотизера, которые проникновенно смотрели в меня как бы из прорези полумаски. Он осторожно, почти неощутимо, потрогал мои руки на сгибах, где мутно просвечивали голубые узлы вен.

— До завтра, — сказал он.

— Завтра это только другое имя сегодня, — произнес я, повторяя чью-то чужую мысль.

Он или не оценил, или просто не понял моей излишне тонкой шутки, потому что ничего не ответил и как-то совсем незаметно исчез.

Так наступила пора великих превращений, как некогда сказал умирающий Гёте.

«Святой колодец» — название небольшого родничка вблизи станции Переделкино Киевской железной дороги, возле которого я обдумывал эту книгу и размышлял о своей жизни.

Первое время мы совсем не скучали. Мы опять любили друг друга, но теперь эта любовь была как бы отражением в зеркале нашей прежней земной любви. Она была молчалива и бесстрастна. Мы занимали, совершенно своему вкусу, не большой, но и не маленький пряничный домик в два этажа с высокой черепичной крышей и прелестным садиком, полным цветов. Перед ним рос постоянно цветущий конский каштан, который был по крайней мере в пять раз выше дома. Для того чтобы увидеть

все дерево целиком, от земли до кроны, нужно было отойти на сто метров, да и то начинала кружиться голова, а домик тогда казался совсем маленьким, просто игрушечным. Цветы сами по себе напоминали маленькие восковые деревца — елочки, — в известном порядке рассаженные по всей кроне, составленной из больших пяти-, семи- и даже девяти-лапых листьев, как будто бы тщательно нарисованных тонким английским графиком-прерафаэлитом вроде Обри Бердслея. Ствол дерева был почти черный, даже, можно сказать, совсем черный, что еще сильнее подчеркивало восковую розоватость соцветий и полупрозрачную зелень кроны.

Я это все описываю так подробно потому, что теперь у меня совсем исправилось зрение, я давно уже не носил очков и видел все поразительно точно и далеко, как в юности, когда я мог с наблюдательного пункта вести пристрелку без бинокля.

Возле дома, как и подобает в цветных сновидениях, росло также несколько кустов породистой сирени, цветущей поразительно щедро, крупно и красиво. Мы не уставая восхищались оттенками ее кистей: густо-фиолетовыми, почти синими, лилово-розовыми, воздушными и вместе с тем такими грубо материальными, осязаемыми, плотными, что их хотелось взять в руку и подержать, как гроздь винограда или даже, может быть, как кусок какого-то удивительного строительного материала.

Вокруг, за низким сквозным заборчиком, выложенным из чугунно-багрового кирпича — через один, — было также много цветущей жимолости, коротко остриженного боярышника, крушины и еще каких-то красивых декадентских растений вроде араукарий или филодендронов. Посреди ровного газона стояли солнечные часы, которыми, впрочем, никто не интересовался.

Нам никто не мешал. Мы жили в полное свое удовольствие, каждый в соответствии со своими склонностями. Я, например, злоупотребляя своим сверхпенсионным возрастом, старался ничего не делать, а жена с удовольствием готовила мне на электрической плитке легкие, поразительно вкусные завтраки из чудесно разделанных, свежих и разнообразных полуфабрикатов, упакованных в целлофан, — как, например, фрикадельки из райских птиц и синтетические пончики. Мы также ели много полезной зелени — вроде салата латука, артишоков, спаржи, пили черный кофе. Нам уже не надо было придерживаться диеты, но мы избегали тяжелой пищи, которая здесь как-то не доставляла удовольствия. При одной мысли о свином студне или о суточных щах с желтым салом мы теряли сознание. Мы объедались очень крупной, сладкой и всегда свежей клубникой с сахаром и сливками, любили также перед заходом солнца выпить по чашке очень крепкого, почти черного чая с сахаром и каплей молока. От него в комнате распространялся замечательный индийский запах. Я же, кроме того, с удовольствием попивал холодное белое вино, пристрастие к которому теперь совершенно не вредило моему здоровью и нисколько не опьяняло, а просто доставляло удовольствие, за которое потом не нужно было расплачиваться. Мы также охотно ели мягкий сыр, намазывая его на хрустящую корочку хлеба, выпеченного не иначе, как ангелами. Я уже не говорю о том, что рано утром мы завтракали рогаликами со сливочным маслом и джемом в маленьких стеклянных баночках, который напоминал зеленую мазь или же помаду.

Погода была всегда очень хорошая, не утомительная, чаще всего солнечная, теплая и ласковая, и от мокрой земли пахло весной.

Почти каждый день мы садились в небольшую машину и мчались по шоссе мимо странной живописи и графики дорожных знаков, которые,

подобно работам абстракционистов, хотя и не имели ничего общего с живописью, но тем не менее руководили нашим движением, предупреждая и давая понять условным языком своих ломаных линий, зигзагов, крючков, треугольников, разноцветных кружков и полосок обо всем, что подстерегает нас впереди, то есть в самом недалеком будущем. Курбе говорил: «То, чего мы не видим, несуществующее и абстрактное, не относится к области живописи». Это верно, но к какой-то области оно все же относится! Я думаю, к области новой — четвертой — сигнальной системы, которая идет на смену устаревшей. «Только письмо и звук,— говорил Джон Бернал, отказывая цветку в этом праве,— воплощают мысль человека, а теперь счетные устройства и их коды могут материально воплотить человеческую мысль в совершенно новые формы, в какой-то мере заменить язык и даже пойти в своем развитии дальше языка».

Мы мчались мимо реклам, нарисованных светящимися красками, то и дело въезжая в зеленые тоннели вязов, смешивавших над нами свои таинственные кроны.

Сигналы из будущего неслись нам навстречу, предостерегая и предострашая опасности, подстерегавшие нас за каждым поворотом времени.

На поворотах мелькали бело-черно-красные столбики, напоминавшие абстрактное изображение аистов, стоящих вдоль дороги.

У меня уже не болело плечо. Никогда не кружилась голова, не ломило затылок.

Жену тоже ничего не терзало. Мы почти никогда не спали, ни днем, ни ночью, а чаще всего сидели в старомодных креслах перед камином, где тлело громадное бревно, положенное косо. Она вязала. А я старался ничего не делать. Даже не думать. Я только смотрел в окно и собирал различные наблюдения, не имевшие никакой ценности: ни научной, ни художественной, ни философской. Так, например, я заметил, что из одной и той же почвы, почти из одного и того же места растут два совершенно различных растения — одно красивое и ценное, вроде конского каштана, другое некрасивое и дешевое, с плохой древесиной, вроде ольхи. Вообще я очень много наблюдал за материей, принявшей ту или другую форму. Я пришел к выводу, что не только содержание обуславливает форму, а еще что-то другое. Наблюдая за природой, я сделал вывод, что раз все, что мы видим, есть физические тела и как таковые имеют объем — тело дороги, тело кленового листа, многочисленные тельца песка (ибо каждая песчинка есть тело), даже тело тумана,— то и живописи в чистом виде не существует, она всегда лишь более или менее удачная имитация скульптуры.

Итак, пусть лучше вместо живописи будет раскрашенная скульптура, а дороги пусть лучше стоят где-нибудь на опушке леса, накрученные на громадные дощатые катушки вроде тех, на которые наматывают электрический кабель.

Я проводил время бесполезно, так как не стану утверждать, что занятие вопросами формы приносит пользу.

Даже очень красивый закат среди деревьев и колоколен имел не только цвет, но также форму, объем, вес, как будто был отлит из гипса, раскрашенного каким-нибудь посредственным пейзажистом.

Когда-то мы с женой дали слово любить друг друга до гроба и даже за гробом. Это оказалось гораздо проще, чем мы тогда предполагали. Только любовь приняла другую форму.

Я носил поверх свитера потертую, удобную куртку. И прочные башмаки. Жена одевалась, как и прежде, тоже во что-то шерстяное, серенькое, и в ее ушах ярко блестели различными цветами — от фиолетового до зеленого — очень маленькие бриллиантовые сережки, еще не превратившиеся в чистый уголь. Часто мы совершали прогулки пешком, и тогда она надевала короткое кожаное пальто и красные перчатки.

Однажды на пешеходной дорожке мы встретили Джульетту Мазину с коротеньким зонтиком под мышкой и поздоровались с ней. Она нас не узнала, но улыбнулась приветливо. В другой раз мы увидели старичка в соломенной шляпе, который уступил нам дорогу и долго потом смотрел нам вслед через старомодное, какое-то чеховское пенсне, глазами, полными слез. Но лишь после того, как он скрылся из глаз, я понял, что это был мой отец.

Некоторое время мы смотрели на старую водяную мельницу с оставшимся колесом, по зеленой бороде которого скупо сочилась вода. Перед мельницей стояли старые голостовые ветлы, похожие на богатырские палицы, из которых во все стороны торчали голые прутья, и все это напоминало мучения святого Себастьяна, утыканного стрелами. Особенно восхищались мы цветом листьев далеких рощ — туманно-синей, волнистой, с большими купама отдельных деревьев — вероятно, буков. — мягко округлых, как раскрашенные облака. Ячменные поля колосились, и был отчетливо — как в бинокль — виден каждый отдельный колос, тяжелый, граненый, скульптурный, хорошо раскрашенный; ярко-желтые полотнища сурепки лежали на полях, давая представление о малейшей складке местности. На горизонте как бы прямо из-под земли росла готическая колокольня с прямым крестом, на вершине которого можно было простым глазом разглядеть железного петушка.

Но особенно скульптурным делался пейзаж, когда вдалеке появлялось ярко-алое пятно, резко, светящееся, постепенно вырастая и превращаясь в объемное тело молодой молочницы, едущей на своем белом мотороллере с серебряными бидонами за спиной. У нее была высокая прическа соломенного цвета, так удачно сочетавшаяся с ярко-алым платьем, говорившим без слов, что девушке ровно девятнадцать лет, потому что я давно уже заметил, что восемнадцатилетние блондинки чаще всего носят синее, а двадцатилетние — черное, с золотым пояском. У нее в руке был длинный початок молодой кукурузы, который она грызла; издали можно было подумать, что она играет на флейте.

Когда мы проходили мимо ферм, откуда густо пахло навозом и парным молоком, и мимо маленьких городков с ночными бильярдными, шоссе превращалось как бы в главную улицу, по которой бегали дети, гуляли, обнявшись, влюбленные и целые благовоспитанные семьи шли в полном составе в гости к бабушке и дедушке, неся в руках нарциссы, завернутые в папиросную бумагу, в то время как в церкви позванивали тонкие воскресные колокола и в пролете каменной готической двери, всегда напоминавшей мне след раскаленного утюга, пылали золотые костры восковых свечей. Мы раскланивались со всеми, и все любезными улыбками отвечали нам, хотя никто нас не узнавал. Все это было очень мило, но безмерно тоскливо.

— Ты знаешь, я ужасно соскучилась по нашей внучке, — вдруг сказала жена.

Я удивился, так как привык к мысли, что со всем этим давно уже покончено. Сам я никогда ни о чем не вспоминал. Я всем простил и все забыл. Слова жены грубо вернули меня к прошлому. В моем воображении появились маленькие детские ручки, крепенькие и по-цыгански



смуглые, с грязными ноготками. Они протянулись ко мне, и тотчас же я почувствовал страстное желание увидеть внучку, втащить к себе на колени, тискать, качать, шекотать, нюхать детское тельце, целовать маленькие, пылливо-разбойничьи воробьиные глазки, только что ставшие познавать мир. Я вспомнил, что ее зовут Валентиночка. Не составляло никакого труда ее увидеть. Я уже стал ее видеть, но были сложности. Нянька. Не могла же Валентиночка появиться здесь одна, без няньки. Должна была бы появиться и нянька.

— Понимаешь ли,— сказал я,— допустим, появится нянька. Это еще куда ни шло. Но нельзя же разлучить девочку с родной матерью.

— Тем более что это ведь как-никак наша родная дочь,— заметила жена с упреком.— Неужели ты забыл наших детей? Ведь у нас были дети.— Она заплакала.— Ты помнишь? Были прелестные дети. Девочка и мальчик.

Я улыбнулся.

— Конечно, конечно. Перестань плакать. Двое отличных ребят. Я даже помню, как я их называл в шутку. Шакал и Гиена. Это было не похоже, но забавно.

— Я их очень люблю,— сказала жена, все еще продолжая просветленно плакать.— Я их люблю больше всего на свете.

— Даже больше Валентиночки? — лукаво спросил я.

— Ну, разумеется!

— А ведь существует мнение, что бабушки любят своих внучат гораздо сильнее собственных детей.

— Чепуха! Никого, никого, никого не любила я так сильно, как своих детей.

— Шакала и Гиену,— сказал я.— Но разве ты меня любила меньше?

— Тебя я никогда не любила.

Она решительно вытерла глаза душистым платочком.

— А их безумно любила. Моих дорогих Шакала и Гиену. Ты помнишь? — спросила она.

И я понял: она имела в виду один день, видение которого вечно и неподвижно стояло передо мной и не переставало тревожить мое воображение своими резкими красками, своим темным рисунком, хотя и несколько траурным, но все же ярко освещенным серебряным солнцем.

Трудно сказать, в какое время года это было. Да и было ли это на самом деле? И если было, то в каком измерении? Такие слишком резкие тени, такие слишком яркие краски могли быть и весной, и в разгар осени, но, судя по той жажде, которая тогда мучила всех нас, судя по зною и пыли, вероятно, это было лето, самый зенит июля со всеми его городскими запахами бензина, ремонта, жидкого асфальта, известки, плохой масляной краски, сваренной на ужасной искусственной олифе, которая могла отравить человека, свести его с ума своим острым чадом. Да, теперь припоминаю: это действительно было лето и мы блуждали в раскаленной «эмке» вокруг колхозного рынка у Киевского вокзала, то и дело попадая в какие-то ямы, в строительные тупики, подпрыгивая на выбоинах мостовой, буксуя в песке или же отпечатывая свои шины в только что положенном, еще дымящемся асфальте. Всюду висели выгоревшие кумачовые полотнища с белыми буквами, и по фасадам домов тянулись электрические лампочки слабого накала, которые, вероятно, забыли погасить, и это придавало знойному дню еще больше блеска, способного довести до отчаяния.

Каждый миг нам приходилось останавливаться, ехать задом, выскакивать на тротуар, разворачиваться, каждый миг мы попадали в новую

безвыходную ситуацию, но непременно в поле нашего зрения была какая-нибудь гипсовая статуя или же бюст Сталина — в окне булочной, — задрапированном красным кумачом, добела выгоревшим на адском солнце, силы которого не выдерживали даже гирлянды сушек и баранок, развешанных над бюстом, как странные окаменелости.

Заднее окошко было завалено авоськами с вялой зеленью, с помидорами и синими сморщенными баклажанами, так что теперь я с уверенностью мог бы сказать, что это происходило в конце лета, и мы уже побывали на Киевском колхозном рынке и теперь колесили, отыскивая заправочную станцию, а вокруг толпились старые-престарые избушки дореволюционного Дорогомилова и новые многоэтажные дома, еще не оштукатуренные, но уже изрядно обветшавшие, с захламленными балконами, с приплюснутыми крышами, с дорическими, ионическими, коринфскими колоннами, лишавшими света и без того крошечные окошки, с египетскими обелисками по сторонам крыши и ложноклассическими изваяниями — порождение какого-то противоестественного ампира, от которого можно было угореть, как от запаха искусственной олифы.

Жена, полумертвая от жары, сидела сзади, заваленная покупками, я помещался рядом с шофером, а дети — Шакал и Гиена — помещались позади, положив лапы и подбородки на спинку моего сиденья, покрытого выгоревшим чехлом. Им тогда было — девочке одиннадцать, а мальчику девять, и я их в шутку называл Шакал и Гиена. На самом же деле они бывали шакалом и гиеной в самых редких случаях, когда крупно скандалили или сводили друг с другом личные счеты. А в основном мы ничего не могли о них сказать плохого.

Превосходные дети, их так теперь нам не хватало!..

Тогда девочка недавно болела тифом, и волосы на ее голове еще не вполне отросли и портили ее славненькое, в общем, личико, у мальчика же на лбу росла коротенькая челка школьника младшего возраста, и он уже заметно вырос из своей детской курточки. Девочка мрачно смотрела вперед, обуреваемая какими-то скрытыми чувствами неудовлетворенности, а мальчик еще все вокруг воспринимал с жадным, даже несколько восторженным любопытством, и в его небольших подслеповатых глазках мир отражался в идеально-улучшенном, зеркально-миниатюрном воспроизведении. Девочка еще не достигла возраста Джульетты, но уже переросла Бекки Тэчер, была неинтересно одета, много, самозабвенно читала, размышляла о жизни и уже — по нашим сведениям — раза два или три бегала на свиданья, и ее душонка мучительно переживала какие-то не совсем ясные для меня бури. Она была дьявольски упряма и начисто отвергала действительность, что становилось вполне понятным, стоило лишь посмотреть на ее веснушчатый, поднятый вверх носик и сжатые губы, в одном месте запачканные школьными лиловыми чернилами. Мальчик достиг возраста, когда уже перестают мучить котят и в громадном количестве истребляют писчую бумагу, покрывая ее сначала изображениями воздушных боев, горящих самолетов с неумелой свастикой на крыльях, танков, из пушек которых вылетают довольно точно воспроизведенные снаряды, затем однообразными повторениями одного и того же знакомого лица в профиль с черными усами, удлинненными глазами гипнотизера; и наконец чудовищными, ни на что не похожими клубками, каляками, молниями и пеплом атомного взрыва с разноцветной надписью «керосимо». Он был от всего в восторге. Мир казался ему прекрасным и полным приятных сюрпризов. Он жадно всматривался вперед, все мотал на ус и лишь ожидал подходящего случая, чтобы чем-нибудь восхититься.

— Смотрите! — вдруг закричал он в восторге. — Продают квас! Вот здорово!

Действительно, далеко в перспективе улицы можно было разглядеть желтую цистерну с квасом, окруженную толпой.

Девочка посмотрела и презрительно пожала плечами.

— Вовсе не квас, а керосин, — сказала она.

— Квас, квас! — радостно и доброжелательно воскликнул мальчик.

— Керосин, — сказала девочка тоном, не допускающим возражений.

Это мог быть, конечно, и керосин, который развозили в подобных же цистернах, но в данном случае это был действительно квас.

— Квас. Я вижу, — сказал мальчик.

— Керосин, — ответила девочка.

— Квас.

— А вот керосин.

Они уже готовы были превратиться в гиену и шакала, но в это время машина приблизилась, и мы увидели цистерну, вокруг которой стояли граждане с большими стеклянными кружками в руках.

— Я говорил — квас, — с удовлетворением сказал мальчик.

— Не квас, а керосин, — сквозь зубы процедила девочка, ее глаза зловеще сузились и губы побелели.

Машина остановилась.

— Ты помнишь этот ужасный день? — спросила жена. — Ты помнишь эту кошмарную желтую бочку?

На ней было написано золотыми славянскими буквами слово «Квас».

Красавица в относительно белом халате, в кокошнике — царевна Несмеяна, — с засученными рукавами, то и дело вытирая со лба пот специальной ветошкой, полоскала толстые литые литровые и поллитровые кружки и подставляла их под кран, откуда била пенистая рыжая струя.

— Я же говорил, что квас, — с великодушной, примирительной улыбкой сказал мальчик.

— Керосин, — отрезала девочка и отвернулась.

Рядом с машиной стоял высокий гражданин в широких штанах, бледно-голубых сандалиях, в добротной черно-синей велюровой шляпе чехословацкого импорта, которая высоко и прочно стояла на голове, опираясь на толстые уши. Гражданин жадно пил из литровой кружки боярский напиток. Зрелище было настолько упоительное, что Шакал и Гиена засуетились, вылезли из машины, стали вынимать из карманов деньги, примкнули к очереди, выпили по полной литровой кружке, отчего их животы надулись, затем возвратились на свое место и положили липкие лапы и подбородки на спинку переднего сиденья, и мы поехали дальше, любуясь железными конструкциями строящегося университета, который виднелся с Поклонной горы, где недалеко притулилась знаменитая кутузовская избушка.

— Ну? — спросил мальчик с торжеством. — Кто был прав?

— Все равно керосин, — ответила девочка и высокомерно вздернула подбородок, на котором блестели капли кваса.

Мы тогда едва выдержали эту духоту, эту страшную, неопишемую жару, как бы прилетевшую откуда-то из Хиросимы. Даже показалось, что на нас начинает обугливать одежда. А теперь мы вспоминали об этом просто с грустью.

— Все равно я тебя никогда не любила,— повторила она, опять заплакала и сквозь слезы первая увидела Валентиночку, появившуюся с удивленной нянькой.

А Валентиночка, не обратив на нас ни малейшего внимания, тотчас же побежала по каменной дорожке, сложенной из разноугольных плит, между которыми зеленела молодая травка, в садик, залезла в сарай, где у нас в большом порядке хранились садовые инструменты, и вытащила оттуда старые громадные деревянные башмаки садовника, которые тут же стала мерить. Потом она села на трехколесный велосипед и поехала.

Затем появился наш сын, аспирант, «шакал»: в старых, очень узких блуджинсах, в очках, в вельветовой куртке и в сильно поношенных кедах, свидетельствовавших о его принадлежности к новой генерации сердитых молодых людей.

«Боже мой,— подумал я,— неужели он и здесь раскидает все эти вещи в своей комнате по полу, а кеды просто-напросто поставит на письменный стол, заваленный окурками?» И все же у меня рванулась и задрожала душа от любви к этому долговязому и страшно худому молодому человеку, нашему сыну, которого мы когда-то вместе с женой купали в ванночке: я держал его — теплого и скользкого — на руке, а жена поливала из кувшина, и мы оба, смеясь от счастья, приговаривали:

— С гуся вода, с гуся вода, с мальчика худоба!

Он был у нас тогда действительно пухленький. Теперь, видимо, наступило время худобы.

— Здрорво, родители,— сказал он, вытянув шею, и потерся о мою щеку лицом не вполне взрослого мужчины, который бреется еще не каждый день.— Как существуете?

— Удовлетворительно,— ответил я, чувствуя к нему такую любовь, что от нее кружилась голова — как раньше, когда я еще в таких случаях принимал спазмальгин.

Появилась дочь, переводчица, так называемая «гиена», в высокой прическе, каштановая, весело оживленная, хорошенькая, с наркотическим блеском узких глаз.

— Здравствуй, пулечка, и здравствуй, мулечка,— сказала она отчетливым дискантом, по очереди целуясь с нами с видом вполне послушной, добродетельной молодой женщины.

Я всегда с удовольствием целовал ее мягкие, теплые щеки и шейку и любил погружать пальцы в шапку ее густых, вьющихся каштановых волос, взбитых по моде того времени. Потом она как ни в чем не бывало легла на диван, вытянула скрещенные стройные ноги в нейлоновых чулках и легких туфельках и стала читать — время от времени заглядывая в словарь — книгу, захваченную с собой, причем я заметил, что несколько страниц с уголков обуглились. Это был какой-то новый советский роман неизвестного мне автора, который она должна была срочно перевести на английский.

Явился также Олег в штатском, но прежде, чем он появился в комнате, я услышал его голос. Он разговаривал в саду со своей дочкой — моей внучкой. Он взял ее на руки, а она отталкивала его растопыренной пятерней, извиваясь, как угорь, и дрыгая ногами, так как он помешал ей лезть на ограду, вдоль которой стояли на коротких ножках деревца шпалерных груш, тянувших низко над землей ветки, имевшие форму семисвечников. Я натянул свитер, вышел из дома и стал отнимать у Олега девочку. Он завладел ее голыми ножками, а я ручонками, и мы оба тянули ее в разные стороны, как хлопушку с бумажным кружевцем,



а потом раскачивали ее, как гамак, и весело смеялись, а она лягалась, и ее воробьиные разбойничьи глазки сверкали радостью сопротивления. Боже мой, как я любил эту капризную девчонку со смуглым, точно слегка закоптевшим тельцем и каштановыми, как у матери, волосами, мою дорогую, обожаемую дочкину дочку. Ее ноги были в старых и новых садинах.

Прошел теплый дождик, такой легкий и непродолжительный, что мы его даже не заметили. В семь часов мы, как всегда, сели за стол. Я уже — как известно — мог есть все, что угодно, но по привычке ограничивался лишь гречневой кашей, творогом и кружкой кефира.

Сын, разумеется, уже исчез — испарился! — и мы ужинали без него. Я пошел наверх к нему в комнату и, убедившись, что носки, трусы, подтяжки, штаны и все прочее разбросано по полу, а кеды стоят на письменном столе, понял, что все идет правильно: он успел переодеться для вечерних походов. Когда после еды я вышел в садик, то увидел его уже за оградой. Он ехал на мотороллере, а сзади, обняв его голыми руками, грациозно, по-дамски сидела молодая молочница в красном платье, и они промчались по шоссе вдаль, где вместо предметов уже светились их неоновые контуры и плоская овальная крыша заправочной станции с горящей надписью «ESSO» светилась, как прозрачная плита искусственного льда. По шоссе проносились длинные машины, унося на своем лаке светящиеся отражения ночного неона.

Название: после смерти.

— Тебе не кажется, что в нашем доме стало довольно беспокойно? — спросил я жену вечером.

— Можно подумать, что тебе это не нравится.

— Нет, мне это нравится...

— Так что же?

— Ничего.

— Но все-таки?

— Знаешь, мне кажется, что они занесли сюда возбудителей каких-то никому не нужных воспоминаний, тягостных ассоциаций, может быть даже старых снов. Нет ничего ужаснее старых снов, которые уже когда-то снились. Я боюсь, что мне опять может присниться говорящий кот или что-нибудь еще похуже.

Предчувствие меня не обмануло. Зараза уже проникла в мою кровь, в мой мозг, и этой ночью мне долго и сладко снился Осип Мандельштам, бегущий в дожде по Тверскому бульвару при свете лампионов, мимо мокрого чугунного Пушкина со шляпой за спиной, вслед за экипажем, в котором я и Олеша увозили Надюшу. Надюша — это жена Мандельштама. Надежда Яковлевна. Мы увозили ее на Маросейку угол Покровского бульвара, в пивную, где на первом этаже, примерно под кинематографом «Волшебные грезы», выступали цыгане. У нас это называлось: «Поедем экутэ ле богемьен». Мы держали Надюшу с обеих сторон за руки, чтобы она не выскочила сдуру из экипажа, а она, смеясь, вырывалась, кудахтала и кричала в ночь:

— Ося, меня умыкают!

Мандельштам бежал за экипажем, детским, капризным голосом шепелявил несколько в нос:

— Надюса. Надюса... Подождите! Возьмите и меня. Я тоже хочу экутэ.

Но он нас так и не догнал, а мы, вместо того чтобы ехать на Маросейку угол Покровского бульвара, почему-то поехали в грузинский ресторан, который тогда помещался не там, где сейчас находится «Арагви», и даже не там, где до «Арагви» помещалась «Алазань», а — вообразите себе! — в том доме на бывшей Большой Дмитровке, а теперь Пушкинской, где сейчас находится служебный ход Центрального детского театра, что может показаться совершенно невероятным, но тем не менее это исторический факт, и содержало эту шашлычную частное лицо, так как был разгар нэпа. Но это, в сущности, не важно, а важно то, что шел дождь и мы-таки втащили Надюшу за руки на второй этаж в отдельный кабинет — удивительно скучную и плохо освещенную комнату, никак не обставленную и похожую скорее на приемную в собачьей лечебнице. Сюда нам принесли бутылку «телиани», а как только его принесли, тотчас появился мокрый и возбужденный Мандельштам, прибежавший по нашему следу, и он сейчас же начал с завыванием, шепеляво и очень внушительно — «как Батюшков Дельвигу!» — читать новые стихи, нечто вроде:

Я буду метаться по табору улицы темной,  
За веткой черемухи в черной рессорной карете,  
За капором снега, за вечным за мельничным шумом.

И так далее — можно проверить и восстановить по книжке Мандельштама, если ее удастся достать, — мне именно так приснилось: «если ее удастся достать», а Мандельштам моего старого сновидения тем временем сел пить «телиани», вспомнил гористую страну и, шепеляво завывая, стал вкрадчиво и вместе с тем высокомерно, даже сатанински-гордо декламировать о некоей ковровой столице, раскинувшейся над шумящей горной речкой, и о некоем духанчике, где «вино и милый плов».

И духанщик там румяный  
Подает гостям стаканы  
И служить тебе готов.  
Кახетинское густое  
Хорошо в подвале пить,—  
Там в прохладе, там в покое  
Пейте вдоволь, пейте вдвое,  
Одному не надс пить.

Его мольбы не имели никакого практического смысла, так как мы пили вчетвером и само собой подразумевалось, что одному не надо пить. Одному надо было только платить! Затем пошли очаровательные трюизмы:

Человек бывает старым,  
А барашек молодым,  
И под месяцем поджарым  
С розоватым винным паром  
Полетит шашлычный дым.

Собственно говоря, все это мне вовсе не снилось, а было на самом деле, но так мучительно давно, что теперь предстало передо мной в форме давнего, время от времени повторяющегося сновидения, которое увлекло меня вместе с розоватым винным паром (и, разумеется, под месяцем поджарым) в ту самую легендарную ковровую столицу, любимую провинцию тетрарха. И то, что раньше не было вполне сном, а скорее воспоминанием, теперь уже превратилось в подлинный сон, удивительный

своим сходством с действительностью: например, снег был совсем настоящим, и громадные хлопья падали величаво-медлительно, садясь на вечно-зеленую листву магнолий. Весь город был облеплен теплым южным снегом. Прохожие с непривычки скользили и падали, как пингвины, автомобили с ужасающим визгом тормозов делали юзы, крутились на месте, даже ехали в обратную сторону, в городе было смятение, снегопад не прекращался, знаменитая гора тонула в мыльной воде зимнего воздуха, снег, как стая чибисов, кружился над монументом Шота Руставели, и сочные отпечатки новых резиновых галош по всем направлениям пятали белые тротуары центрального проспекта, где в окнах воспаленно желтели пирамиды японской рябины — единственного плода этой небывалой зимы, так как все цитрусы с божьей помощью вымерзли, а местное правительство уже разрабатывало далеко идущие планы открития для всех трудящихся нарядных катков и лыжных станций.

Симпатичные молодые милиционеры с черными усиками и бархатными глазами, стоя на перекрестках, регулировали беспорядочное падение снежинок, громадных, как куски ваты. Они поеживались в своих шинельках с иголки и в мягких сапожках без каблучков.

Мы были крайне подавлены столь странной зимой недалеко от субтропиков...

Хотелось спать.

Но кто бы мог поручиться, что я уже не сплю? Не сплю давно?

Нет ничего ужаснее смертной скуки, которая медленно, неотвратимо медленно начинается во сне и безысходно длится потом целую вечность.

Что же все это значит, господи-боже? Можно было сойти с ума от невозможности постичь душу этого города. Но в этот миг в метели появилась незнакомая и в то же время мучительно знакомая фигура знаменитого поэта Ромео Джероламо: заурядная среднерусская шуба, богатырская фигура, царственно мерцающая снежинками пыжиковая шапка, прекрасное скульптурное лицо пожилого римского legionera и хрипло гортанный, с могучим придыханием голос хорошо пообедавшего человека.

— Не удивляйтесь, друзья мои,— сказал он с радушной улыбкой восточного гостеприимства,— и, пожалуйста, умоляю вас, не ищите здесь какой-нибудь мистики, а тем более сказочных мотивов тысячи и одной ночи. Все это объясняется гораздо проще: они просто не понимают порусски.

Но вы, конечно, заметили, что я все время говорю во множественном числе «мы». Надо объясниться. Мы — это я и еще один, скажем, — человек. Вернее — фантом, мой странный спутник, который приехал со мной в этот край, и теперь неотступно, как тень, сопровождал меня на полшага позади противостественный гибрид человеко-дятла с костяным носом, клоунскими глазами, грузная скотина — в смысле животное, — шутник, подхалим, блатмейстер, доносчик, лизоблюд и стяжатель-хапуга, — чудовищное порождение того отдаленного времени.

А ведь я помнил его еще худым нищим юношей с крошечной искоркой в груди. Боже мой, как чудовищно разъелся он на чужих

объедках, в какую хитрющую, громадную, сытую, бездарную скотину он превратился. Увидел бы его Николай Васильевич Гоголь, то не «Портрет» бы он написал, а нечто в миллионы раз более страшное...

Старик у Святого колодца мыл бутылки, а он — мой тягостный спутник — тем временем всюду шнырял, вынюхивая, где бы поживиться, где бы хапнуть кусок и потом с ужимками отнести его в свою вонючую нору и закопать, как собака закапывает куриную ногу, — где-нибудь в уголке, под шведским или финским диваном или под каким-нибудь пуфиком, раздобытым путем унижений, по блату.

Он был моим многократно повторяющимся кошмаром, прелюдией к еще более страшному сновидению о говорящем коте.

Он непрерывно присутствовал рядом со мной, прислушиваясь к моему дыханию, он быстро считал мой пульс; он повсюду шлялся за мной по улицам и по крутым горным тропинкам моих сновидений; время от времени он наклонял ко мне свое костяное птичье рыло с отверстиями ноздрей и тревожно заглядывал в мою душу своими тухлыми глазами, как бы спрашивая: ты не знаешь, где бы чего хапнуть на даровшинку? Или рвануть у наивного начальства подачку?

— Ага, ага, — вершал он, — ты теперь сообразил? Они не понимают по-русски. Этим надо воспользоваться, не упустить случая. Ведь верно? А? Ты со мной согласен?

Я умирал от неслыханной, смертельной тоски в этом прелестном полуденном краю, заваленном полудночным снегом.

Знаменитый поэт размашисто раскланялся с прохожим, причем с его величественной пыжиковой шапки с царственной щедростью посыпались снежинки.

— Кто этот гражданин? — тревожно спросил мой тягостный спутник. — А? Вы мне не скажете, кто это? — Он жарко дышал в лицо знаменитого поэта и просительно заглядывал ему в глаза. — Это руководящий работник, не правда ли? Или, может быть, даже член центральной комиссии? Почему же вы нас не познакомили? Остановите его! Познакомьте! Умоляю вас! Пока еще не поздно. Я поцелую ему ягодицы, я полизу их.

— О, не волнуйтесь, — сказал поэт. — Этот человек не заслуживает такой чести, тем более что сейчас довольно-таки холодно. Этот человек всего лишь дегустатор винтреста.

— Ты слышишь! — простонал мой тягостный спутник. — Винтреста! Вдумайся! Его ни под каким видом нельзя выпустить из рук. Иначе мы будем последними идиотами. Верно? Ты со мной согласен?

— Если вам так угодно с ним познакомиться... — галантно сказал поэт и сделал повелительный знак, после чего дегустатор остановился как вкопанный перед солнцем поэзии, и не прошло и часа, как мы уже были самыми лучшими друзьями и сидели у дегустатора в гостиной за столом под громадным оранжевым абажуром и мой тягостный спутник, стоя от волнения на хвосте, тыкался носом в корректные усы дегустатора, и его круглые глаза, подернутые нагло-томной пленкой, как бы непрерывно гипнотизируя, твердили: дай по блату вина, дай по блату вина, дай что-нибудь, дай, дай, дай!



— Вот увидишь, он даст! — обращался ко мне тягостный спутник и снова припадал к усам дегустатора. — Даст бесплатно, могу поручиться! — шептал он мне. — Два ящика знаменитого вина «мцване».

Как труп в пустыне я лежал.

А тем временем собирались гости, и мало-помалу разгорелся восточный пир с легким европейским оттенком, который сообщил ему молодой элегантный тамада с двумя или тремя университетскими значками. Он не слишком пытал нас традиционными тостами и не слишком настойчиво заставлял осушать окованные серебром турьи рога, так что мы помаленьку надрались без посторонней помощи. А время текло, и пир все продолжался и продолжался, не иссякая. Наши хозяева, и тамада, и все гости, страстные болельщики за местную футбольную команду «Динамо», и дамы — свежие, как только что распутившиеся бутоны ширазских роз или же крепкие влажные овощи, сорванные на заре в огороде, ни в одном глазу, — красивые, румяные, черноволосые, кудрявые, с алебастровыми бюстами, ни дать ни взять ангелы, написанные кистью Пиросманишвили.

Бутылки сменялись на столе среди зелени, фруктов и овечьего сыра каждые пятнадцать минут, как почетный караул, ночь тянулась без исхода, и я всем своим существом чувствовал приближение чего-то страшного. Можно было подумать, что всему этому — как в аду — никогда не будет конца. Однако это оказался не ад, а всего лишь чистище.

В четыре часа сорок две минуты пополуночи пир начал иссякать, речи сделались сначала аритмичными, а потом совсем перестали прощупываться, сопротивляемость упала до нуля, еще немного — и должна была наступить клиническая смерть, но, по-видимому, распорядитель пира не считал, что веселью пришел конец, и он, как опытный тамада, всегда имел под рукой верное средство для того, чтобы вдохнуть жизнь в замирающее застолье.

— Прощу вашего внимания, — сказал он совершенно свежим, утренним голосом. — Дамы и господа. Сейчас перед вами предстанет кот. На первый взгляд обыкновенное домашнее животное. Кот Васька. Но не делайте поспешных выводов. Иди сюда, генацвале! Кис-кис-кис!

Двери бесшумно, сами собой, как в американском театре ужасов, распахнулись, и в комнату обреченной походкой вошел громадный светло-серый кот, вышколенное домашнее животное с прищуренными глазами, в глубине которых мерцала вечность, и хвостом, поднятым вверх, как мягкий столб дыма, колеблемый гемным ночным воздухом этой таинственной горной страны.

Кот — младший брат тигра — обошел, как гладиатор, вокруг пиршественного стола и остановился возле хозяина, словно желая воскликнуть: «Ave, caesar, morituri te salutant!»

— Но, товарищи! — горжественно произнес хозяин, поднимая вверх безымянный палец с бледным обручальным кольцом. — Но, товарищи! Это далеко не простой кот. Это говорящий кот. Он умеет разговаривать.

— Не может быть!

— Но тем не менее — факт. Эврипид, иди сюда! Кис-кис-кис!

Кот еще крепче зажмурился и покорно прыгнул на колени своего хозяина.

— Так. Теперь сиди.

Кот сел, как человек. положил большую детскую голову на край стола и посмотрел вокруг прелестными серо-зелеными глазами капризной девочки. Хозяин почесал его за ухом, и кот стал мурлыкать с таким видом, будто боялся шекотки.

— Внимание,— провозгласил тамада,— попрошу наполнить ваши бокалы.

— Сейчас он будет разговаривать,— сказал хозяин.— Вам это кажется невероятным? В таком случае прошу убедиться. Эврипид, друг мой, скажи им «мама».

Кот весь сжался и болезненно зажмурился. Хозяин обхватил его голову двумя руками, соединив сверху большие пальцы, а указательные сноровисто сунул коту в рот и растянул его, отчего на детском лице кота появилась напряженная, нескрепящая улыбка.

— Говори! — повелительно молвил хозяин.

Кот сделал судорожное глотательное движение горлом, разинул свою небольшую розовую треугольную пасть с мелкими зубками и вдруг напряженным, механическим голосом, но совершенно отчетливо произнес, как человек, на чистейшем русском языке:

— Мама.

После чего хозяин сказал «молодец» и сбросил кота на пол.

— Неслыханно! — закричали гости.— Неслыханно! Невероятно! Какое чистое произношение! Артикуляция! Дикция! Совершенно как в Академическом Малом театре! Даже скорее как в Художественном!

Все в один миг оживились, и в затухающий пир была влита свежая струя бодрости, которой, впрочем, хватило ненадолго, так что через час в общественных баках уже явно стала ощущаться нехватка горячего. Однако, по-видимому, время расходится по домам еще не наступило, и хозяин как бы вскользь заметил, что его кот умеет разговаривать не только по-русски, но также и по-французски.

— Кис-кис-кис! — позвал он.

Кот долго не появлялся, но наконец все-таки вышел из дверей, которые снова сами собой распахнулись перед ним и затем сами собой бесшумно затворились. Кот страшно медленно направился к хозяину, как бы исполняя тягостную обязанность, связанную с неслыханными муками и унижениями, но — увы! — неизбежную, как рок. Он замедленно прыгнул на колени хозяина и положил подбородок на скатерть, уже основательно залитую к тому времени основными марками местных вин. Морщась от вонючего запаха и острого аромата сацнви, кот с немой мольбой посмотрел на людей лунатическими глазами и снова изо всех сил зажмурился.

— Внимание! — крикнул тамада.— Попрошу всех наполнить бокалы.

— Итак,— деловито сказал хозяин и обхватил большую голову кота обеими руками, но на этот раз уперся указательными пальцами в ушные отверстия кота, а в его рот вставил мизинцы, как-то по-особому скрючил их, растянул и вывернул так, что розовый рот кота стал напоминать неестественно-странный цветок вроде орхидеи. Кот рванулся, намереваясь замыкать раздирающим голосом, но вместо этого громко и отчетливо произнес на чистом французском языке:

— Маман.

— Вот,— сказал хозяин и смахнул кота на пол, после чего животное с улыбкой отвращения медленно удалилось восвояси, зная, что на сегодня его роль окончена и можно беспрепятственно приступить к ловле мышей.

— Ты понимаешь, это профанация,— простонал человек-дятел, провожая своими тухлыми глазами удаляющегося кота. Его толстое горло раздувалось, и он даже всхлипнул от огорчения.— Иметь такое выдающееся животное, такой мировой аттракцион и употреблять его для развлечения гостей на среднем неофициальном междусобойчике, где даже нет более или менее ответственного начальства.— Он схватился руками за голову с хохолком.— Господи боже мой, да если бы у меня был такой золотой кот, то я бы его, подлеца, научил рассказывать еврейские анекдоты. Я сделал бы из него кота-затейника. Он бы у меня, сукин кот, выступал только на самых ответственных концертах, и я бы сделался первым человеком среди местной художественной интеллигенции, может быть, даже доктором наук гонорис кляузе. И — ты можешь себе представить! — какую на этой почве можно было бы создать грандиозную рекламу, какой неслыханный подхалимаж, какой космический блат!

Он пригорюнился, пустил слезу, потом встрепенулся и сделал бурную попытку уговорить хозяина совершить благородный акт восточного гостеприимства и подарить ему говорящего кота. Но из этого ничего не вышло, потому что хозяин оказался человеком с высшим образованием и не признавал этих глупых феодальных штук дарить гостю то, что ему понравится. Как ни старался мой тягостный спутник, как ни суетился, как ни кричал, выпуская из горла самые нежные звуки: «Да! Я подхалим! И горжусь этим! Презирайте меня, но только подарите мне говорящего кота! Я из него сделаю человека! Ну, хотите, я создам в вашу честь хорал!» — но, увы, ничего не получилось. Как говорится, нашла коса на камень.

Единственно, что утешало человека-дятла — это перспектива в конце концов получить бесплатно ящик, а может быть, даже и два, баснословного вина «мцване». Теперь он удвоил свое внимание ко мне. Он боялся, что я заболую и, не дай бог, еще того хуже, умру. Мало ли что может случиться с человеком в дороге.

— Умоляю тебя,— шептал он по ночам, подходя к моей постели в то время, как в окнах блестели зимние восточные звезды.— Умоляю тебя, береги свое здоровье. Учти, что вино будет столько же твое, сколько мое. Это нам на двоих. Теперь ты и я — все равно что один человек. Учти.

— Ладно. Учту.

...Мы были как два каторжника, прикованные к одному ядру. Я умирал, я падал, а он — мой тягостный спутник — безжалостно толкал меня куда-то все дальше и дальше. Он уже стал моей болезнью, он гнезвился где-то внутри меня в таинственной полости кишечника, а может быть, и ниже, он был мучительно раздувшейся опухолью, аденомой простаты, непрерывно отравлявшей мою кровь, которая судорожно и угрюмо гудела в аорте, с трудом заставляя сокращаться мускул отработавшего сердца.

Хоть бы эту опухоль скорее вырезали!

Кто же он был? Он был модификация Булгарина, гонитель всего нового, человек с водевильной фамилией Прохиндейкин.

Далеко внизу лежала потонувшая в нескончаемом снегопаде престная страна со всеми ее магнолиями, драценами, симпатичными милиционерчиками, говорящим котом и пыжиковой шапкой знаменитого

поэта, и мы летели в столицу нашей родины на содрогающемся от обледенения пассажирском самолете, и смерть летела рядом с нами, каждый миг готовая расстроить все наши планы. Над Сурамским перевалом сходила с ума небывалая снежная буря, и наша машина ползла на ощупь, как слепая, посредине горных склонов, каждый миг готовая шаркнуть алюминиевым крылом по невидимой в тумане скале и рухнуть на дно ущелья, в бурную горную речку с обледеневшими берегами.

В течение часа мы избежали тысячу смертей, и когда пилот наконец посадил свою грузную машину на песчаном аэродроме рядом с бунтующим морем, то у него дрожали руки и пот градом катился по как бы натруженному лицу с пепельными губами. В столицу нашей родины мы прибыли еще засветло; и тут же расстались. Надолго. Слава богу, кажется — навсегда. Но мучительный сон тянулся, тянулся, он казался бесконечным, хотя на самом деле продолжался, быть может, всего лишь какую-то долю секунды, как смерть. Но ведь никто не знает, сколько времени длится смерть: может быть, один миг, даже и того меньше, а может быть, и всю жизнь. Человек вечно живет и в то же время вечно умирает.

Нет, не так: «в звезды врезываясь».

Я вечно умрел, и вечно жил, и время от времени возвращался в прелестный край, некогда воспетый Осипом Мандельштамом.

Разумеется, на аэродроме я прежде всего увидел пыжиковую шапку классика. Он возвышался, как монумент, еще более величественный и прекрасный, чем когда-то. Мы обнялись. И даже, по свидетельству историков, прослезились.

— Много воды утекло, кацо!

— Ох, много, генацвале!

— Как поживает ваш тягостный друг? — спросил великий стихотворец, после каждого слова делая еще более глубокое, гортанное придыхание, которое всегда казалось мне великолепной цезурой посредине шестистопной строчки классического александрейца. — Неужели он и теперь процветает так же, как раньше? Впрочем, я всегда подозревал, что он далеко пойдет, этот любопытный гибрид человека, дятла и домашней скотины. А вы знаете почему? Потому, что он не только обладает редким бесстыдством лилоблюда и подхалима, но также и потому, что всевышний наделил его феноменальной, — он сделал великолепное придыхание на этом нарядном слове, — феноменальной способностью, редчайшим умением сниматься рядом с «сильными мира сего». Едва лишь фотографы наведут свои магические субъективные объективы на центральную фигуру, как сейчас же рядом с ней вырастает мучительно примелькавшаяся голова с хохолком и костяным носом вашего тягостного спутника, выработавшего в себе условный рефлекс в ту же секунду — ни позже, ни раньше — оказаться в самой середине группы, сноровисто стать на хвост и вследствие этого сделаться ровно на три четверти выше остальных и даже самой центральной фигуры. Феноменально! — Он сделал хриплое придыхание. — Прямо-таки феноменально! Будучи пигмеем, казаться великаном! Но будем надеяться, что этот исторический парадокс скоро навсегда отойдет в вечность. Ведь не может же подобное продолжаться всегда...

— А как поживает говорящий кот? — спросил я, желая переменить неприятную тему.

— Говорящий кот? — удивился поэт. — Не знаю. Какого говорящего кота вы имеет в виду?

Я напомнил.

— Ах да, действительно. Был говорящий кот! Теперь я припоминаю. Он говорил по-русски и по-французски. Но, по правде сказать, я давно уже потерял его из виду. Но думаю, что не позднее завтрашнего дня я смогу вам доложить самые последние сведения о говорящем коте.

Мне опять долго и сладко снился горбатый город, и мы сидели в духане над горной речкой, которая бежала где-то внизу, как стадо овец, по камешкам, по-зимнему мутная и головокружительно скучная, свинцовая, дымная. Высоко над обрывистым туманным берегом синел силуэт древнего замка, и церковь с конусообразным куполом, и старый толстый шарманщик, быть может, последний шарманщик на земном шаре, крутил свою одноногую уличную шарманку, увешанную цветным стеклярусом, как пасхальная карусель, извлекая из ее дряхлого ящика пронзительные и вместе с тем небесно музыкальные звуки мещанских вальсов, маршей и гавотов моего детства, и я плакал об Осипе Мандельштаме, о цыганах, о догоревшей жизни, о первой любви, о всех кораблях, ушедших в море, о всех забывших радость свою, да мало ли о чем может плакать пожилой человек после четвертой бутылки красного, как кровь, «телиани». И я становился на колени, целуя смуглые, волосатые, безмерно старые руки шарманщика, а тем временем великий поэт, утешая меня, гладил мою пыльную и уже несколько лысоватую голову блудного сына и, отвлекая от слишком грустных мыслей, говорил мне:

— Друг мой, не надо плакать. Не стоит. Все мы у господ-бога корабли, ушедшие в море. Вернемся лучше к печальной действительности. Вчера вы поинтересовались судьбой говорящего кота. Я навел справки. К сожалению, должен сообщить вам неприятное известие: несколько лет тому назад говорящий кот скончался во время очередного сеанса дрессировки, будучи не в состоянии произнести простое русское слово «неоколониализм».

Но можно и так: повесть о говорящем коте.

Весь в слезах я проснулся, но уже мир вокруг меня потерял свое прежнее безмятежное спокойствие. Целый день я не находил себе места.

— Чего тебе не хватает? — спросила жена.

— Многого, — ответил я.

— Например?

— Ну, уж раз кто-то занес сюда возбудителей моих старых снов и кошмаров и раз все вокруг нас так разительно изменилось, то — вообразите себе — я начинаю ощущать отсутствие Козловичей. Откровенно говоря, их немного не хватает.

— Ну что ж, — сказала жена, — все-таки это лучше, чем говорящий кот.

И сейчас же после этого вошли Козловичи.

— А, это вы! — радостно воскликнул я, разглядывая Козловичей: они несколько не обгорели и совсем не изменились. Он был в несколько эстрадном пиджаке цвета кафе о-лэ, и брюках цвета шоколада о-лэ, и в ботинках цвета крем-брюле при винно-красных шерстяных носках. Рукава его пиджака были на несколько микронов короче, чем требовала мода, а манжеты высовывались, быть может, на полтора микрона больше, чем требовала та же мода. Но это ему даже шло. Он по-прежнему был интенсивно розов, с желтыми волосами, расчесанными на прямую пробору от лба до затылка, как у известного русского авиатора Сережи Уточкина. Его зубы сверкали слоновой белизной. Он был доброжелате-

лен, всеяден и слегка разводил руками, рассказывая, с какими приключениями они добирались к нам. Что касается мадам, то она была в узких и коротких штанах эластик, которые необыкновенно шли к ее стройно склеротическим ногам с шишками на коленях. У нее на шее висел крупный археологический камень с дыркой посередине, болтавшийся на серебряной веревке поверх красной кофточки-джерси. Было страшно представить, что стало бы с ней, если бы она, забыв снять этот камень, бросилась в воду. У нее были прелестные детские глаза и взбитые рыжие волосы, что в соединении с вздернутым носиком давало полное представление о ее душевном состоянии, которое отражалось на ее лице, измученном возрастом и ощущением собственной красоты. Старушка все время требовала простой холодной воды и с наслаждением вливала ее в себя, как бы желая потушить адский огонь, пожиравший ее детскую душу.

Сам Козлович пил со мной ледяное белое вино — душистое и горьковатое, как мицдаль, — ничуть не опьянявшее и не вредившее здоровью.

Козловичи сидели на низких старомодных креслах перед камином и, дополняя друг друга существенными подробностями, уточняя хронологическую последовательность событий, рассказывали историю о том, как они собирались путешествовать по Турции, Японии, Южной Америке и социалистической Польше и как у них в конце концов сгорел любимый пудель.

Мы радовались, как дети, слушая их взволнованное повествование.

Когда сам Козлович уже покрылся пятнами и стал понемногу сердиться, однако все еще мужественно продолжал улыбаться всеми клавишами своих зубов, в салон бочком вошел наш милейший друг Вяткин и, потирая, как с морозца, свои небольшие, слега обуглившиеся руки, посмеиваясь и стыдливо похохатывая, подсел к пылающему камину и тоже стал вместе с нами пить холодное потустороннее вино, закусывая сыром.

Я задернул шторы, и все это вдруг стало немного напоминать вечера под Москвой, только не было телевизора и ни разу не позвонил телефон.

Поздно ночью мы устроили Вяткина внизу в свободной комнате, а Козловичей отвели через темный сад в старый нормандский овин, где для них был уже приготовлен ночлег. Я зажег фонарь — старый каретный фонарь, найденный на чердаке, — и светил им, пока они поднимались по узенькой скрипучей лесенке, молчаливо удивляясь нашей нелепой фантазии отправить их спать на сеновал. Мы с женой весело переглядывались. Спотыкаясь, Козловичи один за другим — он впереди, а она сзади — вошли в дверцу и вдруг очутились в странном темном помещении, под самой соломенной крышей, где, очень возможно, на нашесте спали жирные куры. Мы объяснили, что это старинный нормандский овин, и это немного обнадежило Козловичей. Они покорно отдались в руки судьбы.

Тогда я вдруг шелкнул выключателем, и Козловичи увидели, что находятся в громадной низкой комнате со скошенным потолком. Посредине стояла громадная старинная деревянная кровать под балдахином из веселенького коттончика. Полог был отдернут, и виднелась постель, застланная свежими голландскими простынями, приготовленная на ночь по-французски — конвертом, — с маленькой пуховой перинкой. На ночном столике были приготовлены графин с сахарной водой и старинный нормандский молитвенник с серебряным крестом на черном бархатном переплете.

Вообще казалось мрачновато.

Козловичи были смущены. Возможно, они боялись крыс. Тогда я торжественно распахнул другую дверь и показал им великолепную, ультрасовременную ванную комнату с кобальтово-синим фаянсовым

туалетным столом на одной ножке, молочно-белой ванной, всю залитую ослепительно ярким электрическим светом, сияющую кафелем, никелем, всю увешанную пушисто-душистыми розовыми, салатными, голубыми полотенцами и простынями и устланную грубыми кокосовыми ковриками. Для того чтобы убедить Козловичей, что это не сон, я открыл несколько кранов, и с симфоническим шумом из них хлынула добела взбитая, как яичные белки, горячая и холодная вода, наполняя помещение поистине вагнеровской музыкой и запахом мыла «герлэн».

— Спокойной ночи,— сказали мы Козловичам.— Если ночью услышите за окнами шум, не пугайтесь — значит, начался прилив и воды Ла-Манша поднимаются по шлюзам, наполняя маленькую гавань Гонфлер, где сонно покачиваются рыбацьи баркасы с изображением святой девы на дряхлых парусах. Утром Дениза принесет вам пти-дежене: кофе, круассаны, масло и сливовый джем. Не рассчитывайте на жареную колбасу!

Мы оставили их очарованными.

В особенности все это нравилось самой мадам Козлович.

Мы с женой спустились по лесенке в сад, и я задул фонарь.

Может быть, мое обнаженное тело лежало где-то в ином измерении и голубые люди при свете операционного прожектора рассматривали на нем давние шрамы: пулевые и осколочные и следы разных болезней, войн и революций.

На газоне стояло несколько невымытых машин, приехавших ночью. Одна из них показалось нам знакомой.

— По-моему, приехали Остапенки,— шепотом сказала жена.— И спят в машине.

Они действительно спали в полуобгоревшей машине, как сурки.

— Пройдемся немного,— предложил я.— Пускай спят.

Она взяла меня под руку, и мы пошли в глубину темного сада, туда, где за каретными сараями и дощатым сортирчиком был сломанный забор, а за ним справа налево тянулся канал, по которому бесшумно, на уровне плоской земли, с погашенными сигналами, как бы текли низкие моторные баржи, наполненные очень важным и очень тяжелым грузом, направляясь из Анверса в Маас, а быть может, в Монс или Наахрихт, если, конечно, такой город существует в действительности.

Мы шли вдоль канала, мимо фламандской ветряной мельницы с неподвижными крыльями, увешанными снастями, как мачты фрегата; мы шли очень долго и молча, пока вдруг не очутились на площади, охваченной морозным туманом, так что нельзя было понять — что это за площадь.

— Куда ты меня привел? — спросила жена тревожно.

И сейчас же я понял, что эта площадь — аэродром, и под нашими ногами я увидел громадные шестиугольные плиты взлетной дорожки.

Решетчатые радиолокаторы вращались, как зубоврачебные кресла.

— Ты опять улетаешь? — спросила жена покорно, так как понимала, что ничего другого мне не остается.

Я промолчал, рассматривая свою обувь; она имела еще вполне приличный вид: очень черные, блестящие, хорошо начищенные мокасины, как нельзя лучше соответствующие серому костюму и нейлоновым носкам глубокого цвета жженой кости. Превосходные мокасины с длинными носами и низкими, широкими, очень устойчивыми каблуками, за которыми приходилось особенно ухаживать, так как малейшая потер-

тость сразу делала их непристойно вульгарными. Каблуки должны быть всегда безукоризненно черными, без малейшей потертости. Тогда мокасины со своими языками и перемычками на подъеме могут иметь место во время заграничного путешествия. Эти мысли внушила мне жена, и я их твердо усвоил.

Мы не успели проститься.

Она еще стояла одна посредине громадного пустынного аэродрома, а я уже перевел стрелки своих часов на два часа назад и сквозь разрывы тяжелой дождевой облачности смотрел на Амстердам, который можно было с высоты нескольких тысяч футов принять за небольшой коврик с абстрактно-геометрическим орнаментом, но внизу дождя не было, и когда я сошел с самолета для того, чтобы пересечь на другой, трансатлантический, то мои мокасины ничуть не пострадали, даже напротив: освещенные молочно-матовыми плафонами Амстердамского международного аэровокзала, рядом с ослепительными чемоданами и ботинками миллионеров они казались еще вполне зеркальными, так что я не имел никаких претензий к аэрокомпани К. Л. М. Во время посадки тоже, слава богу, все обошлось благополучно, и мои мокасины даже и в этом громадном пассажирском самолете, среди сотен пар разнообразной обуви, казались не самыми худшими. В особенности выгодно они отличались от желтых солдатских ботинков моего соседа, сержанта американских вооруженных сил в Голландии. От времени и от ежедневной чистки они стали темно-коричневыми и глянцевыми, как стекло, и вызывали во мне тревожный вопрос: где они, черти, достают такой замечательный крем для ботинок? Или, может быть, это не крем, а особая стекловидная жидкость, куда опускают обувь, и она потом делается как бы покрытой тонкой стеклянной глазурью, а потом еще более блестя придадут башмакам специальные высококачественные сапожные щетки особой формы и бархатки, принятые на вооружение в американской армии.

Сержант сидел рядом со мной, поставив ноги на плитус перегородки, отделяющей наш туристский класс от уборных и штурманской будки. Это был здоровенный парень лет двадцати пяти с коротко остриженной головой, в тиковом комбинезоне цвета хаки, крепко затянутый старым кожаным поясом с такой же стекловидной поверхностью, как и ботсы.

У него был вполне мирный, доброжелательный вид, но что-то меня в нем тревожило, какая-то неуловимая подробность в его одежде, злоещее напоминание, сигнал всеобщей опасности. Это был маленький вылинявший треугольник из черно-лилового плюша с чем-то злоеще красным, с желтой молнией и надписью «*Spearhead*», лоскуток, пришитый к рукаву комбинезона.

Может быть, это была каинова печать ядерного века.

В тот же миг мне стало ясно, что это парень из атомных войск и теперь он — сделав или еще не успев сделать свое дело — летит с базы домой в отпуск, предвзительно выстирав свой выцветший комбинезон и до стеклянного глянца надравив все кожаные предметы своей амуниции.

А может быть, в мире уже все совершилось, и он, так же как и я, был не более чем фантом, пролетающий в этот миг над океаном.

Во всяком случае у него были все признаки живого человека: на крупном деревенском пальце — тонкое обручальное кольцо, скорее серебряное, чем золотое, и, уж конечно, не платиновое; оно подчеркивало его солидность и положительность молодого семейного человека, может быть,



даже счастливого отца нескольких здоровых детей, чем он выгодно отличался от двух своих товарищей, летевших вместе с нами все в том же туристском классе через океан. Один из них был в униформе, а другой в штатском, но все равно было сразу понятно, что он хотя и носит штатское, — тоже солдат, может быть, даже званием пониже, чем мой сосед, но зато, безусловно, богаче. Он уже изрядно выпил и, как только мы поднялись в воздух, вытащил из узкого кармана толстую бутылку «Boll-69», содрал с нее хрустящую обертку, вынул зубами пробку и сделал большой глоток, но своим товарищам не предложил, а потом глотнул еще раза два, после чего стал заигрывать со стюардессой — высокой, как гренадер, девушкой в синей пилотке, лишенной всякого чувства юмора, чем, по моим наблюдениям, отличаются все стюардессы туристского класса на лайнерах К. Л. М.

Подвыпивший атомщик в штатском — тут мне вдруг пришла в голову мысль: не сгорела ли где-нибудь его униформа? — все никак не мог успокоиться и задремать. Видимо, его нервная система была совсем расшатана и алкоголь уже не действовал на нее как снотворное. Его все время терзала жажда деятельности. Он вызвал звонком стюардессу и сначала послал ее за глобусом, и она принесла из штурманской рубки резиновый глобус, который он надул ртом через специальный отросток и стал пьяными глазами разыскивать Северную Америку, желая определить трассу нашего полета, измерил ее пальцами, выпустил воздух из глобуса и вернул его сморщенное вялое тело стюардессе, тут же потребовав электрическую бритву, потому что компания К. Л. М. была обязана выдавать ее пассажирам туристского класса по первому требованию. Стюардесса принесла коробку с электрической бритвой, напоминавшей хорошо отшлифованный прибором морской булыжник, и солдат в штатском быстро нашел в подлокотнике своего кресла скрытую розетку и ловко включил прибор, что показало его техническую сноровку. Он побрился и, многозначительно подмигнув, возвратил бритву стюардессе, лишенной не только чувства юмора, но также и самого элементарного секса.

Я смотрел на этих американских солдат, славных малых, и никак не мог заставить себя поверить, чтобы они могли что-нибудь наделать. В особенности вызывал теплые чувства мой сосед, положительный, уравновешенный добряк, видимо, хороший мастеровой, с толстыми, но тренированными пальцами и коротко остриженной умной головой.

Третий солдат не отпечатался в моей памяти; он сидел где-то сзади и все время как бы прятал свое темное, как бы обуглившееся лицо между двух ладоней, приставленных к иллюминатору.

Я осмотрел свои мокасины и снова убедился, что они ничем не хуже остальных двухсот или двухсот пятидесяти отлично вычищенных ботинок, которые находились в первом и туристском классах самолета. Стало быть, пока все шло прекрасно. И это меня несколько успокоило, как будто бы я принял пятнадцать капель валокордина.

Но что ждет меня по ту сторону Атлантики? Где я буду чистить мои мокасины?

Я вспомнил, что в больших стандартных отелях Соединенных Штатов обуви не чистят, и опять почувствовал беспокойство. Я стал думать о континенте, к которому медленно приближался, и меня охватило предчувствие беды, не слишком большой, но достаточно неприятной, чего-то унижительного, связанного с моими мокасинами. Теперь я уже твердо знал, что где-то в Нью-Йорке давно поджидает меня человек, собирающийся причинить мне ущерб. Он хочет отнять у меня нечто очень дорогое. Жизнь? Не знаю. Может быть. И я заранее холодел, чувствуя свое бессилие и одиночество, и представлял себе, как в один прекрасный час

останусь с глазу на глаз с этим не имеющим формы человеком где-то в глубине абстрактной нью-йоркской улицы, лишенной всяких реальных подробностей, к которым я имел сильное пристрастие как писатель и человек.

Боже мой, куда меня несет!

Милый пейзаж старой Англии неощутимо отодвинулся в никуда, уступив место черным, как бы обуглившимся скалам берегов Шотландии. В неподвижных водах отражалось бессолнечное алюминиевое небо. И сейчас же появились другие далекие острова — такие же скалистые, но уже называвшиеся Ирландия. Это было последнее, что я мог заметить из подробностей того мира, который я так опрометчиво покидал неизвестно зачем.

Длилось все то же самое утро, которое началось бог весть когда на туманном аэродроме, где мы стояли, как маленькие фигурки, на шестигранных плитах взлетной дорожки. Несколько раз я уже переводил часы, каждый раз теряя время, которое неизвестно каким образом пропало навсегда.

Было еще без десяти десять того же самого утра, а наш воздушный корабль уже висел на громадной высоте над Атлантическим океаном, покрытым пеленой белых испарений, как муха над алюминиевой кастрюлей, где на медленном огне знойного солнечного утра чуть поднималась жаркая, легкая пена закипающего молока, которое все никак не могло надуться шапкой и сбежать.

Время — странная субстанция, которая даже в философских словарях не имеет самостоятельной рубрики, а ходит в одной упряжке с пространством, — это самое время казалось почти неподвижным, потому что мы и солнце двигались в одном направлении с востока на запад с вполне соизмеримой скоростью, — но солнце несколько быстрее нас. Таким образом, наше передвижение в пространстве можно было определить как отставание от солнца. Мы стремились перешагнуть рубеж сегодняшнего утра, но утро чудовищно растянулось во времени и пространстве, очень неохотно переходя в полдень, так что иногда казалось, что я со своим узко локальным представлением о времени уже никогда не вырвусь из плена этого нескончаемого атлантического дня и никогда не увижу заката. А в той стране, где я оставил всех дорогих для меня людей, уже наступила ночь и над острыми крышами в черном небе сверкали граненые звезды Большой Медведицы.

Я уже никогда не увижу заката, так и перейду в вечность, не взглянув в последний раз на звездное небо.

Да, самое лучшее: в звезды врезываясь.

Самое тягостное было ощущение потери времени. Даже часы перестали его отражать с присущей им механической точностью. Движение времени можно было определить только по блеску обуви, которая постепенно тускнела без всяких видимых причин, просто так, как все в мире. Обувь обнаружила способность стареть. Мои превосходные молодые мокасины на глазах у меня вступали в зрелый возраст, становясь немного более матовыми, чем в юности, но, разумеется, им было еще далеко до вечера, а тем более до ночи с ее непоправимой потертойостью, царапинами, сточенными каблуками и сероватым звездным светом.

Я поглядывал на них, как на часы, с ужасом замечая, что не только мое тело, но и так называемая душа стареет вместе с ними, покрывается царапинами времени, серовато-звездным налетом вечности, то есть бесконечной длительности времени существования мира, обусловленной несотворимостью и неуничтожимостью материи.

При этом во мне продолжало непрерывно усиливаться и нарастать предчувствие колоссальной неприятности, к которой я приближаюсь. Несомненно, это явление было следствием раздражений, несущихся в мою нервную систему из внешнего мира. Назовем их сигналами будущего.

Кто мне вернет пропавшее время?

Между тем бесконечный день над Атлантическим океаном тянулся, тянулся, тянулся, и я не знаю, чем бы это все кончилось, если бы наш лайнер вдруг каким-то чудом сравнял свою скорость со скоростью солнца. Тогда бы я погрузился в вечный день — без утра и вечера, — нескончаемо длинный, как полный текст библии со всеми ее повторениями и вариантами, — в вечное бодрствование и был бы испепелен вечным светом и вечной усталостью непрерываемой жизни. К счастью, наша четырехмоторная улитка ползла над облаками Атлантики все-таки медленнее солнца, ползла как бы со страшным усилием, и лопасти ее винтов не сливались, а замедленно мелькали как бы в обратную сторону с необратимым постоянством.

Улитка при всем старании не могла вылезти из своего домика, и таким образом солнце постепенно все-таки уходило от нас, и бесконечно мучительный день медленно переходил в мучительный вечер, который вдруг обозначился вдалеке воздушными горами облачного Синая, откуда вверх били дымно-лиловые лучи Моисеева света, а немного подальше разлеглись облачные библейские львы невидимой глазами Гренландии, а может быть, не Гренландии, а полуострова Лабрадор, после чего стали постепенно наливаться электрическим светом молочно-белые овальные плафоны и внутренность самолета как бы замкнулась в самой себе, отрешенная от внешнего мира, где вечер вытеснял день, а ночь вытесняла вечер. И когда я, прикрыв сбоку лицо ладонями, прильнул к тонко вибрирующему стеклу иллюминатора, то уже ничего не увидел, кроме самоварного огня, бьющего из моторов, и нескольких звезд в темном плотном небе.

Я чувствовал, что за моей спиной спят полтора пассажира, откинувшись на валики откидных кресел и подняв вверх измученные лица, а рядом со мной дремал американский солдат-атомщик, и я чувствовал человеческое тепло его плеча.

Невозможно определить, сколько времени прошло, если неизвестно, что из себя представляет само время. Раз шесть нам подавали на маленьких пластмассовых подносиках еду, минеральную воду, чай, кофе, фрукты. И раз шесть я засыпал с поднятым лицом, и просыпался, и опять засыпал...

Вдруг мой сосед, перегнувшись через меня и обдав жаром своего большого тела, заглянул в окно и дружелюбно произнес:

— Лонг-Айленд.

Я увидел в иллюминаторе ночь, как пласт угля, по которому во всю ширь до самого горизонта медленно и молчаливо двигались в обратную сторону врезанные в него световые сигналы, целая сложная система сигналов: точки, пунктиры, линии, геометрические фигуры, параболы, заставлявшие меня составить представление о населенном ма-

терике, где шла своя, еще не понятая мною ночная жизнь. Я видел ряды бело-зеленых сильных газосветных фонарей вдоль непомерно длинных городских магистралей, разноцветные огни светофоров, светящиеся тельца бегущих автомобилей, эллипсоиды освещенных стадионов с бегающими крошечными фигурками спортсменов, провисшие цепи мостов, иллюминаторы трансатлантических пароходств и вращающиеся маяки с узкими крыльями прожекторов, оббегающих горизонт со скоростью секундной стрелки. Подо мной на страшной глубине плавал ночной Нью-Йорк, который, несмотря на весь свой блеск, был не в состоянии превратить ночь в день — настолько эта ночь была могущественно черна. И в этой темноте незнакомого континента, в его таинственной глубине меня напряженно и терпеливо ждал кто-то, желающий причинить мне ущерб. Мне — одинокому, внезапно заброшенному сюда выходящему из другого мира, — но не старого, а быть может, еще более нового, чем этот.

О, если бы вы знали, как я был одинок и беззащитен, когда, спустившись по трапу высотой с двухэтажный дом, я вошел в лилово-зеленое пекло почти тропической нью-йоркской ночи — тяжелой, влажной, бездыханной, — и как я пошел по однообразно светящимся коридорам таможни, как бы вырезанным в ледяном теле айсберга, где, освещенный со всех сторон, я был лишен своей тени, где воздух был «кондишен», так что я мог несколько минут наслаждаться искусственной прохладой, и как я потом под взглядом красавицы таможенницы, острой блондинки с раскованными глазами кинозвезды, с пистолетом в белой кобуре, взял со светящегося конвейера мой ползущий чемодан и снова окунулся в ночной зелено-лиловый зной, где все виды искусственного света были не в состоянии хотя бы немного отодвинуть от меня черноту этой дьявольской, почти тропической августовской полночи незнакомого континента, где вместо Цельсия температуру показывал Фаренгейт, чудовишно ее преувеличивая, отчего влажная жара казалась еще более невыносимой.

В номере на двадцать третьем этаже стандартного туристского отеля, где на серой гипсовой стене над пружинной кроватью висела цветная репродукция зимнего пейзажа Утрилло, ночной зной и духота были еще более ужасны, чем на улице. «Эр кондишен» не было. Его заменял специальный холодильник с вентилятором, вделанный в нижнюю часть квадратного американского окна и наполовину выставленный наружу и повисший над стрит — на манер цветочного ящика. Я тотчас повернул пластмассовое колесико, и пронзительная могильная струя охлажденного воздуха пролетела по темноватому номеру, минуя мое потное, горячее лицо, и мне пришлось повернуть другое пластмассовое колесико, для того чтобы направить холодную струю на изголовье своей постели. Теперь в мое лицо косо ударила режущая струя ледяного воздуха, заменив одну муку другой — муку субтропической духоты мукой антарктического ветра, дующего с угрожающим постоянством по диагонали от окна к кровати в ночном сумраке этого чистого, но очень скучного туристского номера, откуда открывался вид на скопление полуосвещенных небоскребов и на какой-то шпиль, по которому вверх и вниз каждые шестьдесят секунд бежала цепочка электрических лампочек, считая минуты и часы нью-йоркского времени.

Я погрузился в мертвый сон, а когда проснулся, то почувствовал, что могильный ветер холодильника продолжал шевелить мои волосы, а в окне — типичном американском окне, открывающемся, как вагонные, — над знакомым скоплением небоскребов в голубом свежем небе неслись белые атлантические облака и над рекой Гудзон, кое-где виднев-

шейся в пролетах улиц, посились чайки. Я спустился вниз и вышел на улицу. Было раннее утро, воскресенье, безлюдье, где-то позванивали церковные колокола, солнце золотило верхушки Колумбовой колонны, в Центральном парке в сухой августовской траве кое-где валялись пустые бутылки из-под джина и водки, из травы кое-где высовывались черные гранитные скалы, темненькие белочки в потертых, давно не отремонтированных шубках доверчиво подходили ко мне и смотрели, как девочки, добрыми выпуклыми глазами, иногда бесшумно пронеслась запоздавшая машина, стремительно унося за город на воскресную прогулку счастливого парочку: его, незаметного молодого человека, и ее, ослепительную, как небожительница, высокую, стройную, с развевающимися золотыми волосами.

Грипп, насморк, кашель, головная боль, потеря равновесия — расстройство вестибулярного аппарата.

Я уже не сознавал, куда иду и что делаю. Меня вела, как говорилось в старину, таинственная сила предопределения. А в действительности, подчиняясь сигналам из окружающей меня среды, я шел вперед из улицы в улицу, пересекая узкие скверы, прямо в мышеловку, поставленную для меня в одном из закоулков этого, в основном кирпичного, довольно старого города. Здесь меня на каждом шагу подстерегали явления и картины, которые я ощущал как сигналы бедствия. Неряшливая пустота этих бедных кварталов пугала. Я не сомневался, что где-то очень близко, может быть вот за этим кирпичным углом, меня ограбят. Но что можно у меня забрать, чем поживиться? Желтый сертификат — свидетельство о прививке оспы — и сорок бумажных долларов со слегка обгоревшими уголками, надежно зашпиленных во внутреннем боковом кармане. Их бы я не отдал, даже если бы в мою печень был наставлен бесшумный автоматический пистолет из ближайшей телефонной будки.

Нигде ни одного полисмена, ни одного прохожего, ни одного свидетеля. Все пусто, все заперто, люди молятся или отдыхают, всюду субботний сор, и даже возле кирпичного пожарного сарая или возле кирпичного фасада клиники имени президента Франклина Делано Рузвельта нет ни дежурных, ни сторожей, ни швейцаров.

Особенно настойчивые сигналы стали поступать в узком треугольнике Линкольн-сквера в тот самый миг, когда вдруг среди пыльной августовской зелени городских деревьев я увидел зловещую голову Данте в средневековом чугунном шлеме. Вместе со всеми кругами своего ада он не предвещал мне ничего хорошего, но ничего хорошего не предвещала также сильно уменьшенная и все же довольно-таки громоздкая, грубая копия статуи Свободы — невежественное подобие, поставленное на крыше своего пятиэтажного дома каким-то чудачком, который злоупотребил правом свободного американца как угодно поступать со своей собственностью. Я даже сперва отшатнулся, когда вдруг увидел над собой эту знакомую женщину, но не из позеленевшей бронзы, с поднятым факелом, а совершенно черную, как бы слепленную из смолы. И хотя это было нечто претендовавшее на искусство, оно казалось мне во сто раз уродливее круглых баков водяного отопления, водруженных на своих железных треножниках над крышами других домов, индустриальные силуэты которых все время маячили передо мной в отдалении.

Я зазевался, и меня едва не сбил с ног длинный автомобиль, который энергично вела молодая старуха в белом шелковом костюме, так густо покрытом черными яблоками, что его можно было скорее назвать черным в белых яблоках, а рядом с дамой сидел и смотрел в изогнутое ветровое стекло с мягким верхом большой пойнтер в драгоценном ошей-

нике, тоже весь темновато-белый, в черных яблоках или, вернее, черный в белых яблоках, в точности подобранный под цвет черно-белого ансамбля молодой, подтянутой старухи, пролетевшей мимо меня купаться на Джонс-Бич, как новый сигнал, предупреждающий о близкой беде.

Более зловещим показалось мне явление другого автомобиля — не менее роскошного и длинного, — в просторной кабине которого ехал костюм. Не человек в костюме, а именно сам по себе костюм — элегантный, свежееутюженный, висящий на тончайших проволочных плечиках, прицепленных к потолку кабины. Костюм был совершенно готов, чтобы его надели и тотчас отправились в гости, даже уголок свежего батистового платочка торчал из его нагрудного кармана. Перед самым моим носом автомобиль с костюмом остановился, шофер в форменной фуражке вышел на тротуар, с легким полупоклоном открыл дверцу и помог костюму выйти из машины: высоко поднял его и бережно внес в красную лакированную дверь особняка, распахнутую перед ним человеком в визитке старшего лакея. Через несколько секунд машина тронулась дальше, и я снова остался один, совсем один, среди утреннего воскресного Манхэттана, испытывая известное унижение оттого, что костюм прошел перед самым моим носом, не обратив на меня никакого внимания, и даже не извинился за то, что пахнул мне в лицо английской лавандой фирмы «Ярдлей». И в тот же миг мне померещилось, что из-за кирпичного угла на меня кто-то смотрит почечным глазом.

Я не стал уклоняться от неизбежной встречи и смело свернул за угол. Но за углом никого не было. Я увидел другую улицу, такую же пустынную и кирпичную, как и предыдущая. Но было в ней все же нечто особенное: небольшое чахлое деревцо, каким-то чудом выросшее возле старого дома с черными каменными лестницами, ведущими прямо с улицы в каждую наружную дверь первого этажа.

Множество подобных черных лестниц я видел потом в Гарлеме.

До сих пор не могу забыть эту картину: черная каменная лестница с потертыми черными перилами, большое деревцо, окно — обыкновенное нью-йоркское окно без переплета, с поднимающейся нижней рамой, как в вагоне, — и в этом окне, увешанном птичьими клетками, среди множества цветочных горшков — прелестная и очень бледная в своей грустной прелести девушка-подросток лет четырнадцати, с длинными волосами, старомодно ниспадающими на ее узкие плечи, с тонкими полубнаженными руками и длинными пальцами, которыми она грациозно касалась своего еще совсем по-детски овального подбородка и нежной шейки с голубыми каменными бусами. Это была полуженщина-полуребенок, и она нежно и грустно смотрела на мальчика, сидевшего на черных ступенях, как бы у ее ног, положив свою ирландски рыжую голову на поднятые колени.

Я понял, что они любят друг друга, и я также понял, что им некуда уехать из Нью-Йорка в это знойное августовское воскресенье. Я понял, что здесь их рай, счастье, их грусть, их безнадежность, их всё. Они скользнули блуждающим взглядом по моим слегка пыльным ботинкам и снова погрузились в глубину своего горестного, нищего счастья под сенью единственного на всей улице дерева с ломкими перистыми листьями и слегка неприятным ореховым запахом, которое у нас на юге называют чумак-дерево.

Я прошел мимо десяти или двенадцати мусорных баков, выставленных в ряд, из-под крышек которых высывалась всякая дребедень:

остатки субботнего вечера, раковая скорлупа, картонные коробки, гнилые корки грейпфрутов. Я прошел мимо больших красных ворот пожарной комнаты, мимо пустыря, заваленного старыми, облезлыми автомобилями, густо поросшего южным бурьяном, напомнившим мне детство и Молдаванку. Затем я миновал заправочную станцию, где никого не было и блестели на солнце пистолеты заправочных наконечников. Несколько раз мне пришлось перешагнуть через еще не вполне высохшие темные потеки детской мочи, спускавшиеся с кирпичных стен дома и продолжавшиеся поперек тротуара.

А колокола все время утомительно позванивали, напоминая о воскресенье.

...Как труп в пустыне я лежал...

Но вот я опять повернул за угол и очутился на улице, которая, по-видимому, тянулась от самой Парк-Баттери параллельно Гудзону мимо обгоревших деревянных пристаней, откуда все еще продолжало тянуть гарью, на несколько десятков миль, которые назывались здесь «майлс», однообразно кирпичная, с одной стороны — резко освещенная солнцем, а с другой стороны — резко погруженная в сырую черную тень, со всеми своими безлюдными барами, галантерейными магазинчиками, красильными заведениями, прачечными и итальянскими съестными лавчонками, где в окнах висели целые гроздья соломенных фьясок с кьянти «суффино», похожих на мандолины, связки испанского лука, седые шелудивые косы чеснока и палки сухой миланской колбасы в серебряной сетке.

Это была Десятая авеню, из конца в конец безлюдная и как бы распиленная вдоль резким светоразделом.

Точнее сказать — она сначала показалась мне безлюдной, но это был обман зрения, так как я сейчас же заметил очень далеко впереди, по крайней мере на расстоянии мили, в перспективе пустынной улицы маленького человечка, который, выйдя из-за угла, стоял на перекрестке и неподвижно смотрел на меня. Хотя до него было еще очень далеко, я отчетливо видел его толстенькую фигуру, неряшливый пиджак, одутловатое лицо старого неудачника, нищего, способного на все ради самого ничтожного заработка, а главное — я понимал, что он смотрит на мои ноги, словно изучая мои мокасины. Я тоже посмотрел на них и ужаснулся. До сих пор я считал, что они имеют вполне приличный вид. Как мог я рискнуть в такой пыльной обуви выйти на воскресную прогулку!

Позади человечка я заметил будку для чистки сапог. Такую точно будку я видел когда-то в Москве возле Центральных бань на Неглинной. Человечек продолжал смотреть на меня гипнотизирующим взглядом и даже сделал небольшой полужест, как бы желая одновременно усыпить мою бдительность и завлечь в свою мышеловку.

Я приблизился осторожными шагами лунатика. Будка была заперта на обыкновенный, довольно неуклюжий восточноевропейский висячий замок начала девятнадцатого века, и у меня отлегло от сердца. Но незнакомец быстро шелкнул ключиком и распахнул фанерную дверь. В конце концов ничего страшного в этом не было. Никакой чертовщины. Чего проще: у кого-то запылились башмаки, он идет в будку к чистильщику и вскоре выходит в сияющих, невероятно черных башмаках, один вид которых сразу возвращает его в общество приличных людей. Так поступает все цивилизованное человечество. И все же я колебался. Кроме кругленькой суммы в сорок долларов, надежно спрятанной у меня на груди, у меня еще была отложена в специальном маленьком карманчике известная сумма мелочи: семьдесят четыре цента. Время от времени я засовывал пальцы в карманчик и в глубине его ощупывал монеты —

тяжеленький серебряный полдолларовик, казавшийся мне целым состоянием, и двадцать четыре цента разными монетками на мелкие уличные расходы. Но я не знал, сколько стоит чистка. Вернее сказать, до меня доходили слухи, что примерно это обойдется центов в пятнадцать, даже, может быть, в двадцать. Определенной таксы не существует. Все зависит от свободного предпринимателя. Говорили, что в Собвее у негра можно вполне прилично почистить ботинки даже за десять центов, но, конечно, «того блеска» уже не будет. Кто хочет, чтобы его ботинки блестели, как стекло, должен раскошелиться. Я готов был раскошелиться. Но, конечно, до известных пределов. Я даже согласен был отдать за чистку все мелкие монетки. Это, разумеется, тоже не мало. Но пусть уж будет так: ведь мне предстоял длинный воскресный день в Нью-Йорке. Не мог же я провести его, шляясь по улицам и барам в грязных ботинках, тем более что мне предстояло посетить два знаменитых на весь мир музея: «Метрополитен» и нового искусства, а если останется время, то еще и третий — Соломона Гугенхейма, похожий на четырехъярусную артиллерийскую башню сверхдредноута. Мог ли я посетить эти святыни в столь запущенной обуви? Это было бы надругательством над мировой живописью.

Стоять в негяшливых, стоптанных ботинках перед «Откровением святого Иоанна» Эль-Греко или перед «Мадам Шарпантье и ее детьми» Ренуара, где чернобровая дама в черно-лиловом шелковом платье, с черно-лиловыми глазами и черно-лиловыми волосами, а сама вся как бы сделанная из парижского сливочного масла, и две прелестные, похожие на нее маленькие девочки в голубых платьицах, а также лежащий на ковре сенбернар с черно-лиловой шелковой шерстью с белыми пятнами, как бы рифмующийся с самой мадам, — все они вместе — мадам, девочки и собака — как бы являлись высшим проявлением той богатой, артистической, недоступной парижской жизни конца века, в присутствии которой находиться в нечищенных башмаках было бы равносильно святотатству. Я уже не говорю о хохочущей, разорванной на куски лошади и потрясающей электрической лампочке, вспыхнувшей в последний раз перед всеобщим атомным уничтожением на панно Пабло Пикассо «Герника» в Арт-музее. На панно — черные, как звездное небо, лестницы и полы ведут вас к громадному окну, выходящему во внутренний двор, где вы вдруг видите посредине безукоризненного, чистейшего ярко-зеленого газона три древнерусские березки с плакучими нестеровскими ветвями и шелковисто-белыми, девственными стволами, украшенными черными черточками и полосками кисти самых лучших абстракционистов, может быть, Малевича или даже самого Кандинского.

Разве мог я решиться осквернить все это своими нечищеными мокасинами?

А незнакомец стоял возле будки и, стараясь заманить меня в свое логово, делал разнообразные знаки и на разных языках пытался вырвать у меня согласие почистить обувь.

- Инглиш?
- Но!
- Итальяно?
- Но!
- Суэден?
- Но.

Это было все, что он мог мне предложить.

- Франсе? — спросил я с надеждой.



— Но! — в свою очередь ответил он и легонько подтолкнул меня плечом к фанерной двери своей будки.

— Дейч? — спросил я с отчаянием.

Он горестно развел короткими руками и в свою очередь спросил:

— Испано?

— Но, — удрученно ответил я.

Это был пожилой, обрюзгший человек с одышкой, в заношенном пиджаке, в помятой сорочке с отстегнутым воротничком, и крупная медная заколка, позеленевшая от времени, натерла на его шее красное пятно. У него была плешивая голова, мешки под глазами, как у старого сердечника, от него исходил дурной запах итальянской кухни — лук, жаренный на прогорклом оливковом масле, и тертый чеснок. Он был небрит. Типичный нищий-неаполитанец, лаццарони, состарившийся где-нибудь в лачуге на Санта-Лючия. Но он не был суетлив. Напротив Он был малоподвижен, потому что каждое движение заставляло его астматически вздыхать — со свистом и бульканьем.

— Рүссо? — безнадежно спросил я.

— Но, — с одышкой ответил он.

И мы оба вспотели.

Он подтолкнул меня к высокому креслу и помог мне на него вскарабкаться, как на трон. Таким образом мои мокасины оказались на уровне его серого небритого подбородка, форма которого могла сделать честь любому римскому императору, и он бросил на мокасины презрительный, но вместе с тем и алчный взгляд.

У нас не было общего языка. Вторая сигнальная система как бы отсутствовала. Друг для друга мы были глухонемые. Мы должны были объясниться жестами или движением лицевых мускулов, как мимы. Этот старый итальянец оказался прирожденным мимом.

— Ну, эччеленцо, почистим? — спросило его брезгливое лицо.

— А сколько это будет стоить? — безмолвно спросил я, делая самые разнообразные телодвижения и жесты, и даже нарисовал в воздухе указательным пальцем вопросительный знак.

Он понял.

— Двадцать пять центов, — сказал он комбинацией лицевых мускулов и для верности буркнул по-английски: — Твенти файф.

Я не поверил своим ушам и, несколько преувеличенно изобразив на своем лице ужас, спросил бровями, щеками и губами:

— Как! Двадцать пять центов? Четверть доллара за простую чистку?

— Да, — с непреклонной грустью ответили мешки под его глазами.

— Почему так много? — воскликнули морщины на моем лбу. — Варум? Пуркуа? Уай?

Он величественно — как Нерон на пылающий Рим — посмотрел вокруг на старые, наполовину уже разрушенные дома этого квартала, где в скором времени должен был вырасти грандиозный, ультрамодернистский Музыкальный центр, и ответил мне целой серией жестов, телодвижений, гримас и сигналов, которыми без слов изобразил исчерпывающую картину нью-йоркского летнего воскресенья с его слабым колокольным позвякиванием, пустотой, зноем, безлюдьем и законами о запрещении воскресной торговли.

Я понял: все вокруг заперто, почистить обувь нигде, он специально отпер для меня свое предприятие и рискует неприятностями с профсоюзом, и я должен платить по двойному тарифу. Я посмотрел на свои ноги и окончательно убедился, что провести в такой обуви нью-йоркское воскресенье просто неприлично — и смирился.

— Хорошо, — сказал я. — Ладно. Идет. Бьен. Уэл.

Тогда он неопишимо ленивым движением достал щетку и двумя скорее символическими, чем реальными движениями утомленного аристократа смахнул пыль с моих мокасин, отчего они вовсе не стали лучше. Совершив это действие, он слегка передохнул и вытер носовым платком свою серо-буро-малиновую шею. Затем, порывшись на полках, где, как и во всех подобных заведениях земного шара, у него хранились разных сортов стельки, шнурки, подковки, винтики, шпунтики, шурупчики и прочая мелочь, он протянул мне пару шнурков в целлофановом пакетике.

— Купите! — сказало его лицо.

Ах, так этот старый мошенник хочет на мне нажить? Ну уж дудки! Не на такого напал.

— Нет! — крикнуло все мое существо. — Но! Найн! Нон!

Он небрежно швырнул пакетик обратно на полку и показал мне глазами, которые вдруг стали игривыми, как у Бригелло, цветные портреты голых и полуголых красавиц, вырезанных из разных иллюстрированных журналов, причем возле каждой вырезки на стене были жирно написаны столярным карандашом пятизначные нью-йоркские телефоны с двумя литерами спереди.

— Может быть, это? — спросило его лицо старого сводника, но так как я в смятении замахал руками, он, облив меня презрительным взглядом, еще раз обмахнул мои мокасины, затем достал флакон, вынул пробку с проволокой, на конце которой был прикреплен ватный тампон, и слегка помазал аппретурой потертые ранты моих мокасин, после чего обмахнул их бархаткой и сказал жестом:

— Готово!

Как? Это все? Я не верил своим глазам. Но передо мною уже твердо лежала в воздухе его сизая, как пепельница, ладонь с черными линиями жизни, роговыми мозолями, венеринными буграми и прочими деталями хиромантии. И я осторожно выложил на эту ладонь свою мелочь. Двадцать четыре цента. Я прошался с ними со слезами на глазах, как с родными детьми. Всё. Не хватало всего лишь одного маленького центика, медного клопика, почти не имеющего никакой ценности.

Однако старик смотрел на меня неумолимо требовательно, и его ладонь продолжала все так же твердо торчать перед моими глазами.

— Может быть, хватит? — сказало все мое существо, пытавшееся в тот миг как бы примирить славянский размах с американской деловитостью.

Но он даже не ответил мне, настолько он чувствовал себя хозяином положения.

— Двадцать пять центов, — с ледяным упорством говорила вся его фигура, ставшая чугунной.

Ничего не поделаешь! На его стороне, по-видимому, был закон или во всяком случае все силы профсоюзов. Я смирился. Мне, конечно, очень не хотелось менять свои тяжеленькие, красивенькие, серебряненькие полдоллара. Но ничего не поделаешь. Я был в его руках. Тогда я забрал с его жесткой ладони всю свою мелочь и положил вместо нее прелестную серебряную монету в пятьдесят. Он не глядя бросил ее в отвисший карман своего пиджака и, повернувшись ко мне согбенной спиной, стал убирать бархатки и щетки.

— А сдачи? — воскликнул я по-русски, чувствуя, что произошло непоправимое.

Он ничего не ответил, но его спина выразила, что сдачи не будет.

— Почему? По какому праву? Варум? Пуркуа? Пер кэ? Это нечестно. Дас ист ниht гут. Се тре мовэ. Но буоно. Ведь мы же сговорились за двадцать пять центов!

Для ббльшей наглядности я написал в воздухе дрожащим указательным пальцем большое двадцать пять и громадный вопросительный знак, к которому прибавил еще восклицательный высотой в двенадцать инчей.

— Но! — резко сказал он, отрицательно мотнув головой, и над каждым моим ботинком написал в воздухе большим пальцем с иссиня-черным мраморным ногтем цифру «25». Затем он поставил между ними плюс и, начертив знак равенства, аккуратно изобразил цифру «50».

Я застонал, как подстреленный, потому что понял, что этот подонок считает двадцать пять не за оба мокалина, а по двадцать пять за каждый. Я ничего не мог с ним поделать: именно в таком смысле он истолковал наше соглашение. Что делать, что же делать?

Дать ему по морде? Но закон был на его стороне, так как у меня не было свидетелей и я был всего лишь одинокий старый чужестранец без связей, без знакомств, брошенный в глухую страну сновидений и блуждающий по ней на ощупь, как слепой.

Мне стало так жалко себя, что я готов был лечь на раскаленный тротуар возле кирпичной, слегка выветрившейся стены, под железную пожарную лестницу и завыть на всю Десятую авеню, что меня обманули, ограбили, провели, как последнего пижона... Но что я мог сделать? Ничего! Я даже не мог пожаловаться Генеральной Ассамблее ООН, чье плоское стеклянное здание возвышалось, как шведский книжный шкаф, над железными мостами и бетонными эстакадами Ист-Сквера: ведь я не был даже самым захудаленьким государством.

Я был всего лишь частным лицом.

И я смирился, снова погружаясь в глубину таинственных сновидений, не достигающих до моего сознания — так глубоко они лежали на темном, неосвещенном дне той субстанции, которую до сих пор принято называть душой.

А он тем временем потихонечку, довольно вежливо, я бы даже сказал дружелюбно, выпихнул меня своим грузным телом из будки и повесил на дверь замок. Я посмотрел на него из самой глубины сна, в который был погружен,— на него, старого, больного, с опухолью в мочевом пузыре, с одышкой гипертоника, с трясущимися опухшими глянцевитыми руками, в красных матерчатых комнатных шлепанцах на босу ногу, в старой итальянской соломенной шляпе с лентой пестрой, как змея в одном из рассказов Конан-Дойля, и мне вдруг стало жалко не себя, а его. Я как-то отраженно подумал, что, может быть, он папа или даже дедушка той женщины-девочки, которую я только что видел в окне старого кирпичного дома, изуродованного по фасаду зигзагами железных пожарных лестниц и переходов, среди клеток с бирюзовыми инсепараблями, канарейками и говорящими скворцами. Мне захотелось плакать — широко и сладко,— и я простил старого мошенника и вспомнил свою первую любовь.

Затем я провел восхитительный день, свой первый день в Нью-Йорке.

За мной заехал Митч со своей девушкой, которая была в летнем платье — по-американски пестром, а он в черном летнем костюме — мохнатым и в талию, отчего туловище Митча показалось мне еще больше вытянутым. И он повез меня на своем наемном «кадиллаке» с ветровым стеклом, в верхней своей части аптекарски синим, вокруг Манхэттана.

Мы сидели все втроем впереди, как на одной парте, дружески прижавшись друг к другу, от девушки сильно пахло духами «мицук», и мы

с безумной скоростью мчались по белым эстакадам, ныряли в белокафельные тоннели под Гудзон, где на несколько минут нас охватывала городская ночь со своей тревожной системой световых сигналов, вылетали на солнечный свет, поворачивали по головокружительным виражам, возвращались назад, пробежали как звук по новому висячему мосту Джорджа Вашингтона, по сравнению с которым знаменитый Бруклинский мост, некогда воспетый Маяковским, — ничто, пролетели как муха в середине громадной арфы с белыми струнами висячей конструкции: Митч захотел показать мне какое-то знаменитое шоссе, по которому может мчаться шестнадцать рядов машин в одном направлении, но не нашел его, и мы снова мчались и мчались вокруг Манхэттана, перескакивая с эстакады на эстакаду, и все время видели то сбоку, то сзади, то впереди светлые силуэты небоскребов, пересечение стальных светлых балок, ферм, креплений над обгорелыми остатками грузовой пристани, иногда попадая в желто-опаловый дым догорающего маслостойного завода, распростершего над Нью-Йорком зловещую тень своего извержения в классической форме извержения Везувия.

Плавные, но очень крутые виражи бросали нас друг на друга, и мы все мчались, все мчались, как безумные, среди белого джаза Нью-Йорка. В особенности же прекрасен был этот город в разгар зимы, когда в докрасна раскаленных ущельях Таймс-сквера, под дикие звуки флейт и барабанов Армии Спасения бушевали снежные вихри, обрушиваясь с металлических верхушек небоскребов и превращая стоянки автомобилей в ряды глубоких кладбищенских сугробов, озаренных движущимися заревами световых сигналов и реклам, и когда тихим и мягким утром на длинных ступенях лестницы нью-йоркской публичной библиотеки, между двумя каменными львами, можно было увидеть еще одного, третьего, льва, вылепленного нью-йоркскими мальчишками и студентами из снега, и эти три льва смотрели белыми глазами на самую богатую улицу мира — Пятую авеню, на виднеющиеся кое-где знаменитые готические церкви: собор святого Патрика, церковь святого Фомы, так называемую — «Маленькую церковь за углом», в соседстве с которыми новейшие небоскребы напоминают нагромождение корсетных коробок — высоких и узких, алюминиевых, стеклянных футляров, куда эти церкви, по-видимому, прячут на ночь вместе со всеми их портиками, дверями, мраморными шпилями колоколен и даже, кажется, химерами, как на карнизах Собора Парижской богородицы, так что обстановка слѣжилась самая естественная для несколько фантастического появления одного человека, который внезапно возник рядом со мной на лестнице библиотеки, как бы представляя четвертого льва с многозначительно поднятыми бровями. Я думаю, этот человек был одним из последующих воплощений покойного говорящего кота или даже — что еще хуже! — моего давнего тягостного спутника, если помните, человека-дятла с порядочно поредевшим за это время хохолком, и в ту же минуту я услышал его жаркое дыхание и деформированный пространством и временем голос, таинственно забубнивший мне на ухо: «Должен вас предостеречь: ведите себя более осмотрительно. Не следует так откровенно восхищаться. Что вы нашли в том самом ихнем Джордж Вашингтон Бридж? Не видели дерьма! Такой самый, как наш крымский, только еще длиннее. Будьте крайне осторожны в своих высказываниях, а то сами не заметите, как нарветесь на провокацию».

У него была такая артикуляция, как будто сильно распухший язык с трудом помещался во рту, так что обыкновенные слова еще кое-как пробивались наружу, хотя и в несколько деформированном виде, а слова длинные или научные, такие, к примеру, как «неоколониализм»,

вылазили на свет божий из недоразвитого толстого ротика уже просто-таки в укороченном виде, без гласных, одни только согласные: «нкнлндзъм», что, впрочем, не мешало ему быть весьма красно-речивым.

— Если хотите знать, я сам крепко пострадал, в смысле погорел. Вообразите себе такую картину: посылают меня в Америку, в Город Желтого Дьявола.

Я вообразил.

— Приезжаю, заказываю в центовке визитные карточки, одеваюсь как положено, по мировому стандарту, беру на выплату кар и так далее. Слава богу, на отсутствие у себя вкуса пожаловаться не могу. Чего-чего, а за вкус ручаюсь. Сами видите: ни за что не отличишь от иностранца. Верно? Тергалевые брюки двадцать один сантиметр без обшлагов, узкие мокасины, задние разрезы на пиджаке, нейлоновая сорочка, скромненький галстук с абстракционным рисунком. Тоненькая золоченая цепка. Все о'кей! Получаю приглашение на обед. Иду, обстановка следующая: деловой ленч в пальмовом зале Уолдорф Астории. Кардинал Спэллман, Рокфеллер-младший, мэр города Нью-Йорка Роберт Ф. Вагнер, наш представитель по мировым стандартам Сидоров, дамы, господа, представители влиятельных кругов Уолл-стрита. Моя соседка слева — звезда экрана Агата Бровман, «мисс Голливуд» одна тысяча тридцать девятью года. Ленч, конечно, при свечах. Хрусталь, серебро, салфетки из голландского полотна, никакой синтетики. Все — о'кей! У меня нервы, конечно, натянуты, но я не показываю вида и держу себя абсолютно как джентльмен. И что же вы думаете? Поймали-таки меня на провокацию, подлецы. Кончается ленч, лакеи в белых шелковых чулках подают хрустальные мисочки с полосканьем. Тут уж, сами понимаете, я стреляный воробей, меня на мякине не проведешь. Знаю что к чему. Ученый. Читал инструкцию. Если после ленча подают тебе мисочку с водой, то боже упаси ее пить, потому что это не лимонад, а полосканье для пальцев. Некоторые наши на этом крупно погорели, но только не я. Беру мисочку и, чтобы все видели, начинаю мыть в ней руки. А это как раз оказался ананасный компот. Понимаете! Так я, вообразите себе, на глазах у всей Уолдорф Астории вымыл руки в ананасном компоте, так что он стал даже немного синий, вроде лиловый.

Ну, конечно, меня вызвали и говорят: ты, Федя, в Городе Желтого Дьявола не прошел. Придется тебе отправиться на какой-нибудь другой континент. Там мы тебе что-нибудь подберем. И вот — завтра улетаю. Так что учтите: здесь на каждом шагу можете нарваться на провокацию. И боже вас сохрани, никогда не мойте руки в ананасном компоте. Ну, авось когда-нибудь встретимся.

Он пошарил в бумажнике и вручил мне маленькую визитную карточку с немного захватанными уголками, где было напечатано латинскими буквами:

«Альфред Парасюк, интеллектюель».

Говорящий кот! Говорящий кот!

Американцы дали мне понять — разумеется, со всей деликатностью! — что действительно не следует чрезмерно восхищаться Нью-Йорком, потому что этот город — огнюдь не Америка.

— А что же?

— Все, что угодно, но только не Америка. Если вы хотите увидеть подлинную Америку, то ищите ее где-нибудь в другом месте материка.

— Хорошо. Я буду ее искать.

И я полетел в Вашингтон, округ Колумбия, хотя меньше всего можно было назвать полетом бесцветное передвижение по воздуху над просторами восточной части североамериканского материка в длинной закупоренной комнате пассажирского самолета, оклеенной синтетическими обоями с серебряным абстрактным узором и таинственными пробоинами в панелях, превращавшихся ночью в подобие карты звездного неба, в чем я убедился впоследствии, когда мне пришлось несколько раз передвигаться над Штатами после наступления темноты. Чехлы кресел были пропитаны запахом виргинских табаков, и я увидел двух молчаливых попутчиков в противоположных концах пустого салона первого класса. Один был черный, другой белый.

Впервые в жизни я видел такого негра — безукоризненно элегантного, одетого во все темное тропикаль, корректного и, видимо, богатого, с утонченно интеллигентными чертами прекрасного лица европейца, белоснежным воротничком вокруг длинной, несколько женственной шеи и с музыкальными пальцами, на одном из которых неярко светилось бледное обручальное кольцо очень хорошего тона — совсем тонкое, как новорожденный месяц в сумерках матовой узкой руки с дымчато-розовой ладонью.

Я уже когда-то видел подобные глаза, глядящие вам прямо в душу как бы из прорези полумаски.

— Отлично. Завтра я вас усыплю в лучшем виде. Ручаюсь, что вы даже не заметите. А теперь спите спокойно.

— Доктор, — сказал я тогда, — вы обещали меня усыпить, и это очень хорошо, но обещаете ли вы потом разбудить меня?

Он не оценил моей шутки, ничего не ответил и незаметно вышел.

Может быть, мой попутчик-негр был врач, отвергший психоаналитический подход «великого Фрейда» к функциональному психическому расстройству и ведущий поиски чисто медицинских средств излечения и предупреждения неврологических и психических расстройств, состоя на службе в какой-нибудь могучей фармацевтической корпорации.

А белый был обыкновенный американский генерал, по-видимому одного из высших рангов. Он был в непромокаемой шелковой куртке цвета луковой шелухи на алой муаровой подкладке и на длинной дубль-молнии самой надежной конструкции; прямые армейские брюки были заправлены в довольно высокие сапоги, руки в замшевых перчатках лежали на костлявых коленях, большой штабной портфель помещался в багажнике над его головой. У него было заурядное генеральское лицо: энергично выбритое, мускулистое, решительное, с красивыми бровями, лицо пятидесяти- или шестидесятилетнего, не слишком сильно, но регулярно пьющего мужчины, способного на любые, даже самые страшные, военные действия, если этого потребует обстановка или приказ высшего начальства. Если бы не его большая генеральская фуражка с американским орлом и маленьким лакированным козырьком, как в старой русской армии, надетая по-казацки несколько набекрень, его можно было бы принять за Врангеля, или Колчака, или еще какого-нибудь из контрреволюционных генералов времен интервенции. В его полукрытых глазах под щеточками ирландских бровей бежали крошечные зеркальные отражения полуголых человечков, пылали бамбуковые хижины, стреляли базуки, ползла по земле удушливо рыжая овчина горящего напалма и джунгли тонули в ядовитом дыму, над которым висели брюхатые стрекозы вертолетов с вяло вздернутыми хвостами.

Эти два гражданина Соединенных Штатов, столь чуждые друг другу по всему своему человеческому облику и вместе с тем скованные между собой нерасторжимыми узами древнего преступления, в котором

ни один из них не был повинен, соединенные всей мощью американской государственности еще более прочно, чем фазы земных суток, когда на нашей планете одновременно существуют, преследуя друг друга по пятам, белый день и черная ночь со всеми ее безумными сновидениями и подавленными желаниями.

А я — выходец из совсем другого мира, — как бы попавший в зону душевной невесомости, почти что плавал в своем откинута кресле где-то на пересечении дня и ночи и, покончив с грейпфрутом и громадными подогретыми тостами-сандвичами с консервированной ветчиной и консервированным сыром, украшенным мокрыми листьями салата, покрытого каракулями майонеза, уже держал в руке до смешного невесомую пластмассовую чашку, куда стюардесса в сексуальной пилотке на обесцвеченных волосах наливала через мое плечо из кувшиноподобного термоса широкую струю тяжелого, как золото, мокко, над которым клубился божественно горький пар.

...А когда утром меня приготовили, то есть вынули из моего рта старые зубные протезы, сняли с моей руки позеленевшие от времени стальные часы, побрили все мое тело, и тут же, не откладывая дела в долгий ящик, молоденькие девушки быстро и весело — с явным удовольствием — повезли меня на каталке по холодному коридору, покрытому скрипучим линолеумом цвета Атлантики, потом опустили в грузовом лифте и снова еще быстрее покатали уже в другом направлении по такому же безлюдно-стерильному атлантическому коридору в операционную, двери которой сами собой распахнулись перед нами, как в нью-йоркском интернациональном аэропорту, и я увидел голубых людей — главным образом молодых изящных женщин в полумасках, — и они переложили мое тело на узкий и твердый стол под круглым, еще не включенным прожектором, то я окончательно примирился со всем дальнейшим...

Между тем в иллюминаторе продолжали плыть грустные пространства зимней Америки — лесистые, иногда гористые, немного зеленые, с декадентскими облаками на горизонте. Масштаб местности увеличивался на глазах, из чего можно было заключить, что начался плавный спуск. По какой-то совершенно непонятной зрительной ассоциации я безошибочно узнавал никогда раньше мною не виденные города, над которыми первый раз в жизни летел в обществе моих молчаливых ангелов: одного черного, как ночь, другого белого, как день.

Нью-Джерси, Филадельфия, Балтимора — все было позади.

Когда же я увидел внизу совсем приблизившееся к глазам плавно закруглявшееся шоссе с белыми прерывистыми линиями посередине и на нем не слишком часто и не слишком быстро бегущие туда и обратно автомобили, плоские, как портсигары, огибавшие высокий электротрансформатор строгой формы, выкрашенный оранжево-красным крапунком, таким ярким, почти что светящимся среди вялых зимних газонов и узкоперых елей, то я понял, что мы приблизились к Вашингтону, к его новому, ультрамодернистскому аэропорту Даллас, но это меня теперь уже совсем не радовало, потому что я предчувствовал, что в столице Соединенных Штатов со мной повторится то же самое, что было в Нью-Йорке.

— Вашингтон — это не Америка.

— А что же?

— Все, что угодно, но только не Америка. Проезжий двор, где постояльцы меняются каждые четыре года. Настоящую Америку надо искать в другом месте.

— Где?

— Не знаю.

— На юге?

— Может быть. Это зависит от ваших политических убеждений.

— На юго-западе?

— Если вы отречетесь от совести и чести.

— На западе?

— Быть может, не уверен.

— Но все-таки?

— Ищите, ищите.

Это было странно и тягостно. В какое бы место Соединенных Штатов я ни попадал, я всюду слышал одно: это не Америка. Вы не туда заехали. Ищите Америку, где угодно, но только не здесь. Ищите, ищите.

Тогда я понял, что ни один американец не уверен, что он живет в настоящей Америке. Он убежден, что где-то в другом штате есть какая-то настоящая, подлинная Америка, обетованная земля для американца. Ему трудно поверить, что место, где он живет, именно и есть та самая знаменитая на весь земной шар великая Америка.

Я увидел Вашингтон, Хьюстон, Лос-Анжелос, Сан-Франциско, Денвер, Чикаго, Бостон, наконец злополучный Нью-Йорк, откуда, собственно, и начались поиски настоящей Америки.

Я уже не говорю о пути в ущельях Невады — слоистого плоскогорья, где белые полосы снега перемежались с винно-красными и палевыми полосами горных пород горизонтального залегания, кое-где как бы вышитые зелеными шерстяными елочками хвойного леса, что придавало им оттенок чего-то кустарного, белорусского, — и где в одном месте над нашим алюминиевым поездом на головокружильной высоте висел ледяной орган замерзшего водопада, из которого, как из моей немой души, нельзя было извлечь ни одного звука, ни одного стога, и где вдоль обледеневшей и занесенной снегами реки Колорадо, истыканной большими и малыми следами разных диких зверей, даже, может быть, оленей, — бесконечно долго длился зимний североамериканский закат, который я наблюдал, сидя под стекляннным колпаком на втором этаже обзорного туристского вагона.

Но я понял всю тщету своего путешествия лишь тогда, когда в конце концов в один прекрасный день увидел в иллюминаторе французского трансатлантического самолета пляжи Лонг-Бича и Джонс-Бича, заснеженные леса Канады, полуостров Лабрадор, а потом голубой кружок Атлантического океана с редкими белыми точками волн и мутной тенью атомной подводной лодки с ядерными ракетами.

Итак, я возвращался с пустыми руками, мне нигде не удалось найти настоящую, подлинную Америку, к чему я, впрочем, совсем не стремился: теперь в этом можно сознаться. Америка была для меня последней надеждой еще хоть один-единственный раз увидеть женщину, которую любил с детства, а точнее говоря — с ранней юности, потому что, когда мы узнали друг друга, ей было лет пятнадцать или около того, мне же немногим больше шестнадцати, а быть может, наоборот — ей шестнадцать, а мне пятнадцать, — но теперь это уже не имело значения. Может быть, она давно где-нибудь умерла и от нее осталось только имя, которое по какому-то странному суеверию я боюсь не только написать на бумаге, но даже произнести вслух, потому что в конце концов любое



человеческое слово, написанное знаками или произнесенное голосом, всего лишь только искаженное отражение самой вещи, ее приблизительное подобие, продукт деятельности второй сигнальной системы. Пусть лучше ее имя лежит в глубине моего сознания, как неприснившийся сон.

Вернее всего, она совсем забыла обо мне, тем более что между нами не только никогда не было никакой близости, но я даже не вполне уверен, догадывалась ли она, что я ее полюбил на всю жизнь с того самого лилового мартовского вечера, когда мы всей нашей маленькой компанией возвратились домой после прогулки по еще заколоченным приморским дачам, разыскивая в прошлогодней листве маленькие бледные фиалки — первые фиалки этой весны, распространявшие огуречно-водянистый, нежный, слабый аромат, — и потом она зашла к своей подруге для того, чтобы почистить ботинки и причесаться. Никогда не забуду я, как она сняла перед зеркалом в ореховой раме в передней свою форменную касторовую шляпу с атласным салатно-зеленым бантом и круглым гимназическим гербом, набрала полон рот шпилек-невидимок, которые проворно вынимала одну за другой из прически, и я вдруг увидел всю массу ее каштановых волос с рыжими кончиками, тяжело опустившуюся на ее детскую прямую спину, перекрещенную черными бретельками ее форменного, будничного саржевого передника. Ее маленькие ноги были обуты в башмачки на пуговицах, и темно-зеленое гимназическое платье закрывало лодыжки. Она была совсем не красива — маленького роста, с незначительным лицом, кое-где покрытым веснушками, со щечками, как у лягушонка, крошечным подбородком, выпуклыми веками и карими глазами, жемчужными, но лишенными индивидуальности, что, как я понял впоследствии, и есть ее индивидуальность. Так как она держала во рту шпильки, то ее щечки казались еще более лягушачьими, рыжеватые брови благовоспитанной, прилежной девочки хмурились, тесные рукава были обшиты узкими кружевцами, откуда высовывались кисти еще по-детски красных маленьких рук с неровно подстриженными ногтями, на которых я заметил несколько белых пятнышек — верная примета того, что скоро ей предстоит получать подарки. Эти подарочные пятнышки делали ногти немного сизыми, почти мраморными. Плоская грудь под черным передником тихо дышала. И я вдруг с ужасом понял, что полюбил ее на всю жизнь. Я ни секунды не сомневался в значении для меня того, что случилось, и ужаснулся, так как уже тогда твердо знал, что отныне я ее буду любить всегда, а она меня никогда не полюбит. И меня охватила такая щемящая — я даже не боюсь сказать — безумная грусть, описать которую не могу, потому что у этой грусти не было никаких причин и никакого внешнего выражения, как у абсолютного безмолвия.

Мы стояли в огромном мире друг перед другом — девочка-гимназистка и мальчик-гимназист — вот она и вот я, — и у меня под черной суконной гимназической курткой с потертыми докрасна серебряными пуговицами, под нижней сорочкой, на худой шее висел эмалевый киевский крестик вместе с холщовой ладанкой, где были зашиты два зуба чеснока, которые, по мнению тети, должны были предохранить меня от скарлатины и других напастей. Увы, они не предохранили меня ни от скарлатины, ни от еще большей напасти — от неразделенной любви на всю жизнь. Но, может быть, все же я просто выдумал эту вечную любовь.

Моруа утверждает, что нельзя жить сразу в двух мирах — действительно и воображаемом. Кто хочет и того и другого — терпит фиаско.

Я уверен, что Мэруа ошибается: фиаско терпит тот, кто живет в каком-нибудь одном из этих двух миров; он себя обкрадывает, так как лишается ровно половины красоты и мудрости жизни.

Я всегда прежде жил в двух измерениях. Одно без другого было для меня невысказано. Их разделение сразу превратило бы искусство либо в абстракцию, либо в плоский протокол. Только слияние этих двух стихий может создать искусство поистине прекрасное. В этом, может быть, и заключается сущность мовизма.

Посмотрев в большое окно, некогда выходившее в цветущий сад, полный перистой зелени белых акаций и лазури солнечного южного полудня, я увидел девушку, которая стояла, прячась за цветущим кустом, между двух молоденьких черных кипарисов. Она была белокурой, в веселеньком платьице и стройно стояла на розовой от зноя дорожке, посыпанной морским песком с ракушками. Мне показалось, что она исподтишка подглядывает за мной. Я опустил горячую полотняную штору и продолжал писать, а когда я пишу, то время для меня исчезает и не мешает моему воображению.

...Если бы я был, например, жидкостью — скажем, небольшой медленной речкой, — то меня можно было бы не переключать с каталки на операционный стол, а слегка наклонить пространство и просто перелить меня из одной плоскости в другую, и тогда мое измученное тело все равно повторило бы классическую, диагонально изломанную линию снятия со креста: голова свесилась, ноги упали, а тело со впалыми ребрами висит косо в руках учеников...

Когда наконец я снова поднял штору, уже приближался желтый вечер, но девушка продолжала неподвижно стоять на прежнем месте. Я ушел из комнаты, а утром вернулся, посмотрел в окно и снова увидел девушку. Мне это показалось чрезвычайно странным, даже зловещим, но, всмотревшись, я понял свою ошибку. Это была вовсе не девушка за кустом, а сам куст — цветущий розовый куст между двух молодых кипарисов, который я принял за девушку в цветном платье. Цветущий розовый куст как бы подсматривал за мной из глубины солнечного сада. А девушки совсем не было или это была Людмила в шапочке-невидимке в саду Черномора. А вернее, девушка была когда-то гораздо раньше, может быть, полстолетия назад, и тогда она действительно стояла на цыпочках, как балерина, на дорожке, посыпанной морским песком с рубчатыми ракушками, и она подсматривала за мной, а может быть, за кем-нибудь другим. Что же здесь действительность и что воображение? И в чем разница: был ли это розовый куст или семнадцатилетняя девушка? И вдруг я опять посмотрел в окно и на месте куста увидел девушку в нарядном платье. На этот раз ошибки не было, потому что девушка держала в руках лейку, из которой, изгибаясь, как конский хвост, бежали струи сверкающей воды. Она улыбнулась мне и ушла вместе со своей лейкой, оставив между двух молодых кипарисов пустое место. Но едва я на миг отвернулся, как на пустом месте уже снова стоял знакомый розовый куст, а девушки и след простыл.

Нечто подобное — весьма отдаленно подобное — произошло со мной в Вашингтоне в тот день, когда я вдруг заметил, что рядом со мной что-то порхнуло. Я обернулся, но ничего не заметил. Я стоял на двенадцатом этаже в коридоре гостиницы «Stalter Hilton», дожидаясь лифта: красная светящаяся стрелка, толстая и короткая, тупо показывала, что лифт наверху, но скоро вернется. Я был один. Из скрытого репродуктора

тянулась выводимая на трубе приглушенная мелодия бразильской бассановы, безысходно шемая музыкальная фраза, так нескончаемо растянувшаяся, как будто бы ее кто-то невидимый писал на незнакомом языке, не отрывая серого карандаша от бесконечно длинной стены, разделяющей земной шар по экватору на две равные части,— какое-то одно-единственное слово, растянувшееся на тысячи миль однообразного пространства. Бесшумно подошел и остановился лифт, бесшумно раздвинулись половинки толстой бронзовой двери, и я шагнул в роскошную комнату лифта, почувствовав, как под моими подошвами мягко спружинил пол, покрытый толстым ковром из синтетического меха. И в тот самый сокровенный миг, когда мое тело уже не находилось в коридоре, но еще не стояло в лифте, возле меня опять что-то мелькнуло — на уровне моего уха,— и у меня осталось такое впечатление, что пролетел голубь. Но половинки бронзовой двери бесшумно сошлись, и я мягко, почти неощутимо, вместе с комнатой лифта, наполненной леди и джентльменами, упал в пропасть и вышел на нижнем этаже в холле, затянутом цельным нейлоновым ковром размером в несколько сот квадратных метров. Проходя мимо стойки портье, я увидел стол, покрытый плоской кучей писем, которая сама собой увеличивалась, потому что откуда-то сверху мягко падали и ложились один за другим длинные конверты. Тогда я еще не понял связи между этими письмами и голубиным порханьем, которое заметил в коридоре, дожидаясь лифта. Однако вечером, возвращаясь в свой конструктивно целесообразный номер, едва лишь я шагнул из лифта в глухо молчаливый коридор, где все еще продолжалась шемая музыкальная фраза бассановы, как возле моего лица опять что-то порхнуло — белое, как голубь,— и пропало. Я остановился и с осторожностью сумасшедшего, подозревающего, что за ним кто-то тайно наблюдает, внимательно осмотрелся вокруг в глухой ночной тишине respectable гостиницы, где откуда-то просачивалась надтреснутая бразильская мелодия. Я осмотрел каждую пядь стены, служебный столик с небранной посудой и вдруг заметил на уровне своей головы застекленное оконце и под ним — медную начищенную полосу со щелью, какая бывает в почтовых ящиках, и в тот же миг за стеклом сверху вниз пролетело письмо — длинный конверт: синяя наклейка «*Vu air mail*» и непогашенная марка с профилем Джорджа Вашингтона в белом парике с косичкой. Таков был способ отправлять почтовую корреспонденцию в больших американских отелях. Письмо бросают в щель на любом этаже, и оно летит вниз, мелькая в окошечках, пока мягко не ляжет на стол портье, откуда его уже заберет почта.

Мимо меня сверху вниз пролетели белые голуби писем, как бы сигнализируя, что настало время и мне, воспользовавшись силой земного притяжения, бросить вниз свой конверт.

«Ждите меня, никуда не выходя из дома, между пятым и двенадцатым этого месяца, так как я точно не знаю, когда попаду в ваш город. Быть может, это последний случай увидеться нам в этой жизни. Не пропустите его».

Я подписался своим полным именем, но ее назвал так, как привык называть с детства, уменьшительно.

Шемая грустны были эти зимние дни в Вашингтоне, освещенном нежным солнцем, которое еще не стало весенним, хотя уже было и не вполне зимним. Такое солнце бывает в первую неделю после рождественских каникул. Праздники прошли, оставив после себя венки остролиста или омелы, украшенные разноцветными лентами, над красными полированными дверями дощатых особняков — серых с белыми

окнами и тонкими столбиками галерей, неубранные сугробы загрязнившегося снега, придававшие вашингтонским улицам нечто захоластное. В готических окнах новеньких с иголочки церквей, освещенных, как театральные макеты, розово догорали прощальные свечи минувшего праздника. Христос родился, вырос, затем улетел на небо, скрестив вытянутые ноги с красными дырами от гвоздей. Остались догорающие огни. Остались пустые ясли, снопы овсяной соломы, рогатые головы жующих волов с раздутыми ноздрями, золотые короны царей и драгоценные ларчики магов, муляжи которых я встречал повсюду: посреди непомерных газонов университетов и медицинских центров, при входе в отели, на школьных площадках; они были электрифицированы, и от них тянулись толстые провода. Синяя вифлеемская звезда исчезла с морозного неба, и маленькая зимняя луна ярко-гелиотропового цвета стояла непомерно высоко в мраморном небе над правым берегом старой индейской реки Потомак, над оленьими рогами североамериканского заповедного леса, над однообразными крестами Арлингтонского кладбища, где тогда еще не было могилы президента Кеннеди, и над кирпичными корпусами фабрики возле старомодного каменного моста с могучими быками в стиле тяжелой английской архитектуры викторианского века. Под голыми деревьями иногда появлялись фигуры одиноко шагающих людей. Среди них я увидел индейца в мокасинах, с томагавком, украшенным бахромой, в руке, с иссиня-черными прямыми волосами, висящими вдоль гончарного лица, который бесшумно скользил по опавшим зеленым листьям. Затем я увидел майора милиции Джорджа Вашингтона, высокого, долговязого, до сумасшествия настойчивого, в своем красном мундире и треуголке едущего верхом в гости к знакомой вдове. И когда их призраки — индейца и Вашингтона — пересекали зловещую поляну Арлингтонского кладбища, президент Кеннеди спокойно спал в Белом доме.

Перед отелем стоял бетонный вигвам ночного бара и рядом с ним громадный столб индейского тотема с черно-красным, чудовищно размалеванным лицом.

Чувство одиночества, охватившее меня с того самого мига, как я разжал пальцы и длинный конверт с красивым круглым вензелем отеля канул в медную щель и, меняя центр тяжести, полетел вниз, — с каждой минутой усиливалось. Подобное чувство охватывало меня иногда и раньше, нечасто, но почти всякий раз, когда я оказывался за пределами родины. Отчаянное, ни с чем не сравнимое чувство тоски по родине свойственно моей душе. Теперь же к нему примешивалось чувство смерти — иначе никак не могу его назвать. Смерть напоминала о себе все время.

Ее дуновение коснулось моих волос, когда я увидел посреди длинного экрана лезвие раскрытого перочинного ножа, отливающего красносиним блеском цветного фильма. В зале царил безмолвие ужаса, пронизанное сосудисто-волокнутой мелодией все той же бассановы, аритмично мерцающей, как умирающее сердце. Полосы света чернильно-синего, розового, красного, наконец зеркально-белого — резкие до боли в глазах — медленно, одна за другой, прошли по лезвию безмерно укрупненного ножа, готового в любой миг войти в живот и вспороть его снизу вверх, выпустив внутренности, а вокруг стояли белые и черные, курчавые, ирландски рыжие, прекрасные и отталкивающие, неподвижные, как статуи, отверженные, нищие духом и отталкивающие прекрасные в своей молодости — юноши Вест-Сайда.

На глазах у всех была зарезана, поругана, обесчещена и растоптана нежная любовь двух беззащитных возлюбленных — мальчика и

девочки,— а вокруг уже не торжественно гремел серебряный и хрустальный джаз Рокфеллеровского центра, а черный джаз ночного Гарлема, бара дядюшки Смула, смоляной и кирпичный джаз железных пожарных лестниц, подземных коридоров, брендмауэров, решеток и бетонных дворов, залитых нефтью, смешанной с кровью,— скользких, безвыходных ловушек, где каждую секунду можно было споткнуться о красный обрубок толстого пожарного крана с медной крышечкой, отражавшей колодец кирпичного двора и какой-то отдаленный пожар.

На глазах у всех умирала поруганная любовь, и неоткуда было ждать спасения, и маленькая вашингтонская девочка-модница с хвостом льянных волос на макушке, с нейлоновым мешочком воздушной кукурузы в дрожащей руке с перламутровыми ноготками, плакала, содрогаясь всем своим нежным, девственным телом, и слезы текли из ее синих глаз по прелестному, немного капризному личику прилежной школьницы, в то время как рыжий мальчик в блуджинсах, с двумя игрушечными пистолетами в белых лакированных кобурах на ковбойском поясе — наверное, ее младший брат — сердито говорил ей:

— Ну! Чего ты плачешь, дура? Ничего особенного не случилось. Просто они подрались на ножах. А зачем он связался с его сестрой? Перестань хныкать, ты мне мешаешь смотреть.

Но его голос непроизвольно срывался, рот кривился от непреодолимой муки, слезы сами собой бежали по веснушчатому лицу, и подбородок будущего боксера вздрагивал совсем по-детски, и в конце концов он положил свою голову с шевелюрой, как у президента Кеннеди, на плечо старшей сестренки, и они, не стесняясь своих слез, вместе оплакивали судьбу двух молодых возлюбленных Вест-Сайда. Это был дневной пятчасовой сеанс в кино на окраине Вашингтона, в зале сидели главным образом школьники — девочки с хвостиками на голове и мальчики в блуджинсах и клетчатых куртках — у них еще продолжались каникулы,— они молчали, охваченные ужасом, смотрели на черно-цветной экран, блестящий во тьме, как клеенка, и слезы текли по их лицам, слегка подсвеченным фотографически красными фонариками запасных выходов.

И с тех пор я полюбил Америку.

Не страну новых цезарей в демократических пиджаках и широких стэтсоновских шляпах, которая представлялась мне современным вариантом великой Римской империи со всеми ее грубыми изъявлениями и монументами, стадионами, ристалищами, мавзолеями, курульными эдификациями, мраморными креслами законодателей, грандиозными обелисками, отражающимися в длинных зеркалах прямоугольных прудов среди холмов заповедного индийского леса и английских лужаек города Вашингтона, вознесшего в бледное небо североамериканской зимы туманную, высокую папскую тиару антихудожественного capitoлийского купола, как бы утверждающего надо всем западным полушарием горькую истину, провозглашенную моим другом Анри Барбюсом, что всякие куполы, самые величественные, просто смешны, как колпаки, которыми гасили свечи.

Я полюбил Америку вашингтонских школьников, мальчиков и девочек, которые в разноцветной тьме дневного сеанса оплакивали разбитую и поруганную любовь белого Ромео и темной Джульетты, и, может быть, оплакивали свою беззащитную юность.

Я понял трагедию великого государства, выбравшего путь Рима, но не путь Афин.

Возмездие за преступление предков, которые обратили в рабство целый народ, лишили его родины и оставили своим потомкам ужасное наследство. Освобожденные рабы все равно остались рабами, потому что Америка не стала их родиной.

Я понял, что до тех пор, пока в Америке живут рядом черные и белые, не сливаясь и не признавая друг друга и формально считаясь равноправными гражданами этой несметно богатой и жестокой страны, где традиция властвует над законом и где белый полицейский может безнаказанно застрелить черного мальчика и целый народ лишен прав свободного человека,— Соединенные Штаты будут самым несчастным государством в мире, как богач, больной раком. Ему нет спасения. Для него нет лекарства. В листовке куклуксклановцев, наклеенной на стене одного вашингтонского дома, я прочитал: «Мы считаем необходимым, чтобы негритянская и все другие цветные расы в Америке осознали, что они живут на земле белой расы по милости белых. Они не должны забывать, что белая раса — это правящая раса по праву наследия и что она не собирается уступить это право». Не касаясь уже всей моральной низости этих слов, в них заключается прямая ложь: черные живут на земле белой расы вовсе не по милости белых, а потому, что некогда белые насильно привезли их сюда в цепях и превратили в рабочий скот, в рабов, так что говорить о милости — это значит сознательно лгать. Затем: «Белая раса — это правящая раса по праву наследия» — тоже ложь. Белая раса живет в Америке по праву сильного и жестокого на исконной земле цветных людей, индейцев, названных белыми краснокожими, которых они почти полностью истребили, а остальных заперли навечно в особые концентрационные лагеря, так называемые резервации. А то, что белые, правящая раса, не собираются уступить свое право — чего же иного можно ожидать от грубых и предприимчивых завоевателей, неслыханно обогатившихся на чужой, захваченной ими земле, применяя рабский труд? Так что же теперь делать? Черных уже двадцать миллионов. А главное, является вопрос, от которого холодеют правители сегодняшней Америки: что будет, если начнется мировая война? Можно ли ручаться за крепость американского тыла с двадцатью миллионами униженных и оскорбленных негров? В этом-то я и почувствовал страшную трагедию черно-белого государства, выросшего в результате страшного преступления, за которым не сегодня так завтра, не завтра так послезавтра — а в случае атомной войны немедленно — последует еще более страшное возмездие.

Однако стало подмораживать, розовый закат блестел на крышах одноэтажных домиков пригорода, похожих на киоски: парикмахерские, кафетерии, аптеки, хорошенькие заправочные станции, и я шел вдоль провинциально широкой улицы вашингтонской окраины, дыша холодным воздухом, в котором были как бы смешаны тончайшие предвесенние запахи жизни и смерти, но, в общем, это была светлая, даже приветливая улица, где почти все было новое: новые прачечные, новые бетонные светильники, новые столбики с зелеными и красными сигналами переходов — неярких, но очень заметных, временами судорожно мерцающих,— и все это чем-то напоминало выставку.

Но больше всего мне понравился здесь небольшой особняк в глубине палисадника без забора, с безупречным газоном и двумя вечнозелеными магнолиями с пластами легкого снега на мглистых, глянцево-розовых листьях — прелестный желтовато-розовый, как рахат-лукум, особнячок с рождественским веночком омелы над входной дверью и двумя стеклянными фонарями в виде факелов, матово светящимися в предвечер-

нем сумраке. Окна домика были задернуты белыми шторами, освещенными изнутри приветливым праздничным светом, так что мне сразу представилось, как хорошо и уютно в этом доме, где радушные хозяйки ждут гостей, а может быть, гости уже пришли и теперь сидят за старинным столом красного дерева чиппендейл перед лиможским блюдом с плумпудингом, охваченным голубым пламенем ямайского рома.

Черные мысли рассеялись. Вы заметили, как легко рассеиваются черные мысли?

По карнизу висела надпись — белое по голубому, — которую я не умел прочесть, но можно было не сомневаться, что она обозначала нечто вроде радушного приглашения войти. Этот домик как бы сошел с рождественской поздравительной картинки; он представлял собой яркий пример счастливого образа жизни среднеамериканской семьи, но в то же время в нем было нечто холодновато официальное, специфически вашингтонское, так что мне даже на минуту показалось, что, быть может, это какое-нибудь государственное учреждение, но я сейчас же отогнал от себя эту странную мысль и улыбаясь продолжал смотреть на гостеприимно освещенные непроницаемые окна.

— Хорошо бы войти в этот коттедж и посмотреть, что там делается.

— Вам он понравился?

— Очень.

— Это похоронное бюро панамериканской компании добрых услуг, — сказала переводчица, прочитав надпись. — Зайдем?

Не замедляя шага, я прошел мимо подъезда с двумя электрическими факелами и веночком остролистника, ясно представляя себе, как однажды маленькая пожилая женщина в Лос-Анжелосе переступила порог примерно такого же домика и увидела розово освещенный зал, где в образцовом порядке по номерам были выставлены на полу, как чемоданы, разные гробы мал мала меньше — прочные изделия американского фасона: широкие, с крышками — не высокими и островерхими, как у нас, а плоскими, удобными, не причиняющими беспокойства при погребальном обряде. Я неоднократно видел такие гробы в американских кинокомедиях, в театрах и потом однажды по телевизору, когда такой же гроб, покрытый звездно-полосатым флагом, установленный на старинном артиллерийском лафете и прикрепленный к нему двумя солдатскими ремнями, остановился у ступеней собора, где ждал его католический епископ в своей зловеще раздвоенной митре.

Обратимо ли время? Грустная мелодия бассановы.

Год назад у женщины, которой я послал письмо, умер муж. Я его очень смутно помнил, он тогда назывался Костя — тонкий, предупредительный студент в мундире с иголки и в твердом, высоком, темно-синем воротнике, из-под которого выглядывала тоненькая полоска крахмального воротничка, — хорошо помню также золотые дутые пуговицы с накладными орлами, — и, возможно, год назад она вошла в точно такое же бюро добрых услуг для того, чтобы выбрать гроб и заказать еще кое-что из необходимых вещей: траурные извещения, визитные карточки и коробку папетри с элегантными конвертами и бумагой в черной рамке. Может быть, там же она купила черную вуаль и белые погребальные цветы, а также заказала сильно увеличенную цветную фотографию — замечательную имитацию портрета масляными красками, работы хорошего художника-реалиста, умеющего довольно точно

передать сходство с оригиналом и вместе с тем сообщить его лицу приличную случаю значительность.

До сих пор не могу понять, почему она вышла замуж именно за него? И каким он стал впоследствии? Он всегда казался мне посредственностью. Во всяком случае он был не достоин ее. А, собственно говоря, почему не достоин? Студент-медик из хорошей семьи, с состоянием, наследник дачи на Среднем Фонтане, в перспективе — практикующий врач, недурен собой, некоторые даже считали его красивым, словом — вполне порядочный молодой человек, завидная партия, и, вероятно, безумно ее любил. Тогда было принято говорить: «Он ее безумно любит». И на фронт должен был идти не простым рядовым, вольноопределяющимся или даже прапорщиком, а военным врачом. Гораздо меньше шансов, что убьют. А что представляла из себя она, если не считать ее необъяснимой прелести, сводящей мужчин с ума? Тогда тоже принято было говорить: «Она сводит всех мужчин с ума». Если отбросить словесные украшения, она была просто-напросто бедная невеста, дочь проматавшегося бессарабского помещика, бесприданница, и на лучшую партию — как тогда говорили — вряд ли могла рассчитывать. Так что все было естественно, но помню, как страшно удивило меня известие, что она вышла замуж, хотя в то время моя любовь к ней уже давно прошла. Но это удивление было ничто в сравнении с чувством, которое я испытал в тот поздний вечер в неосвещенном городе, когда я ворвался к ним в комнату и увидел супружескую полуторную кровать, покрытую красным, стеганым, атласным, явно приданным одеялом и ее порозовевшие от волнения веки.

Они — он и она — молодожены, стояли передо мной радостно смущенные, так как это был самый разгар их медового месяца, а я был первый гость, пришедший к ним в их маленькую, почти бедную комнату, которую они наняли по объявлению, не желая жить ни у его, ни у ее родителей, сразу же заявив о своей независимости, тем более что уже шла революция и происходила переоценка ценностей. Они были счастливы в своем гнездышке — с милым рай в шалаше! — и ее маленькие меховые туфельки застенчиво выглядывали из-под кровати.

Больше всего меня поразило выражение счастья на ее уже вполне женском лице.

Я стоял в дверях, ломая обеими руками свою защитного цвета офицерскую фуражку с дырочкой и овальным пятном на месте кокарды, которую я уже снял вместе с погонами и нашивками за ранения. Мы с ней давно не виделись, а в этой комнате с толстыми стенами я вообще был впервые. Она стала меня усаживать, а он — тоже в военной гимнастерке с университетским значком, без погон, но при этом в длинных студенческих брюках со штрипками — засуетился, видимо, намереваясь разжечь керосинку со слюдяным закопченным окошечком, чтобы напоить меня морковным чаем с монпансье, что по тем временам считалось некоторой роскошью, он даже стал протирать полотенцем стаканы, а я не знал, куда деваться от жгучего стыда, и проклинал себя за то, что, как всегда, оказался тряпкой и согласился пойти к ней за деньгами. «Она тебе не откажет», — говорили друзья, это верное дело, у нее, безусловно, есть деньги, у молодоженов всегда есть деньги, а больше нигде достать, и, что самое главное, это совсем близко, так что мы еще успеем заскочить с черного хода и взять у этого грека несколько бутылок сухого эриванского, единственного вина, которое еще осталось в городе, потому что нет ничего хуже, когда люди недопьют. Она тебя любит, она тебе даст, — они говорили, что если я не пойду к ней, то буду не друг и товарищ, а самый последний предатель и меша-



нин и так далее. Я говорил, что не желаю унижаться, и чувствовал, как у меня дрожат губы. А они твердили:

— Унизься, дурак, унизься. Ну что тебе стоит унизиться!

У меня уже шумело в голове, мне было море по колено, и я храбро пошел к ней, а они дожидались меня в подворотне, — они оба потом стали знаменитыми людьми, и их имена можно найти в энциклопедическом словаре.

Она, конечно, сразу поняла, что я пьян, но не испугалась, а стала еще приветливее; теплые огоньки затеплились в ее глазах.

— Сколько лет, сколько зим, — сказала она и назвала меня по имени, как в детстве. — Вот так мы и живем. Садитесь и рассказывайте.

— Я к вам по делу, — через силу сказал я и тоже назвал ее уменьшительным именем. — Дайте мне займы рублей пятьдесят, я вам отдам не позже чем послезавтра, честное благородное слово.

Между нами всегда были такие возвышенные отношения — как тогда принято было говорить, «платоническая любовь», — и мне очень нелегко было вытолкнуть из себя эти слова, я бы их ни за что не произнес, если бы уже не был пьян. И я чуть не сломал лакированный козырек своей фуражки. Она была смущена еще больше, чем я, но и глазом не моргнула.

— Ах, пожалуйста, пожалуйста.

Она пошепталась с мужем, и Костя достал из-за иконы с двумя венчальными обожженными свечами и восковым флердоранжем странную ассигнацию в пятьдесят карбованцев, выпущенную гетманом Скоропадским, — деньги, которые тогда ходили у нас на юге. На бумажке были стилизованные, остро графические изображения украинца и украинки в свитках и сапогах работы знаменитого графика Егора Нарбута, странный фигоподобный герб, — и я как сейчас вижу грубую печать, толстую бумагу и плохие краски, желтую и голубую, этих денег, которые тогда уже почти ничего не стоили.

— Вы не беспокойтесь, я вам непременно на днях отдам, занесу. Когда вас можно будет застать дома? — говорил я, глядя на нее и удивляясь, как она похорошела, стала почти красавицей, и стараясь не замечать новенького атласного стеганого одеяла, от которого как бы распространялось по всей комнате алое зарево, в то время как на самом деле электричество не горело — не было тока — и комната освещалась самодельным светильником-коптилкой. Больше мы с ней уже не виделись, и последнее впечатление было: он, она, пятьдесят карбованцев, стеганое атласное одеяло, темный двор и друзья с поднятыми воротниками, которые ждали меня в темной подворотне, прижавшись к стене, а потом пустынная ночная улица, скользкие плитки лавы, по которым мы бежали, мокрая гранитная мостовая, винтовочный выстрел за углом и громыханье броневика, заставлявшего дрожать стекла в домах, начало переворота.

Конница Котовского с красными бантами в гривах лошадей лилась по чугунно-синим гранитным мостовым, высекая подковами искры.

Может показаться странным, что одновременно с этим на подоконнике стояло одна на другой несколько круглых никелированных коробок с двойными проволочными ручками. Но ведь не известно, что такое время. Может быть, его вообще нет. Во всяком случае каждому известно, что «не существует истинно прекрасного без некоторой доли странности». Это выдумал не я. Это открыл Фрэнсис Бэкон, основатель английского материализма.

Доля странности заключалась в том, что в никелированной поверх-

ности круглых коробок хотя и с мягкими искажениями и наплывами, но, в общем, довольно реалистично отражалась комната, наполненная голубыми девушками в марлевых масках, что отчасти напоминало «Принцессу Турандот» с ее увлекательным вальсом на губных гребешках. И в тот самый миг, когда я наконец разглядел плащаницу своего распростертого тела, очень яркий, но вместе с тем совсем не резкий свет операционной лампы, похожий на солнечный, ударил вдруг мне в глаза сверху, и я почувствовал позади себя присутствие пылающего шестикрылого серафима, перед лицом которого все расступилось.

Перстами, легкими, как сон, моих зениц коснулся он, и я увидел с высоты двадцать шестого этажа город Хьюстон — тревожное смешение старинных деревянных домиков, окруженных галерейками, и диких ступней с белыми небоскребами супермодерн, беспорядочно расставленными то там, то здесь, как пластинчатые прямоугольные башни, транзисторы и аккордеоны, а в пролетах между ними виднелись бесконечные плоскости тexasских прерий и небо в длинных мутно-розовых и серо-голубых полосах мексиканского заката, как бы напечатанного в литографии начала прошлого века на глянцевой обложке ковбойского романа для железнодорожного чтения: знаменитый ковбой Буффалло-Биль, крутя над головой лассо, стоит на стремянах взвившегося на дыбы мустанга.

Я смотрел в пространства Техаса, стараясь ориентироваться походящему солнцу и представить, в какой стороне находится Мексиканский залив, а где расположен главный город штата — Даллас.

Странная мысль, вернее ощущение, овладела мною, как только я поселился здесь, в одной из стеклянных ячеек «Sheraton Hotels», напоминавшего издали раму сотового меда, поставленную ребром среди нескольких других подобных же стеклянных рам, где в каждой ячейке жила человекоподобная пчела, может быть, даже личинка. Это было ощущение единства моего собственного тела и тела гостиницы, где меня поселили. Одновременно я был и человеком и зданием. У нас была общая структура, были общие клетки, обмен веществ, биотоки, химические реакции, рефлекс высшей нервной деятельности, работа пищеварительного тракта, кровообращение и температура, которая в виде многочисленных лифтов то поднималась бесшумно до сороковых градусов, то опускалась ниже нуля и на некоторое время замирала в состоянии анабиоза среди громадного пространства, устланного желтым мохнатым синтетическим ковром, уставленным тяжелыми сафьяновыми креслами и диванами ярко-красного цвета, где сидели обычные посетители гостиничных холлов: переводчики, руководители делегаций, агенты компаний, коммивояжеры, переодетые полицейские, детективы и журналисты, увешанные портативной электроаппаратурой, набором фото- и кинокамер и зеркальных старинных блицев. Тут же в прямоугольном мраморном бассейне, откуда торчала одна-единственная изящная тростинка, над мозаичным дном в голубой мелкой воде плавала деревянная утка-селезень с золотисто-зеленым ромбом бокового перышка — и неуловимое, кругообразное движение искусственной птицы поворачивалось у меня под ложечкой, как легкое поташнивание, как напоминание о скрытом сердечно-сосудистом заболевании.

Здесь же я сделал открытие, что человек обладает волшебной способностью на один миг превратиться в предмет, на который он смотрит.

А что, если вся человеческая жизнь есть не что иное, как цепь превращений?

В течение одной поездки из Хьюстона на ранчо я последовательно превращался в разные предметы. Сначала я на некоторое время превратился в автостраду, распростертую на равнине Техаса, твердой и плоской, как новороссийская степь, с сухими пыльными цветочками из числа тех, на которых всегда остаются следы колесного дегтя, и я — рассеченный осевыми линиями, ярко-белыми, прерывистыми, стремительными, — уносился вперед и назад к горизонту, где иногда появлялись видения новейших крекинг-заводов и таинственные серебряные шары водонапорных установок, и надо мной в три или четыре яруса проносились железобетонные пересечения эстакад, по которым один над другим разбегались мои бетонированные двойники, унося на себе встречные и попутные машины, неудержимо увлекая мое тело в разные стороны Техаса со скоростью восемьдесят или сто двадцать «майлс» в час, что практически делало их как бы неподвижными. Затем ненадолго я был грустным зимним солнцем Техаса, а также одним из первых автомобилей второй половины девятнадцатого века — прелестным произведением еще не вполне зрелого технического гения, называвшегося тогда «самодвижущийся экипаж», — с ярко начищенными медными фонарями и сигнальным рожком с гуттаперчевой грушей, которая с усилием выталкивала из его завязанного узлом тельца резкие гусиные крики, заставлявшие лошадей шархаться в сторону и становиться на дыбы.

Именно в таком красном автомобильчике Эмиль Золя ехал на процесс Дрейфуса, и подобным же автоматическим экипажем управлял, вцепившись в руль, страшный, мохнатый, как черт, шофер со зверским мефистофельским лицом, в громадных очках, так гениально грязно нарисованный на литографском камне Тулуз-Лотреком.

Свято сохраненный для потомства, чистенький, вымытый, с сафьяновыми креслицами, возвышающимися над комически маленьким радиатором, я, силой своего воображения превращенный в автомобиль, стоял на невысоком круглом пьедестале, окруженный папоротниками и мхами, посредине универсального магазина суперконструктивного стиля второй половины двадцатого века, простершегося среди пустой, еще не заселенной прерии, на пересечении новеньких штатных и федеральных автострад с их многочисленными ответвлениями, дорожными знаками и железобетонными светильниками, божественно изогнутыми, как стебли искусственных растений будущего, когда человечество научится создавать все тела органического мира, придавая им произвольную форму. Но зачем, спрашивается, понадобилось строить этот универсальный магазин, чудо строительной и архитектурной техники, верх простоты и удобства — без всяких модернистских украшений и финтифлюшек, — непомерно громадный и плоский, со светящимися потолками, газонами и цветниками, врезанными в черный и белый мрамор полов-площадей, удобно и красиво вмещающий в своих боксах миллионы предметов первой, второй, третьей, двенадцатой и сотой необходимости? Вокруг простерлась до самого безоблачного горизонта пустыня, и многочисленные покупатели, приехавшие сюда из Хьюстона скорее из любопытства, чем по необходимости, растворились среди плоско организованных пространств и свечения молочных потолков. Однако было бы неправильно считать, что вокруг была пустыня. Пустыня, да не совсем. Она была легко и почти незаметно разделена на строительные участки, куда под землей уже стройно тянулись водопровод, газ, телефон, электрический кабель, канализация, теплоцентраль — вся та сложная система нулевого цикла, которая превращала землю почти в живую плоть.

Некоторое время я был плотью сухой тexasской земли, отличаясь от нее только еще более сложной системой обратной связи.

На таком земельном участке не составляло никакой трудности возвести дом. Архитектура уже не имела значения. Можно было с удобством жить в простом деревянном ящике, где сразу же появлялись горячая и холодная вода в ванне, огонь в очаге, ватерклозет, душ, телевизор на десять программ с ретрансляцией из Нью-Йорка, Сан-Диего и Мельбурна, телефон с отличной слышимостью, лампы дневного и скрытого света, лед в холодильнике, так что можно было немедленно поселиться здесь с любимой женщиной и начать размножаться, не откладывая дела в долгий ящик, если, конечно, у вас было достаточно долларов, чтобы сделать первые взносы за участок с нулевым циклом и за все прочее. К тому же здесь, в штате Техас, проблема долларов решалась очень просто. Для этого даже не нужно было заходить в банк. Деньги можно было получать не внутри банка, а снаружи, прямо на улице: ваша машина проезжает мимо ряда косо поставленных мраморных кабинок. Вы останавливаетесь возле одной из них и прямо из машины протягиваете в окошечко с автоматической бронзовой решеткой ваш чек, раздастся звонок, решетка щелкает, хорошенькая кассирша с пистолетом под прилавком протягивает вам пачку зеленых бумажек, вспыхивает лампочка, скрытый в мраморной стене фотоаппарат делает с вас моментальный снимок, бронзовая решетка опускается, вы едете дальше по своим делам. Остается неясно, откуда раздобыть чек? Говорят, что об этом можно найти много интересного в «Капитале» Маркса. Но лучше не будем упоминать о Марксе в Техасе, самом — как утверждают — богатом нефтяном штате Америки, где я слышал эпическое повествование об одной бедной пожилой даме, которая в один прекрасный день обнаружила на своем маленьком земельном участке пласт высокооктановой нефти.

#### Легенда о бедной вдове.

«...И тогда, — гласит легенда, — бедная вдова обратилась в банк, где ей немедленно открыли кредит в один миллион долларов, так что она смогла купить все, что ей было нужно».

Не знаю, что ей было нужно, но думаю, что ей удалось легко и быстро удовлетворить все свои текущие потребности, а остальной капитал поместить на выгодных условиях в какую-нибудь слаборазвитую или колониальную страну с дешевой рабочей силой, после чего она была принята в самом лучшем обществе штата. Меня долго преследовал образ этой пожилой хьюстонской дамы, и, по-моему, я даже с ней где-то встречался: в упомянутом универсальном магазине среди прерий, где она покупала все, чего ей еще все-таки не хватало, или на рауте при свечах (дамы в вечерних туалетах, мужчины в черных галстуках), где она стояла полтора часа подряд, разговаривая со мной на ломаном французском языке с сильным мексиканским акцентом на тему о сравнительном психоанализе героев Достоевского и Толстого, а я (в хорошо начищенных мокасинах и черном шелковом галстуке) стоял, держа в руке высокий, обернутый бумажной салфеткой стакан с джин-тоником, в котором ландышево позванивали ломаные ледяные трубочки, и тоже шпарил по-французски, мучительно выковыривая из своей памяти, разрушенной склерозом, остатки французских идиоматических выражений, похожих на окаменевшие позвонки доисторических животных.

У нее на носу сидел слуховой аппарат в виде богатых очков, усыпанных мелкими алмазами, а золотой шнур соединялся с полупровод-

никовой транзисторной батареей, спрятанной где-то на груди под драгоценным капом из дикой смугло-песчаной норки, отливавшей бесценным блеском при свете витых восковых свечей, расставленных там и тут по всему старомодному салону, где происходил раут.

Ее рысистые ноги мускулисто переминались, шелковые длинноногие туфли на очень высоких каблуках и с бриллиантовыми пряжками слегка скользили взад и вперед по ковру, словно собираясь сделать несколько па мэдиссона, а глаза, пронзительные, как у галки, с непреклонной доброжелательностью глухой классной дамы смотрели прямо в мои глаза, и она, не умолкая ни на минуту, разговаривала по-французски, причем из ее открытого рта, оборудованного лучшими, совершенно новыми искусственными зубами и розовыми пластмассовыми деснами самой дорогой и самой знаменитой компании стоматологических протезов, все время вылетали сухие французские фразы, а когда их не хватало, на помощь приходили немецкие и даже итальянские слова-ублюдки, немедленно вызывавшие во мне ответный рефлекс красноречия.

В общем, все это напоминало историю небольшой Вавилонской башни, чему отчасти способствовало впечатление от ее шляпки, сооруженной из розовых ангельских перьев и вуалетки, прикрывавшей страстное лицо Савсаролы.

Потом она без передышки перешла к проблемам современной музыки и сделала интересное замечание:

— ...Ваш знаменитый композитор (не в состоянии выговорить его фамилию), о котором я когда-то довольно много читала в нью-йоркских газетах, совершил блестящий эксперимент, превратив популярную мелодию «Пойду к Максиму я» из «Веселой вдовы» Легара в лейтмотив своей симфонии, а потом через несколько лет гениально вывернул наизнанку «Аве Мария» Шуберта, создав оригинальный романс для одного популярного советского кинофильма...

Заметив, что я теряю сознание, старуха сделала небольшую паузу и бросила мне якорь спасения в виде вопроса, что я думаю об абстракционистах? Она пришла в неопишуемый восторг, услышав в ответ, что абстракционизм не имеет ничего общего с искусством, в частности с живописью, а скорее всего бессознательная попытка создать третью сигнальную систему связи, и затем обрадовалась, как дитя, и даже захлопала в ладоши, узнав, что я являюсь основателем новейшей литературной школы мовистов, от французского слова *mauvais* — плохой, — суть которой заключается в том, что, так как в настоящее время все пишут очень хорошо, то нужно писать плохо, как можно хуже, и тогда на вас обратят внимание; конечно, научиться писать плохо не так-то легко, потому что приходится выдерживать адскую конкуренцию, но игра стоит свеч, и если вы действительно научитесь писать паршиво, хуже всех, то мировая популярность вам обеспечена.

— Вообразите, я об этом до сих пор ничего не слышала, — в отчаянии воскликнула она, — наш Техас в этом отношении такая жуткая провинция! Мы обо всем узнаем последними! Но вы действительно умеете писать хуже всех?

— Почти. Хуже меня пишет только один человек в мире, это мой друг, великий Анатолий Гладилин, мовист номер один.

— Вы открыли мне глаза. Мерси. Прозит, — сказала она, поднимая стакан со льдом, после чего, исполняя общественную обязанность моей руководительницы, села за руль своего спортивного кара и с быстротой смерти домчала меня до подъезда «Sheraton Lincoln Hotel», где меня дождалась знакомая деревянная утка, неумолимо плавающая в плюском бассейне. Затем путем нажатия разных кнопок я очутился в своем

конструктивном номере лицом к лицу с ночным тexasским небом, местами подкрашенным неоновым и аргоновым заревом, которое лежало длинными горизонтальными полосками в щелях между пластмассовых лент жалюзи, опущенного на единственном окне, занимающем всю стену моего номера сверху донизу.

Оставшись один, я еще некоторый промежуток жизни продолжал быть хьюстонской дамой и все никак не мог отделаться от оригинальных идей относительно мовизма, пока не перевоплотился в свой гостиничный номер со всей его тоской ожидания, со всеми его механизмами, системами прямой и обратной сигнальной связи, со всеми его многочисленными махровыми салфетками, махровыми полотенцами, махровыми купальными простынями модного, почти черного цвета — в то же время стерильно чистыми, — в изобилии развешанными и разложенными пухлыми стопками в ванной комнате с раздвигающейся мутно-зеленой стеклянной перегородкой, отделявшей ванну от душевого бокса, где, нажав несколько кнопок, можно было запрограммировать себе душ любой температуры с точностью до полутора градусов в ту или другую сторону, разумеется, по Фаренгейту!

По Фаренгейту, господа, по Фаренгейту!

В изголовье моей механической койки помещался пульт дистанционного управления, так что я мог, не вставая с ложа, закодировать жизненный процесс своего отельного номера. Простым нажатием кнопки я мог заказать любую комнатную температуру и влажность, мог узнать прогноз погоды, давление атмосферы, биржевой курс, таблицу спортивных соревнований, рысистых бегов, последние известия, наконец я мог приказать разбудить себя в определенное время, хотя времени как такового, в общем, не существует. Я был одновременно и человеком, и его жилищем — так много общего было между нами, начиная с заданной температуры наших тел и кончая заранее запрограммированным пробуждением. Сначала пробуждалась комната, потом человек, если у него не было бессонницы.

Я нажимал с вечера кнопку, устанавливая минуту пробуждения, и это пробуждение наступало довольно точно, но не сразу, а как бы желая постепенно приучить меня к состоянию бодрствования и не слишком резко прервать мой сон, полный страстного ожидания встречи с ней и утомительных сновидений, которые потом невозможно было восстановить в памяти, потому что никто до сих пор не знает, каков физический механизм памяти.

Первой начинала пробуждаться комната, постепенно восстанавливая внешние, чисто функциональные связи системы и среды, весьма важные для процессов управления. Сначала сама собой в маленьком холле зажигалась неяркая лампочка. Потом в дистанционном аппарате что-то тихо щелкало, возникал ворчливый шум как бы с трудом начавшегося кровообращения. Я открывал глаза и вскакивал: кто зажег свет, если дверь номера еще с вечера была собственноручно мною намертво заперта патентованным замком, о чем свидетельствовала крошечная изумрудная лампочка — таинственный глазок, вделанный в ручку двери со стороны коридора? Кто посмел? И тут же вспыхивала вторая лампочка, более сильная, в ванной комнате. Затем зажигался торшер в моем изголовье, яркий, сияющий, золотой, как шестикрылый серафим с марлевой маской на лице. И вдруг весь апартамент озарился заревом плафона. Приборы дистанционного аппарата показывали все, что я у них требовал накануне. Шум в аппарате зловеще нарастал. Наконец раздался пронзительный электрический звонок, который я никак не

мог остановить, хотя и нажимал подряд все кнопки. Непрерывный, пронзительный звон сводил меня с ума, и тут же в кобальтово-синюю ванну стала низвергаться вода заданной температуры, наполняя номер бешеным гулом горячего водопада. В отчаянии я стучал кулаками по панельному устройству, но машина не унималась, с неумолимым упорством продолжая выполнять заданную ей программу.

Тогда я вылил туда кувшин кипятка, и оно успокоилось.

Все это было довольно-таки странно, но самое страшное таилось в телевизоре — в этом приборе, быть может, наиболее похожем на человеческий мозг, во всяком случае — на его способность превращать сигналы, идущие извне, в живые отпечатки, светящиеся, движущиеся изображения окружающего мира. Большой плоский телевизор стоял в противоположном конце номера, по диагонали от моего ложа, но я мог в любой момент включить его, не вставая с постели, стоило мне только нащарить нужную кнопку, и тогда начиналось нечто похожее на игру в пятнашки: все десять телевизионных программ одна за другой быстро пробегали по сверхчувствительному, приятно выпуклому экрану молочной голубизны, вытесняя друг друга и не давая возможности сосредоточиться ни на одной, а я должен был мгновенным нажатием кнопки поймать и остановить ту программу, которую хотел бы смотреть. Но это казалось мучительно трудно. Едва я собирался прихлопнуть усмирение необъезженных лошадей — чертовски злых, бешеных животных, которые, упираясь передними ногами в землю и выбросив задние почти вертикально вверх, сбрасывали с себя неудачного седока в ковбойской шляпе, и он катился кубарем в пыли прерии, а потом навсегда замирал на спине, раскинув руки среди каких-то степных, почти украинских цветочков, — как вдруг экран начинало лихорадить, по его светящимся строчкам бежали черные полосы смерти и врывалась новая программа: два космонавта с тонкими рогами антенн над синтетическими шлемами сидят рядом в межпланетном корабле, управляя сложными и запутанными приборами, и время от времени смотрят в черный иллюминатор, где медленно проплывает громадная ярко-белая луна, а в это время сзади вдруг отодвигается потайная дверь и входит негодяй, держа в каждой руке по бесшумному автоматическому атомному пистолету... Еще миг — и вспыхнут выстрелы, но тут, прерывая на самом интересном месте тягостное сновидение, очень крупным планом выкатывается, вернее скользит, как по льду, разворачиваясь из своей хрустящей обертки, большой кусок туалетного мыла с глубокой, выразительно вдавленной печатью фирмы, и бархатный бас незримого идеально чистоплотного мужчины — самца-друга и любовника — вкрадчиво рекомендует умываться именно этим душистым, элегантным, недорогим и полезным для кожи мылом. Я нажимал кнопки, но телевизор уже окончательно вышел из-под моего контроля. Кадры сменяли друг друга с ужасающей быстротой, программа вытесняла программу, черные полосы смерти чередовались с белой рябью жизни, возникали люди, пейзажи, конференции, взмахи филардельфийского оркестра, спектакли, богослужения, аэродромы, ракеты, белый поднос хоккея с кружащимися фигурками.

И выступление всемирно известного русского эксцентрика с пузатой фигуркой ваньки-встаньки и глупо лицемерной улыбкой вокруг злого, шербоного рта; он показывал свой коронный номер: искусство ставить твердую фетровую шляпу в форме перевернутого вверх дном горшка на лысую голову, поддерживая ее одними только ушами; едва он в четвертый раз проделал этот опыт и уже собирался раскланяться, как вдруг высунулась нога, дала ему под зад, и он вылетел с арены...

Но я уже ничего не понимал, бессильный справиться с аппаратом, вышедшим из повиновения. Иногда мне даже казалось, что аппарат существует совершенно самостоятельно, по своему собственному произволу. Но самое тягостное было то, что я уже никак не мог не только приказывать ему, но даже хотя бы просто прекратить его механическую работу, мельканье, разорванные звуки, мгновенные обрывки какой-то музыки или человеческой речи, заставить его замолчать, померкнуть, сделаться мертвой вещью. Кажется, мы поменялись с ним функциями. Не я управлял им, а он мною, пользуясь все тем же самым дистанционным устройством. Он насильственно останавливал мои мысли, гнал их вперед и назад, и в моем мозгу, измученном ожиданием, мелькали отрывки различных сюжетов, навязанных мне чужой волей.

Из личности свободной я стал личностью управляемой. О, как тягостно быть управляемым, в особенности если тобой управляет механизм! Я сделался придатком этой проклятой полупроводниковой машины.

Я был не волен даже в своих сновидениях. Чужая воля, сила извне, гоняла их вперед и назад по своему усмотрению. Именно так: «и назад», хотя известно, что время необратимо, то есть всякий материальный процесс развивается в одном направлении — от прошлого к будущему. Однако здесь, в Хьюстоне, я убедился, что в момент крайнего душевного напряжения или длительной потери сознания из этого правила бывают исключения, и тогда время начинает бежать в обратном направлении — из будущего в прошлое, принося с собой обломки событий, которые еще должны произойти. Я не знаю, как объяснить это явление, но здесь оно произошло со мной, когда я наконец страшным усилием воли вырвался из плена управляющего мною электрического прибора и остановил на экране телевизора несколько сюжетов, принесенных из будущего. Потом, года через полтора, в другое время и в другом месте, я увидел эти же самые кадры, появившиеся вполне законно, по дороге из прошлого в будущее.

Но теперь, в Хьюстоне, они были выходцами из будущего.

Я увидел убийство президента за год до того, как оно совершилось.

Улица в траурном городе Далласе, носившая название Хьюстон-стрит, прыгала во все стороны, потому что кинооператор ехал в машине, снимая президента. Потом запрыгала другая улица. У кинооператора дрожала рука. Президент сполз с сиденья, и его голова нырнула вниз, в темноту, поползла по коленям Жаклин. Кто-то вскочил. Кто-то бежал. Толпа устремилась в сторону. Все это произошло на расстоянии каких-нибудь двухсот миль от Хьюстона, где я впервые в жизни стал свидетелем обратного движения времени. Люди в широкополых тexasских шляпах с загнутыми вверх полями осаждали двери госпиталя, куда унесли президента, но вот толпа замерла, разделилась, и между двумя рядами неторопливо проследовал, прижимая к груди молитвенник, корректный священник в хорошо сшитом гражданском костюме, в глубоко черном шелковом галстуке, в черной широкополой шляпе, одновременно и тexasской и ватиканской. Его лицо было бесстрастно, а глаза устремлены вперед и несколько выше, чем когда смотрят вперед обыкновенные люди. Он был уже необыкновенный человек. Он был священником, внезапно сделавшимся известным всему миру. Громчайшее паблисити!

И сейчас же по какому-то безрадостно серому коридору полицейские провели неврастеника в наручниках, но не успел он выйти за рамку кадра, как из стены вышел толстый человек, которого сначала никто не заметил, и проворно сунул в пень неврастенику пистолет, и неврастеник повалился на руки полицейских и на глазах у всех превратился в



ть, и все побежали и окружили толстяка с пистолетом, желая в свою очередь тоже превратить его в серую тень, но в это время лента кончилась, а когда экран снова вспыхнул, я увидел Жаклин в бежевом пальто с черным меховым воротником, которая бежала, держась за металлические ручки санитарного автомобиля, безуспешно пытаясь открыть задние дверцы, за которыми покачивалось окованное тело президента, и ее лицо — показанное самым крупным планом — прекрасное, неподвижное, с широко расставленными темными глазами и коротким, немного вздернутым носом, — прыгая, держалось некоторое время, занимая весь экран, а потом Жаклин быстро, как школьница, подобрала полы пальто и прыгнула на сиденье рядом с шофером, и на ней была очень короткая — по моде того сезона — юбка, открывшая зрелые ноги молодой, богатой, счастливой американки, еще не вполне осознавшей, что вот она уже вдова...

А потом весь экран заполнило крупным планом лицо человека-дядла с водевильной фамилией Прохиндейкин.

Книга превращений. Концерт. Репортаж.

Вдоволь насмотревшись в темный иллюминатор самолета компании «Дельта» на ночные города, разбросанные в просторах континентальной Америки, как связки елочных украшений, я стоял в номере лос-анжелосского отеля возле стандартного торшера, прижав к уху телефонную трубку, и слышал ее голос. Самое поразительное, что это был не чей-нибудь другой, а именно ее голос, и он произнес с волнением мое уменьшительное имя и сказал, что она ждет меня вот уже целую неделю, никуда не отлучаясь из дома.

— Вы рады? — спросил я.

— Очень, — ответила она с тем особенным, тайным значением, с каким она всегда произносила это слово в прежней жизни. Это было «ее» слово. Она носила его на себе, как брошку с полудрагоценным камнем. Оно — это слово — выделяло ее изо всех ее подруг. Оно сводило с ума ее поклонников: произносить слово «очень» именно с такой интонацией, в которой можно было найти любой самый сладостный смысл, было ее изобретением.

— Вы любите Брамса?

— Очень, — произносила она негромко, значительно, заставляя предполагать всю глубину, страстность и богатство ее натуры.

— Вы любите осень?

— Очень. — Она слегка опускала на карие глаза свои женственно выпуклые веки.

— Вы любите весну?

Веки радостно поднимались:

— Очень! — И взгляд ее проникал в глубину души.

Однажды я, преодолевая робость, за которую сам себя презирал, в отчаянии спросил, стараясь улыбнуться замерзшими губами:

— Вы меня любите?

— Очень, — ответила она серьезно глубоким, приглушенным голосом и посмотрела мне прямо в глаза своими совсем некрасивыми глазами, которые казались мне прекрасными.

Боже мой, как я мучился!

Студент Саша Миклашевский, богач и красавец, спросил ее:

— Вы любите кататься на лодке при луне? У меня есть на Ланжероне ялик.

Он был высок ростом и строен.

Она подняла к нему головку, отягощенную короной каштановых волос с челкой, и, глядя на его маленький румяный рот, который он в это время незаметно для себя облизывал, сказала:

— Очень.

А потом все играли в поцелуи, и, когда настала их очередь, они удалились в соседнюю комнату, побыли там некоторое время и вернулись с таинственными, скромными улыбками, и я тогда чуть не сошел с ума от ревности: мальчик-гимназист, у которого на глазах у всех отнимали его девочку.

Но все же это было ничто в сравнении с тем отчаянием, даже ужасом, когда много лет спустя, после долгого отсутствия, после войны, Сморгони, удушливых газов, ранений, февральской революции, многих романов и связей с разными женщинами, считая, что я уже навсегда избавился от своей юношеской любви, казавшейся мне совсем несерьезной и даже комичной, я пришел к ней и застал в гостинной молодого человека — мальчишку — курчавого ученика музыкального училища, который, не сводя с нее огненных, нежных, молящих глаз, аккомпанируя себе на старом рояле, ударяя по желтым клавишам своими железными пальцами виртуоза с такой страстью, что в пыльной мещанской гостинной вся плюшевая обстановка ходила ходуном и не было слышно грохота ломовиков, мчавшихся порожняком под балконом по Херсонскому спуску на Молдаванку, пел романс «Безумно жаждать твоих лобзаний», а она стояла — маленькая, с чувственно полуоткрытым ртом, полуопущенными веками — и смотрела на его скачущие, худые, почти мальчишеские руки с кольцом, сплетенным явно из ее волос, на одном из пальцев... Его звали Рафаил, Рафа, фамилию его я уже забыл.

— Вам нравится? — спросила она меня.

— А вам?

— Очень.

Тогда я мог бы убить себя, если бы, по счастью, не оставил свой офицерский наган дома на вешалке.

На рассвете мы возвращались с ним усталые, измученные по пустынному и неряшливому после дневных митингов городу, и он торопливо шагал рядом со мной, слегка подскакивая, по шуршащим осыпавшимся сухим цветам белой акации, ласковый, доброжелательный, нежно поглядывая на мой георгиевский крест, мерцающий в предутренних сумерках, зеленоватых, как морская вода.

Через сорок лет, прижав к уху телефонную трубку, в Лон-Анжелосе, машинально положив свободную руку на небольшое, изящное издание библии на английском языке — убористый шрифт, тончайшая бумага, — непременно принадлежность каждой американской гостиницы, я как будто бы не просто разговаривал по телефону со знакомой дамой, которая объясняла, как отыскать ее дом, а давал какую-то странную клятву и в то же время видел за окном внутренний сквер с квадратными газонами, каннами и магнолиями, угол светло-серого бетонно-стеклянного многоэтажного корпуса, вдалеке две светло-серые бетонные эстакады, одна над другой, наискосок, — знаменитое круглое здание, — и редкий поток неподвижных автомобилей как наглядное доказательство того, что неподвижность есть всего лишь форма движения, и наконец — перемежающиеся ряды высоких железобетонных светильников и еще более высоких вашингтонских пальм с непропорционально маленькими головками — метелочками порыжевших и поломанных сухим зимним ветром из Мексики, острым, как наждак, холодным, беспощадным, несущим вдоль калифорнийских пляжей длинные, плоские тихоокеанские

волны, такие же дикие и враждебные всему живому, как и те злые чайки, которые на раскинутых крыльях носятся над ними, оглашая окрестности убийственно механическими кошачьими криками.

...И однообразно голубое (может быть, даже синее) небо, отполированное все тем же мексиканским ветром, проносящимся откуда-то из Сан-Диего над скучными промышленными апельсиновыми садами, увешанными смугло-желтыми стандартными — один в один, — как бы искусственными плодами, подогреваемыми снизу керосиновыми печками, возле каждого дерева, — ветром, проносящимся над вечнозелеными кустами растения «пуансета», осыпанного ярко-красными цветами, хорошо заметными издали, как сигнальные огни семафоров, над игрушечной страной Диснея, воплощением моего детского представления о мире с его резиновыми слонами, обдающими наш колесный пародок струями воды, как из брандспойта, с путешествием на подводной лодке, где в иллюминаторах сквозь бисерные потоки воздуха передо мной передвигались безмолвные картины зеленого подводного царства. И среди колышущихся водорослей и мутных обломков кораблекрушений таились все сокровища моей фантазии: громадная раковина, рубчатые створки которой — как бы дыша! — медленно приоткрывались, показывая неземную радужную белизну жемчужины величиной с кокосовый орех; возле обломка грот-мачты, обросшей тропическими моллюсками, позеленевший бронзовый сундук, из которого на илистое дно струились золотые монеты — старинные полновесные дублоны! — и морское чудовище смотрело на меня выпученными глазами, между тем как мексиканский ветер все пронесился и пронесился — над виллой Стравинского, одно имя которого само по себе уже было как бы зимним ветром из глубины Мексики со всеми его смычковыми, духовыми, ударными, шипковыми инструментами, связанными между собой гениальным контрапунктом; над собачьим кладбищем на вершине голого холма; над кафетериями и конторами Голливуда; над «косыми скулами» Тихого океана, за угрюмо пылающим горизонтом которого на склоне другого полушария мне все время чудились очертания моей страны; над вечерней улицей, где я наконец разыскал ее темный дом.

Еще издали я увидел ее неподвижную фигуру, хотя в сумерках она почти сливалась с обнаженным черно-железным кустарником, росшим перед небольшим одноэтажным домом. Можно было подумать, что она ждет меня здесь с незапамятных времен, вечно и уже превратилась в небольшое серое изваяние. Эта мысль не показалась мне странной, потому что формальное измерение времени, искусственно оторванного от пространства, общепринятое у людей — годы, сутки, часы, минуты, столетия, — дает лишь условное, искаженное представление о подлинном времени. С трудом переводя дыхание, я довольно быстро взошел с проезжей части улицы по каменным плитам, заменявшим лестницу, на верх поросшего травой откоса, что было весьма обычно для темноватой провинциальной американской улицы, и остановился со шляпой в руках, не в силах поверить, что передо мной действительно стоит она, и все еще продолжая думать о песочных часах, о том, что гораздо более точное представление о времени дает не песок, сыплющийся неощутимой струйкой из одной колбочки в другую, а простой камень, «с течением времени» превращающийся в песок, или же песок, превращающийся постепенно в камень и снова «с течением времени» делающийся песком, потому что здесь я не только ощущаю, но вижу разрушительное или созидательное действие времени, не отделимого от материи. Точнее всего я могу узнать время не по часам, а, например, рассматривая свою руку, усыпанную уже довольно крупными коричневыми пятнышками старости — так на-

зываемой гречкой, и я вижу неотвратимое разрушение своего тела, и когда я протягивал ей свою руку, то подумал: «Без четверти вечность». Вероятно, она прочитала мои мысли, потому что сказала: «Сорок лет» — и ввела меня в свой дом. И вот мы опять, как тогда, в начале жизни, стояли друг против друга — вот я и вот она — одни-единственные и неповторимые во всем мире, посреди традиционного американского полуосвещенного холла, где в пустом кирпичном камине бушевало, каждый миг распадаясь на куски и вновь сливаясь, газовое пламя — искусственное, неживое, слишком белое, такое же самое, как почти во всех местных холлах и ресторанах, — бесцветно слепящее и обжигающее лицо пламя богатой калифорнийской зимы, — а на низком прямоугольном длинном столе для газет и журналов, тревожно озаряемый льющемся мертвым светом, стоял в серебряной раме на подставке портрет красивого господина с добрым незапоминающимся лицом — копия с фотографии — масляными красками. Я, конечно, не узнал бы «Костю» в этом респектабельном джентльмене, изображенном почти во весь рост, по колени. Если бы из-под его жилета выглядывали концы муаровой орденской ленты, то его легко можно было бы принять за президента какой-нибудь не слишком большой европейской республики вроде Португалии; все аксессуары, окружавшие его, были именно такого сорта: массивный чернильный прибор, которого он касался кистью красивой руки с тонким обручальным кольцом, и полки красного дерева с солидно переплетенными книгами позади немного седой благородной головы порядочного человека.

Она хотела что-то сказать, вернее всего подтвердить, что это именно он, но подумала и промолчала, так что он как бы остался лишь свидетелем, но не участником нашего свиданья, продолжавшегося почти всю ночь и потом перед моим отъездом еще несколько часов подряд до тех пор, пока мы не выпили весь запас чая, который был в доме; желтые этикетки «липтон» в громадном количестве висели из-под крышки английского чайника, где мокли и никак не могли размокнуть остывшие и разбухшие мешочки из папиросной бумаги с заваркой мелкого черного цейлонского чая. Эти мешочки всегда удивляли меня поразительным свойством своей шелковой бумаги промокать, но никогда не разваливаться даже в самом крутом кипятке. Мы все время пили чай, и наконец разбухшие мешочки «липтона» вытеснили всю воду из чайника, и уже больше нечем было утолять жажду, а все это никому не нужное, выдуманное свидание представлялось мне тягостным погружением в самые нижние слои бесконечно глубокого моря, разделявшего нас тяжелой водой молчания, сквозь которое с трудом взаимопроникали наши слова, иногда доходя до сознания подобно какой-то слуховой галлюцинации, а иногда растворялись без следа где-то рядом с сознанием как неприснившиеся сны, не оставляющие в памяти никаких следов.

У нас плохо работала обратная связь, все время прерываемая какими-то помехами извне, черной и белой рябью.

В сущности, я пришел сюда лишь затем, чтобы узнать, любила ли она меня когда-нибудь? Всю жизнь меня мучил вопрос: «Что это было?» Но всю жизнь — она и я — мы находились в необъяснимом оценении, близком к небытию. Как человек, погруженный в наркотический сон, но при этом каким-то образом все-таки сознающий, что он спит и мучительно хочет проснуться, но никакими, самыми отчаянными душевными усилиями не может вырваться из крепкой оболочки сна, так и я теперь никак не мог разорвать туго спеленавшего меня молчания и уже готов был задохнуться и навсегда остаться лежать на дне под страш-

ной тяжестью давивших на меня километров неподвижной воды, как вдруг последним усилием воли заставил себя увидеть большое окно, за которым очень красиво, но как-то отвлеченно сияло солнечное русское июньское утро со всеми его подробностями: верхушками больничного сада, ангельским небом, по которому где-то в районе Кунцева струился нежный, шелестящий свист реактивных двигателей шедшего на посадку самолета, и автострадой, по которой я сотни раз в жизни проезжал туда и назад, всякий раз любуясь зрелищем рождения нового мира и многобашенным пирамидальным зданием, напоминавшим по ночам елку с электрическими лампочками. Среди полей, лугов и лесов угадывались химические заводы, космодромы и клетчатые рогатки высоковольтных передач, шагающих во все стороны единственной в мире, неповторимой, трижды благословенной страны моей души, которая дала мне столько восторгов, столько взлетов, падений, разочарований, столько кипучей радости, высоких мыслей, великих и малых дел, любви и ненависти, иногда отчаяния, поэзии, музыки, грубого опьянения и божественно утонченных цветных сновидений, которые так сладко и нежно спились мне на рассвете при робком шелканье первых соловьев,— словом, столько всего того, что создало меня — по своему образу и подобию — именно тем, что я есть, или, вернее, тем, что я был, потому что я уже не мог вырваться из пелены сна, но вдруг в последнем порыве, от которого содрогнулось все мое существо, я все-таки сумел заставить себя произнести слова — не те, самые главные, единственные,— а другие, слова, поразившие меня своей бедностью:

— Скажите, почему вы тогда не вышли за меня замуж?

— Молодая была, глупая,— тотчас с какой-то бездумной горестной легкостью ответила она, как будто ожидала этого вопроса, и продолжала, слегка склонив голову, немного снизу глядя на меня, не вытирая глаз и покорно улыбаясь, в то время как позади нее на стене я видел смутно знакомую мне акварель — единственную вещь, которую она более сорока лет тому назад захватила с собой: русская девушка, почти девочка, в цветном платочке, осторожно несущая перед собой четверговую свечку в бумажном фунтике, чтобы мартовский ветер ее не задул; свечка озаряла девичье лицо снизу таким образом, что нижняя часть щек, круглых и румяных, как наливные яблочки, была ярко и нежно освещена, а верхняя тонула в тени, и счастливые глаза с сусальными огоньками в каждом зрачке смотрели невинно и ясно прямо на меня, и сейчас же я вспомнил Блока:

Мальчики да девочки  
Свечечки да вербочки  
Понесли домой.

Огонечки теплятся,  
Прохожие крестятся  
И пахнет весной.

— Помните? — спросил я, и она сейчас же, словно непрерывно читала мои мысли, ответила автоматическим голосом:

Ветерок удаленький,  
Дождик, дождик маленький,  
Не задуй огня!

В Воскресенье Вербное  
Завтра встану первая  
Для святого дня.

Она замолчала, но теперь уже я в свою очередь читал ее мысли и видел то, что видела она: наш первый, последний и единственный поце-

луй, который никогда не считался за настоящий, потому что мы не просто поцеловались, а «похристосовались», то есть совершили общеобязательный обряд.

Возле празднично убранного стола с куличами, розовыми стружками гиацинтов, крашеными яйцами вокруг зеленой кресс-салатовой горки, с окороком и серебряной бутылкой малиновой наливки братьев Шустовых она стояла с невыспавшимся после пасхальной ночи, но свежесмытым лицом и выжидательно смотрела на меня, слегка приподняв руки в длинных кружевных рукавах, до половины закрывавших ее пальцы с наполированными ноготками. Она смотрела на меня, не скрывая любопытства: что я буду теперь делать? Впервые я увидел ее тогда не в гимназической форме, а в легкой великоватой блузе с дырочками «бродери», сквозь которую просвечивали розовые шелковые бретельки и которая ей совсем не шла, придавая ее девичьей фигурке нечто дамское.

— Христос воскрес,— сказал я более решительно, чем этого требовали обстоятельства, и неуверенно шагнул к ней — чистенький, вымытый, тоже не выспавшийся, пахнувший тетиным одеколоном «брокер», с жесткими волосами, насаленными фиксажуром, и в новых скрипящих ботинках.

— Воистину,— ответила она и спросила улыбаясь: — Надо целоваться?

— Приходится,— сказал я, с трудом владея своим грубо ломающим голосом.

Она положила мне на плечи руки, от которых как-то по-старинному пахло цветущей бузиной — может быть, именно потому, что кружева рукавов были как бы немного пожелтевшими от времени,— и мы формально поцеловались, причем я близко увидел ее растянувшиеся в улыбке сомкнутые прохладные губы с маленькой черной мушкой и глаза, не выразившие решительно ничего, даже смущения. Тогда же я впервые увидел ее отца, хотя часто бывал у них в гостях: ее отца никогда не было дома, всегда он либо уже ушел, либо еще не возвратился из клуба.

Он вошел в новом сюртуке и белом жилете, на ходу вкладывая в бумажник крахмально-белые карточки, приготовленные для визитов, на которые он отправлялся. Она представила меня, назвав мою фамилию и уменьшительное имя. Мы похристосовались, он слишком внимательно, с каким-то непонятым любопытством посмотрел на меня, затем пожал мою ледяную руку и налил в две зеленые рюмочки — себе и мне — малиновой наливки. Мы чокнулись, выпили, и я, никогда в жизни еще не пивший вина, почувствовал, что сразу опьянел от одного лишь запаха, наполнившего мой рот и носоглотку восхитительным летучим, как бы горящим малиновым вкусом, а за окнами с высохшей, потрескавшейся замазкой раздавался утомительный перезвон пасхальных колоколов из Михайловского монастыря, над кустами сирени с надутыми почками и воробьями, по водянисто-голубому небу плыли белые облака, солнце сияло в ртутном шарике наружного термометра Реомюра, по крашеному подоконнику ползала ожившая муха, и я смотрел маринованными глазами на ее отца, на твердые белоснежные манжеты с золотыми запонками, на его крепкую голову, постриженную бобриком и хорошо посаженную на короткое, коренастое туловище отставного офицера, проживающего молдавское имение своей жены за ломберными столами дворянского собрания и в Екатерининском яхт-клубе.

— Вы помните моего покойного папу? — спросила она, продолжая непостижимо следовать за моими мыслями.

— Я все помню, — ответил я грустно.

— Я тоже, — сказала она, и мы замолчали, и это молчание длилось невероятно долго, длилось до тех пор, пока она не решилась сказать мне то, что, по-видимому, тяготило ее уже много лет, всю жизнь.

Она положила свою сухую, уже старчески легкую руку на мое плечо и, глядя на меня по своему обыкновению как бы немного снизу, произнесла голосом сестры:

— Вы знаете, мой покойный папа незадолго до своей смерти вынул из секретного ящика своего письменного стола и молча показал мне фотографическую карточку вашей покойной мамы, ту самую, где — вы помните? — ваша покойная мама снята семнадцатилетней епархиалкой в форменном платье с круглым отложным, твердо накрахмаленным воротничком вокруг нежной шеи, с овальным смуглым лицом и японскими глазами. Оказывается, они — мой папа и ваша мама — были когда-то знакомы. И я думаю, — она вздохнула глубоко и почти неслышно, — и я думаю, что мой папа был когда-то влюблен в вашу маму и, может быть, даже любил ее всю свою жизнь до самой смерти. Вот что случилось в нашей жизни, мой друг, — грустно прибавила она...

А тем временем мы уже опять стояли — на этот раз навсегда прощаясь — перед ее домом — я и она, — и мне запомнилось лишь немного из того, что она тогда — последний раз в нашей жизни — говорила, неотрывно глядя в мое лицо:

— ...На улице бы я вас не узнала, а в поезде бы узнала... Когда же мне сказали, что вы расстреляны, я пришла домой, села на диван и окаменела... Я даже не могла плакать... Я совсем окаменела. Я не могла согнуть рук. У меня было такое чувство, будто бы я превратилась в кусок камня... И уже вокруг меня ничего не было... Какое счастье, что это оказалась неправда и вы живы... вы живы...

— А может быть, это все-таки правда и я давно мертв?!

— Тогда, значит, нас обоих уже давно нет на свете.

— Быть может.

И вырвал грешный мой язык.

Зимний ветер из Мексики пролетал над крышами Лос-Анжелоса. Сухо шелестели вашингтонские пальмы. Лежала грифельная полоса Тихого океана, и где-то за далеко тлеющим горизонтом ощущался другой материк, и там мерцала страна моей души.

Она все еще продолжала стоять вверху у порога — маленькая, темная, неподвижная, — и с ужасом смотрела на мои обуглившиеся крылья, — и потом, когда уже машина, распластавшись, текла мимо бетонных светильников и коттеджей, я в последний, в самый последний раз обернулся и увидел ее совершенно неподвижную фигурку, которая как бы лишний раз подтверждала, что неподвижность есть всего только одна из форм движения, — темную фигурку на верху откоса, рядом с голым, как бы железным кустарником.

Потом я еще раз увидел растение, осыпанное ярко-красными, как бы светящимися цветами — сигналами калифорнийской зимы, — но я уже забыл, как оно называется. Его название вертелось на языке, я мучительно напрягал память, но не мог вспомнить — ассоциативные связи разрушились и не у кого было спросить.

Теперь Америка почти совсем потеряла для меня интерес, она как бы лишилась души, напоминая прелестную искусственную страну вроде Диснейленда. Зачем я сюда так страстно стремился?

Вечная любовь. Альфред Парасюк. Книга для немногих. Пуансета. Голубые люди. А теперь в подробном изложении.

— Мы тогда в Париже бегали с Костей каждый день в пять часов вечера в «Куполь», но никак не могли вас застать. Где вы тогда пропадали?

Что я мог ей ответить? Я пропадал у Барбюса. Я был влюблен в его «Кларте». Я не отрываясь смотрел в узкое темное лицо Барбюса, на волосы, косо упавшие на широкий, наклонившийся ко мне лоб, и слушал его голос, в котором для меня тогда звучала величайшая истина нашей эпохи:

«Никто не подозревает, какую можно создать красоту! Никто не подозревает, какую пользу могли бы извлечь из расточаемых сокровищ, каких высот может достичь возрожденная человеческая мысль, заблудшая, подавленная, постепенно удушаемая постыдным рабством, проклятием заразной необходимости вооруженных нападений и оборон и привилегиями, унижающими человеческое достоинство; никто не подозревает, что она может открыть в будущем и перед чем преклониться. При верховной власти народа литература и искусство, симфоническая форма которых едва еще намечается, приобретут неслыханное величие, как, впрочем, и все остальное. Националистические группировки культивируют узость и невежество и убивают самобытность, а национальные академии, авторитет которых покоится на неизжитых суевериях, — лишь пышное обрамление развалин. Куполы институтов, вблизи как будто величественные, просто смешны, как колпаки, которыми гасили свечи. Надо расширять, интернационализировать неустанно, без ограничения все, что только возможно. Надо разрушить преграды, пусть люди увидят яркий свет, великолепные просторы; надо терпеливо, героически расчистить путь от человека к человечеству: он завален трупами людей, и каменные изваяния заслоняют дугу далекого горизонта. Да будет все это преобразовано по законам простоты. Существует только один народ, только один народ!»

А где была ты?

— У меня здесь больше никого нет. Никого на свете. Я могу жить вполне прилично, но я осталась совсем одна.

Это было последнее, что я от нее услышал; и эти бедные слова преследовали меня еще некоторое время днем и ночью, сначала в ущельях Невады, где, может быть, в это время в пещерах производились подземные атомные взрывы, не слышные снаружи, но о которых я догадывался по усиливающемуся сердцебиению, потрясающему всю нервно-сосудистую систему моего организма; потом среди железных эстакад Чикаго, в утренних зимних сумерках его гангстерских трущоб, в угольно-черных щелях между старинными небоскребами и новейшими шестидесятиэтажными пластинчатыми винтообразными башнями двух зданий недорогих квартир, возле непомерно длинной набережной, охваченной облаками морозного тумана, все время наползающего на город с озера Мичиган, о присутствии которого можно было лишь смутно догадываться по льду на ресницах, по оловянно-перламутровому мерцанию, по могучему северному ветру, несущему в лицо жгучий холод всего водного пространства невидимого озера, окаменевшей от стужи Канады, ледяных пространств Арктики; наконец — эти бедные слова преследовали меня среди респектабельных кирпичных домов и церквей, придающих городу Бостону особую, почти религиозную строгость и скуку в те дни, когда в молчаливом многоэтажном госпитале, днем и ночью окруженном фото-



репортерами и операторами телевизионных корпораций, на высокой кровати, поставленной посредине отдельной палаты, подпертый свежими большими подушками, среди цветов и золотогорлых бутылок французского шампанского в ушат с битым льдом,— неумоимо разглагольствуя, умирал девяностолетний Роберт Фрост, знаменитый американский поэт, поворачивая во все стороны грозные, как у пророка, и наивные, как у ребенка, рыжие глаза на неподвижном пергаментно-пятнистом лице, уже как бы захватанном коричневыми пальцами вечности.

Я видел, как он, громадный, как глыба, придавленная к земле страшной тяжестью годов, казавшийся горбатым, с длинными руками, почти касавшимися пола, и короткими, как корни, кривыми ногами, в просторном новом костюме, поддерживаемый почитателями и вашингтонскими чиновниками, шел среди колонн и скульптур конгресса принести свои поздравления вновь избранному молодому и веселому президенту Кеннеди, как бы олицетворяя старую Америку Марка Твена и Лонгфелло, пожимающую руку Америке новой.

Теперь он, лежа с бокалом в руке на высокой хирургической кровати, смотрел на меня в упор и, стараясь, чтобы кликб не пролилось на его белоснежную рубашку, открывавшую коричнево-пергаментную шею, усеянную гречкой, говорил в повышенно пророческом бостонском стиле, обращаясь к кому-то, видимому лишь ему одному.

Может быть, он видел за моей спиной испепеленные крылья, и это заставляло его еще больше волноваться.

— ...Мне смешно,— говорил он,— слышать, когда люди уверяют, что ее не будет. Можете мне поверить: она вполне может когда-нибудь разразиться. Но если она разразится... Люди, я призываю вас к этому... Человечество, прислушайся к моему голосу... Во имя высшей правды, если начнется всеобщее мировое безумие,— не отравляйте колодцев, оставляйте на деревьях яблоки, чтобы люди могли утолить голод и жажду, если мы не хотим, чтобы жизнь на земле навсегда исчезла. Я кончил. А теперь говори ты,— сердито сказал он и с усилием коснулся своим бокалом моего бокала. Он в упор смотрел на меня своими настойчивыми глазами, которые в этот миг вдруг показались мне искусственными и как бы глядящими в прорези пятнистой маски, молчаливо требуя моего ответа.

Что мог сказать ему я в эту последнюю минуту нашей земной встречи? Я мог сделать лишь одно — громко провозгласить название этого вечнозеленого калифорнийского растения, осыпанного среди зимы ярко-красными, светящимися цветами, но я забыл это слово, единственное, которое могло спасти мир и спасти нас всех. Подавленный, я молчал, но во мне уже таинственно звучал далекий голос другого великого поэта Америки, родившегося здесь, в Бостоне, более века тому назад.

— Что за надпись, сестра дорогая,  
Здесь, на склепе? — спросил я, угрюм.  
Та в ответ: — Улялюм... Улялюм...  
Вот могила твоей Улялюм!

И когда французский самолет повернул в океан и я уже успел посмотреть сегодняшние парижские газеты с громадными траурными клише обледеневших трущоб и трупов людей, замерзших предыдущей ночью в Бельвиле, и пожарных, откачивающих воду из подвалов, где лопнули трубы, и я узнал, что «божоле» снова подорожало на десять сантимов за литр, и я дремал в ожидании Европы,— то все это время испытывал чувство сладостной опустошенности, как человек, который нырнул на

страшную глубину для того, чтобы поднять со дна мраморную статую богини, и всплыл на поверхность, полумертвый от нечеловеческого напряжения, простирая к небу ладони, в которых среди водорослей и голубого, текущего по рукам песка оказалась всего лишь маленькая, почти черная от времени терракотовая статуэтка женщины, вдовы, пролежавшая на дне несколько тысячелетий.

Да, припомнил я волны Оберы,  
Вспомнил область туманную Нодд!

Может быть: Опыт построения третьей сигнальной системы?

Теперь, когда я возвращался обратно из мира Стравинского в мир вывернутого наизнанку Шуберта, ко мне постепенно — миг за мигом — возвращалось время, которое так необъяснимо исчезло, когда я летел через океан туда, — вздох за вздохом — возвращалась жизнь, погруженная в гипнотический сон.

Да, припомнил я берег Оберы,  
Вспомнил призраков в зарослях Нодд!

...И гад морских подводный ход, и дольней лозы прозябанье...

Поседевшая от горя жена по-прежнему стояла на промасленных шестигранниках взлетной полосы, превратившейся в посадочную площадку, отражавшую сигнальные огни аэровокзала, с трудом пробивающиеся сквозь ночной туман. Она взяла меня молча под руку, и мы снова пошли как ни в чем не бывало по забытой улице, где старик в вязаных обгорелых перчатках с отрезанными пальцами жарил каштаны и над жаровой шейкой носились плотные облака морозного воздуха, освещенные заревом голубой электрической вывески театра Сарры Бернар, где по сцене бегал в коротких сапогах, заложив руку за борт пикейного жилета, император французов, и мы купили у старика пакетик крупных обугленных каштанов, обжигавших руки; но обугленная скорлупа легко снималась, и мы ели каштаны, как школьники, потратившие на лакомство свои два последних су и потерявшиеся в большом городе. Я где-то обронил перчатку, пальцы озябли, и я дышал на них, стараясь согреть.

Нам страшно захотелось вернуться назад, туда, где в своей люлочке спала наша внучка, изо всех сил сжимая в смуглых кулачках маленькие морские звездочки, собранные во время отлива; туда, где под толстой соломенной крышей нормандского овина, под величественным балдахинном спали Козловичи и видели во сне две Германии — одну Демократическую, другую Федеративную, — будучи не в состоянии решить, по какой из них прокатиться в туристском автобусе; где в садике под цветущим каштаном валялся мотороллер юной молочницы, а она сама, смешав свои белокурые волосы со стриженными волосами нашего сына — Шакала — спала блаженным сном праведницы, положив обольстительную пунцовую щеку на его голую руку, а на полу были разбросаны: красное платье, нейлоновые чулки без шва, на спинке стула висел черный девичий бюстгальтер с белыми пуговицами, а на письменном столе, рядом с бидоном, стояли резиновые кеды, а сам Шакал спал посапывая и казался без очков как новорожденный котик; туда, где наша дочь Гиена, скрестив вытянутые ноги, спала крепким сном, спрятав под подушку новый роман одного из самых известных современных movie stars, в то время как ее муж, стоя у чертежной доски с тяжелым противовесом, обдумывал принцип моделирования третьей сигнальной системы; где на газоне стояла полуобгоревшая машина и в ней спали Остапечки, оба

крупные, счастливые, большие любители путешествия; где по шоссе бесшумно неслись, распластавшись, машины лучших мировых стандартов, отражая своей поверхностью поток неоновых огней обержей и тревожных сигналов заправочных станций, дорожных указателей, светящихся реклам, городов и театров; где мы так нежно и так грустно любили друг друга.

Но, вероятно, в этот миг что-то произошло, потому что мы уже ничего вокруг не узнавали. Да, собственно, ничего и не было. Торчал лишь обугленный угол электрического трансформатора, срезанного по диагонали. Он торчал, как обломок зуба. Остальное все — поле, дачи, сосны, роши, кладбище, станция, церковь времен Иоанна Грозного, тонкая перекрученная струйка родниковой водички, все люди — знакомые и незнакомые, — все перестало существовать, все изменило форму. Волнистый пепел простирался во все стороны до самого пустынного горизонта, по серой черте которого волнисто двигались маленькие шафранно-желтые шапочки лисичек и на коромыслах качались чашечки крошечных весов. А за горизонтом простиралась такая же самая пустота и так далее и так далее до бесконечности, а затем и после бесконечности, а с бесцветного — и, в общем, больше уже не существующего — неба сыпалась странная, невидимая и неосязаемая материя, продукт какого-то распада. Наша одежда и наши волосы тоже превращались в ничто и падали неосязаемыми частицами сухого тумана, и мы медленно и безболезненно, разматываясь, как клубок шерсти, съеденной молью, стали разматываться, разматываться, разматываться, превращаясь в ничто.

Нам совсем не было страшно, а только бесконечно грустно.

— Вернемся назад, — успела промолвить жена, становясь совсем прозрачной, размытой и неподвижной, как сновидение или даже как воспоминание о сновидении. Она прижалась к моему плечу, тая на глазах и теряя вес, и я понимал, что мы уже никогда никуда не вернемся, потому что я не мог вспомнить названия вечнозеленого куста, усыпанного среди зимы очень яркими пунцовыми цветами, а лишь одно это могло спасти нас: за серой пеленой неба, улетаая в мировое пространство, уже безмолвно бушевало и лизало со всех сторон Вселенную странное пламя распадающейся материи, невидимое, неосязаемое, холодное и вместе с тем распространявшее острый, неприятно свежий запах железной ржавчины, запах кислорода, которым я, оказывается, давно уже дышал через гуттаперчевые трубки, глубоко вставленные в ноздри, слыша, как на губах сквозь марлю шипят пузырьки кислорода, и довольно ясно понимая, что я уже не сплю, а лежу на высокой хирургической кровати в своей палате, что черная кровь, которая по капле стекает в банку из дренажей, есть моя кровь, что за окном внизу сияет сад моей души, что узкоглазый анестезиолог не забыл меня разбудить, что человек не может умереть, не родившись, а родиться, не умерев, и что сравнительно недалеко, возле Святого колодца, вероятно, по-прежнему стоит знакомый старик и терпеливо моет свои бутылки.

Переделкино.

1962—1965 гг.



В. КОНЮШЕВ

★

## ДВЕНАДЦАТЬ ПАЛОЧЕК НА ЗЕЛеной ТРАВЕ

Повесть

*Грузия, берег Йоры, 17 июля 1943.*

**П**од копытами Змейки тугим барабаном гудит каменный проселок. Я знаю: если будет погоня, Змейка уйдет от нее. Мне нельзя попасть в руки сопляков из 744-го взвода. Это их конный патруль кружит с вечера у деревни, перекрывая дороги к передвижному курсантскому лагерю.

Тяжесть четырех фляжек с вином на моем ремне так приятна, что я улыбаюсь. Десять минут назад старый грузин осторожно потрогал ладонью мой погон с широким золотым басоном на черном поле, на котором желтеют буквы «Тб»,

— Офицер будет, да?

— Будем, папаша. Спасибо. За твоё здоровье выпьем.

Пофыркивая, Змейка легкой рысцей спускается на каменную россыпь берега Йоры. Наша тень от луны падает почти до середины белой реки. Змейка упрямится, когда я толчком шпор заставляю ее идти через пенную полосу переката...

Мы сидим у костра — наш отделенный Володька Коробов, Эдик Айрапетов, Алешка Оленев и я. Ночь такая светлая, что даже поверх костра видно — к нам идет человек.

Алешка Оленев лениво встает.

— Товарищ старшина, первое отделение семьсот сорок третьего взвода седьмой батареи Тбилисского артиллерийского училища к празднованию вашего дня рождения готово! Курсант Леха Оленев!

— Брысь, салага,— говорит старшина Миша Цыганок и тяжело валится на мою разостланную шинель. — Консервов я приволок.

Эдик Айрапетов, насупив густые брови, раскладывает на газете кусочки брынзы. Нож Алешки Оленева с противным визгом режет крышки консервных банок.

Старшина смотрит на Володьку Коробова.

— Слухай сюда, Павлович... В тэбэ какой шкоды немає в той биографви?..

— Прошу прощенья за невежливость.— Володька улыбается.— Почему моя биография вдруг заинтересовала ваше превосходительство?

— Ты не крути вола за хвост. Подполковник из Тбилиси приехав, из штаба. Я строевую записку носил, мимо палатки комдива як раз... А комдив говорит тому подполковнику, шо, мол, из него выйдет хороший офицер... Чуешь?

— Из кого? Из комдива?

— Та я ж тобі серьезно, салага ты... О тебе ж говорено! Я ж твою фамилию слыхав. Комдив ше сказал, шо ты выделяешься той, як там... интеллигентным уровнем чи шо... Поняв?

Володька, все еще улыбаясь, проводит ладонью по короткому ершику темных волос.

— Ребята... давайте выпьем за дядю-подполковника, чтоб он добрым был...

— Ну, я тоби як друг сказав, бильше молчу,— говорит старшина.

— Дай бог, дай бог...— говорит почему-то Володька, завинчивая крышку пустой фляги.

Мы закусываем брынзой.

Пофыркивают лошади.

За белой от пены Йорой—два желтых пятнышка. Это, наверное, в штабных палатках первого дивизиона не спят офицеры.

— Володь, та шо ты зажурывся? — негромко говорит старшина.— Та плюнь ты на того штабиста. Давай ще трохи выпьем, щоб дома не забували, га?

Старшина протягивает Володьке свою флягу.

— Господа офицеры,— говорит вдруг Володька.— Уж-жасно хочется потрясти ваши закаленные сердца правдивой повестью о самой лучшей девчонке на свете...

— Трави,— говорит Цыганок — Трави, Павлыч, покуда тебя на цугундер не взяли.

Он расстегивает воротник гимнастерки. Мы разливаем остатки вина.

— Серега, на Змейке гонял? — Старшина подозрительно смотрит на меня.

— Боже упаси. На Моряке. Шажочком.

— Опять брешь. Смотри, Листвин, комбат узнает — башку оторвет!

— Мир полон тайн, Мишенька,— говорит Володька.— Не узнает.— Пощелкав пальцем по фляге, он отбрасывает ее.— Все вылакали, пушкарн. Напиться бы, как на свадьбе...

— На чьей? — говорю я.

Володька откидывается на спину, заложив руки под голову, щурится на луну.

— Ну, ладно,— говорит он.— Так вот, господа офицеры, в некотором царстве, некотором государстве жила-была девица красоты будь здоров, ни в сказке не встретишь, ни устно не доложишь. И звали ее Ма...

Володька покусал губу.

— Заедание затвора,— объявил Оленев.

— Гильзу раздуло, Вова? — посочувствовал Айрапетов.— Дайте ему экстрактор.

— Лирикой подавился, прошу прощенья,— сказал Володька, усмехнувшись.— Звали эту кралю Мирва. Вот так. Мирва.

Костер погас. Так даже лучше. Поплескивает Йора за моей спиной. Длинные тени от лошадей подбираются к нам — здесь, у берега, хороша трава.

## ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

### 1

Он шел по тротуару неторопливо, с удовольствием слушая цоканье подковок на каблуках ботинок. Тяжесть вещмешка, наброшенного обеими лямками на левое плечо, была приятна. Мешок был настоящий — соседка подарила, Нелли Константиновна,— темно-зеленый, с густо застроченными вдоль лямок белыми швами. И даже узкие, валявшиеся в сумке еще с седьмого класса, линиялые лыжные штаны и старенький пиджачок из черного вельвета полностью соответствовали тому чудесному ощущению лихой бродяжьей свободы, которое охватило Володьку этим последним июньским утром 1941 года.

На широкой ступеньке школьного крыльца странно неподвижно, выставив облупленные, исцарапанные коленки, сидели мальчишки из пятого «А», бегавшие сегодня по слободе Восстания с повестками для старшекласников.

— Ну-с, господа фельдгегери, как воинский дух? — сказал Володька, поставив правый ботинок на нижнюю ступеньку.— Послужим престол-отечеству?

Мальчишки шевельнули коленками.

— История не забудет ваших подвигов. Но не поддавайтесь своим слабостям, джентльмены! Признайтесь — вас терзают угрызения совести. Особенно того доблестного рыцаря в синей майке, который решил изучить устройство звонка от моего велосипеда... Но ничего, я терпелив. Смею надеяться, что сегодня к вечеру звонок вернется на свое место.

Мальчишки, половина из которых была в синих майках, хмуро улыбались.

— На фронте мародеров шлепают на месте. Даже за гайку от звонка. Вот так, джентльмены.

Володька шагнул в промежуток между двумя мальчишками, и в лицо ему ударил приятный после июльского пекла полумрак вестибюля. От желто-красных плиток кафельного пола несло холодком.

Он протолкался к окну, где стояли девчата из его класса.

— Привет труженикам колхозных полей!

— Володь, требуется бригадир, — сказала Валюха Зотова, обращаясь к нему.

— Заплачете, бабоньки, слезами горючими, аки Ярославна, — сказал он, сбрасывая вещмешок на подоконник. — У меня чтоб этого баловства и вообще — ни-ни...

Таких голубых глаз никогда еще не видел Володька. Рядом с его вещмешком на подоконнике сидела какая-то незнакомая девчонка. И сарафан с узкими полосками плечиков тоже был голубой. А челочка над темными длинными бровями — светлая. Она была совсем маленькая — ноги свешивались с низкого подоконника, далеко не доставая до пола.

— Просите всем обществом, а то отказ дам, — сказал Володька. — И помощника мне, слугу верного и надежного, подать немедленно.

— Я буду помощником, — сказала, засмеявшись, голубоглазая, и Володька догадался, что она татарка.

— Валентинушка, никак детские ясли к нам прикомандировали? — Володька посмотрел на Зотову.

Девчонки засмеялись.

— Мирва, слышишь комплименты? — пошлепав голубоглазую по щеке, сказала Берта Иванова. — У нашего старосты галантерейное обращение, смотри, не устоишь!

Володька осмелился глянуть в голубые глаза Мирвы.

— Товарищ помощник, наведите-ка дисциплинку. Бунтовщиков и подстрекателей — вешать на реях.

— А где веревочки? — Мирва улыбнулась, покачала ногами в белых тапочках.

Володька посмеивался. Надо было давно перейти к ребятам — они толпились возле двери в учительскую. Моська Бушканец уже начал, кажется, поглядывать сюда припухлыми глазами... Опершись локтем на свой мешок, Володька постукивал каблуком.

— Валечка, прошу на деловое совещание, — сказал он и отвел Валюху к дверям раздевалки.

— С первого взгляда... Роман-тич-но. Справочку дать? — Валюха усмехнулась. — Ну, что тебе? Из тринадцатой. Ее класс позавчера уехал за Волгу, она на даче была. Ну, она с нами. Из восьмого, цыпленочек. Глаза красивые, да?

Володька потрогал согнутым указательным пальцем подбородок.

— Понятно. А фамилия?

— Шарафутдинова. Татарский стандарт. Между прочим выгодная невеста. Восьма. Папочка — замаркома или что-то в этом роде.

— Плевать мне на папочку.

— Глазки у Мирки...

— Это мне известно, Валенсия. За информацию куплю тебе, так и быть, конфетку. Нет — пряник.

Кто-то закричал от учительской:

— Граждане колхозники! Давай на выход!

— Девятый «Б» — строиться! — Это Моська Бушканец перед завучем выслуживается, скотина.

— Ну, пойдем, — сказала Валюха.

Мирва шла все медленнее и медленнее. Потом встала на блестящий от солнца рельс, легонько раскинула руки и пошла маленькими, плавными и цепкими шагками. Ни разу не оступилась. Ее голубой сарафан полоскался от ветерка с Казанки.

Старшая группы, завуч Анастасия Михайловна, раза два уже оглядывалась, махала им рукой.

Володька, посвистывая, брел с Моськой Бушканцем. Тот тащил желтый чемодан Мирвы, горбясь под своим рюкзаком.

— Вы еще живы, гражданин Бушканец? Дьявольская выносливость. Завидую.

Мося, не отвечая, перекинул из руки в руку чемодан. По узкому смуглому лицу его бежал пот. Моська, ну почему ты такой благородный шенок? А ведь сам еле ноги тащит... Взять у него чемодан, а? Нет уж, пусть благородный Моисей прет этот чемодан. И так Анастасия Михайловна, когда команда строилась перед школой, успела улыбнуться... А может, она просто так улыбнулась? В конце концов почему бы Мирве случайно не оказаться в строю рядом с Володькой? Есть же, черт побери, такая возможная комбинация по теории вероятности?..

Они догоняли Мирву.

— Ты не поленишься раскинуть своими гениальными мозгами, а? — сказал Володька.

Мося посмотрел на него своими припухлыми глазами.

— А Валенсия? — сказал он.

— Убирайся к черту.

Мося улыбнулся и неожиданно побежал тяжелой рысцой мимо Мирвы. Продолжая переступать белыми тапочками по рельсу, она скосила глаза на Володьку. Тот шел у края низенькой песчаной насыпи, сунув руки в карманы лыжных брюк. На левом плече — обе лямки от зеленого вещмешка. Такие — у военных. Берта сказала — отец у Володи подполковник.

Мирва оступилась и сбежала с насыпи на тропинку.

— У тебя большой какие шаги, — быстро сказала Мирва, поворачивая к Володьке розовое лицо.

— Большо-ой шаги-и, — сказал Володька.

Мирва недоуменно пожала обгоревшим на солнце плечом.

— Я волнуюсь, — тихо проговорила она и опять глянула в лицо Володьки.

— Волнуешься? — У Володьки почему-то стало сухо в горле. — Почему волнуешься?

— Не знаю. — Мирва нагнулась, сорвала ромашку. — Надо догонять?

— Не съест Мося твои пирожки. Пусть тащит.

Они отстали от команды шагов на сорок.

— У тебя папа подполковник?

— Будет генералом.

— А почему наши отступают?

— Вот станет папаша генералом...

Мирва улыбнулась.

— Почему же ты волнуешься? — сказал Володька и тоже сорвал ромашку.

Мирва не отвечала. Смотрела под ноги, плавно переступая белыми тапочками.

— Почему ты не взял чемодан? — вдруг очень серьезно спросила она и даже остановилась.

— Это... это слишком сложно объяснять, дорогой товарищ Шарфутдинова. — Володька попытался усмехнуться. — Это...

Мирва, не дослушав, пошла вперед. Володька догнал ее. Тропинка была узкой, проторенной в один след, но они шли рядом. Впереди на рельсе сидел Мося, сдвинув тюбетейку на брови. Желтый чемодан Мирвы стоял поперек тропинки. Володька взял его. Мося побрел сзади, покашливая.

— Сейчас бы на Килиманджаро, — сказал он. — На самую вершину, на снежок.

— А на Принц-Альбрехтштрассе, восемь, не хочешь? — сказал Володька.

— Не особенно, — сказал Мося.

Что-то в его голосе заставило Володьку оглянуться. Не надо было говорить Мосе про гестапо. Володька вдруг поставил чемодан.

— Дай-ка свою суму, — хмурясь, сказал он и стащил с плеч Моси рюкзак.

Мося удивленно заморгал. Володька набросил лямки рюкзака на правое плечо, взял чемодан и пошел, не оглядываясь.

— Дурья работа, только что нам веселей будет, — сказал мужик в синей рубахе распояской, колхозный бригадир Леонтий Семенович.

Девятиклассники таскали в избу солому, устраивались на ночлег.

— Чего тут полоть-то? Мэтеэс на войну подчистую взяли... Полоть. Сыпанется во-вот рожь-та... Это почему моду взяли — на уборочную воевать, а? Аккурат в ту войну герман заварил, помню...

Анастасия Михайловна взяла бригадира под руку. Леонтий Семенович начал торопливо застегивать ворот рубахи, конфузливо улыбаясь. Завуч повела его через дорогу к дому, где хохотали девчонки.

В окошко заглянула Мирва.

— Володя, идем молока купим? — сказала она, быстро оглядывая избу. — Как у вас прохладно, мальчишки... А у нас жарко-жарко!

Мося бросил на пол охапку соломы. Витька Абузаров и Федька Михеев уже блаженствовали, развалившись на одеялах.

— Мирочка, учти, маме донесем, — сказал Вадим Кирпичников, копавшийся в своем вещмешке — заряжал «ФЭД».

— А что? — выпрямляясь, сказала Мирва тихонько.

— Любо-овь — что такое, что тако-ое любо-овь?

Мирва прыгнула с завалинки.

— Донесем! — крикнул Вадим. — В письменном виде. В правлении колхоза печать тиснем. Документик!

Володька молча посмотрел на него и вышел на улицу.

Купили они с Мирвой за пятерку целую четверть. А у Мирвы в желтом чемодане и в самом деле оказались пирожки.

Сели в холодке, под березой.

Было еще светло, хотя солнце давно закатилось. Давешний мужик в синей рубахе дремал на крылечке. Цигарка у него потухла.

— Мирва, знаешь...

— Пей-пей, ты совсем голодный.

Мужик на крылечке сказал вдруг:



- Эки глазыньки ясные у тебя, невеста... Диво. Ага.  
 Мирва, улыбнувшись, достала из кармана на подоле сарафана платок, вытерла влажные от молока губы.  
 Рядом с мужиком села Валюха Зотова.  
 — Валенька, попей,— сказала Мирва.— Никкак не выпьем.  
 — Не хочу.  
 — От моей коровки-то,— сказал мужик.— Один жир.  
 Володька налил полную кружку, подошел к крыльцу. Валюха смотрела ему в глаза.  
 — Один жир,— повторил мужик.— Спробуй-ка.  
 — Очень вкусное молоко,— сказала Мирва.  
 — Еще бы! -- Валюха усмехнулась.— А я не люблю молоко. Просто ненавижу! — Валюха поставила кружку на ступеньку рядом с собой, сложила руки на груди.  
 — Выпейте, папаша,— сказал Володька, подавая кружку мужику.  
 — Норовистые кобылки в городе-то, а? — засмеялся тот.— Ну, ваше здоровье, невесты.

После прополки все шли купаться на длинное лесное озеро. Пели самую новую, перед самым отъездом услышанную песню о войне. Почему-то ее одну и пели всегда, шли почти строем — так само собой получалось. А кончив петь, долго шли с виноватыми лицами. Слишком хорошо было здесь, слишком тихо...

Потом молча разбрелись по песчаному берегу. Анастасия Михайловна, обняв за тоненькую талию Валюху, шла с ней на ближний мысок. Третий день она держит Валюху возле себя, хотя никогда Валюха не пользовалась особой благосклонностью завуча.

Володька хмуро проходил мимо. Сзади — Мирва. Если оглянуться — увидишь, что у нее надменно-независимое лицо...

— Оставим, грешники, счастливых,— говорил Мося.

Посмеиваясь, ребята бросали одежду на песок, уплывали на другой берег, где под кустом ивняка была спрятана желтенькая коробка табака «золотое руно». Купили коробку в сельпо вскладчину, девчонки одолжили два рубля.

Мирва сердито отворачивалась от Володьки, первой входила в зеленатую воду. Злился и Володька: надо было уходить подальше от мыска, где стояли Анастасия Михайловна с Валюхой, но он не решался. Сложив руки на груди, Володька краем глаза видел, что Анастасия Михайловна и Валюха смотрят на Мирву... Даже выражение лиц у них было одинаковым. Володька никогда не осмеливался глянуть на Мирву, когда она медленно переступала по отмели розовыми ногами, приподняв локотки в стороны. Но он знал, что маленькая прекрасна. Он и говорил о ней в душе это слово — «прекрасна», и видел по лицам Анастасии Михайловны и Валюхи, что маленькая для них прекрасна тоже, они любят ее, ничего тут не поделаешь.

— Миронька, не плыви далеко! -- кричала Анастасия Михайловна и начинала раздеваться.

Мирва оглядывалась, молча улыбаясь.

На середине озера плавал плот из трех замшелых бревен — его нашел в камышах Витька Абузаров и великодушно уступил Володьке.

Они лежали головами друг к другу на влажных теплых бревнах. В зеленатой воде плавали облака, подпаленные с одного бока зарею. Кричали девчонки у берега, бросая красно-синий мяч. Мося стоял рядом с Анастасией Михайловной, похлопывая прутиком по голой ноге. Не мо-

жет, головастый черт, потерпеть и минуты без того, чтобы не потолковать о высоких материях. Вчера накурился под кустиком, пришлось перевозить беднягу на плоту, еле отдышался...

— А я в Москву должна была ехать,— сказала Мирва, опуская в воду тоненькую руку.— Внизу холодная... Ой, лед!

— В Москву?

— Ага. На декаду.

— Какую декаду?

— Ну, татарского искусства. Теперь уж не поедем...

— Через годик от нибелунгов мокрое место останется, вот тогда и...

— Нибелунги? Какие нибелунги?

— Да так, обормоты древнего образца... А что ты собиралась на декаде делать? Анну Каренину играть?

— Нет, я танцую... Не улыбайся. Да!

— Тоже мне... прима-балерина. Вот у меня тетка в Одессе, Лидочка Нижник,— та прима... В тридцать пятом году в Лондон ездила. На фестиваль. Она даже в кино снималась, у режиссера Викторова. А ты — хвастунишка. Все девицы комариного ростика — хвастунишки. И на комариков смотреть...

Мирва вскочила, плот зашатался.

— Ну и не надо! И не смотри!

Она нырнула.

Володька засмеялся и зажмурился. Мирва уплыла уже далеко, а он все не открывал глаз.

Валюха постаралась, — он сразу узнал высокие, с перегибом посредине буквы... Валюхиной рукой на «Доске показателей 7-й бригады школы № 81 г. Казани» было написано жирным мелом:

#### «СТАХАНОВСКО-БУСЫГИНСКАЯ АРТЕЛЬ ВОВЫ КОРОБОВА:

1. Танечка Невская, Ярославль.
2. Эмма Циммерман, Ковров.
3. Лиля Алексеева, Иваново.
4. Люся Порфирьева, Казань.
5. Дина Дурбин.
6. Любовь Орлова.
7. Аста Нильсен.
8. Мирва Шарафутдинова.
9. Шарафутдинова М.
10. М. Шарафутдинова.
11. Мирвочка Шарафутдинова.
12. Шарафутдинова Миронька.

Примечание. Запись добровольцев в артель будет продолжена в саду Петрова на танцплощадке, по субботам. Девицы с голубыми глазами зачисляются в первую очередь».

-- Дорогу бригадиру, граждане, дор-рогу! — усердствовал Вадька Кирпичников, расталкивая хохочущих одноклассников.— Примечание читали? Ну, и не толпись!..

Володька усмехнулся. Достал из кармана лыжных брюк расческу, неспешно пригладил мокрые после купания волосы. Это, конечно, пустяки... А Мирва?.. Подлая Зотова. Ей как другу было рассказано... Даже первоклассницу Лильку запомнила, даже Эмму... Почему все притихли? Ждут спектакля? Спектакль вам надо?

— Гражданин Бушканец, мелу! — сказал Володька.

Мося подал ему огрызок мела, взяв с подоконника. И Володька размашистыми буквами вписал в список артели еще одну фамилию — «13. Зотова Валенсия».

Теперь он осмелился взглянуть на молча стоявшую рядом Мирву. Она подняла к нему розовое лицо и улыбнулась. Губы ее подрагивали.

— Вот так, товарищ Шарафутдинова, — сказал Володька. — Мне артель не подводить, ясно?

— Да, — тихо, очень тихо сказала Мирва.

Она сделала три шага к доске, взяла тряпку, валявшуюся на завалинке избы, и стала стирать одну фамилию за другой.

— Мертвый душа... Мертвая душа, — поправились она. — Еще мертвая душа. И эта! Их уже нет с нами! Нет, нет и этой нет!..

Мирва отбросила тряпку под ноги молча попятившихся девчонок.

— Володенька, — сказала она, выговаривая каждый звук этого имени, — пойдем поьем молочка?

Володька молча пошел рядом с нею через дорогу.

Жарища — никакого терпения, черт побери... Небо до белизны прокалено.

Володька бросил на межу охалку васильков, выпрямился. Облизнул солоноватые от пота губы, потер тыльной стороной ладони лицо.

— У тебя нет платочка? — сказала Мирва.

— Мы по-христиански, матушка моя, — усмехнулся Володька, сдвигая с влажного лба на затылок пилотку из газеты.

Далеко они с Мирвой ушли сегодня от остальных. Реденькая цепочка полольщиков была шагах в семидесяти, у проселка.

— Вырвались в авангард, товарищ Шарафутдинова. От лица службы объявляю вам благодарность. Перекур!

Мирва улыбнулась, присаживаясь на охалку сорняков. Голубые глаза из-под повязанной по самые брови голубой косынки смотрели устало. Нет, еще что-то, непонятное, было сейчас в этих глазах...

Мирва опустила лицо, вытряхивала из белых тапочек комочки земли. Тонкие руки ее были загорелыми, только на сгибах у локтей светлели полоски розовой кожи.

— Мируся... Устала?

Она подняла глаза. И хотя солнце било ей сейчас в лицо, не шурилась.

— Мируся... — Володька присел на корточки перед нею, дотронулся пальцем до крутого подъема правой ступни.

— Ты весь сгорел. Красный, — тихонько сказала она.

— Пусть.

— Тебе хорошо... со мной?

— Ты же знаешь...

— Володя, а я плохая.

— Мируся...

— Плохая, — шепотом повторила она. — Плохая. Я скажу. Я знаю — ты уйдешь. Я знаю. Я целовалась. Первого мая. Я целовалась. Я хотела тебе сказать... Я хотела, Володя!

Володька медленно выпрямился.

Она пыльным кулачком потерла щеку. Она была совсем маленькой. И ни у кого не было и не будет таких голубых глаз. Господи, да понимаешь ли ты, как я люблю тебя, маленькая?..

— Встань, Мируся.

Он подхватил ее за локоть... Мирва, пятась, перешагнула между. Она стояла теперь в трех шагах от Володьки и смотрела почему-то туда, где шли полотьщики...

Володька оглянулся.

В цепочке полотьщиков что-то происходило. Она рассыпалась. Убегала к дороге Анастасия Михайловна, впереди нее неслись мальчишки. Красная кофточка Валюхи Зотовой была у проселка.

— Сталин! Сталин! — донесся голос Валюхи, и Володька увидел теперь красную кофточку рядом с каким-то мальчишкой в синей рубашке, который стоял, держась за руль велосипеда.

— Вова... — испуганно сказала Мирва. Она перепрыгнула между и побежала к дороге. Володька неспешной рысцой догнал ее.

В плотной толпе ребят стоял сын бригадира Леонтия Семеновича — Васька. Он оробело смотрел на Анастасию Михайловну. По обгорелым щекам его бежали струйки пота, и Васька, переступая босыми ногами, утирал лицо рукавом синей косоворотки.

— Василий! Ну, что же ты, Василий? — Анастасия Михайловна склонилась к Ваське. На ее красивом полном лице непривычно было видеть растерянность. И все молчали. — Что сказал... Сталин? Ну, что же, Вася?!

— Папаня прислали, — сказал Васька, опуская глаза. — Велел, чтоб... Это... братья и сестры.

В его глазах вдруг появились слезы.

— Василий... Боже мой, Василий, что он еще сказал... товарищ Сталин? — Слегка подкрашенные полные губы Анастасии Михайловны пробовали улыбнуться.

Над белесой головой Васьки загудел шмель. Васька не шелохнулся. Он опустил голову, указательным пальцем левой руки поскреб облезлый брезент велосипедного седла.

— Братья и сестры... — хрипло пробормотал он. — Это... отрешиться от благоводушия...

— Благоводушия? — Анастасия Михайловна выпрямилась и махнула полной рукой, прогоняя жужжавшего над Васькиной головой шмеля.

— Ага... От мирного времени... И еще — угонять вагоны.

— Какие... вагоны?

— Ну, которые попадут под иго. И сжигать все добро как есть.

— Сжигать?

— Ага. И еще... о жизни и смерти. Сто семьдесят дивизий на нас! Латышскую ССР забрали, еще много забрали... Нам попасть в порабощение, сказал. А наши отступают, сказал... Временно. А партизаны все жгут!

Анастасия Михайловна прикрыла ладонью глаза.

А шмель все гудел над Васькиной головой.

О жизни и смерти... Почему он сказал о жизни и смерти?

Я же помню, как улыбался тогда с экрана Климент Ефремович. Он был в кожаном пальто, крепкий, невысокий, неторопливый. Поле — огромное, где-то в Белоруссии, и до горизонта стояли конники, ровные шеренги пехоты в стальных шлемах были бесчисленны... Климент Ефремович улыбался из-под большого квадратного козырька — так и назывался этот козырек «ворошиловским». У меня навертывались на глаза слезы от любви к этому невысокому человеку с молодой улыбкой на крепкощеком круглом лице, в зале наступила торжественная тишина, хотя красноармейцы смотрели «Если завтра война» в пятый раз и каждый из них знал слова, которые сейчас скажет нарком: «Наши слова не будут простым сотрясением эфира...»

Я же помню, как отец вел меня за руку по полю. И рядом шли делегаты немецких антифашистов. Они жили в нашем городе и работали на заводе, который назывался коротко и непонятно ИНЗ<sup>1</sup>. За заборами из колючей проволоки в три ряда, вдоль которых похаживали красноармейцы в темно-голубых фуражках, день и ночь стрекотали ручные пулеметы... Я помню дядю Карла Циммермана и его жену Маргот, помню их дочку — маленькую Эми.

Это начинались маневры частей РККА. Папа говорил: «Эркэковцы сегодня блеснут, вот увидите, это же черт знает как армия растет!»

Маневры были праздником. Мама еще с вечера отутюживала новый френч отца, синие галифе с малиновым кантом. Я помогал папе надраивать куском пемзы медные пряжки портупей. Папа привез из Москвы кавалерийскую, с двумя наплечными ремнями, портупею. Ни у кого из командиров его батальона не было такой, и папа посмеивался, когда мама говорила: «Это же не по уставу, форсун ты мой...» Папа говорил: «Старому кавалеристу уставы не писаны...» Я тоже говорил: «Мам, ты всегда придираешься». Шпоры папы я чистил целый вечер.

Войска проходили по нашей улице с вечера. Мы стояли у шоссе до самой ночи — все мальчишки и девчонки, которые могли выйти на улицу, и никто из родителей не смел звать нас домой. Этот вечер был наш, и мы знали это, и все старшие знали это, и ни одна мать не смела позвать детей домой, чтобы навек не опозорить себя в наших глазах... А мужчины стояли рядом с нами. Дядя Аким, у которого был орден Красного Знамени, выносил из дому табуретку — у него были больные ноги, мы все знали, что он был ранен под Тамбовом давным-давно, в девятнадцатом, — и сидел до поздней ночи. Мужчины курили. Они говорили друг с другом отрывисто, немногословно, посмеивались, потому что семнадцать лет назад они воевали.

Мы слушали так, как никогда никого не слушали; в этот вечер — майский, парной, с майскими жуками, которые могли летать спокойно, — мы смотрели на Рабоче-Крестьянскую Красную Армию, и у нас был праздник.

Шли пехотинцы в зеленых и черных обмотках до колен. Серые скатки шинелей толстыми обручами висели на левых плечах.

— Умеют, — щурился дядя Аким, и мы радовались, что бойцы умеют скатывать шинели.

— Мужики, а двадцать седьмого года ничего пушчонки-то, — говорил он, и мы вздыхали облегченно, что пушки образца двадцать седьмого года тоже хороши.

И утром следующего дня тоже был праздник. Мы вставали, когда в комнате еще стоял полумрак. А внизу, под раскрытым окном, уже урчал маленький зеленый «фордик». Я выглядывал в окно и здоровался с шофером Петей.

— Говорят, тебя не возьмем, Вовка? — негромко кричал Петя, похаживая возле машины, и мне было видно, как блестят его хромовые сапоги, которые Петя надел тоже ради праздника.

Я знал, что меня возьмут. Меня не могли оставить дома в такое утро.

Мама была такая красивая, что у меня замирало сердце. Но папа был красивее. У шпор был малиновый звон. Так он назывался. И еще — савеловский. Это позванивал праздник.

А у «фордика» уже был Сережка, сын дяди Акима. Он тихо стоял у мотора, застенчиво улыбаясь, и все приглаживал макушку. Нам с ним было немножко совестно, что мы такие счастливые. Дядя Аким выходил

<sup>1</sup> ИНЗ — инструментальный завод.

в черном костюме, на лацкане поблескивал орден, воротник белой косоворотки был застегнут до последней пуговицы. Дядя Аким был единственным человеком в нашем районе, у которого поблескивал орден, и посыльный из военкомата всегда приносил дяде Акиму пропуск в район маневров.

— С праздником, Павел Васильевич, Анна Евстафьевна...

Дядя Аким ловко брал правой рукой под козырек кожаной кепки, потом здоровался со мной, трогая за плечо.

— Пап, ну пап же! — говорил я.

Сережка тоже боялся опоздать, и мы злились немножко на старших, что они болтают о погоде, которая выдалась как по заказу командования...

Шофер Петя высаживал нас, кроме папы, у подножья холма, где в ряд стояло несколько легковых машин и грузовиков, украшенных кумачом.

Мы — я и Срежка — бегом взбирались на вершину холма, где было уже много народу, сидели на раскладных стульях какие-то старики в белых фуражках.

— Показательная в восемь ноль-ноль...

Показательная кавалерийская атака... У нас с Сережкой пересыхало в горле, и мы бегали пить вниз, к буфету, где веселые девушки в белых фартуках позванивали бутылками лимонада.

«Пошли... Пошли...» — обрадованно крикнет кто-то, и на холме наступает удивительная тишина. Только слышно, как внизу, в буфете, позванивают бутылками, а через минуту на вершину прибегают все продавщицы... Старики в белых фуражках, как по команде, натягивают козырьки пониже к глазам. Лица их каменеют.

В сизой дымке на краю просторного поля, километрах в полутора от холма, вдруг рождается живая полоска... Она приближается. Теперь она уже не темная, теперь видно, что она пестрая. Черные, коричневые, белые точки...

Горизонт летит на нас. В какие-то мгновения над пестрым валом вспыхивают на солнце тысячи искр, кажется, что над лавиной летит стремительный огонь...

— А-а-а-а...

Это «аааааааааа» налетает на холм, вскидывает со стульев стариков в белых фуражках, они что-то кричат, и я кричу, и дядя Аким кричит, и рыжая девушка в белом халате поднимает над головой тоненькие руки в веснушках... Я вижу меж этих рук лавину. Я знаю, что такое лавина... Я знаю, как колотится сердце, я видел, как дядя Аким рванул ворот своей рубахи, я видел, как слезы бежали по лицу рыжей девушки — она оглянулась, смеясь, не замечая, что из серых глаз бегут слезы...

Володька сидел на траве, обхватив колени. Говорила Берта Иванова. Она не хочет теперь, чтобы ее звали Бертой. Она сказала:

— Фамилия у меня хорошая, гордая фамилия славян, зовите по фамилии.

Комсомольское собрание было решено сделать открытым. Комсорг класса товарищ Иванова, как называла Берту председательствующая Балюха Зотова, имеет внести предложение по проекту резолюции...

Десять минут назад Володька и Иванова сочинили проект. В нем было два пункта: 1) Норма выработки повышается на пятьдесят процентов, 2) Просить правление колхоза им. Ворошилова сократить норму довольствия школьной бригады на пятьдесят процентов, сэкономленные продукты направить в военный госпиталь.

- Товарищи, может, кто имеет слово? — спросила Иванова.

Поднялся Мося. Поправил тубетейку. Было очень тихо. Пожилая женщина, стоявшая у колодца, заплакала. Запинаясь, Мося сказал, что ему стыдно, он еще плохо работает для победы.

— А там убивают людей. Советских людей,— сказал Мося.— Мы должны работать, товарищи...

Мося сел рядом с Мирвой.

— Резолюцию! — сказала Мирва тихонько.

Она смотрела на Володьку. Свернутая в трубочку бумажка торчала из нагрудного кармана его вельветового пыльного пиджака. Володька медленно поднял глаза. Рыжая девушка вела его с холма за руку. И Сережка шел впереди. Густая стена золотой от солнышка пыли наплывала на холм. Дядя Аким чихал, смеясь, вел маму под руку. А мама оглянулась и увидела рыжую девушку. Мама сказала... Что она сказала, мама?

— Володя... Володя, резолюцию,— сказала Иванова.

Утром Мирва почему-то опаздывала на общее построение.

Уже и бригадир Леонтий Семенович, в неизменной синей рубашке распоясавшись, пришел, поздоровался с Анастасией Михайловной за руку. Анастасия Михайловна, как обычно, спрятала руку за спину, шевеля пальцами,— очень уж усердно бригадир здоровался, уважительно. А Мирвы все не было.

Володька хмуро смотрел на крыльцо избы, где жили девчонки. Белый гусак сидел в пыли дороги, надменно закинув шею. Валюха Зотова — она рядом с Володькой почему-то сегодня стала — шепнула, не поворачивая головы:

— Принцессочка-то твоя... Головка, горлышко... Ждет. Иди.

Володька, сунув руки в карманы пиджака, вышел из шеренги и направился через дорогу. Гусак лениво колыхнул шейю, но не встал.

— Володя, ты куда? — Анастасия Михайловна оторвала глаза от блокнота, в котором что-то отмечала огрызком карандаша.

— Хочу дезертировать,— не останавливаясь, сказал Володька.

Анастасия Михайловна посмотрела на неприветливое загорелое лицо Володьки и отвернулась, заговорила с бригадиром.

Мирва лежала у окна, укрывшись с головой новеньким лиловым одеялом. Володька присел. Мирва приоткрыла лицо, виновато улыбнулась.

— Я выздоровею. Вода холодная. Ты не купайся,— проговорила она хрипло.— Уже стоят, да?..

— Думаешь — я трус?

— Первое мая все равно было...

— Не надо, Миронька. Мы начнем с чистой странички... Мне с тобой хорошо.

— Ты хороший... Володя.

— Ну, я пойду. К обеду чтоб выздороветь, ясно?

Мирву увезли домой на черном «ЗИС-101».

— Машина, понимаешь, Володь, н-ну-у, что ты... Это все блесит, понимаешь, никельное, все, ага! — сказал Леонтий Семенович, когда они с Володькой сидели после обеда на крылечке.— Нарком, говорят, родитель-то? Ай-ай, должностенка.

Володька не отвечал. Ныла спина от проклятой прополки, пальцы на прозеленевших от травы ладонях не сгибались. А в кармане у него лежал клочок газеты, на котором было написано карандашом: «Ты хороший».

Если оглянешься — увидишь женщину, что лежит на коричневом песке у пивного ларька. За ней — песчаный увалистый откос, истоптанный вдоль и поперек, перечеркнутый наискось двумя нахоженными тропинками, что ведут к побуревшему, из некрашенных досок сооружению с аккуратными, суриком выведенными «м» и «ж». По разбитому асфальту пешеходной дорожки, по булыжнику шоссе, по трамвайной колее, меж барачных с вылинявшими за жаркое лето голубыми и зелеными стенами, у пивных ларьков и павильонов билетных касс — четвертый месяц неизбывная людская толчея...

Второй час бродит Володька у пристаней. Игорька и Олежку мать, наверное, уже уложила на тюках — притомились после сборов. Сегодня Коробовы отправляются в неблизкий путь — к отцу в Ереван, куда его перевели несколько месяцев назад.

За черной Волгой дотлевала полоска зари, придавленная тучами к правобережному обрыву. Пробежал по воде свет фонаря с буксира, подвалившего к двухэтажному дебаркадеру, по грязному, с мазутной каймой песку зашуршала волна, хлестнула в корму опрокинутой шлюпки.

Володька попятился, провел по забрызганной щеке ладонью. Поднял воротник пальто и сунул зазябшие руки в карманы.

Она лежит там, у пивного ларька, скрестив длинные ноги в домашних, с заячьей опушкой шлепанцах. Она прикрыла лицо вязаным коричневым жакетиком, под рыжеволосой головой — связочка каких-то книжек, перехваченная зеленой лентой в чернильных пятнах...

Она лежала так и полчаса назад, когда Володька набрел на нее. Стоял, смотрел, не решаясь подойти. И тут вывернулся из толпы старик с бритым чистеньким личиком, в золотых очках, в новой синей телогрейке и в галифе с кавалерийским синим кантом, пригнулся над рыжеволосой. Выпрямившись, оглядел дремавших тут же, в затишке под стеной ларечка, баб, сказал ласково:

— Глупость. Эка завалилась, огненная... Добрых людей, что ль, нет, дурочка?.. Война, православные, все грехи карандашиком перечеркнет. А, девицы?..

И заскрипел галошами, по-хозяйски разглядывая рыжеволосую.

— Э-э, любя,— засмеялся он, опять склоняясь над нею. — Эт-та распоследнее дело — по землице молодой-то спиной... Подымись, огненная. Я тебе помогу, ты — мне, никому обиды... А?

— Иди, папаша, Христа ради,— сказала одна из баб.

Старик снял очки, потер стекла коричневыми пальцами. Озабоченно прижмурился на быстро наливавшееся темнотой небо и исчез в толпе...

Нет, ты не оглянешься.

Все медленнее поплескивала зыбь, лениво нагоняя к берегу щепки, пустые консервные банки, березовые чурки. На влажной песчаной кайме у ботинок Володьки шевелились осклизлые клочья водорослей. Он вздохнул, отступил на шаг. Вмятины от его ботинок мягко оплывали...

Шестнадцать лет ты ходишь по земле. А следы? Есть ли твои следы?.. Твои следы были рядом с этим стариком, а он все равно уведет рыжеволосую. Уведет... «Не важно, что я делаю, важно, что я думаю»... Нет, зря ты радовался, когда переписывал это в синюю тетрадь, Жюль Ренар тебе не поможет... Но что, что могут сейчас сделать люди?! Почему эта рыжеволосая лежит — нет, не лежит — валяется на вонючем коричневом песке у пивного ларька?.. Ты ничего не решишь все равно. Ты даже боишься оглянуться. Ты не оглянешься, не посмеешь оглянуться...

Справа у самой воды присела девочка лет восьми, стала волочить длинной щепкой какую-то синюю тряпку — стирала. С ее спины низко



свисивался на грязных белых бечевках мешок из наволочки с рваными кружевами, на нем можно было разглядеть выведенные чернильным карандашом инициалы — «Т. С.».

Девочка подцепила тряпку, приподняла над водой и стала выкручивать, ловко перехватывая маленькими кулачками.

Володька смотрел на кулачки.

— Ты откуда, малышка?

Девочка скосила глаза, помедлив, проговорила обветренными губами:

— Мы эвакуированновые... — Она облизнула губы. — Из Великих Лук...

И, смутившись, выпрямилась на длинных ногах, стала расправлять скрученную тряпку — детские шароварчики с резинками на концах штанин. Отросшая темная челочка выбилась из-под зеленого бархатного капора к густым бровкам, и девочка левой ладонью сердито загладила ее набок, сунула кончики покрасневших пальцев в рот.

— Дай-ка сюда... Тэ-эс,— сказал Володька, кашлянув, и взял штанишки из неохотно разжавшихся пальцев девочки.

— Да мамка написала. Не потеряюсь, чай,— проговорила она хрипло и улыбнулась.

Володька выкручивал задубевшую байку штанишек.

— Кому брючки? Роскошные брючки носит человек...

— Да братка у меня. Славик. Мокренький да мокренький. Какая в дороге стирка... А ты куда едешь? Ты здешний, да?

— Далеко. На Кавказ.

— Туда бронь и не дают,— недоверчиво сказала она.

Володька засмеялся. Девочка взяла штанишки, набросила на левое плечо и, согнув шею, стала дуть на кулачки.

— А мы набедовались. Мамка всю дорогу ревет. Славик коклюш возьми да подцепи. Вот принесу его к водичке — помогает, ага!

— Тебя как звать?

— Тамара.

— А вы куда?

— Да куда посадимся. Билеты совсем не организовали тут, прямо гляди — придавят, ага. Бронь бы какая, а то никак не долезешь до кассы-то. Все бронированные едут да едут, им что не ехать!

— А папа где?

— Папу убили, когда освобождали белорусов. Ну, в тридцать девятом...

Они шли по откосу, увязая в песке. У пивного ларечка — сами глаза Володькины глянули — не было рыжеволосой... Бабы в черных полушалках, — видно, только с продпункта вернулись — кто корочку хлеба дожевывал, кто колбасу в тряпочку завертывал...

Подойти бы к этому сладенькому, чистенькому старичку... Всего пять шагов сделать. Пять шагов — и вежливо приподнять козырек кепки, мизинец отставить поизящней. «О, как я рад встретить истинного ценителя женской красоты. Не правда ли, эта золотоволосая дама ничуть не уступит мадонне Боттичелли? Не находите?»

Что бы сказал этот чистенький?..

Допустим: «Вы что, молодой человек?»

Да, наверное, он сказал бы так. Боттичелли для этого мерзавца слишком много...

К черту старика. У меня в кармане всего двенадцать рублей. На буханку хлеба. Но эта рыжеволосая могла бы поесть на продпункте. Нет, она валялась на этом отвратительном песке у пивного ларька не потому, что голодна.

Я присел бы возле нее. «Встаньте»,— сказал бы. Я мог бы сказать это слово, у меня получилось бы. Какие у нее глаза, у рыжеволосой? Синие? У рыжих всегда бывают светлые глаза. Голубые. Как у Мирвы...

А не подошел, не сказал... Почему она лежала там, на этом вонючем песке?..

Над дверями в барак уже тлела синяя лампочка, перед баракom толкался народ. Рядом дребезжал трамвай с покрашенными для светомаскировки окнами, на его площадки с криком лезли женщины, мальчишки в черных шинелях ремесленников, военные.

— Пока до свиданья,— сказала Тамара.

Володька смотрел на трамвай. Тамара попятилась и побежала к бараку.

Володька медленно ходил по краю светового круга от синего фонаря на столбе. Еле различимая длинная тень его прыгала по серым спинам военных, осатанело тискавшихся в трамвайную дверь, но шумливали там почему-то веселыми голосами:

— Давай, мать, давай! Мамаша, ребро вышибла... Ай, злы сироты казанские, кралечки вы наши!

Все женщины у них сейчас матери или кралечки.

Это уже шестой трамвай. Но она должна приехать, не может быть, чтобы не приехала...

Из тьмы к Володьке кто-то шел — высокий, костылями по песку хрупал. Подошел к столбу, Володька увидел — одноногий. Пилотка на самые брови съехала, длиннополая шинель — нараспашку... И петлиц почему-то не было на воротнике.

— Эх ты, мать честна... Дух вон на этих ходилках топать.

Одноногий остановился, наваливаясь грудью на выставленные вперед костыли, погладил правой ладонью лицо. Пилотка сдвинулась, к бровям упали косицы светлых волос.

Володька вздохнул, переминаясь с ноги на ногу.

— Спички есть, кавалер? — спросил одноногий, вглядываясь в лицо Володьки.

— Не курю.

— Тихо живешь? Ну-ну... — Он опять потер ладонью щеки, тяжело дыша. — Это хорошо. Все тихо жили. А? Если завтра война, если... А? Нет, значит, огоньку?

— Нет.

— Серьезный ты, я гляжу... А меня на разговор потянуло. Сестренки, понимаешь, в госпитале раздобрились напоследок, приволокли медицинского — литрочку разбавили на десятерых, а мы с наперстка падаем... Ну, бывай, кавалер. Курить охота — спасу нет.

И опять захрупал костылями по песку, правя к бараку. На спине — вещмешок горбом.

— Ребятишки, позволь кто спиченку?

— Можно... Да тебе крутнуть?

— Руки целы, сам сверну. Ох, хорошо-о... Вот и житуха, братцы служивые.

Володька прислонился спиной к столбу.

Трамвай с выбитым в переднем вагоне оконным стеклом стоял почему-то долго. В желтом квадрате окна сидел парень, надвинув на брови светлую шляпу, курил, пожевывая папиросу. — кондуктор, видно, был впереди, у вагоновожатого, а может, дремал в пустом вагоне.

Володька пытался вспомнить, где он видел этого парня, но не припоминалось что-то... А он же видел, совсем недавно видел этот резкий профиль с крепким подбородком. Все забывается. Человека забыть легче всего. Вот и Мирва забыла. Она же должна приехать. Она не может не приехать. И Мося обещал, и Валюха с Бертой, и Вадька Кирпичников... Должны же они приехать!

Он начал ходить от столба до расплывчатой границы светового круга. Иногда поглядывал на парня в серой шляпе. Трамвай дернулся, заискрилось на дуге. Парень бросил папиросу в окно, под ноги Володьке, резко поднялся и побежал к выходу. Он стал на подножку, но почему-то не спрыгнул... Только левой рукой зачем-то помахал, словно прощаясь с Володькой, — никого больше на остановке давно не было.

Повизгивая колесами на повороте, трамвай ушел. С Волги тянуло мозглым холодком. Володька побрел за павильон билетной кассы — от туда можно было видеть трамвайную остановку.

— Это ты? Я иду, Володечка, — сказал из темноты голос Нелли Константиновны. — Душно там. Накурили.

— Я давно ушел, — неохотно проговорил Володька, все яснее различая прислонившуюся к дощатой стенке павильона высокую фигуру Нелли Константиновны. Она тоже ехала с ними — к мужу, майору Лемешко.

Он стал рядом с нею, отбросил воротник пальто.

Нелли Константиновна подняла руки, стала поправлять волосы.

— У тебя есть расческа?

Он дал ей расческу.

— Подержи, Володечка...

Володька взял берет. Нелли Константиновна стала медленно расчесывать свои обрезанные до плеч волосы.

Тогда, после свадьбы, она пришла играть в волейбол у штаба бригады. Кто там еще была? Валюха была, Берта... Сержант Крапива. Валюха смотрела-смотрела на Нельку и вдруг заплакала. Она всего на два года моложе Нельки, вместе бегали на танцы в сад Петрова.

Смеялись: жалко было Валюхе Нелькиных кос...

— Папочке Павлику нравится, — усмехнулась Нелька. — А мне все равно. Даже лучше.

Отвернулась Нелька, серую юбку через голову сдернула, бросила на скамью, пошла на площадку — длинноногая, стройная, крепкая, в синих трусиках с белыми лампасами.

Нелька играла в одной команде с Володькой. Несколько раз он в горячке так и кричал ей — «Нелька». Девчонки укоризненно косились. Несколько курсантов учебного батальона, москвичи, пришедшие поразмяться после самоподготовки, почти все мячи старались послать на дочь комбрига... Нелька смеялась:

— Уж не подхалимаж ли это, мальчишки?

— Это мы на вас за вашего супруга отыгрываемся, — сказал сержант Крапива.

— Ничего, папа Павлик еще подымет ваше политико-моральное состояние, — ответила Нелька.

Когда одевались, Крапива спросил Володьку:

— Слышь, Володь, брешут, что майор Лемешко не по-доброму Нелю... Обстригал дельце — дивчине или в пруд, или под венец... А?

— Я караульным к ней не нанимался.

— Гарна дивчина. ой яка гарнесенька...

— Что, дает вам прикурить комиссар?

— Це ж злыдень... А ну его к бису! Слышь. Володь, ты почаще Нелю приводи, пока комиссар в командировке... Добре?

Володька шел с Нелькой домой, они были теперь соседями — дверь в дверь. Он иногда посматривал на Нельку. Было почему-то смешно: Нелька и вдруг — жена... Нелька прищуривала темные глаза.

— Интересно, почему это ты на меня смотришь?

— А что — запрещено?

— Нельзя.

— Боишься своего Павлика?

— Угу.

— А я не боюсь. Вот возьму и влюблюсь в тебя. Ну, что тогда?

— Мамочка тебя поставит в угол. Только и всего.

— Сегодня же к тебе заявлюсь. Тебе ромашечек нарвать или розочек?..

Они поднимались на четвертый этаж. Нелька зашла к Коробовым.

— Анна Евстафьевна, напоите бедную комиссаршу чаем,— сказала она...

Прошел по площади еще один трамвай, совсем пустой. Наверное, последний — в парк.

Нелли Константиновна взяла берет. Она приблизилась к Володьке, словно желая получше рассмотреть его во тьме.

— Вовка, можно меня полюбить? — странным глухим голосом сказала она.— Скажи честно, не смейся. Скажи!

— Побойтесь бога,— сказал Володька.— Напугали меня, Нелли Константиновна.

— К черту Константиновну. Скажи!

— Ну, зачем это тебе?..

Нелли Константиновна выпрямилась, надела берет.

— Идем, Неля. Какого дьявола мы тут мерзнем...

Он отошел от павильона. В лицо ударил ледяной ветер, под ногами захрустел схваченный морозцем песок. Володька оглянулся — Нелли Константиновна брела за ним. Полы ее пальто хлестались по ногам.

— Володя... Не злись. Я дура. Я ничего не понимаю, Володька. Мне плохо. Постой со мной. Плохо мне, Володенька...

Он подступил к Нелли Константиновне. Помедлив, взял за локти.

— Неля... Заболела ты? — сказал испуганно.

Она не ответила. Подняла правую руку, потеряла лоб.

— Нелька... Ну что, что?

Она высвободила локти из дрожавших рук Володьки, и они пошли к дверям барака.

### Микола

Золотое времечко настало для ефрейтора Миколы Нестерчука с того самого утра 27 сентября, когда разыскал его писарь полкового штаба (сачковал Микола в телефонной мастерской взвода связи, копаясь в стареньком УНАИ<sup>1</sup>, чтоб на глаза помкомвзвода не нарваться и не схватить работенку).

Почесал, верно, потом кой-кто языки, да ведь на всех добр не будешь... Болтали завистники первого года службы, что писал восемь докладных, на фронт просился хитрый хохол не зря — запомнило начальство его фамилию. Даже после того, как приказ Закфронта перед строем полка зачитали — о запрещении подавать рапорта с просьбой направить в действующую армию,— и тут Микола уперся, на следующий же день настрочил докладную на двух листах, поминал там про украин-

<sup>1</sup> УНАИ — телефонный аппарат.

скую землю и про отца, зарубленного лично атаманом Григорьевым по причине молчания на допросе в раненном виде в обе руки, как преданного родной советской власти... А когда помкомвзвода, обнаружив на своей тумбочке у койки Миколину докладную, стал его из души в душу крыть, стервеца, отбрехался ефрейтор: в наряде на промежуточной телефонной станции, дескать, вчера дежурил и приказа Закавказья не слышал...

Микола (призыва 1939 года) получил красный треугольничек ефрейтора на темно-зеленые петлицы пограничных войск всего полтора месяца назад, горбом эту эмалевую железячку выслужил, не шестеркой в штабных байбаках — побегал короткими ножками вдоль полевых кабельных линий всласть, до кровавых мозолей. По воскресеньям, когда иной раз даже со старшиной в каком-нибудь подвальчике встретишься (подвальчиков этих, слава богу, в Ереване хватает. и вино почти что даром), руку протягивал старшина Миколке запросу... Но вызов к самому батю, командиру полка подполковнику Коробову, заставил и Миколу побледнеть.

Заскочив в каптерку взвода связи, надрав яловые сапоги и обменяв у помкомвзвода для явки к начальству свою старенькую фуражку на первого срока, выходную, побежал Микола на второй этаж огромного здания бывшего сельхозинститута. Посреди длинного коридора, против окна, за которым Арарат — рукой будто подать, голубым снегом играет, у полкового знамени Микола положенных уставом десять шагов строевым отрубал, часовому Женьке Егорову мигнул...

— К батю,— успел на ходу шепнуть Женьке.

У того на каменном лице только брови дрогнули: пост номер один, место святое, стой и гордись, сюда не каждого первогодка разводящий приведет...

— Ефрейтор Нестерчук! Разрешите войти? — уважительно постучав в высокую белую дверь командирского кабинета и приоткрывая ее, горловым голосом выкрикнул Микола и шагнул вперед.

В четыре окна просторного кабинета солнце глядело армянское, пышное — Микола сразу и не разобрал после сумрачного коридора, где же командир, но уже слышал скороговорочкой привычные слова:

— Товарищ подполковник, по вашему приказанию ефрейтор...

— Добре, добре,— сказал стоявший на стуле перед огромной картиной подполковник, не оборачиваясь.— Садись, Коля.

Микола, само собой, не спешил это приглашение выполнить, знал обращение с начальством, не зеленый первогодок... Только и позволял себе правое колено ослабить да подергал там-сям подол старенькой чистой гимнастерки.

Батя все двигал указательным пальцем по карте, коленками показывая — знакомая каждому в полку привычка была у командира. Ростом батя невелик, пожалуй, немного повыше Миколы будет. Командир правильный. Ничего не скажешь, лютовать не любит, крику от него не слышали. Чего нет, того нет. Говорит тихо, с улыбкой, по глазам сразу видать — добрый человек. Но уж ежели кого перед строем, бывало, разделявал — с хохоту помирал полк. Еще весной, когда по полку слухок пошел, что новый командир должен приехать из Казани, говорили старослужащие ребята — у нового бати порядочек будет дай бог, никакая инспекция не подкопается. Говорили, будто воевал батя еще парнишкой в гражданскую, раненым в плен к врангелевцам попал, выстроили их, бедняг, в одну шеренгу и каждого десятого зарубили, а батю девятым оказался... А утром наши подошли, выручили. Вот с того времени, говорят, и появилась у бати привычка — чуть понервничает

если, коленками начинает покачивать, и что в такие минуты самое лучшее бате в глаза смотреть, признаваться во всех грехах, не волынить — простит...

Прижмурившись, стал Микола следить за пальцем бати, что по синей жилке Волги вроде вверх подымался...

Подполковник долго смотрел на какую-то точку у этой синей жилки, потом слез со стула. Микола, глядя прямо в зеленватые, под широкими темными бровями глаза командира, подтянулся. Уважительно, в меру кашлянуть себе позволил. Подполковник улыбнулся — совсем еще молодое у него было, загорелое лицо, — подошел к Миколу, руку протянул.

— Здравствуй, Нестерчук.

— Здравст, товарищ подполковник! — Микола несильно пожал сухую ладонь командира и тоже улыбнулся.

— Садись, Коля. Садись.

Командир сел в плетенное из ивняка креслице, ногу на ногу закинул. И Микола на краешек кожаного кресла перед столом опустился, руки на коленки положил, фуражку придерживая.

— Ну, шо, Микола, як тоби служба?

— Та усе в порядке, товарищ пидповковник. Ничого.

— Ой, Колю, приглянув вже якусь армяночку?

— Та ни, товарищ пидповковник, хиба ж время е? — улыбнулся Микола осторожно, хотя по глазам командира уверился, что никаких дурных вестей его не ждет...

— Хочу, Костиевич, тебя просить... Дело мое личное... — негромко сказал батя, почему-то опуская глаза, и побарабанил сухими пальцами по стеклу на столе.

Удивился Микола, что командир знает его отчество, да еще не записанное в красноармейской книжке — «Константинович», а настоящее, как дома говорили... Провел ладонью по взмокшему лбу.

— Шо ж, товарищ подполковник, я как службу сполняю... Замечаний не удостоенный, товарищ подполковник, — тихо сказал Микола и согнутым пальцем согнал с виска капли пота.

— Семья у меня в Казани, Костиевич. Время сейчас, сам знаешь, не очень веселое... Жинка у меня там с тремя хлопцами. Каждый день пишет — возьми... Голодно там. Вот хочу тебя просить, Костиевич... Майор Сакуненко тебя предложил. Надоел ты, видно, ему докладными, а?

— Спасиби, — тихо, но уже совсем спокойно сказал Микола. — Постараюсь, товарищ подполковник. Усе в порядке буде, товарищ подполковник. Хиба ж я не розумию? Довезем и хлопчиков, и жинку вашу, товарищ командир. Спасиби!

— Тебе спасибо, Костиевич. У тебя ведь мама — там?

— Шо ж, от родной хаты...

— Возьмешь и жену комиссара Лемешко. Она молодая, не в обузу будет.

— Довезем, товарищ командир. Спасиби вам.

Микола поднялся, фуражку надел.

— Шинелька у тебя — как? — спросил Коробов, глядя на пятна от озокерита на гимнастерке Микола.

— Да не дуже, товарищ подполковник, — смущенно улыбнулся Микола. — Як по линии блукаешь с проверкой... Колючки скрозь туточки армяньски...

— Ага. Сделаем. Готовься, Костиевич. Вечером отправим.

У дверей Микола отрывисто хватил правой рукой под козырек, грохнул, повсрачиваясь кругом, каблуками и вышел.

Посыльный, что нашел Миколу пятнадцать минут назад в телефонке, сунулся было к нему — что да как? — но Микола только рукой махнул: «Отчепись, салага, туточки с тобой балакать нема времени...» — и прошагал мимо, фуражку сдвинув на правое ухо. У Женьки Егорова, что каменел по-прежнему перед знаменем, глаза любопытством налились, теперь ему до смены с годок покажется, чертушке...

А еще через десять минут шагал Микола в склад ОВС: опять посыльный прибежал — видно, майор Сакуненко уже наказ от бати получил.

Собирался Микола в дальнюю дорогу всерьез: тут дурнем последним надо быть, чтобы не отхватить со склада ОВС добрячую обмундировочку...

— Первого сроку шинели не найду, — сказал ему кладовщик, копясь в каких-то ведомостях на длинном столе в углу подвала.

— Ось шо, мини дурня не строй, поняв? — сказал Микола, прицеливаясь черными глазами на стеллажи, где высоченными кипами лежали темно-серые с голубизной, новенькие шинели. По цвету Микола определил — для полковой школы то добро приготовлено...

— Ты, Нестерчук, не командуй. Каждый тут будет мне порядки устанавливать, а ответственное лицо кто? У меня на полмиллиона тут... Ежели каждый... — бормотал кладовщик, близоруко согнувшись над своими ледащими бумажками.

— Шо ж, батя прямо мини приказав: чуть шо поперек — докладать. Лично, — сказал Микола, небрежно перебирая кучу тренчиков для скаток. — Чи тоби, любый мий, на губу приспичило, аж пид хвостом горыть, га? Ой, жалею я тоби, Пантелеев, голуба.

Отшвырнул Пантелеев ведомость, губами пожевал, на скуластом унылом лице улыбочка мелькнула. Связываться с настырным ефрейтором, когда сам майор Сакуненко не поленился зайти в склад и предупредить об этом Нестерчуке, было ни к чему...

— Рост? — хмуро спросил Пантелеев.

— Це вже друга балачка, — засмеялся Микола снисходительно. — Третий. Третий, начальник.

Но тут же он пожалел, что спросил шинель третьего роста — надо б четвертый взять, чтоб полы, как у кавалерии, по каблукам трепыхались...

— Ни-и, не подойде. Коротка ж, бачь, — сказал Микола со вздохом, набросив для примерки шинель, поданную угрюмым Пантелеевым с лешенки у стеллажа. — Четвертый давай. Як раз буде. Та давай-давай, не жмись, як куркуль в коллективизацию.

Длинноват был четвертый, но Микола взял — в такой шинельке и в Казань не стыдно катнуть, и по улице Абовяна вечером в субботу проветриться... Свернув шинель бережно и положив на прилавок из сладко пахнувших сосновых досок, снял Микола пояс с гимнастерки, неторопливо воротник расстегнул...

Пантелеев и накладную писать бросил.

— Ты... Это чего ты?

— Гимнастерочку треба поновийше, — вздохнул Микола. — Та й ремень треба... Хиба ж це ремень? Ну, шо ты на мене смотришь? Ни-и, я тоби по-хорошему, як солдат солдату... Но — доложу. Лично доложу батьке. Шо ты мене мордуешь, га? До-ло-жу, не могу я бильше!

Пантелеев, сдавшись, махнул рукой и сел на табурет, закурил, — с этим ефрейтором только свяжись, ну его в самом деле к лешему...

Разгуливал Микола неспешно у стеллажей, щупал добро, примерял, прикладывал...

— А дэ в тэбе кальсоны, начальник? — кричал он с дальнего конца склада.

— Сволочь ты, ефрейтор... На четвертом — ослеп?

Микола, посмеиваясь, на четвертый стеллаж по лесенке взбирался.

Ушел он через час, поскрипывая новенькими сапогами, завернув в шинель разную мелочишку, новую фуражку с комсоставского стеллажа прихватил.

Ехать так ехать. А по линии с проверкой и Женька Егоров побегает, для первогодка — закалочка верная.

К вечеру этого счастливого для Миколы денька был он в полной готовности к путешествию. Правда, побегать-таки пришлось, но для себя — ног жалеть? Знакомые хлопцы, из самого Батурина земляки, в полковой швейной мастерской обработали Миколину шинель, как старшине на свадьбу, сделали отложные, комсоставские борта, оснастили их потайными крючками... Ежели в строй Миколе или там у начальства на глазах доведется быть, крючки застегнуть — дело плевое. А уж в остальное время по обычаю каждого старослужащего бойца — шинелька выглядит, как у командира, борта в сторонки... Махоньких блестящих пуговиц сзади на разрез шинели тоже земляки не пожалели — двенадцать штук уместили, против устава вдвое. И у новых шаровар из темно-синей диагонали (еще с ворошиловских времен запасец у Пантелеева припрятан был, носу такой диагонали нету) по всей моде шов сзади, пониже колена, настрочили, штанина по ноге — в обтяжку...

Забежав после обеда в телефонную мастерскую, взял Микола стальной проволоки, кольцом свернул, под тулью фуражки сунул — бриться можно обрезом тульи... Старшина принес ему пистолет в кобуре желтой кожи — только майорам и выше такие полагались, а тут артвооруженцы не пожадничали. Перед самым отъездом успел Микола в клуб заскочить, попросил начлуба — не давал чтоб никому баяна, испортят байстрюки-первогодки инструмент...

Мимо дружка Женьки Егорова (опять он на посту стоял) пришлось три раза прогрохать подошвами новеньких сапог Миколе. Никого в штабном коридоре не было, удалось Миколе своему подшефному первогодку суть дела сообщить...

Женька оказался твердой выучки — рта не раскрыл, только улыбнулся на прощанье.

Посадили Миколу в батину черную «эмочку», помкомвзвода тяжеленный чемодан с сухим пайком приволок, писаря — шестерки штабные перед командиром полка усердствовали, лично, дьяволы ленивые, явились, чтоб для надежности еще разок аттестаты Миколины просмотреть. Батя пришел, письмо дал жинке, карман гимнастерки Миколиной сам расстегнул, сунул пачечку денег, опять застегнул («Та на шо, товариш командир...» — Микола сконфузился), пожал руку крепко. Писаря улыбались, словно Микола им по медали вручил перед строем.

Покатил Микола.

Мимо кинотеатра «Давид Сасунский», налево по площади — и к вокзалу. А тут уж старый приятель Пантелеев млеет в духотище у кассы — литер оформлял у коменданта для Миколы... Тридцать минут до бакинского скорого оставалось. Батин шофер, младший сержант Леша, чемодан из машины вытащил. Ну, понятно, будет батин шофер зазря ефрейторский чемодан ворочать... Пантелеев тоже глазки синенькие щурит, улыбается, черт скуластый... Микола — к ларечку. Красное вино — рубль стакан. Леша чемодан сзади волокет. Пантелеев по площади глазками рыщет — комендантского патруля не видать ли...

— Будьмо, хлопчики!



Выпили по стакашку, фуражки сбив на затылок.

— Ну, спасибо, Коля. Хорошей тебе дороги! — Леша яблоком закусил, половиночку оставил...

— Пожалел для тебя чего Пантелеев? Нет, ты, Колька, скажи — пожалел? Мне теперь по ведомостям проводить — башка треснет... Ну, я от души, не жалко для хорошего человека. С Пантелеевым ежели похорошему, Пантелеев...

— Повторить! — сказал Микола, трешницу бросая на цинковый прилавок, потом вздохнул легонько и еще трешницу добавил — на яблоки. — Шоб хлопцы на мене казали, шо Нестерчук свинья — ни-и... Будьмо, ребята! За победу!

Уж что-что, а знал Микола точно: зеленая фуражка — сила.

Где на пересадке заест дело — шел он в станционный оперпункт (чекист у чекистов всегда дома — это еще на политзанятиях по первому году службы крепко запомнил Микола, — от Дзержинского такой обычай нерушим). И, глядишь, помкомеданта железнодорожный, зеленый от службы своей треклятой, в оперпункт на приглашение является. Черкнет красным карандашиком, что положено, в углу командировочного предписания — и порядок.

Посадят его в вагон задолго до общей колготни ребята, займет он самую спокойную, третью полочку, шинель расстелет поаккуратнее, чтоб не мялась, сапоги суконкой обмахнет — и, руки за спину, по вагону пройдет, у окошка постоит, поглядывая... Рванутся в вагон серые шинели в крике, гаме — Микола сверху какого-нибудь земляка приглянет и напротив себя полку уступает, чемодан свой — знак, что место занято, — с помощью обрадованного земляка переставит...

Иной землячок спросит тихонько:

— Чи далеко едете, товарищ ефрейтор?..

Микола глаз черный прищурит, усмехнется, ответит неопределенно:

— Щось не помню, любый мий...

— Да я ж тильки так, — конфузится землячок и усердно старается свою нескромность искупить, за кипятком бегаёт в охотку, понимая, что какому-нито замухрышке желтую майорскую кобуру начальство не даст...

От Тихорецкой до Сталинграда три дня ехал Микола. Час стоит поезд, второй стоит. Проскочит километров десять, а то и меньше — опять в хвост переднего эшелона упрется... Прогуляется Микола с соседями по вагону до эшелона — свежим воздухом подышать, — на том эшелоне и смотреть нечего: станки всякие, железно, тракторишко ЧТЗ старенький, что в армию не гожд... С Житомирщины эвакуируют. В трех пульманах — старики да бабы с детишками. Злые бабы, лучше не подходить... На восток, кричат, тикаете, а немец — де?.. Слово солдат сам себе дорогу выбирает, эх, бабоньки...

— В мене маты да сестра четырнадцати рокив в Батурине остались, а шо я можу? — сказал как-то Микола одной житомирской, что черными глазами на него с платформы уставилась обидно, семечки кавунные жареные пощелкивала красногубым ртом.

— Э-э, малесеньке, нэ треба тих слов, — усмехнулась красногубая. — Втикай соби аж до Уралу, чи тоби жизнь не любя? Ты ж з винтовки в корову нияк нэ попадешь... Тож мини вояка!

Две дивчатки, что брезентом шуршали за спиной красногубой злыдни — станок укрывали, — на Миколу очи прищурили. Смеяться не смеялись, а ротки поджали...

— Нехорошие ваши слова, мамаша, — сказал с усмешкой Микола, коленками подрагивая, как батя-подполковник.

— Да яка ж я тоби мамаша? Да вин ще и нэ бачить ничего! Оксанка, га?

Дивчатки прыснули...

— А шо? — сказал Микола. — Рокив под пятьдесят вже е, мамаша?

— А залази сюды, мабудь, побачишь! — смеялась краснотубая.

— Кого пугаешь, мамаша? Младший комсостав пугаешь? — веселел Микола.

— Тож мини командир, ось, гляньте на него!

Посомневался чуток Микола (о чемодане и шинели беспокойство брало, но попутчик был парнем добрым, из Чернигова), сдвинул фуражку на затылок и кочетом взлетел на платформу...

Так до Сталинграда и ехал с Марией Остаповной и ее младшими сестричками, на судьбу не жаловался. И на парход Мария его посадила. Плакать не плакала, а в губы Миколу поцеловала крепко.

Вышел Микола с пристани, по деревянной широкой лестнице к трамвайной остановке поднялся...

Вот она — Казань...

Народу у пристаней — дивизия, не меньше.

Поставил Микола чемодан у ноги (тяжелый, черт, — батя трем своим хлопчикам грецких орехов добрый таки мешочек, целую солдатскую наволочку, в подарок просил доставить, ни орешечка Микола не куснул). Пот со лба вытер, отдышался. Глядит, у пивного ларечка три шинели — патруль вроде... У старшего — длинного сутулого сержанта — морда вроде ничего, на уставника не похож парень... Не стал Микола борта шинели по положению застегивать.

— Здравст, товарищи! — козырнул он для начала постарательней, даже каблуками пристукнул. — Як воно пиво, товарищ сержант?

— Здорово, служба, — баском сказал сержант, глянул на нахально торчащие в стороны борта Миколиной шинели, но — ничего, обошлось...

— Разрешите, товарищ сержант, кружечку поспробовать? — щелкнул каблуками Микола.

Сержант усмехнулся, на приятелей глянул...

— Валяй, если есть на что, — засмеялся один из них, с лица приятный хлопок.

Гражданские из длинной очереди (старался Микола в глаза им не смотреть) помолчали, когда продавщица подала симпатичному маленькому солдатику в шинели до пят кружку пива и даже солцы свеженькой в блюде на прилавке досыпать не поленилась.

— Холоднесеньке... — проговорил Микола блаженно, вытирая губы платочком (Марии Остаповны память). — Ще одну дозвольте, любезная...

Глянул на сержанта — эге, да он от лишней кружечки не откажется...

— Ще три наливайте, будь ласка, гражданочка, — сказал Микола уверенно. — За ради компании, товарищ сержант, та яки могут быть разговоры! Гроши в мэне е. Та давайте, хлопцы!

Пил Микола доброе казанское пиво в полное удовольствие, глоток делает — на народ глянет.

— В слободу Восстания туточки побыстрише як доехать, товарищ сержант, чи не скажете? — спросил он, ссыпая сдачу в кожаное солидное портмоне (из Ирана помкомвзвода привез, задешево уступил).

— А мы туда. Вася, помоги товарищу ефрейтору, — сказал сержант, кивнув на чемодан.

Всю дорогу, покамест катил трамвай по дамбе в слободу, стоял Микола с тремя новыми знакомцами на задней площадке, покуривал в рукав из уважения к молоденькой смуглой кондукторше, о своей служ-

бе рассказывал почти что правду... О бате помянул — у хлопцев улыбки пошли, знали ребята подполковника: до весны здесь, в Казани, служил Павел Васильевич, золотой мужик...

— Анну Евстафьевну я как раз утречком видал,— сказал сержант (фамилия его была — Штарев).— Велосипед для ее пацанов шофера чинили, восьмерочка на переднем — глядеть страшно. Лихие парнишки. Близнята, а вот скажи — разные. Игорек — тот здоровенный, белявенький, а Олежка — чернушок. Ага.

— А Володя — як хлопец? — поинтересовался Микола.

— Хорош парняга. Просто-ой, в батьку. Да и Анна Евстафьевна — хороша дамочка. И поет, и спляшет, и по хозяйству. В хоре поет — ну, братики, го-о-олос...

— Це ж вам Украина,— ухмыльнулся Микола.

— Командир полка, значит... Павел-то Васильич, говорю.— Второй хлопец, Гусаров Вася, вздохнул.— Лафа тебе, Коля, с таким ба-тей, а?

— Хиба ж нет.

— Я как-то дневальным стоял. Ночью дело, спать охота — сил нет моих. Гляжу — майор Коробов. По штабу бригады опердежурным был. Как раз на майские праздники. За руку со мной, значит... «Тихо?» — спрашивает. «Все в порядке, товарищ майор»,— говорю. «И в самоволочку никто не тронулся?.. Третья койка справа — чья» — «Третья?» — говорю, а у самого, ребята, дух вон. Мишка Туголуков, гад, нарезал к своей татарочке! Подсунул шинель под одеяло, сразу и не угладишь при дежурном-то освещении, а майор засек в момент... Я, значит, к койке, шупаю, а чего тут шупать? Влип, думаю, по первое число... Гляжу дурак дураком на майора. «Кто вторая смена?» — спрашивает. Тихо так, вроде и злости у него нет. Ведь ЧП на майские, дело ясное...

— Дисциплинарный батальон как пить дать,— сказал сержант.— Месяцев шесть трибунал отвалит — это еще по-доброму.

— Уполне,— согласился Микола.— Колы ты присягав, так шо ж цацкаться? Ну, шо тоби батя, Василь?

— Да что... Ведь есть же люди в начальстве. Подними, говорит, вторую смену — через сорок минут ко мне с Туголуковым быть. «Товарищ майор, да разве его найдешь?» — говорю. Глянул он на меня... Коленки, вижу, ну, подрагивать стали... Рассердился, думаю. Но ничего, пошел он дальше, в третью роту. А у меня, ребята, под сердце подкатило что-то, ну, не дыхну... Васек ты Гусаров, сволочь же ты последняя... В глаза майору брешешь. Правда, ребята, муторно стало...

— Ну, нашел Мишку-то? — спросил третий солдат, из молчунов, видать, первый раз за дорогу рот раскрыл.

— Да чего искать-то? Мишка со мной и уговаривался... Рядом с парком Петрова дом. Я сам туда по первому-то году бегал каждую неделю верняком... Дурак был, дорвался после деревни, городскую кралю увижу... тьфу!

— К Римке теперь лыжи востришь, помолчал бы,— сержант засмеялся.

— К Рямке побежишь, дисциплинарки не побоишься... Тут песня другая, начальник.

Добрые Миколу попутчики попались: до самого дома, где комсоставские семьи живут, довели, чемодан по очереди нести не поленились.

Домина красного кирпича, четыре этажа. А через улицу — дворец белый, весь в стекле, и над входом буквы по стене вылеплены человеку в рост — «Культура сарае». Кто его знает, что написано, по-татарски, верней всего...

Налево если глянуть — речушка течет, поуже Сейма, меж маленьких домов на солнышке закатном горит.

Отдышался Микола. Сапоги суконкой обмахнул. Достал из кармана гимнастерки зеркальце круглое (на обратной стороне молодича с черными косами до колен на карточку снята нагишом по заграничной моде. Из Ирана помкомвзвода приволок двадцать семь штук, на весь взвод связи хватило). Эге, лицо вроде круглей стало, вот уж ни к чему б...

Четвертый подъезд надо. Квартира шестьдесят три. Вот и доехал, Миколка, честь честью. Батя знал, кому доверить. Покурить, что ли?..

Присел Микола на чемодан.

Из дальнего подъезда мужчина вышел. В шляпе серой. И пальто серое, под поясом. Ботиночки желтые. Молодой...

— Извиняюсь, товарищок. Чи не скажете, где туточки квартира шестьдесят третья буде? — поднялся Микола с чемодана.

Глаза у парня были синие, смотрели на Миколу непонятно... Потом рукой в кожаной желтой перчатке махнул.

— Последний подъезд. На самый верхний придется, — сказал парень, Миколу разглядывая. На борта шинели обратил внимание. Скорей всего — командир, по хватке видать сразу. Микола на всякий случай каблук вместе составил...

— Вы к Коробовым, товарищ ефрейтор?

— Точно.

— Давно вас ждут. — Парень слабо улыбнулся и пошел, легко так, не по-солдатски.

Командир, точно. Есть же красивые хлопцы, а? Тут всю службу на левом фланге кантуешься — недомерок. Ну что ж, кому счастье, кому и так.

Взял Микола чемодан и зашагал к четвертому подъезду.

### 3.

Посадка на «Тимирязева», говорили, только после часу ночи будет, а в бараке народ как вымели... Каждый поближе к дебаркадеру норовит пробраться, оно надежнее.

Под фанерным потолком барака, на бело-голубые клетки разделанным, плавал табачный дымок. В дальнем углу сидели раненые — человек сорок, на улице гнать их совестились, вот и надымили парни...

Старуха татарка в черном халате жикала по деревянному полу метлой, пошвыривала меж высоких скамей валик мокрых опилок. Дошла до одноногого солдата — он спал, припав затылком к поручню скамьи, вытянув длинную ногу в пыльном яловом сапоге. Новенькие костыли с брезентовыми подмышниками лежали на полу.

— Ляги хорошо, сынычка, — пробормотала старуха, повалила солдата бережно на скамью, ногу его подняла, положила поудобнее. Приставила костыли к скамье. Солдат не проснулся.

Володька посмотрел на его лицо — белое, на ровном носу капли пота проступили, маленький рот сжат плотно — и опять стал бродить в узеньком поперечном проходе меж скамей, заложив руки за спину, горбась...

Игорек и Олежка спали, упав головами в одинаковых цигейковых шапках на колени Нелли Константиновны. Она сидела на узле, привалившись спиной к стенке. Тебе плохо, дорогая Неленька? (Вялые мысли путались у Володьки.) А я-то при чем? Плохо вам, уважаемая Нелли Константиновна? По коленочкам этого не заметно. Толстеете. Господи, ну неужели нельзя не выставлять эти проклятые коленки? Плохо вам,

комиссарша? Хм. Папочка — комбриг. Правда, вашего достопочтенного супруга старик терпеть не может, это всей бригаде известно. Но муженька Неленька отхватила видного, все невесты-дурищи слободы Восстания умирали от зависти. Кто ж откажется быть женой героя сопки Заозерной, заместителя начальника политотдела бригады по комсомолу в двадцать семь лет?.. Нет, не так уж плохо вам живется, дорогая комиссарша. Терпимо.

— Сядь,— сказала Нелли Константиновна.— Ты же весь вечер на ногах.

— Спасибо. Вы удивительно добрая.

— Она уже не придет, Володя... Славненькая девочка. Значит, нельзя приехать.

Узкая ладонь ее медленно поднялась к лицу, провела по лбу.

— Мы... я видела тебя. Позавчера, в подъезде. Очень красивое у нее личико, Вовка. Ты не обернулся. А это я шла.

— И еще кто-то? — усмехнулся Володька.

— Нет. Я одна.

— А мне показалось...

— Почему эта девочка плакала? — торопливо сказала Нелли Константиновна.

Володька пожал плечами... Говорить с Нелли Константиновной о Мирве было и приятно, и почему-то все больше ныло сердце.

— Ничего не бывает так, как хочется,— сказала Нелли Константиновна грустно.— Не хочу ехать, а еду. И ты... Ну, посиди. Нельзя ей. Ничего не поделать, Володечка. Мы с тобой, как щепки в Волге... Посиди, ты устал.

Володька присел на чемодан, стиснул руки меж колен. Ноги покалывало. Бегай, не бегай — Мирва не придет. Плакала, а не придет. Сейчас до нее — семь километров, а будет — две тысячи. «У тебя большой какие шаги...» Сколько шагов в семи километрах? Спит, конечно, уже давно спит Мирва... Очень ей надо знать, сколько в этих семи километрах шагов...

— Вовка, скажи... Если эта девочка... Ну, плохо бы себя вела, понимаешь? Вот ты уедешь, а она...

— Не пойму тебя, Неля... — хмуро сказал Володька.

Лицо у Нелли жалко дрогнуло.

— Ну, ладно, иди,— сказала она.— Походи, пожалуйста.

Володька поднялся, побрел к дверям. Костыли одноногого опять соскользнули со скамьи и валялись поперек прохода. Володька приставил их. Одноногий улыбался во сне.

От дверей шли мать и Микола.

— Вовчик, едем! — деловито сказал Микола.

— Где ты был, Володенька?

«Ну, не смотри так, мам. Надо было». Володька отвел от матери глаза.

— На пароход дали,— идя рядом с Володькой, сказала мать.— Я боялась — на баржу. Сам полковник звонил, спасибо. Мальчики спят? Маленькие мои... Коля, может, рано еще будить?

Анна Евстафьевна увидела сыновей, приткнувшихся головами на колени Нелли Константиновны. Слабо улыбаясь, Нелли Константиновна обхватила мальчиков за плечи.

— У нас, мамочка, полный отбой...

— Нелечка, родненькая, ты же столько сидишь... Да положила бы на скамейку, таких большущих...

— Ничего. Пусть.

Микола из-за плеча Анны Евстафьевны на круглые коленки майорши глянул — и отступил на шагок.

— Треба двинуть, Анна Евстафьевна, — сказал он, хмурясь и поглубже натягивая фуражку. — Хлопчики на пароходе посплять.

— Маленькие мои...

— Нель Константиновна, подъемчик зыграйте, — строго сказал Микола и склонился над узлом. — Вовчик, посунься трохи. Бери цей, полегче.

-- Пойдите, — сказала Анна Евстафьевна, присев перед сыновьями. — Комбриг обещал людей прислать. Одни не дотащим, Коля.

-- Шо ж, времечко ще е.

### Штарев и Гусаров

— Сержант Штарев! Боец Гусаров! На выход! — выкрикнул казенным голосом посыльный по штабу бригады, приоткрыв дверь клуба.

Крутили «Волочаевские дни» для второго батальона, заступавшего завтра в наряд.

Разомлевшие в духоте Штарев и Гусаров, матюкаясь шепотом (от таких внезапных вызовов добра солдату ждать нечего, проверено не раз), полезли вдоль ряда...

Спустились на первый этаж, в комнату дежурного.

-- Отправитесь на пристань. Приказание комбрига. Поможете семье подполковника Коробова. Санитарная у ворот. Ясно? — сказал дежурный капитан, игравший в шахматы с писарем. — Чтоб порядок был, Штарев. Давайте!

— Есть, товарищ капитан! — широко улыбнулся Штарев. — В наряд, значит, не пойдем, товарищ капитан?

Капитан сердито фыркнул — по всему видать, что писарь с ленивой усмешечкой на длинном лице обжимал его по всем статьям...

— Помогнем, товарищ капитан, — сказал Гусаров, у которого отлегло от души. — Организуем, как положено. Знакомый пограничник-то, что Павел Васильевич прислали. Помогнем.

Санитарный автобус уже стоял у будки КПП<sup>1</sup>.

— Газуй, коновал, — сказал Гусаров шоферу, усаживаясь на откидную скамью рядом с посменвавшимся Штаревым.

— На Первую Краснококшайскую, дом шестнадцать, — сказал Штарев. — С ветерком.

Гусаров засмеялся.

— Вот спасибо, начальник. Чуткость, одно слово!

— Со старшего спрос, мне плевать, — сказал шофер, позевывая.

— Девчонки дома, точно, — сказал Гусаров. — До утра-то двинемся, коновал?

— Дерьмо оставили! Все для победы, а тут ездят на всякой калечине... Крутни, Вася! -- сказал шофер

Гусаров выдернул из-под ног шофера заводную ручку, выскочил в темень.

Мотор гулко зачихал.

— Полчасика, братцы, спроворим, — сказал Гусаров, бросая ручку на прежнее место и усаживаясь. Ему было жарко, он распахнул шинель.

— Капитан звонил — в два должны отчалить. На «Тимирязеве», — сказал шофер. — При мне звонил. В такое время едут, а? К отцу, понятное дело... Я домой бы пеши потопал...

<sup>1</sup> КПП — контрольно-пропускной пункт.

— Римка дома, точно, — прижмурился Гусаров.

— Смотри, ребята, засекут патрули — словим на полную катушку. — Шофер вздохнул. — А, товарищ сержант?

— Дальше фронта не ушли. Жми.

— Я в Смоленске был, когда еще пионером, — проговорил шофер, улыбаясь, — ну, купались мы в Днепре-е... Благодать была в мирное время...

— Я так считаю — остановят гада, — сказал Гусаров. — Сводка сегодня почти что в нашу пользу. А я, братцы, до службы по степи кантовался, речки не видел до шестнадцати годов, верно!

— К той осени порешим. Ну, к Дню Конституции, — сказал Штарев. — Во Франции катили, у нас не покатишь... На халтурку не возьмешь.

— Третий год вкалываю, ребята, — сказал шофер. — Своей охотой пошел, во дурило.

— Это ты брось. Ежели я добровольно — тоже пыльным мешком стукнутый, что ль? — сказал Штарев. — Это ты брось, коновал. Обернулось не по-нашему, что говорить. Ведь все одно загнется ж, гад, а на Россию полез... Мы ему эту внезапность паскудную припомним, дай срок, побьем еще стеклышки в Берлине...

— Между прочим его фамилия — Шикельгрубель, — сказал Гусаров. — Австрийский от рождения, а мамаша, сучка, славянских кровей, ага! Чехословацкая. У Ильи Эренбурга читал, во пишет мужик!

— Про мамашу — брехня, — сказал Штарев. — Это ты загнул.

— Брехню в книжке не пропустят. Точно. А отец — на почте работал. Точно. А он маляром был, Адольфик-то.

— Посижу я на поганой могилке Адольфа после горохового супешника, — хмуро засмеялся Штарев. — Выродится вот такое чадо — и всем людям жизни нет, а?.. Почему один мужик такую силу берет? Гришка Распутин царицу по задку запросто шлепал, с Миколашкой чай пивал... Министры перед ним шапки ломали, это уж я без твоего Эренбурга знаю, батька покойный рассказывал. В гвардейской артиллерии службу ломал.

— Налево, налево! — толкнул шофера в плечо Гусаров.

И Римка дома оказалась. И Люська, штаревская присуха. Но не в час гости заглянули, слезы лились в доме номер шестнадцать...

Геннадий, братан, позавчера из больницы выписался, а сегодня в обед повестку ему принесли. Желтенькая такая бумажечка. Команда № 104/7. К восьми часам завтра — в военкомат. С вещами.

Римка редела, на диван повалившись. Так и не вставала с обеда. Одна Люська и собирает братишку младшего в пути дальние...

А Геннадий, побрившись, — на правой скуле клочок газетки прилеплен, порезался парнишка, — сидел истуканом рядом с матерью. Она руку его как стиснула в ладонях черных (юбку перед обедом затеяла было Римке красить), так и не выпускает.

— Мамадя, вы это занапрасно, — сказал Штарев, присаживаясь на корточки у ног ее, и погладил черную холодную руку. — Генку ж в училище комсоставское возьмут! Кто из техникума, тут и говорить не будут, я вам, мамадя, обмана не позволю, знаете меня, мамадя. Без кадров война не бывает, это вы поймите, мамадя...

Гусаров от дивана отошел (плакала Римка, даже спина с острыми лопатками девчоночьими вся дрожью колотится), бумажку желтую со стола взял.

— Ох женщины! — Он укоризненно прижмурил светлые глаза. — Ведь с дробью же команда! Во — дробь, семерка же проставленная,

чудачки... Товарищ сержант, ведь точно? Серафима Васильевна, это ж точно! Без дроби — то без дроби, а тут — вона!

Спина Римкина дрогнула и замерла.

— Солдату, маманя, верить можно, — сказал Штарев, выпрямляясь. — Да Генке вашему, можно сказать, счастье подвалило, в комсостав выйдет... Два кубаря в петлицу, сапожки хромовские, портупея... да нашего брата цукать «я те дам» будет, по стоечке «смирно» держать! Покуда в курсантах сливочное масло рубает — фрица ж в дым распущат, маманя! Да что я — трепло, что ль?! Ох, маманя, обижаться не хочу, а... глядеть на вас нехорошо. Обидно, маманя.

Генка красивые (как у сестер) глаза от полу поднял, улыбнулся, на Штарева глядя.

— Ребята, вы садитесь, — сказал виноватым голосом. — Чайку бы, мам. Хватит тебе, мам.

Гусаров Римке подмигнул.

— Ну, куда с такой кралей в сад Петрова? Публику пугать до смерти, а?..

Римка потеряла глаза, шмыгнула носом, села, одернула на коленках мятое платишко. Значит, оживела моя ненаглядная, ну — порядочек. Гусаров фуражку — на подоконник, к дивану прошелся и, каблуками шелкнув, подсел к ней.

Тут шофер в дверь заглянул (звали ведь с собой, вот нестроещина обозная). Гусаров головой покачал... Усадила нового гостя Люська к столу. Нехорошо человеку от приятелей в особицу.

Добрая маманя у Генки. Старушечка тихая, Римка-то на нее иной разок и покрикнет, глупа еще, зеленая, семнадцать и стукнуло едва, — размышлял Гусаров, теплое плечо Римки чувствуя. — А невеститься любит — что ты! Получку принесет — и к матери лисой: юбку ей, дурочке, позарез надо иль еще дребедень какую бабью... Пришла тогда в клуб бригады с шефами, такую речугу закатила, хлопали ей ребята до мозолей на ладошках. Умеет же такая пичуга речи толкать, а?.. Не мастак Гусаров танцы крутить, а как дамский вальс объявили, Римуля от сержантов кругом марш — и к нему... Значит, не обиделась, как в первый раз пригласил, сапожищами все туфленки белые истоптал девчонке... Сидит вот, брательника жалеет... Да такую обидеть — руки отрубить надо, голову напрочь за такую черноглазенькую, родную...

Встал Гусаров, Люське помог стол приготовить — раздвигается стол, недавно, перед войной, купили. Сахару, если пить аккуратно, пожалуй, и хватить должно. Надо будет чайком в казарме недельку не баловать, принести кулечек старушке...

Люська с сестрой пошептались у комода, надвинула платок Римка и улетела. Ну и правильно. В солдаты идти — не чаем дорогу sprыскивать, порядок надобен, как у всех людей водится.

Выпили тихо, без разговоров по первой. Маманя и та рюмочку до дна, справилась. Один сын, понимаем. Дробь дробью, а ежели по совети — может, увидит Генку старая, а не загадано — и не дождется. Жалко мальчонку. Увидел три, что ли, недели назад — с Римкой в сенцах мы обнялись на прощанье — и говорить потом с сестрой не хотел, чудак...

— Ну, Геннадий Никанорыч, давай по второму за службу легкую, комсоставскую... Ты, Генаша, смотри соколом, маманя пускай веселым помнит! Обойдется по-хорошему, маманя. Россия была и будет. Это кто сказал? Это, маманя, лично он сказал, значит — точка... Пейте дочиста, маманя, а чего плакать? Гитлерюгу радовать? Пусть он, зверь паршивый, умоется поперва от кровнищи... Ну, не буду. Люблю я тебя, Генка, вот я тебе все, хошь, скажу? Я в вашем, можно сказать, доме хорошем душу



свою оставил, Геннадий Никанорыч... Маманя, маманечка, ежели вы меня считаете... не-ет, вы меня не так еще считаете, не заслужил я у вас. Я для Римки чего пожалею? Пожалею я для Римки, маманя? Римма Никаноровна, я тебе сказал. Все тебе сказано было... Я, может, к дому вашему подхожу — а у меня что на сердце, а? Мамань... маманечка вы моя, золотая вы моя, за Римку я... эх! Трезвый. Нет, трезвый. Выпью, Гена. Просто больно хорошо, иди, Генаша, смело иди, поняль?

По-людски посидели.

Расцеловались парни с Генкой. Маманю в щеку поцеловали. С девчонками за руку попрощались. Поехали, когда уж первый час был.

Со старшего спрос... Это все верно. И почему жизнь такая горькая за горло хороших людей хватает? Плюнул Штарев себе под сапоги. Эх, ночка сегодня черна... Вася, говорю, ночка-то черна больно, слышь? Ну, придремай покуда. Спи, говорю. Слабачок ты, Васюнька. Ну, спи уж. Далеко еще. Спи.

В ночи октябрьской глухой и пылинки свету не приметить нигде. Далеко тебе до хорошей жизни, браток, далеко.

Рассердился на себя Штарев, губу прикусил. Закурить бы, да Васюхина голова по коленям елозит, не с руки закурить. Терпел Штарев.

#### 4

Посадка на «Тимирязева» началась в три ночи. Притиснутый к дощатой стенке дебаркадера рвущейся вперед с глухим ропотом толпой, Володька пытался увидеть в синей полутьме своих.

Это Олежка! Это Олеженька плачет... Да, это он сидит на плечах сержанта...

— Ши... Шинкарев! — неуверенно крикнул Володька, вдруг забыв фамилию сержанта.— Товарищ Шинкарев!

Олежка оглянулся. Из-под цигейковой шапки лицо почему-то блесло — плакал маленький...

— Вова! Вова!

— Ничего, Олеженька!

Сержант пробовал повернуться, но не смог.

— Володь! — глухо отозвался он.— Порядочек, Володь! Доберемся!

Опять зашевелились возле Володьки чужие спины, и неожиданно к нему прижало какую-то женщину. Володька повернул голову — большие влажные глаза Нелли Константиновны испуганно, без мысли, смотрели на него. Чемодан Нелли Константиновны все сильнее придавливали к правому колену Володьки. Тяжелое горячее дыхание било в щеку.

— Володенька... Воло...

— Сволочи... Ну, куда же... сволочи!

— Не могу, Володенька...

— Винограду захотела, на Кавказ надо?

— Господи...

Володька с такой остервенелой силой уперся руками в чьи-то спины, что они подались... Он что-то шептал, чувствуя, как раздается в стороны узенькая щель меж каменных чужих спин, как мягкое плечо Нелли Константиновны прижимается к его правой лопатке — беспомощно и жалко.

Он рванул из руки Нелли Константиновны чемодан и стал медленно протискиваться вперед, к трапу, где все плакал Олежка. Ему уда-

дось пробраться шагов пять, все время ощущая на своих плечах на-  
мертво впившиеся ладони Нелли Константиновны, но здесь, совсем  
рядом с трапом на нижнюю палубу, нельзя было шевельнуться...

— Биле-ет? Какой биле-ет? — истошно закричал женский хрипу-  
чий голос. — Я мертвая! Пустии-ии! Ой, родненькие, пустите-е-е! Саша,  
Сашенька, что со мной делают!

Володька чувствовал, как все сильнее подрагивает плотно припав-  
шее к его спине плечо Нелли Константиновны...

— Неля... Слышишь, Неля, — торопливо проговорил он, поворачи-  
вая голову и видя крепко зажмуренные плачущие глаза ее. — Пере-  
стань, слышишь? Сядем! Мы сядем! Перестань, Неля!

— Я не хочу. Я не могу. У меня все болит.

— Сядем! Говорю — сядем, ну!

Нелли Константиновна потерлась лицом о плечо Володьки, открыла  
темные влажные глаза. Володька, улыбнувшись, неожиданно тоже при-  
гнулся и прижал разгоряченное лицо к плечу Нелли Константиновны.

— Не отставай, комиссарша...

Он посмотрел вперед, к трапу. Олежки там уже не было. Значит,  
сержант пробился. А мама впереди, кажется, шла с Миколой... Толпа  
едва заметно подвигалась к распахнутому проему на грузовую палубу,  
скупо освещенную блеклыми синими лампочками. Горячая ладонь  
погладила подбородок Володьки.

— У тебя кровь... — сказала Нелли Константиновна и заплакала,  
прижавшись лицом к его плечу.

Сзади напирали. Под ногами вдруг стали подрагивать доски трапа...

— Володенька! — Голос матери, радостный и плачущий, прозвучал  
где-то за спиной Нелли Константиновны.

— Мама!

— Володенька!

Он попытался повернуться, чтобы увидеть мать, но кто-то схватил  
его за отворот пальто, оторвал от Нелли Константиновны, и Володька  
повалился на груды мешков...

— Сыди! Счас! — услышал он голос Миколы, вскочил.

На верху штабеля мучных мешков сидели братья. Олежка держал  
у груди чью-то фуражку.

— Олежек! Ига! — закричал Володька.

Братья заплакали.

Володька протолкался к ним, поставил оба чемодана, торопливо  
поцеловал горячие лица мальчиков.

— Сейчас! Ничего! Я к маме! — И он отскочил в толпу...

У трапа, злобно матерясь, матросы в черных телогрейках теснили  
кричавших людей назад, на дебаркадер. Володька пытался пробиться  
к трапу и увидел черноволосую, коротко стриженную голову сержанта...

— Штарев! Штаре-ев!

Сержант — на голову выше толпы — продирался уже по трапу.  
У его плеча увидел Володька мамин зеленый берет... И Нелли Констан-  
тиновна была рядом! Кто-то впереди Штарева возился среди матросов,  
приглушенно вскрикивая, — и к Володьке вынырнул Микола, швырнул  
тюк в знакомой серой обшивке... За ним протаранил чемоданом дрог-  
нувшую цепочку матросов оскаленный азартно Штарев...

— Мама, мамка! — обняв мать, бормотал Володька, глядя в ее  
лицо мокрыми счастливыми глазами.

— Де ж Гусаров?! — крикнул Микола сержанту.

— Впереди... ох, м-мать... был! — едва переведя дух, сказал тот. —  
Чемодан у него вырвали... Он тренчик хотел привязать к руке... Сейчас  
я, Коль...

— Нэма подлюги! — Микола, придерживая левой рукой фуражку, кинулся к трапу...

Меж бортом теплохода и дебаркадером ширился темный провал в невидимую воду, гулко бурлившую под колесом...

Штарев выхватил из рук Олежки свою фуражку, оттолкнул Микола — прыгнул. На дебаркадере его подхватили. И в это мгновение на краю площадки дебаркадера выросла невысокая фигура в растерзанной серой шинели...

— Васыль! — закричал Микола. — Та кидай!

Гусаров размахнулся чемоданом в правой руке, швыряя его в толпу пассажиров и матросов... Но чемодан почему-то не оторвался от его руки.

Серая шинель взмахнула полами — и Гусаров исчез в глухой тьме провала.

## 5

— Анна Евстафьевна... Та Анна ж Евстафьевна, ну, шо вы робите над собою? Ну, шо ж вы... Та людына хйба ж знае, як вона жизнь крутне! Та Анна Евстафьевна, будь ласка, ну, вже и хватит, ой, горе мени з вами...

Развидняет, должно быть, скоро, а Анна Евстафьевна все плачет... Уткнулась лицом в Олежкину спину (спит хлопчик), скорчилась, на мешке сидя, пальто в мучной пыли... Микола по ее плечу двумя пальцами погладил, присев на корточки. Что ж плакать... Гусарова теперь не вернешь, сгиб хлопец...

Выпрямился Микола — и охнул, спина едва не переломилась. Всю ночь на ногах протолкался — тут ляжешь, а кругом что за народ, кто его знает... Вещей у Анны Евстафьевны — на всю семью, не на гулянку собралась, к новому дому едет...

— Та хватит вже, Анна Евстафьевна... Чи слезы Васылю помогут?

Вздохнул Микола. На палубе вповалку спали люди. Пол — в железных рубчатых плитах — мелко дрожал. В узкую щель приоткрытой двери видна была вода — черная, мертвая. Микола притулился к стенке гудящей спиной. Ноги в белых от муки сапогах горели люто, со вчерашнего утра портяночек не собрался перевернуть...

«Захромаешь, как нестройной какой. Как Пантелеев... Надо бы тогда взять у него еще пару портянок, посоветился. Надо бы взять... А в том чемодане книги были... Володя сказал. Хороший у бати хлопец. Уснул. Тоже всю ночь с матерью просидел, жалеет... И Нелиню притихла. Очи у нее красивые. Черные. Володю обняла. Вот же тонкий палец... А сама — крепкая, прошла. Васыль не прошел, а она... Ехать нам еще, ехать... Надо было взять у Пантелеева портяночки...»

Перешагивали люди через маленького солдата в длинной шинели — спал он, повалившись боком как раз на самом проходе, и зеленая фуражка покачивалась на высоком козырьке рядом с черноволосой головой.

Ладонь тяжелую на плечо Анны Евстафьевны положил кто-то и не убирает.

Анна Евстафьевна подняла голову: костыль перед глазами, рядом штанина зеленая, армейская, подшитая пониже того места, где колено должно быть...

Перед ней стоял красноармеец в гимнастерке без ремня, припав на костыли широкой грудью. Глаза у него были светлые, улыбочивые, с прищурилкой. Убрал руку с ее плеча, взялся за поперечный держак правого костыля. Она узнала его: в бараке ночью на скамье — он спал.

— Нет вины вашей,— сказал негромко одноногий. Лицо его было спокойно, только морщинка меж бровей пала.

Анна Евстафьевна прикрыла глаза ладонью...

— Поспите,— сказал он.— На моем месте. Я покурю. В госпитале выпался на годок вперед... Ложитесь. Шинелька у меня чистая. За всю Россию — слез не хватит... На роду парню написано.

Она медленно отняла ладонь от лица. Одноногий улыбнулся.

— Поспите. Я тут гляну за ребятишками. Вот шинелька-то, давайте пособию...

Сильная рука одноногого помогла Анне Евстафьевне подняться на штабель мешков.

— Пальцецо снять бы, покройтесь.

— Спасибо вам...

Сел одноногий на место Анны Евстафьевны, ей одно видно сверху — только белокурый затылок. Она сразу заснула.

## 6

— Тренчик... Тренчиком Вася привязал,— хрипло проговорил Штарев.— Тренчиком, товарищ капитан. В кармане был. Для скатки. За руку привязал, товарищ капитан... Народ шибко рвался. Тренчиком привязал...

Графин с водой — только руку протянуть. И стакан вверх донцем на синей тарелочке. Отвел Штарев глаза.

Капитан смотрел на телефонный аппарат. Надо было звонить командиру бригады, а он не мог заставить себя руку протянуть.

— Правильно все. Нарушили, товарищ капитан. Ослабевши Вася. Под колесо его затянуло... Ослабевши. Моя вина.

Капитан, губы подобрав, аккуратно складывал в ящик шахматные фигурки.

Белые — к белым, черные — к черным.

— Пойдешь под трибунал!..

*(Окончание следует)*



---

---

ДАВИД КУГУЛЬТИНОВ

★

## ИЗ НОВЫХ СТИХОВ

*С калмыцкого*

\* \* \*

Я знаю: вечного на свете нет,  
Тому свидетель — опыт прошлых лет...  
И все же видеть мертвые черты  
Прекрасного — так больно, так тоскливо!  
Так страшно  
  возле гроба красоты  
Вновь убеждаться, что уродство живо.

Я знаю, что уродство в свой черед  
Умрет, исчезнет, навсегда уйдет.  
Но красоту, что, музыкой дыша,  
Нас ввысь влекла  
  и вот смежила веки,  
Ту красоту не воскресить вовеки!..  
И плачет безутешная душа...

\* \* \*

Когда к тебе в желанный год  
Придет заслуженно удача  
И ты легко шагнешь вперед,  
В чужих глазах так много знача,—  
О людях забывать не смей  
И счастьем одели друзей!

Когда же в окаянный год  
Нагрянут беды безотложно,—  
Труды твои пойдут не в счет  
И жизнь покажется ничтожной,  
Знай — ненавидеть мир нельзя!  
В нем как-никак — твои друзья!

\* \* \*

Вода у самой кромки вала,  
Взбурлив, натужилась...  
Вот-вот

Она оковы разорвет  
И разольется небывало.  
Еще усилье!..

Нет, невмочь  
Воде преграду превозмочь!

Но с неба в яростную воду  
Упала капелька дождя,  
И, все преграды прочь сметя,  
Поток прорвался на свободу...  
...Как не хватает нам порой  
Последней капли грозовой!

*Перевела Юлия Нейман.*



---

ЛЕВ СЛАВИН

★

## ПРЕДВЕСТИЕ ИСТИНЫ

Рассказ

Предвестие истины коснулось меня.

*Бабель.*

**В**се это случилось в ту пору, когда с нашего большого каштана начали падать круглые желтые плоды, утыканые шипами.

Но не они привлекали нас.

Мы собирали палые листья, длинные, с иззубренными краями. Мы скручивали из них подобия сигар. Дым обжигал горло, мы сплевывали горькую слюну и сквернословили, как старые развратники. Старшему из нас, Володе Громаковскому, было девять лет.

Однажды мимо нас прошел статный старик в сюртуке и шелковой ермолке. Володя и Вячик в момент смылись. Я оцепенел. Сигара торчала у меня изо рта и дымила, как пожар.

Старик с рассеянной ласковостью погладил меня по голове и прошел в дом. Я понял, что я погиб. Это был мой дедушка Симон, гордость и горе нашей семьи.

Меня никогда не наказывали. Но есть пытки пострашнее, чем лишение сладкого, даже чем розги. В нашей семье расправлялись иронией. Мне казалось, что я уже слышу беспощадную интонацию, с какой мама скажет:

— Ребенок с папироской. что старичок с соской.

Я взмолился богу о том, чтобы то, что только что случилось, вдруг как бы не было. Я молился так, как наставлял меня дедушка Симон, — бубнящим голосом и мерно раскачиваясь телом. Никто ведь лучше дедушки не знал, как обращаться к богу. Я молился необузданно, яростно. Я верил в эту минуту, что богу под силу изменить не только будущее, но и прошлое.

А небо тем временем смуглело. потом полилоVELO, потом кто-то шваркнул по нему россыпью Млечного Пути. И я понял, что сейчас ничего не получится, потому что какое же чудо возможно в темноте? И я поплелся домой.

Но чудо все-таки было мне явлено. Прошлое оказалось обратимым. Очевидно, бог лишил дедушку Симона памяти. А маму — обоняния. Потому что она поцеловала меня и даже не учуяла, что от меня разит куревом.

Дедушка задумчиво посмотрел на меня и сказал:

— Мальчика на это время надо отправить на Лиман.

Мать обняла меня и сказала:

— Тогда уеду и я.

— Боже мой, что она говорит! — вскричал отец. — Кто же будет за ней ухаживать?

— Мама, — спросил я, — что случилось?

— Приезжает из Варшавы дедушкина мама, твоя прабабушка.

— О! — вскричал я обрадованно. — Я никуда не поеду. Я хочу ее видеть. Я хочу, чтоб она рассказала мне о прадедушке!

— Боже тебя сохрани! — вскричал отец испуганно. — Чтоб я не слышал ни одного звука о прадедушке!

— Почему? — удивился я.

Отец беспомощно посмотрел на дедушку Симона. Тот степенно огладил свою красивую серебряную бороду и сказал:

— Твоя прабабушка очень старенькая. И она не любит, когда говорят о покойниках.

Дети всегда чувствуют, когда взрослые врут. Я промолчал, но твердо решил расспросить прабабушку о ее муже.

Я никогда не видел его и знал о нем только по героическим семейным легендам.

Звали его Зуся. Это сюсюкающее, словно бы женское, скорее даже детское имя никак не вязалось с богатырским обликом прадеда. Он был человеком огромной телесной силы, которой он, впрочем, немного стыдился, ибо был скромным и не хотел выделяться среди людей.

Он работал стеклодувом на одном из заводов Нечаева-Мальцева — работа, требующая не силы, но чувства меры, то есть искусства.

Однажды он гулял по берегу реки Болвы с Ханной, самой красивой девушкой в Людинове. Она была маленькая, хрупкая, любила игру ума и ученость. Могучие мышцы Зуси она не ставила ни во что. И все же что-то непреодолимое влекло ее к этому застенчивому силачу.

Внезапно они услышали за собой топот и крики. Они оглянулись. С храпящих конских морд летела пена. Кучер откинулся назад, почти лег на спину, но не мог сдержать тройку. В коляске металась и кричали люди. Еще немного, и кони сверзятся с крутого берега в реку.

Вот тут Зуся и совершил свой знаменитый подвиг. Одной рукой он обнял дуб, а другой поймал коней за постромки. Как рассказывал дедушка, «он припечатал тройку на месте». Чудесно спасенные люди бросились обнимать Зусю. Это был не кто иной, как сам Нечаев-Мальцев, его жена и дети.

Узнав, что его спаситель — рабочий стекольного завода, Нечаев-Мальцев тут же произвел его в управляющие заводом.

Рассказ, с моей точки зрения, страдал некоторыми неясностями. Сколько детей было в коляске? Занимался ли до этого прадедушка Зуся гимнастикой? Ел ли он по утрам манную кашу? Совершал ли прадедушка и в дальнейшем еще какие-нибудь подвиги? Какой рукой он ухватился за дуб и какой за коней? Все это я надеялся выяснить у прабабушки Ханны, единственной живой свидетельницы подвига.

— А еще ты у нее обязательно узнай: борьбой он занимался или нет? — сказал Володя Громаковский, когда мы на следующий день собрались, как всегда, под большим каштаном.

В цирке тогда проходил чемпионат французской борьбы. Афишные столбы в городе были заклеены яркими плакатами с изображением могучих полуголых дядек, извивавшихся на ковре в красивых схватках.

— И какого он был роста, обязательно узнай, — потребовал маленький Вячик Шипов.

Слухи о предстоящем приезде прабабушки разошлись по всему двору.

К маме пришла пани Божека, пожилая полька из флигеля, что в саду. Странная болезнь поразила ее: у нее разрастался нос. Он ширился,



пухнул, он постепенно завладевал лицом, огромный, лиловый, словно пересаженный с клоунской маски. Ничто ей не помогало. В отчаянии пани Божена прибегла к знахарскому средству. Я, Володя и Вячик ловили для нее крыс. Их салом она мазала свой хобот. Но он не переставал расти.

— Чи не може пани прабабця пшивесть з Варшавы цось до моего носа?

Пришел и другой сосед, рыжий хмурый еврей Нёма Нагубник. Он недавно покинул веру своих предков и перешел в секту адвентистов седьмого дня. Они собирались на втором этаже трактира «Калуга», что у Привоза. Оттуда через открытые окна вылетали их хоровые молитвы, полные благочестивых завываний. Нёма Нагубник всегда находился в состоянии мрачного экстаза.

— Я знаю,— нервно заговорил он,— ваша родственница очень старая. Но молю вас, скажите ей, что она тоже увидит второе пришествие Христа, ибо он может явиться ежеминутно.

И он передал для прабабушки адвентистскую газету «Маслина» с передовой статьей о низвержении сатаны в бездну.

В семье нашей воцарилась тревожная суматоха. Для прабабушки отвели самую большую комнату — спальню моих родителей. К ней примыкала терраса, выходящая в сад. Из комнаты вынесли зеркало («она боится смотреть на себя»), мягкую мебель («она терпеть не может пыли»), репродукцию микеланджеловского «Давида с пращой» («голый мужчина да еще без фигового листка может рассердить ее»), керосиновую лампу («она не любит этих новомодных штук»). В продолговатый металлический таз насыпали песок и в него воткнули семь восковых свечей.

Была дана телеграмма в Петербург двум моим дядьям Самуилу и Давиду, служившим один в Измайловском, другой в Павловском гвардии полках. Решено было перед приездом прабабушки созвать семейный совет с участием дедушки Симона, его пятерых детей и ближайших друзей дома.

Семейный совет собрался в полуопустошенной спальне. И эта разоренность усугубляла тревожное настроение. Пришли все — дедушка, его четыре сына, дочь с мужем, суфлером драматического театра, и двое друзей дома, Саша Вайль и Владимир Лорин-Левиди.

Я проскользнул в комнату и забился в угол. Никто не обращал на меня внимания.

Вайль подмигнул мне. Мы дружили. Я сделал ему знак: «Не выдавайте меня!» Он понимающе кивнул. Это был высокий, очень худой человек с развинченными конечностями и маленькой доброй головкой. Он держал на Привозе рундук. Я не знал, что такое рундук. Мне казалось, что это, вероятно, нечто вроде сундука, набитого всякой всячиной. Должно быть, воображал я, раскрытый рундук стоит на обочине тротуара, и тощий, всегда возбужденный Саша Вайль и его толстая низенькая жена Настя торгуют поношенным платьем и надтреснутой посудой. Вайль уверял, что он потомок французского офицера, сдавшегося в плен казакам в 1812 году и оставшегося в России. В доказательство Вайль приводил свою фамилию. Когда его предка впоследствии спрашивали, как он попал в Россию, бывший наполеоновский офицер, по словам Вайля, отвечал на ломаном русском языке: «Меня завоевайль». Постепенно это слово превратилось в фамилию.

Лорин-Левиди, как всегда, был в сюртуке и в пенсне в черной черепаховой оправе, от которого шла широкая черная же лента к шелковому лацкану сюртука. Его густые с рыжеватым отливом волосы стояли ежиком. Большое гладко выбритое лицо с крупными актерскими складками

дышало достоинством и значительностью. Он оставил сцену, когда стал гложуть. Как все глухие, он представлял большое удобство для общества, потому что можно было, не стесняясь, говорить о нем вслух. На сцене его видел только однажды мой отец. Лорин-Левиди играл роль доктора. Роль состояла из двух слов. Доктор подходил к постели умирающей героини, осматривал ее и после драматической паузы заявлял гробовым голосом: «Наука бессильна». По словам отца, который сам был чтецом-любителем, впечатление от этой реплики было сильное. В публике некоторые всхлипывали.

Во главе стола сидел дедушка. Я любовался им. Как он красив со своими ясными голубыми глазами и серебряной бородой! Как почтительно все внимают его словам! На голове у него шелковая черная ермолка, которую он не снимает никогда. А пальто и зонтик он оставил в прихожей. На этот зонтик с гнутой деревянной ручкой я всегда смотрел с любопытством. Дело в том, что дедушка был почетным прихожанином хасидской синагоги. Я долго не знал, что такое хасид. Но вот однажды я услышал разговор между папой и дядей Филиппом. Взрослые уверены, что детей не интересуют их разговоры. Какое заблуждение! Дети всегда страстно вслушиваются в речи взрослых, за исключением, конечно, тех случаев, когда эти речи обращены к детям. Отец сказал:

— Убей меня бог, если я знаю, что такое хасиды.

Дядя Филипп сказал, посмеиваясь (он всегда посмеивается):

— Так спроси у меня. Это евреи-пьянчуги. По праздникам, какая бы ни была погода, они выходят на улицу не иначе чем с зонтиками. Почему с зонтиками? В зонтиках у них бутылки с вином. Они останавливаются где-нибудь в подъезде и жёлкают прямо из бутылок. А потом поют свои босяцкие песни. Ну вот, ты мне не веришь. Я видел собственными глазами.

После этого я несколько раз пробирался в прихожую и щупал дедушкин зонтик. Но он всегда был пуст. И я тоже не поверил дяде Филиппу.

По правую руку от дедушки сидел папа. В ту пору он начинал полнеть, но был очень подвижен и с легкостью носил свое тучнеющее тело. Округлостью лица, маленькими усиками и быстрым, живым и властным взглядом он походил на портрет писателя Бальзака. От Бальзака он отличался тем, что был блондином.

Папа был борец за справедливость, за порядок. Его религией было милосердие. Услышав где бы то ни было детский плач, он бросал все и мчался на голос ребенка. Через мгновение слышался его гневный крик: «Мерзавцы! Перестаньте мучить ребенка!»

Когда папа возвращался из своих поездок по стране, долго еще нашу квартиру продолжал заливать поток писем, в которых начальники станций, полицейские надзиратели, владельцы ресторанов и парикмахерских, управляющие гостиницами, почтовые чиновники, редакторы газет извещали моего отца, что ямы на мостовой засыпаны, прием телеграмм упорядочен, извозчик, избивавший лошадь, оштрафован, уборная на станции расширена на два очка и т. п.

На моей памяти папа был солидным служащим торговой фирмы. Но он охотно вспоминал о своем прошлом рабочего. Он был, как и прадедушка Зуся, стеклодувом. До сих пор он хранил выдувальную трубку, железную, с мундштуком и деревянной обоймицей. Иногда он вынимал ее из шкафа и смотрел на нее, как ветеран смотрит на старое боевое оружие.

— Теперь все другое, машины Фурко, всякие автоматы,— говорил он.— А в мсе время брал я ком, выдувал халяву, раскалывал ее горячим

железом и — в печь. Там она становилась листом. Мы выдували и винные бокалы и бутылки...

Все это он рассказывал, когда мы с ним оставались наедине.

А на людях он был, что называется, душа общества, остряк, балагур, декламатор. Посреди почтительного молчания окружающих он читал наизусть и с необыкновенным воодушевлением «Мцыри» и «Белое покрывало». Сам Лорин-Левиди удостаивал его снисходительной похвалы. Единственно, что вызывало у отца беспокойство, это когда мама — в самых патетических местах — вдруг вставала и с лицом, покрасневшим от усилий сдерживать смех, быстро выходила из комнаты.

По левую руку от дедушки сидел следующий по старшинству сын — томный, ласковый, холодный Филипп. Даже наружностью он отличался от всех нас — длиннорукий, длинноногий, длинношей, с продолговатым лицом. Однако в этой удлинённости была соразмерность и изящество. Вся сумма легкомыслия, которая была отпущена нашей разветвленной семье, собралась в одном Филиппе. Может быть, поэтому он был самым счастливым из всех нас. Но это было недоброе счастье эгоиста. Правда, были минуты, когда дядя Филипп становился серьезным и задумчивым: когда он брал в руки скрипку или садился за пианино. Он никогда не учился музыке, но любой музыкальный инструмент в его руках становился послушным. Однако, отложив его, дядя Филипп забывал о нем с такой же легкостью, с какой он изменял женщинам, покидал друзей и бросал своих детей.

Сейчас, сидя рядом с дедушкой, дядя Филипп то и дело нетерпеливо поглядывал на часы. Наконец он не выдержал. В то время, когда дедушка развивал картину торжественной встречи своей матери, где каждому было строго определено его место и поведение, Филипп вдруг перебил его:

— Зачем столько церемоний? Кто-нибудь из нас возьмет ландо на дутиках и благополучно доставит бабушку франко-Спиридоновская.

Дедушка покосился на сына, огладил бороду и сказал:

— В «Мишне», в трактате «Синедрион», в главе первой «Процессы гражданские», в параграфе третьем сказано: «Нижеследующие не могут быть судьями и свидетелями: разводящие голубей, промышляющие плодами субботнего года, ростовщики и...»

Дедушка остановился, посмотрел в упор на дядю Филиппа и закончил подчеркнуто:

— «...и играющие в азартные игры».

Сказав это, дедушка отвернулся от сына и продолжал свою речь о протоколе приема прабабушки. А дядя Филипп досадливо пощипал свои черные усики, но все-таки не решился встать и уйти в Коммерческий клуб, где уже, наверное, его ждали за карточным столом беспутный сын местного прокурора Джибели и красавец и шеголь Бершадский, выдававший себя за клептомана, а также очередная пара помещиков, развлекавшихся после продажи урожая. В своей среде Коммерческий клуб так и назывался: учреждение по обыгрыванию херсонских и елисаветградских помещиков.

Двое младших братьев, гвардейцы Самуил и Давид, растерянно переглядывались. Военная служба приучила их к повиновению начальству, и робкий мятеж Филиппа их ужаснул.

Старший из солдат, Самуил, занимал место по правую руку от папы. Все мужчины за столом сидели с покрытыми головами, как в синагоге. На Самуиле была барашковая круглая кубанка с двуглавым орлом и кокардой. Черный однобортный китель, охваченный кушаком с медной пряжкой, спускался почти до колен. Черные шаровары с напуском были заправлены в высокие сапоги. Такова была форма, введенная в армии

Александром III. Единственную вольность позволил себе Самуил — слегка заломить шапку на правое ухо. Маленькие черные усики, подкрученные кверху, не закрывали полного красивого рта. Во всем облике Самуила была лихость, прямота, русский солдат!

Он и был такой — прямой, бравый, веселый, щедрый. Одно омрачало эту простую душу: зависть к Давиду. Младший по возрасту Давид был старшим по чину. Он носил на погонах ефрейторские лычки.

Это был нежный сахарный блондин, петербургский гвардейский солдатик, изящный, шеголеватый.

Через несколько лет Давид вернется с японской войны грязный, обросший бородой, в огромной маньчжурской папаче и с георгиевской ленточкой на вылинявшей гимнастерке. А Самуил всю войну проболтается где-то в тылах. И тогда я впервые пойму, что хрупкость и храбрость не спорят друг с другом.

Но это случится через несколько лет. А пока нас окружал безмятежный стоячий покой начала века. О том, что в нем уже созревали зерна тысяча девятьсот пятого года, никто в нашей суматошливой семье не подозревал.

Самая младшая из детей Симона, тетя Маня, сидела на другом конце стола. Непоседа, она вертелась на стуле и поводила хорошенькой головкой, нетерпеливо поглядывая на братьев. Ей было скучно. В дверях уже несколько раз показывалась молоденькая сестра моей матери тетя Полина. Она делала тете Мане знаки, означавшие, что в соседней комнате ждут их студент Дракохруст, писатель Кармен и фельетонист Мускаблит, с которыми обе красавицы отчаянно флиртовали. Тетя Маня делала жалобную гримаску.

Единственным человеком, который позволял себе пренебрегать семейным советом, была моя мать. Вот и сейчас она сидела на террасе и предавалась своему излюбленному занятию — читала. У нее нежное сердце и ум, склонный к насмешливой созерцательности. Читая sentimentальные романы Ауэрбаха и Шпильгагена, она забывала обо всем на свете. Отчаянный вопль случайно забредшего в кухню отца: «Соненька, кипит!» — пробуждал ее к жизни. С неудовольствием отрывалась она от немецких романов в твердых красных переплетах и с ленивой грацией шла к плите.

Рядом с тетей Маней сидел ее муж, суфлер драматического театра Саша Галицкий. Разразился скандал, когда она вдруг вышла замуж за этого собутыльника ее братьев. Они не понимали, чем пленил ее этот поживший мужчина с лысиной во всю голову и с резкими морщинами на лице. Но мы, дети, обожали дядю Галицкого.

По воскресеньям он собирал всю нашу ватагу, двух своих ребят, меня, обеих дочек дяди Филиппа и моих дружков Вячика и Володю. У Соборной площади мы усаживались в огромный высокий омнибус — «трам-карету», влекомую двумя лошадьми. «Трам-карета» с оглушительным грохотом (за что ее называли «трам-тарарам-карета») мчалась через весь город и привозила нас на Ланжерон, к берегу моря. Здесь дядя Галицкий катал нас на лодке, строил с нами песчаные городки и рассказывал нам всякие забавные истории. Он держался с нами, как равный, и мы числили его в своем лагере, в детском. Все остальные мои дядья были взрослые, всеведущие, успокоенные. Только в дяде Галицком сохранилось что-то неусмирное, ищущее. В отличие от взрослых мы-то понимали, почему семнадцатилетняя тетя Маня могла полюбить тридцативосьмилетнего дядю Галицкого.

Сейчас он сидел молча рядом с нею и, чтоб не терять даром времени, набивал табаком гильзы, орудуя маленькой медной трубкой и длинной деревянной палочкой.

Неожиданно заговорил Вайль:

— Вы хотите послушать меня, Симон Зусьевич? Так я вам скажу. Что ваша мамочка будет иметь перед глазами здесь, на вашей Спиридоновской улице? Чахоточный садик и пискатых детей? Фе! Ей нужно снять дорогой номер в «Лондонской гостинице» на Николаевском бульваре с душем, биде и видом на море, рядом с дворцом командующего войсками графа Мусина-Пушкина. И еще большой вопрос, для кого это будет честь — для бабушки Ханны или для командующего войсками!

Поднялся шум. Заговорили все враз, перекрикивая друг друга. Даже глухой трагик Лорин-Левиди, осведомившись у соседей, о чем идет речь, повернул к дедушке черно-рыжий стог своей головы и тем же хорошо поставленным загробным голосом, каким он произносил свою знаменитую реплику «Наука бессильна», отчеканил:

— Подруга дней моих суровых, голубка дряхлая моя...

Напрасно дедушка пытался утихомирить их. Доносились только отдельные слова его:

— ...и сказал рабби Иегуда... горе тому, кто говорит дереву: «Встань».

Никто его не слушал. Все против него! Даже корректный ефрейтор Давид сказал:

— И ради этого нас отпустили с маневров в Царском Селе...

А дядя Филипп, услышав про рабби Иегуду, отчетливо произнес:

— А, мушль-кабак!<sup>1</sup>

Дедушка прикрыл глаза и провел рукой по лбу с выражением бессилия. Жалость и гнев накатились на меня. Я выбежал из своего угла и дико завизжал. Все замолчали и посмотрели на меня. А я топал ногами и кричал:

— Не смейте обижать дедушку! Не трогайте моего дедушку!

Уже прошло три дня, а я все еще ничего не узнал о подвиге прадедушки Зуси.

— Что ты, значит, так дрефишь? — сказал Володя презрительно, когда мы собрались под большим каштаном.

— Я совсем не дрефлю! — горячо уверял я. — Просто целый день у нее народ, невозможно подойти.

— Бреши побольше! Все вы там дрефите.

И вправду: бесстрашный боец за справедливость, гроза почтовых чиновников и ночных сторожей — мой папа, оба гвардейца, степенный Давид и бравый Самуил и даже отчужденный скептический бонвиван и игрок Филипп превратились в испуганных мальчишек, которыми прабабушка Ханна, маленькая сухонькая старушка в парике, помыкала, как хотела.

Однажды у ворот остановился щегольской выезд. Оттуда вышел тучный старик в сюртуке с шелковыми отворотами, с цилиндром на голове. У него были выпуклые глаза и роскошная черная борода завитками, сквозь которую краснели сочные губы лакомки. Вьющаяся борода клином и волоокость делали его похожим на ассирийцев, как они изображались на древних барельефах рядом со своими быками.

Это был казенный раввин Крепс. Почетному гостю предложили чай. Раввин вежливо полюбозавался крепким настоем и сказал, что такой восхитительный напиток следует пить с сахаром вприкуску, дабы не лишиться себя наслаждения его ароматом.

Вскоре у кресла прабабушки завязался богословский спор между раввином Крепсом и дедушкой Симоном. Они обрушивали друг на дру-

<sup>1</sup> Чепуха (евр.).

га глыбы цитат из Галахи, Гемары, Вавилонского и Палестинского талмудов.

В конце концов казенный раввин отер вспотевшее лицо платком и сказал, обращаясь к прабабушке:

— Нет в городе более ученого еврея, чем ваш сын, мадам. Это он, а не я должен занимать место казенного раввина. Но поскольку это место уже занято мной, то я предлагаю реб-Симону стать моим помощником. Имейте в виду, что нас иногда вызывает к себе сам господин градоначальник граф Шувалов для разрешения тонких вопросов, возникающих среди населения в связи с делами о разводах, банкротствах и распределении мест на городских рынках. И тут ученость реб-Симона будет очень к месту.

Прабабушка расцвела от гордости. Она вопросительно посмотрела на сына.

Он нахмурился, подумал и сказал:

— Род Наси назначил судьей невежду. И сказал Наси рабби Иегуде: «Стань возле судьи и подсказывай ему». Тот стал и подсказывал. Но судья не мог повторить. И сказал рабби Иегуда: «Какая польза говорить безмолвному камню: «Пробудись»? Научится ли камень чему-нибудь? Вот судья, который увешан золотом и убран серебром. Но духа в нем нет никакого». Так, мсье Крепс, сказано в талмуде Вавилонском, в трактате «Синедрион», в главе первой «О тяжбах гражданских».

Казенный раввин Крепс был человек светский. Он притворился, что не понял намека. Допив чай, он поставил стакан вверх доньшком и положил на него оставшийся кусочек сахара в знак того, что больше не хочет чаю. Потом поцеловал прабабушке руку и удалился, увесисто ступая, квадратный, клинобородый, похожий одновременно на ассирийца и на его быка.

Однажды к прабабушке прорвался адвентист седьмого дня Нёма Нагубник. Но прежде чем он открыл рот, дедушка Симон взял его за предплечье и, сильно сдавив его, вывел адвентиста из комнаты. Очевидно, какая-то частица отцовской крепости передалась дедушке Симону.

Приходили родственники со стороны мамы: Яблоники, Ярославские, Столяровы, троюродные братья, внучатые племянники, оторвавшиеся семейные ветви, всплывавшие только в дни похорон и свадеб.

Среди них был легендарный Евстафий Зильберман, вернувшийся недавно из Индии, всесветный бродяга, метавшийся, подобно сказочному Вениамину Третьему, по всему миру в поисках счастливой страны. Прибыв в Тимбукту, в Харбин, на Тристан-да-Кунью, все равно куда, Евстафий немедленно разворачивал там производство черного медового пряника с орехами, известного под маркой «лейках». Это давало ему возможность существовать в то время, пока он исследовал край в поисках счастья.

Скиталец оказался низеньким толстяком на куцых ножках, с кроткой и вежливой улыбкой на щекастом лице.

— Ну что, Евстафий, жизнь в Индии тоже не сахар? — спросила прабабушка, снисходительно улыбаясь.

Безумие блеснуло в маленьких глазках Зильбермана. Он склонился к прабабушке и сказал страстным шепотом:

— Есть Ледовитый океан. И есть на том океане полуостров Таймыр. И живет на том полуострове племя эскинцев. И говорят, что они не знают болезней, ни зависти, ни измен, ни мордобоя.

Прабабушка подняла голову:

— А смерть они знают?

Путешественник с сожалением развел руками. Так далеко он не заходил в своих исканиях.

Внуков и невесток прабабушка не считала достойными для себя собеседниками. Сына она ставила так высоко, что стеснялась при нем пускаться в длинные рассуждения, боясь показаться глупой. И вышло так, что ни с кем она так много не разговаривала, как со мной. Может быть, она просто думала вслух, не опасаясь, что я ее пойму, как иногда поверяют свои сокровенные мысли кошке.

Постепенно, на удивление всей семье, эта властная и нетерпимая старуха привязалась ко мне. «Птичка» — называла она меня. Однако выведать у нее что-нибудь о героическом подвиге прадедушки Зуси мне пока не удавалось.

— Чем тут гордиться? Силу имеет каждый бугай,— с неудовольствием говорила она.— Разве тебе не хотелось бы, Птичка, стать таким талмуд-хухемом<sup>1</sup>, как твой дед?

Прабабушка не понимала, что меня с одинаковой силой влекли к себе и божественная ученость дедушки Симона, и богатырские мышцы прадедушки Зуси.

Этот разговор происходил в то время, когда дедушка, как и каждое утро, вышел на террасу молиться. Он накинул на себя ритуальную полосатую мантию, а кс лбу и к обнаженной левой руке приторочил маленькие кожаные кубики со священными текстами. Предполагалось, что священные слова через сердце и мозг впиваются в самую душу молящегося. Стоя в углу лицом к востоку, дедушка мерно раскачивался и однообразным распевом невнятно проборматовывал молитвы. Солнце, подымаясь над садом, окружало дедушку сияющим ореолом.

Прабабушка смотрела на сына с обожанием и со скорбью. Я сидел у изножья ее кровати. Губы прабабушки беззвучно шевелились. Женщинам молиться не положено, и поэтому она произносила слова молитв в уме. Так она мысленно проговорила весь набор утренних молитв, за исключением той, в которой молящийся возносит богу благодарность за то, что он не создал его женщиной.

А скорбь прабабушки происходила оттого, что никто из ее четырех внуков не молился. Они покорно исполняли малейшие прихоти ее. Но никто из них — ни мой веселый, бурный отец, ни кутила Филипп, ни оба гвардейца — не хотели выполнять странные обряды, установленные древним пастушеским племенем в жарких азиатских пустынях.

— Сын мой,— сказала прабабушка, когда дедушка Симон снял с себя вооружение верующего и упрятал его в бархатный мешочек.— Сын мой, ты ученый человек. Но, мыслится мне, ты иногда забываешь, что ты старший в роде. Твои сыновья распустились. Вспомни, что ты глава семьи.

Дедушка Симон огладил свою бороду, как всегда в минуты раздумья, и ответил:

— В Книге Судей сказано: «И обратились деревья к масличному дереву и сказали ему: «Царствуй над нами». И ответила им Маслина: «Не брошу я забот о моем масле, приятном людям и богу, ради того, чтобы надеть на себя корону».

Сказав это, дедушка поцеловал сухую руку матери и с достоинством удалился.

Прабабушка посмотрела ему вслед с умилением. Потом вздохнула и прошептала:

— Масло... Знаю я это его масло...

Некоторое время она сидела молча, откинувшись на подушки. Потом я почувствовал, как ее рука опустилась на мою голову.

— Какяя у тебя круглая головка...— сказала она нежно.

<sup>1</sup> Ученый богослов (еввр.).

— Но все-таки постарайся вспомнить, прабабушка,— сказал я настойчиво,— сколько детей сидело в коляске, когда лошади понесли?

— Нечаев-Мальцев ехал из Дятькова, из своего имения,— сказала прабабушка, мечтательно глядя в потолок.— Он был в генеральской форме. Очень красивой. Он же был кавалергардом и адъютантом принца Ольденбургского. Он был большой умница. Интеллигентный человек! Он сам строил свои заводы. Не только стекольные. Механические. И железоваренные...

Я нетерпеливо перебил прабабушку:

— Ты мне лучше скажи, прабабушка, какой рукой прадедушка Зуся схватился за дуб, а какой за коней? Это же важно! Вспомни! Ну что тебе стоит?

— Он любил Зусю,— задумчиво говорила прабабушка.— Он все прощал ему. Все глупости, которые Зуся делал на заводе по своему невежеству, все его поправки рабочим. После смерти Зуси заводом управляла я.

Тут прабабушка остановилась. На лице ее появилась лукавая усмешка, и она сказала:

— Сказать правду, так и при жизни Зуси управляла, собственно говоря, я.

Она вздохнула.

— У меня мужской ум, Птичка, а мужской ум для женщины грех.

Она зажгла свечу и принялась растапливать над ней палочку красного сургуча. Давно уже никто не запечатывал писем сургучом. И тут я впервые увидел прабабушкину печать.

Она прозрачная, из чистого, как слеза, хрусталия с маленькой граненой головкой. И в головке этой цветы. Да, там, внутри этого остекленного родника, цвел, не увядая, прелестный маленький луг из красных, синих и желтых цветов. Когда прабабушка наклоняла печать, казалось, что цветы колышутся, что они всплывают из какой-то холодной и чистой глубины.

Увидев, с каким восхищением я смотрю на хрустальную печать, прабабушка сказала:

— А теперь, Птичка, смотри, что получается.

Она прижала печать к мягкому сургучу, и на нем оттиснулась по кругу фамилия прабабушки. А в середине круга — начальная буква ее имени «Х», похожая на два скрещенных флага. А в самом низу — лучи встающего солнца.

Я протянул руку к чудесной печати.

Но прабабушка покачала головой:

— Нет, Птичка, не дай бог, ты разобьешь ее. А для меня дороже ничего нет. Это мне подарили рабочие. Мне, а не Зусе. Не огорчайся, Птичка, когда-нибудь печать будет твоя. После моей смерти ее получит самый младший из моих внуков, Давид. А после его смерти — ты. И всегда надо завещать ее самым младшим, чтобы она подольше жила в нашем роду...

— Так ты опять ничего не узнал про прадедушку Зусю? — спросил Вячик.

Я больше не мог уклоняться от рассказа. И я храбро соврал:

— А вот узнал. Он схватил коней правой рукой, а дуб левой. Потому что иначе он вырвал бы дуб с корнем. Во какая у него сила в правой руке!

Ребята обомлели. Володя робко спросил:

— А борьбой он занимался? Приемы знал?



— Фигá, занимался! Кто с ним пойдет бороться, когда он всех клал на первой секунде.

— Даже Збышко Цыганевича?

— Даже Збышко Цыганевича. И Ивана Кашеева. И Заикина.

— Шик! — восхищенно воскликнул Володя. — А про гимнастику узнавал?

— Про гимнастику? — Я на мгновение задумался. — Еще бы! Он, знаешь, как тренировался? Переносил холмы с места на место.

— Холмы?

— Да! Там у них куча холмов. Так прадедушка Зуся передвигал их с места на место. Потом, конечно, он их ставил обратно.

Ребята были подавлены.

Вячик сказал несмело:

— А как насчет манной каши?

Судьба моих товарищей была в моих руках. Скажи я, что прадедушка ел по утрам манную кашу — все! Они станут самоотверженно забивать в себя ненавистную кашу. Но я был хорошим товарищем, и я сказал небрежно:

— Вот еще! Очень нужна ему эта дрянь.

Володя и Вячик облегченно вздохнули.

— А что я видел у прабабушки! — сказал я.

И я им рассказал про хрустальную печать.

— Ври побольше! Таких вещей не бывает, — заявил Володя.

Оба они только что ни на секунду не усомнились в правдивости моих бесовских выдумок о прадедушке Зусе. А сейчас ни за что не хотели поверить чистой правде про хрустальную печать.

Уже гораздо позже, через много лет, когда я стал взрослым, я не раз убеждался, с какой охотой люди поддаются грубой лжи и как трудно подчас раскрыть им глаза на истинную картину жизни.

Взбешенный, едва ли не доведенный до слез ослиным упрямством Володи и Вячика, я сказал, что покажу им печать. Я выпрошу ее на время у прабабушки. А если она откажет мне, я украду ее!

В тот же день, сидя на маленькой скамеечке у ног прабабушки, я сказал:

— Покажи мне, пожалуйста, еще раз твою хрустальную печать.

Прабабушка покачала головой:

— Это не игрушка. Один раз только я выпустила ее из рук. Когда твой дедушка Симон подрос, я передала ему завод и печать. Это была моя ошибка. Твой дед разорил нас. Я не виню его. Есть разные люди. Есть люди дела, а есть люди мысли. К тому же эта женщина... Не хочу о ней дурно говорить... Ну, словом, эта шлюха обобрала его... Ты еще ребенок. Ты сейчас еще не можешь этого понять. Это даже хорошо, Птичка. Если бы ты понимал, я и не рассказывала бы тебе этого. Но ты все запомнишь и когда-нибудь поймешь...

Напрасно взрослые думают, что детям недоступны страсти, терзающие их, — любовь, ревность, честолюбие и даже вожделие. Иногда папа и мама отправлялись с друзьями в ночной ресторан. Случалось, не с кем было меня оставить дома, и меня брали с собой. Считалось, что сальности, которые выкрикивали с эстрады полуголые певички, и весь кабацкий разгул кафешантана мне так же не понятен, как высшая математика. Взрослые ошибались так же, как сейчас прабабушка, рассказывая мне о своем сыне.

Но в тот момент я не очень интересовался этим рассказом. Хрустальная печать стояла недалеко от меня на маленьком столике у кровати. Я не мог отвести глаз от нее. Прабабушка не смотрела на меня. Взгляд

ее был устремлен в потолок. Она думала вслух. Я быстро схватил печать и положил ее в карман. Я прижимал ее рукой, чтобы она случайно не выскользнула. Я чувствовал ее холод и тяжесть. Прабабушка повернулась ко мне. Я испугался. Но она ничего не заметила.

— Помни, Птичка,— сказала она,— твой дедушка Симон большой человек. Он...— Прабабушка приблизила губы к моему уху и прошептала:— Он почти святой...

Мне стало стыдно. Мне казалось, что печать впивается мне в руку. Я что-то пробормотал и выбежал из комнаты.

Взрослые не подозревают, что детям тоже нужны деньги, потому что у них есть свои расходы.

В самом деле, все дети что-нибудь собирают. Мы, например, собирали марки, старые монеты, абрикосовые косточки и папиросные коробочки. Немалых денег стоили нам пистоны и мороженое. Из абрикосовых косточек мы делали отличные свистки. Для этого надо тереть косточку с обеих сторон на мокром камне, пока на ней не образуются две дырочки. Иголкой мы выковыривали мякоть и впускали в пустую косточку маленький шарик, его можно сделать из дерева или из пробки. Получается превосходный свисток, пронзительный и тревожный, как у городского.

Деньги нужны также на приобретение хлебного кваса, резины для рогаatok, конфет-«лимонок», ломтей кокосового ореха в уличных ларьках. Да мало ли еще для чего!

Утром я прибежал под большой каштан, торжествуя, размахивая хрустальной печатью.

Володя еще издали крикнул:

— Скорей! Есть работенка!

Вячик взял печать, небрежно повертел ее. От нее тотчас же пошли оранжевые, зеленые и фиолетовые лучи, точно маленький цветочный луг, заключенный в ее головке, сам испускал это радужное сияние.

Не знаю, как это случилось, но только Вячик выронил печать. Я поднял ее и к ужасу своему увидел, что от ее хрустальной головки отломился кусочек.

— Велика важность! — сказал Вячик.— Она даже не заметит. Повернешь другой стороной.

Я вскоре забыл об этом огорчении, потому что нам срочно надо было приступить к работе. Ее раздобыл Вячик. Он был самым практичным из нас. Это ему принадлежала деловая идея — отлавливать крыс для пани Божены.

Отец Вячика, угрюмый хромец с толстыми черными усами, работал на ювелирной фабрике Иосифа Фраже. Время от времени там требовались насекомые — стрекозы, жуки, бабочки — как образцы для брошек и других украшений. Мы получали от пяти до пятнадцати копеек за насекомое в зависимости от его красоты. Однажды мы получили за бабочку «Кавалер Махаон» целых сорок копеек.

Мы хорошо освоили технику этой работы. Отловив насекомое, мы умерщвляли его в блюдце с водкой и, просушив, накалывали булавкой в чистый коробок от спичек или папирос. Главная трудность была в добыче водки. Детям не продавали ее. Надо действовать через взрослых.

Мы кинули жребий. Вышло идти за водкой мне. Деньги выдал мне Вячик. Они всегда у него водились, и он обычно авансировал наши предприятия. Нехотя поплелся я на Тираспольскую улицу в «монопольку», как тогда называли казенные винные лавки. Возле монопольки, как всегда, валялось несколько мертвецки пьяных мужиков. Я долго стоял в нерешительности и наконец обратился к пожилой женщине в платочке, скроив жалобную мину:

— Тетенька, знаете, у сестрички распухли железки, и ей нужно сделать согревающий компресс, так меня послали за водкой...

Через несколько минут я мчался домой, сжимая в руке шкалик.

У меня был в саду тайник в дупле старой акации. Я осторожно спустил туда шкалик и прикрыл сверху листьями. Едва я это сделал, как услышал, что меня зовут.

Дома был переполох: искали хрустальную печать. Прабабушка бушевала:

— Это не дом! Это кабак! Ноги моей больше здесь не будет!

Я опустил руку в карман. Да, она там, холодная, гладкая, прелестная даже на ошупь.

Мне вдруг показалось, что она становится страшно тяжелой и вот-вот прорвет карман и с грохотом вывалится на пол.

Я бросал косые воровские взгляды на свою левую штанину, мне чудилось, что хрустальная печать начинает испускать сияние и лучи ее пробиваются сквозь ткань штанов и заполняют комнату — синие, желтые, розовые, красные.

Когда ко мне кто-нибудь приближался, я быстро отходил в сторону. Мне казалось, что хрустальная печать — живое существо, что вдруг она заговорит из меня своим чистым родниковым голоском.

Я выскользнул из комнаты и побежал в сад. Там я прошел к моему тайнику, вынул печать из кармана и осторожно опустил ее в дупло. Она тихо звякнула и улеглась. Я облегченно вздохнул. Ночью, решил я, выну ее и положу возле прабабушки.

Тут чья-то рука легла мне на плечо. Я поднял голову. Это был дедушка Симон.

— Бог видит каждое твое деяние, он слышит каждое твое слово, он читает каждую твою мысль, — сказал он.

— Только мою, дедушка? — спросил я, дрожа.

— И мою, и твою, и всех людей на свете.

— Как же он может знать все про всех?

— Он может знать все про всех, потому что он повсюду.

— Как же он может быть повсюду?

— А воздух повсюду? А небо повсюду? Он как воздух, как небо.

С этими словами дедушка Симон всунул свою длинную руку в дупло и вытащил оттуда хрустальную печать. А вслед за тем — шкалик, на который он уставился с удивлением.

Я заплакал.

— Дедушка, я взял ее на минутку, мальчики не верили, так я хотел им показать...

— Допустим, — сказал дедушка серьезно.

Он нахмурился и сказал:

— Что вы курите, я знаю. Но что вы водку пьете...

— Дедушка, мы не пьем!

И я рассказал, зачем нам нужна водка.

Дедушка покачал головой.

— То, что живет, пусть живет. Почему нельзя никого убивать? Потому что во всем живущем есть частица бога. Спрашивается: а в бабочке? Отвечается: да, и в бабочке, и в цветке, и в облаке, и в самом убийце...

Дедушка долго говорил мне о боге, о его всеведении и вседесушности. Я чувствовал, что стою перед богом, как голый. Но это не утешало меня. Сознание, что огромный, могущественный бог среди своих бесчисленных хлопот не упускает из виду и мое малое существо, наполняло меня гордостью. При этом я не мог отделаться и от ощущения, что

в этой осведомленности бога и постоянной его слежке за мной есть что-то стеснительное. Но я гнал от себя это ощущение как греховное.

Убедившись, что я успокоился, дедушка Симон опустил хрустальную печать и шкалик в карманы сюртука, взял меня за руку, и мы пошли в дом.

Он шагал, как всегда, твердо, уверенно, высоко подняв голову, а я снизу поглядывал на него с робким обожанием, и мне радостно было ощущать, как тонет моя рука в его большой сильной ладони.

Войдя в комнату, дедушка вынул из светильника зажженную свечу, легко опустился на колени и заглянул под кровать. Когда он поднялся, в руке у него была хрустальная печать.

— Симон, ты моложе своих сыновей! — вскричала прабабушка с торжеством. — Твои глаза острее, чем у молодых, твоя спина гибче, чем у девушек. А твоя голова мудрее...

Она вдруг замолчала. Лицо ее омрачилось. Она увидела, что печать повреждена.

— Это не больше чем царапина, — сказал дедушка, — и нужно, чтоб она была.

— Зачем? — удивилась прабабушка.

— Могла печать разбиться? Могла. Разбилась она? Нет, не разбилась. Спрашивается: почему? Отвечается: потому что бог этого не допустил. Почему же он этого не допустил? Потому что его воля была оставить печать целой. А чтоб не исчезла память о его милосердии, печать помечена царапиной...

Я никак не мог выбрать время, чтобы улизнуть из дому. Мне ведь нужно было раздобыть водку взамен той, которую отобрал у меня дедушка. Я уже выпросил накануне у мамы деньги якобы на покупку марок.

С утра меня одели в нарядный костюмчик — серая блуза с широким белым отложным воротником, короткие серые штаны, заправленные в черные чулки. Не только я — все приоделись и во главе с прабабушкой отправились в синагогу.

Почти все еврейские праздники печальны. Это памятники несчастий — преследований, изгнаний, сожжений на костре. Молитвы — смесь стенаний, угроз и надежд. Но сегодня праздник радости — Симхас-Тора, древний праздник жатвы, единственное уцелевшее воспоминание о легендарной сельской жизни в Палестине. Сегодня потомки древних земледельцев, все эти портные, странствующие приказчики, дантисты, лудильщики, присяжные поверенные, грузчики, менялы, чеботари, аптекари, мясники, попрошайки, часовые мастера, биржевики и биндюжники веселятся, одаряют друг друга цветами. Сегодня, единственный раз в году, женщинам позволено войти на мужскую половину синагоги.

Мы все, и папа, и мама, и все дядя, и их жены, сидим на почетных скамьях впереди.

Все ждут торжественного момента.

И вот два седобородых старца подходят к стене и распахивают золоченые дверцы Ковчега Завета. Бережно вынимают они оттуда большой свиток в бархатном чехле. Это библия. Она написана от руки на пергаменте. Сейчас ее торжественно пронесут среди народа. И нести ее должен по обычаю самый благочестивый, самый добродетельный прихожанин, наиболее почитаемый за святость своей жизни. Затаив дыхание, все ждут, на кого падет эта честь.

И вот мы видим: Священную Книгу несет не кто иной, как мой дедушка Симон.

Какое это торжество для всех нас! По лицу прабабушки текут слезы гордости и умиления. Я вижу — и отец прикладывает платок к глазам. Дядьки-гвардейцы стоят навытяжку, как по команде «смирно». Даже дядя Филипп непривычно серьезен.

Люди тянутся к библии. Наиболее напористым удается поцеловать край ее бархатного чехла, другим — только коснуться его рукой и после этого поцеловать свои пальцы. А некоторые, я вижу, прикасаются губами к одежде дедушки Симона как к святыне.

Я очень волновался, что к приходу Володи и Вячика я не успею раздобыть водку. Но когда мы вернулись домой, я с облегчением увидел, что под большим каштаном их еще нет.

В саду тихо. Небо сияет. В воздухе плавают осенние нити. Вдруг я замер. Прямо передо мной на веточке сирени сидит, трепеща слюдяными радужными крылышками, большая стрекоза. А совсем рядом на спинку скамьи опустилась бабочка с черными полированными крыльями. Я сразу увидел ее: это был великолепный и редкий «Адмирал». Первая мысль моя — ринуться в комнату за сачком. Но тут же я вспомнил: «То, что живет, пусть живет»...

Стрекоза нахально уставилась на меня своими выпуклыми, как у раввина Крепса, глазами, словно говоря: «А что, слабо тебе взять меня?» И «Адмирал», словно поджидая меня, застыл, неподвижно простерев свои лаковые крылышки, испещренные белыми крапинками.

И я понял: это бог посылает мне испытание. Так нет же, пускай Володя и Вячик, если хотят, продолжают свою жизнь убийц. А сам я никогда больше никого не буду убивать.

Кинув скорбный взгляд на стрекозу и красавца «Адмирала», я побежал в монополюку.

По дороге я завернул в пассаж на Дерибасовской улице, чтобы полюбоваться большими аквариумами в окнах рыбного магазина. Когда я наконец отвел глаза от золотистых жирных карпов и горбатеньких, отливающих латунью карасей, я увидел дедушку Симона. Я не сразу узнал его. В нем появилась какая-то странность. Как будто это он и в то же время не он. Черты лица его все те же. Но они словно бы сместились. Глаза заволоклись серебристым блеском. Поры на лице как будто раздвинулись, и кожа стала словно бы губчатой. Рядом с ним стояли двое. Я знал их. Они иногда заходили к дедушке и вместе с ним уходили, как все полагали, предаваться толкованию священных книг. Один — маленький юркий старичок Листвойб с лицом, как бы застывшим на пороге смеха. Другой — нестарый еще дюжий малый, скотобоец Липа Бандеровер, — шея его так могуча, что мешает ему держать голову прямо.

У всех троих в руках черные зонтики. И тут я увидел, как дедушка Симон нырнул в свой зонтик и вынул оттуда шкалик. Ловким движением сильной ладони он ударил в дно бутылки. Водка мгновенно вспенилась, и пробка вылетела. Дедушка опрокинул бутылку себе в рот и долго, булькая, пил. То же сделала Листвойб и Бандеровер.

Проходившая мимо пожилая женщина сказала:

— Что вы делаете, старики! Побойтесь бога!

Листвойб вежливо засмеялся и сказал:

— А зачем мне его бояться? Не я у бога на службе, а он у меня.

Я побежал к дедушке и дернул его за рукав:

— Дедушка! Милый дедушка! Идем отсюда! Идем домой!

Дедушка удивленно посмотрел на меня. Потом он сказал странным качающимся голосом:

— Что такое человек?

Листвойб и Бандеровер завопили:

— Слушайте, евреи! Слушайте!

Дедушка пошатнулся и сказал:

— Человек — это лестница. Верхняя его ступенька — о!

Он показал на небо.

Вокруг нас собирались люди. Я потянул дедушку за руку. Но сдвинуть его с места у меня не было сил.

— А нижняя ступенька — о! — сказал дедушка, показывая на землю.

— Ц-ц-ц! — восторженно зацокали Листвойб и Бандеровер.

— Спрашивается: где же я сейчас? — продолжал дедушка. — Отвечается: сейчас я на нижней ступеньке. Но завтра я подымусь на верхнюю, и голова моя достигнет неба.

Я посмотрел на небо. Оно стояло надо мной далекое и безмолвное. Только что оно кишело ангелами, колесницами, пророками, арфами, серафимами, душами праведников. Оно было полно суеты и блеска, как Дерibasовская в субботу вечером. А сейчас оно вымерло, обезлюдело, вернее, обезбожело.

Дедушка еще что-то говорил. Но я не слушал. Я понял: дедушка знает, что небо пустое. Зачем же он молится пустоте?

Вот об этом я и спросил его на следующее утро, когда он кончил молиться.

Он рассердился и сказал:

— Ты еще ребенок. Ты еще не можешь понять этого.

Вечная отговорка взрослых, когда их ловят на вранье!

Мне стало горько. Это была первая смерть в моей жизни: смерть бога.

А в то же время, как это ни странно, я почувствовал и некоторое облегчение: все-таки я избавился от назойливой слежки этого Вездесущего Соглядата, который непрерывно подглядывает и подслушивает нас, но, между прочим, и пальцем не шевельнет, чтобы хоть разочек помочь нам.

Я убежал в сад. Я стыдился своих мучительных детских слез, но не мог удержать их. Я еще не знал тогда, что свобода требует жертв, иногда смерти.

Через несколько дней мы провожали прабабушку. Она долго не выпускала меня из своих объятий. В конце концов мне стало скучно в этом сухом шемящем кольце старушечьих рук. Я задыхался в плотном облаке камфары и свечного чада. Я вырвался и убежал. Вслед мне неслись сердитые крики старших.

Но я, не оглядываясь, бежал в сад, сияющий, сказочный, золотой и зеленый, туда, туда, в солнечный сад моего детства,



---

---

## А. КУШНЕР

\* \*  
\*

В саду ли, в сыром перелеске,  
На улице, гулкой, как жечь,  
Нетрудно, в сиянье и блеске,  
Казаться печальней, чем есть.  
И, в сторону глядя,  
— в два счета —  
У тусклого стоя пруда,  
Пленить незаметно кого-то  
Трагической складкой у рта.

Так действует эта морщинка!  
Но с возрастом как-то ясней  
Ты видишь: не стоит овчинка  
Той выделки хитрой, бог с ней!  
Все чаще с растерянным, жарким  
И незащищенным лицом  
Стоишь перед светлым подарком —  
Опушкой, парком, дворцом.

Ленинград.



---

---

ФРАНЦ ФЮМАН

★

## ТРИ РАССКАЗА

*Франц Фюман (ГДР) — известный поэт и прозаик, родился в 1922 году. Его перу принадлежат книга стихов «Гвоздика Нико», поэма «Прездка в Сталинград», несколько повестей, очерков и сборник автобиографических рассказов, объединенных подзаголовком «Четырнадцать дней из двух десятилетий». Это история молодого немца, который с детства отравлен ложью о расовом превосходстве, мифом о великом рейхе, история медленного его прозрения. Публикуемые ниже рассказы входят в этот сборник.*

### *Сражение за спортзал в Рейхенберге*

Сентябрь 1938 года, канун Мюнхенской конференции

**С**портивный зал в Рейхенберге вспоминается мне оливково-черным обрубок в конце круто поднимающейся вверх узкой улочки. В Рейхенберге, в сорока километрах от моего родного городка, я учился в гимназии после ухода из Кальксбурга. Рейхенберг был некогда центром судетского фашизма. Мы защищали спортзал в середине сентября 1938 года, в один из тех дней, когда мы по три раза в сутки слушали леденящие душу передачи радиостанции «Германия» о кровавом терроре чешско-еврейско-марксистских убийц против мирного немецкого населения в Судетах и уверения фюрера, что такая могущественная держава, как германский рейх, не намерена больше сложить руки смотреть на страдания своих немецких братьев и сестер и что судетский вопрос должен быть так или иначе разрешен. Правда, в Рейхенберге никто из немецких граждан до сих пор не был даже ранен и в моем родном городке тоже. Напротив, я слышал, что нападению и поджогу подверглось здание чешской пограничной охраны. Зато в остальных судетских городках, населенных немцами, если верить тому, что рассказывали, бушевали ужасающие бои и над немцами творили страшные зверства. И когда однажды утром в Рейхенберге поперек улиц, выходящих на рыночную площадь, протянулись заграждения из колючей проволоки, и появились патрули вооруженных полицейских, и мой командир Карли едва переводя дух крикнул мне, что чехи готовят нападение на спортзал, я понял: вот теперь все начинается, дошло и до Рейхенберга, и час испытаний настал.

Я был готов к этому. Всего лишь месяц назад я воочию видел самого фюрера и поклонялся ему в вечной верности. Вместе с тысячами других членов спортивного ферейна я участвовал в великогерманских спортивных играх 1938 года в Бреслау. Колоннами по восемь человек в ряд



мы вошли на стадион и прокричали хором: «Мы хотим в наш дом, в наш рейх» — новый лозунг, который стал для нас воплощением всех надежд и чаяний.

Вокруг на трибунах приветствовали нас, хлопали в ладоши, топали ногами, махали руками, флагами, платками, пели песни, и все было, как во сне, ликующем, шумящем, парящем и бурном сне. Но ведь это происходило в Германии, во владениях немецкой свободы и немецкого счастья! Так мы прошли по дорожке стадиона, и я все время украдкой оглядывался, не увижу ли фюрера, который, наверное, где-то здесь, среди ликующей толпы. Но я видел только дорожку стадиона перед собой, а над ней ревушие трибуны, где не мог различить ни одного лица, а справа и слева от дорожки стояла стена эсэсовцев; мы промаршировали вдоль всего стадиона, и мне было грустно, что я проглядел фюрера. Вдруг мы повернули, с нами слилась колонна, которая двигалась нам навстречу, и, заглушая наш хор, грянул марш, а на трибуне, совсем близко от нас, уже стоял фюрер. Он стоял в слепящем свете прожекторов, совсем близко, величественный и одинокий, как бог истории, он простер над нами руку, и его взгляд скользнул вдоль наших рядов. Я подумал, что сердце мое остановится, если фюрер посмотрит на меня, и тут я вдруг почувствовал, что вся моя жизнь навсегда отдана фюреру.

Потом, в автомобиле, который отец купил в прошлом году, мы снова пересекли границу; чешский таможенник осмотрел наши чемоданы и долго спорил с моим отцом. При досмотре таможенник обнаружил среди белья десять пачек немецких сигарет и сказал, что мы должны заплатить пошлину, а отец закричал, что это бесстыдство, что в этой стране немец не имеет права курить немецкие сигареты без того, чтобы пражские евреи не наживались на этом. Тогда пограничник просто-напросто забрал все сигареты, распечатал пачки и выбросил в яму, где уже лежала целая куча распечатанных пачек немецких сигарет. Я дрожал от бессильной ярости, глядя на этот разбой, сжимал кулаки и думал, что скоро пробьет час свободы.

Три недели спустя радиостанция «Германия» сообщила, что фюрер призвал под ружье миллион резервистов, и вскоре после этого мне пришлось выдержать горячее сражение с отцом, который хотел отправить меня вместе с матерью и сестрой в Вену к своим деловым знакомым, чтобы мы переждали там этот кризис. Я решительно отказался уезжать; настают исторические дни, сказал я, и я хочу быть участником всех событий и сражаться, если понадобится. В конце концов отец уступил, и я снова вернулся в Рейхенберг.

Серым, туманным сентябрьским утром я сидел в своей маленькой комнатке в первом этаже дома фрау Вацлавек на Габлонцской улице; ко мне в окно постучал мой друг Карли и, задышавшись, крикнул, чтобы я скорее бежал в спортивный зал: объявлена готовность номер два, чехи нападут сегодня на спортивный зал. Он побежал дальше, чтобы оповестить остальных, а я помчался вниз по Габлонцской улице к спортивному залу. Утро было холоднее. Вот наконец наступил час испытаний, думал я.

Я был взволнован: мне еще никогда не приходилось принимать участия в настоящей битве — несколько школьных драк, военные игры и дурацкие стычки с чешской полицией, которые бывали у каждого из нас, в счет не шли. Теперь же все начинается всерьез, настоящее сражение настоящим оружием; я слышал, как бьется мое сердце. Что чувствует человек, которому всаживают нож под ребра? Я замедлил шаги, теперь я не думал о ноже, я видел его воочию, он сверкал у меня перед глазами, и, когда я пробежал мимо Фердля, уличного торговца сосисками — он расположился недалеко от спортзала, — я даже заколебался, не свер-

нуть ли мне потихоньку в боковую улочку, но потом я выругал себя и быстро побежал к залу.

Двое часовых у ворот, караулы в коридоре: «Пароль?» — «Германия!» — часовые расступились, и ворота захлопнулись за мной. Возврата нет!

Здесь, среди товарищей, мне не было страшно и хотелось как можно скорее ринуться в бой. В зале было сумрачно, окна от пола до сводчатого потолка были забаррикадированы мешками с песком и гимнастическими матами, и только через окно в плоской крыше в огромный зал падал пучок света. Я огляделся в поисках командира, чтобы доложить о своем прибытии, и заметил, что в начальниках недостатка нет: на руках у них повязки с германскими рунами, они деловито снуют взад и вперед, высылают дозоры на плоскую крышу, формируют отделения, взводы и роты и выдают оружие — гантели и другие гимнастические снаряды. Мне досталась длинная вытянутая булава из тяжелого коричневого дуба с ухватистой ручкой и тяжелым телом; я и сейчас ясно вижу ее и помню, как попробовал покрутить ею.

— У них и револьверы есть, — прошептал мой сосед и кивнул на начальников.

— Смирно! — прокричал какой-то коренастый человек.

Мы громко шелкнули каблуками. «Вот когда начинается всерьез, — подумал я, стоя навытяжку, — сейчас враг начнет штурмовать двери, ужасный враг, большевистский сброд. Он начнет штурмовать двери, и тогда прозвучит пронзительный сигнал тревоги и начнется бой, настоящий бой, не военная игра, а настоящий бой за Германию», — думал я и покачивал булавой, а рядом со мной, локоть к локтю, стояли мои товарищи. Коренастый заговорил о нашей преданности фюреру, о праве немцев на самоопределение, потом он закричал: «Победа или смерть!» — и мы хором повторили за ним эти слова. Потом была дана команда «вольно». Моя рота — все молодые парни моего возраста — получила приказ отправиться на склад спортивного инвентаря и ждать там дальнейших приказов. Мы пошли на склад и уселись, держа оружие наготове. Сначала царило неловкое молчание, потом кто-то сказал: пусть только красные сунутся, мы им покажем. И мы начали, перебивая друг друга, кричать, что мы покажем красным, пусть они только сунутся. Кто-то пронзительно закричал, что красные не осмелятся прийти, и все мы тоже закричали, потом кто-то рассказал анекдот, и все мы начали рассказывать всякие небылицы и похабные анекдоты, давно всем известные, и мы хохотали, и наш хохот звучал неестественно громко, как крик. Потом все анекдоты были рассказаны, мы снова сидели молча и ждали врага, но враг не появлялся; мы сидели и ждали; враг не появлялся, разговоры увяли, смех сменился ворчанием. Время остановилось, враг все не шел. Вместо него пришло нечто ужасное — скука.

Я не помню, который был час, когда пришла скука, но мне кажется, что между моим приходом в спортзал и приходом скуки протекло не так уж много времени. Несомненно, было еще утро, когда в мрачное, едва освещенное помещение склада пришла скука, она была физически ощутима — затхлое, медленно обволакивающее испарение, которое расползлось вокруг нас и медленно стлалось по полу. Она была не психическим, а физическим явлением; толпа выделяла ее, как пот или испорченный воздух; мы ждали, и это ожидание порождало скуку. Мы получили приказ ждать, и мы ждали, ничего не делая, и я не представлял себе, чтобы сейчас можно было достать из кармана книгу, читать ее, или разгадывать кроссворд, или завести с кем-нибудь разговор на серьезную тему, или задремать, или даже заснуть — все это казалось мне разлагающим, несерьезным и негероическим, не соответствующим пафосу нашего

боевого предназначения. Остальные, должно быть, чувствовали то же, что и я, ибо все сидели без дела и ждали, и скука вяло колыхалась вокруг нас. Веки мои отяжелели, голова качнулась вперед; я задремал, но, устыдившись, сразу же выпрямился. То там, то здесь поникала чья-нибудь голова; то один, то другой клевал носом, но сейчас же вновь выпрямлялся; так мы сидели и вслушивались со все возрастающим отчаяньем, не раздастся ли наконец сигнал тревоги, который бросит нас в бой; но сигнала тревоги не было. Осоловелыми глазами тупо глядели мы друг на друга. В комнате было темно, воздух стал удушливым. Враг все не шел. А вместо него наступал голод, медленно, но со все нарастающей силой.

Обыкновенно в большую перемену мы покупали у школьного сторожа горячие сосиски и соленую соломку. Поэтому почти никто не принес с собой бутербродов, а кто принес — быстро сжевал их. У нас, остальных, бурчало в животе. В конце концов командир роты отправился в штаб, чтобы доложить о положении с провиантом. Он скоро вернулся и сообщил, что роте приказано создать ударную команду из добровольцев, которая должна пробиться на другой конец улицы к колбаснику Фердлю, закупить там сосиски, булочки и пиво и доставить добычу в спортзал. Остальные роты, сообщил наш начальник, расхаживая взад и вперед по комнате, тоже вышлют такие же ударные команды. Этот маневр необходимо произвести стремительно, чтобы не ослаблять надолго оборонительную силу гарнизона. Весьма возможно, говорил командир роты, что враг, если узнает об этом, использует временное ослабление гарнизона для атаки на спортзал, поэтому отдельные группы, чтобы не возбуждать подозрений, должны двигаться на значительном расстоянии друг от друга и не показывать вида, что знакомы. Мы спросили, брать ли оружие, командир роты ответил отрицательно. Оружия не брать, на случай же внезапного нападения красных образовать два отряда бокового охранения, которые, однако, по тем же соображениям маскировки тоже не должны иметь при себе оружия. «Кто пойдет добровольцем?» — спросил командир роты. Я вскочил и горячо заявил о своей готовности; многие вскочили подобно мне и тоже вызвались пойти, но мне повезло: я стоял рядом с командиром роты и был назначен в состав правого бокового охранения. Командиром ударной команды и руководителем всей операции был назначен мой друг Карли. Мы собрались в зале, и Карли дал нам последние указания: чтобы ввести врага в заблуждение, мы должны не идти прямо к колбаснику Фердлю, а сначала пойти вверх по улице в обратном направлении, потом свернуть в боковой переулок, потом вниз по параллельной улице, а потом через пассаж к тележке Фердля и по очереди, чтобы не бросалось в глаза, произвести покупки и тем же путем вернуться в спортзал.

— Все ясно? — спросил Карли.

Мы кивнули. Мы прошли через зал. Часовые у дверей, караул в коридоре, часовые у ворот с дубинками и кастетами, пароль «Германия». Ворота приоткрылись. Мы проскользнули в щель. Свет полудня ослепил нас. Перед нами лежал залитый полуденным светом город, который мы знали много лет. Мы зажмурились.

Город был словно другой — таким мы его еще никогда не видели, а между тем все было, как обычно. Тенистые улицы с лотками зеленщиков, вокруг которых сейчас, в обеденное время, не толпился рой хозяек с сумками и корзинами. Дети тащили кувшины пива из трактира. В водосточных желобах нежились на солнце кошки. Нищий на углу бормотал свои причитания, в кафе вокруг бильярдных и карточных столов толпились мужчины, ранняя шлюха мазала губы, газетчики выкрикивали названия газет. Сверкали на солнце стеклянные витрины магазина фир-

мы «Батя», за которыми двигался элегантный, гладко причесанный блондин, с фасадов кричали рекламы «Шелл-Ойл» и конфет «Штольверка» — город лежал в мягком свете дня; туман разошелся, город выглядел, как всегда, и даже заграждение на рыночной площади мало что изменило в его привычном облике. И в то же время это был не тот город, который мы знали: это была угрюмая вражеская земля с огневыми точками и затаившимися снайперами в домах, где-то притаился враг, и таинственными казались ларьки и павильоны. Вот она, ничейная земля.

Мы, ударная команда и боковое охранение, крадемся вверх по улице, и все происходящее кажется мне призрачным. Мы в бою, мы в наступлении, я больше не гимназист, я второй номер в правом боковом охранении ударной команды, высланной за провиантом. Если бы у меня был револьвер, я имел бы право пристрелить любого врага, каждого красного, каждого большевика, например — того молодого человека, который продает экстренный выпуск «Роте фане». Мы в бою, и мы скользим, как призраки, по улицам. Мы наступаем, мы действуем согласно приказу, мы продвигаемся по вражеской территории. Так мы двигались незаметно вверх по улице: в центре — пятеро из закупочной команды, слева и справа — по трое из боевого охранения; без особых происшествий мы свернули в переулок, пробились сквозь толпу рабочих, чехов и немцев, возвращавшихся с утренней смены, снова спустились по параллельной улице, по одному пересекли пассаж и по очереди, чтобы не бросалось в глаза, закупили сорок булочек с сосисками и пиво.

— У вас что сегодня, учение? Вы уже третьи пришли за сосисками, — спросил колбасник Фердль, сияя улыбкой.

Мы и глазом не моргнули.

— Те, кто приходил раньше, это были не наши, — сказал Карли, командир ударной бригады, сохраняя полное присутствие духа.

Вниз по улице двигалась четвертая ударная группа.

— Ясно, — сказал колбасник Фердль и подмигнул нам.

Четвертая ударная команда подошла к прилавку. Мы сделали вид, что незнакомы друг с другом.

— Сорок булочек с сосисками и пиво, — сказал их командир.

Колбасник Фердль ухмыльнулся. Наша команда взяла сосиски, булочки и пиво, и с непроницаемым видом мы промаршировали через пассаж, прошли в потоке рабочих вверх по параллельной улице, свернули, пошли вниз по главной улице, мимо ларьков на рынке, мимо кафе с игроками в тарок и ранней шляхой, мимо рекламы «Шелл-Ойл». Карли, наш командир, постучал в ворота три раза подряд, а потом еще один раз, ворота приоткрылись. Двое часовых, пароль «Германия», и мы проскользнули внутрь. Караулы в коридоре, часовые у дверей: дубинки, булавы, зал, сумерки. Мы вернулись обратно. В складе ударная команда сложила сосиски на стол, и Карли отрапортовал командиру роты о выполнении приказа.

— Без особых происшествий, — отрапортовал Карли.

— К раздаче пищи становись! — приказал командир роты.

Потом мы зажевали. А потом опять пришла скука.

Описать послеобеденные часы невозможно: обволакивающая трясина сочащегося времени, каждая минута — вечность, мутные пузыри непристойностей вздуваются в мозгу и вяло лопаются, кажется, что уснувший мозг храпит. Прокисший запах выдохшегося пива, пустота, тоска гимнастических упражнений, которые мы время от времени делаем и которые только взбаламучивают тину скуки. Время расплозалось, как протухшее сало, его мерзкий вкус застывал у нас в глотках. Врага все не было. Патрули маршировали по соседнему коридору, мы слышали стук их шагов, и стонали от сонной одури, и слушали стук шагов в кори-

доре. И вдруг, как удар грома, прозвучал крик с крыши: часовой на крыше прокричал связному, связной передал караулу, и мы услышали крик часовых в коридоре: «Тревога!», схватили оружие и бросились в зал.

Коренастый стоял в зале и вопил: «Тревога!» Мы, расталкивая друг друга, построились, и едва успели построиться, как началось: пройдя мимо часовых у дверей и сквозь караул в коридоре, в зал вошел лейтенант полиции — чех, маленький, сухощавый человек, и с ним двое пожилых полицейских. Мы сжимали оружие в руках и дрожали от боевого задора, а коренастый выступил вперед и пошел навстречу чешскому полицейскому, покачивая в руках железную гантель. Чешский офицер приложил руку к фуражке и сказал:

— Пожелаю доброго вечера господам.

Коренастый поднял железную гантель на уровень груди. Я затрепетал.

— Чем благоволят господа здесь заниматься? — спросил лейтенант.

— Гимнастикой, — хрипло ответил коренастый.

Кровь застучала у меня в висках: сейчас прозвучит приказ ринуться на врага!

— Это весьма полезно для здоровья, — сказал лейтенант, поднял левую руку и слегка отвернул рукав, — очень полезно, — повторил он и отвернул рукав побольше. Улыбаясь, он в третий раз повторил, что гимнастика полезна для здоровья, и прибавил, глядя на ручные часы, что он не станет мешать господам и сейчас уйдет; но он хотел бы напомнить (и тут он поднес свои часы к глазам коренастого), что уже четверть восьмого, а в восемь часов, не правда ли, комендантский час, ведь в городе объявлено осадное положение. Некоторым господам предстоит неблизкий путь домой, и не хотелось бы, чтобы им пришлось бежать бегом. Он снова надвинул рукав на часы, поднял руку к фуражке, повернулся, сказав при этом: «Пожелаем господам приятно провести время!», и преспокойно вышел за дверь. Оба полицейских не торопясь последовали за ним. Мы тупо уставились друг на друга. То, что здесь сейчас произошло, было невероятно. Это был мираж, видение, призрак; мы глядели друг на друга беспомощно и растерянно, потом мы уставились на своих начальников. Что было дальше, я помню плохо; помню только, что все пошло очень быстро и что коренастый произнес что-то вроде «боевое задание выполнено», и «наш день еще придет», и «атака отбита». Я помню, что потом я бросил булаву и быстро помчался домой, потому что путь у меня был неблизкий.

На следующий день мы услышали сообщение радиостанции «Германия» о новом ужасном кровавом злодеянии чешско-еврейско-марксистской банды убийц: орда озверевших полицейских, услышала мы, ворвалась в рейхенбергский спортзал, набросилась на беззащитных детей-школьников, занимавшихся гимнастикой, и, попирая право каждого народа на самоопределение, презрев элементарные нормы морали, бесчеловечно измывалась над юношами, которые героически защищались. Есть убитые, много раненых, — сообщало радио. Кровь ручьями текла по полу гимнастического зала, отчаянные вопли детей зывали к небесам, пронзительные крики горланящего красного сброда смешивались с четкими командами героических защитников зала. Германский рейх, как великая держава, не может больше мириться со зверствами, которым подвергаются немецкие братья и сестры по ту сторону границы.

Я слушал это сообщение, которое закончилось звуками «Эгерландского марша», вместе с Карли в моей комнатке у фрау Вацлавак на Габлонцкой улице. Мы слушали это сообщение и знали, что каждое слово в нем — ложь, и все же мы слушали его с горящими глазами, и нам и в голову не приходило назвать это сообщение ложью.

— Ну, парень, я тебе доложу, малютка Геббельс знает толк в пропаганде,— сказал Карли, командир нашей ударной команды, мой фюрер, и пнул меня в бок,— такой пропаганды еще свет не видел, это грандиозно! — А «Эгерландский марш» все звучал.— Ни одно государство не способно вести такую пропаганду — только наш рейх,— сказал Карли.

Я кивнул. Он был прав.

Несколько дней спустя главы правительств Англии, Франции, Италии и Германии подписали в Мюнхене соглашение о разделе Чехословакии.

## *Мировая война начинается*

1 сентября 1939 года, начало второй мировой войны.

Странно, но я не могу вспомнить, как я узнал о том, что началась вторая мировая война: то ли от квартирной хозяйки, то ли от одноклассников или учителей в школе — не помню. Это тем более странно, что я очень хорошо помню утро того дня. Я проснулся рано и валялся в постели, обдумывая проблемы, которые принес мне новый учебный год — 1 сентября был первый школьный день, — а проблем этих было много. По причинам, которые не представляют сейчас особого интереса, я покинул Рейхенберг и должен был теперь посещать школу в Хоенэльбе, маленьком заштатном городке. Я не знал почти никого из моих будущих одноклассников и учителей и обдумывал теперь, как мне лучше всего зарекомендовать себя в классе, и в конце концов решил пойти в школу в форме штурмовика. Так я и сделал. А вот что было потом, я не могу вспомнить. Я помню себя уже в переполненном актовом зале школы, где скамьи расположены амфитеатром, а стены сплошь завешаны батальными картинами. Я сижу рядом с мальчиками из своего нового класса и, затаив дыхание, слушаю речь фюрера в рейхстаге, вершиной которой была фраза: «Сегодня в пять сорок пять открыт ответный огонь».

Значит, все-таки война! Когда в газетах сначала участились, а потом целиком заполнили все страницы сообщения о «зверствах, чинимых поляками над беззащитными немцами», с которыми рейх не может больше мириться, я не ожидал, что это обернется войной. Нет, войны не будет. Ведь и тогда, когда фюрер присоединил протекторат к рейху и весь мир говорил о войне, войны не было, так же как не было ее при аншлюссе Саарской области, Австрии и Судет. Почему же именно теперь, когда фюрер пожелал разрешить польский вопрос и присоединить Данциг, почему именно теперь должна начаться война? Нет, я не думал о войне, и мои родители, и мои друзья, которые подмигивали друг другу и шептали: «Понимаешь!», слушая по радио сообщения о новых злодеяниях, тоже не думали, что начнется война. Конечно, весь мир завопит; он завопит от ненависти, от зависти, от ярости, будет вопить, как вопил уже не раз, тем дело и кончится, и Данциг и Вартегау будут присоединены назло всем врагам, которые не дают нам жизненного пространства. Так мы думали, и я помню, что после присоединения протектората мы часами размышляли над картой и искали области, которые можно было бы еще присоединить: Данциг, Польский коридор, Курляндию, Вартегау, Мемель, Восточную Верхнюю Силезию, Банат, Лихтенштейн, немецкую Швейцарию, Эльзас, Эйпен-Мальмеди, Люксембург, часть Дании, где живут немцы, Южный Тироль.

Мы со дня на день ждали нового аншлюсса, и когда кричащие заголовки сообщений о польских зверствах, словно пушечные залпы, за-

гремели с газетных страниц, мы только подмигивали друг другу и шептали: «Дошла очередь и до коридора, и до Данцига» — и были убеждены, что все опять свершится мирным путем, ведь до сих пор все шло так мирно. Однако с пяти сорока пяти открыт ответный огонь, и фюрер произнес речь в рейхстаге, и эту речь я хорошо помню. Она показалась мне грандиозной: наш фюрер — он, кому мы слепо верили и за кем слепо пошли бы всюду, куда бы он нас ни повел, — выступил перед рейхстагом и дал отчет — он мог бы и не делать этого, — отчет в своих неустанных усилиях сохранить мир несмотря ни на что. Он хотел мира, только мира, ничего, кроме мира, сказал он и добавил, что у него было одно-единственное территориальное требование в Европе, а именно свободный проход через Польский коридор в Восточную Пруссию, и ни один другой германский государственный деятель, кроме него, не смог бы довольствоваться такими скромными требованиями: любого другого смел бы народный гнев. Затем он заговорил о зверствах поляков, которым подвергаются беззащитные немецкие братья и сестры в Вартеланде, и волна возмущения поднялась в зале. Мы знали, что такое зверства над беззащитными немцами, мы сами их испытали. Я вспомнил проволочные заграждения на рыночной площади в Рейхенберге, я вспомнил границу, где таможенники отобрали у нас сигареты, вспомнил все кровавые злодеяния, о которых сообщала радиостанция «Германия». Теперь сам фюрер говорил о зверствах поляков, потом он возвысил голос и закричал, что он, несмотря ни на что, целых два дня сидел в имперской канцелярии вместе со своим правительством и ждал, не соблаговолит ли поляки наконец прислать представителя, чтобы обсудить его последнее территориальное требование. Мы слушали и изумлялись этому долготерпению, и если бы кто-нибудь пришел и сказал нам, что посол Польши в Берлине не мог даже передать требования немецкого канцлера в Варшаву, потому что его телефон уже несколько дней был выключен, и если бы кто-нибудь нам сказал, что день и час начала войны был установлен несколько месяцев тому назад и что война должна была быть развязана, так как государство стояло на пороге финансового краха, и что рейхсканцлер откровенно высказался, что он боится только одного, чтобы какая-нибудь свинья собачья в последнюю минуту не взяла на себя роль посредника, — если бы кто-нибудь пришел и сказал нам все это, то мы бы даже не разорвали его в клочки, а просто отправили в сумасшедший дом.

Нет, то, что говорил фюрер, не вызывало у нас даже малейшего сомнения: целых два дня он просидел в имперской канцелярии вместе со своим правительством, ожидая поляков; и я представил себе, как фюрер вместе с Герингом, Геббельсом и другими министрами два дня сидит в рейхсканцелярии и ждет поляков. Я видел огромный готический зал с дорическими колоннами, а в середине зала стояли, образуя огромную букву Т, столы для переговоров. Громадные черные столы из эбенового дерева, сдвинутые вместе, а вдоль них — обитые кожей резные эбеновые стулья с высокими спинками. Во главе стола на возвышении сидит фюрер с торжественным лицом, по правую руку фюрера и чуть пониже — фельдмаршал Геринг, по левую — на одной высоте с Герингом — Геббельс, имперский министр пропаганды, а по обе стороны длинного стола — другие министры, я не знал их фамилий и лиц, а в самом дальнем конце стола — два пустых стула, предназначенные для польских представителей. Огромные люстры льют свой свет в торжественно молчаливый зал, и безмолвно сидят министры за столом, молчат и ждут. Правительство великого германского рейха сидит и ждет целых два дня, сорок восемь часов. Но вместо того, чтобы послать своих представителей в Берлин, поляки — услышали мы — перебросили через границу вооруженную

банду, банду солдат в форме, ее предводители ворвались на радиостанцию в Глейвице<sup>1</sup>, начали стрелять в потолок и пытались что-то передать по-польски — вот как, значит, представляют себе переговоры поляки?!

Я не совсем понял, какой смысл был полякам врывать на радиостанцию в Глейвице, стрелять там в потолок, но я решил, что это, видимо, какая-то странность явно неполноценного народа, я кипел от негодования и соглашался с оратором: действительно, не оставалось ничего другого, как открыть ответный огонь. «Сегодня в пять сорок пять открыт ответный огонь», — кричал Гитлер, и еще он кричал, что он хотел только мира, а всемирное еврейство — войны. «И теперь всемирное еврейство получило войну», — кричал рейхсканцлер, и мы все, как я вспоминаю теперь, разом засмеялись: фюрер сводил счеты с Рузвельтом и его политикой гарантий мира и назвал его старым дураком. Вот тут-то мы и рассмеялись, а фюрер сказал, что жребий брошен, и у меня вдруг возникло чувство, будто я вступаю в водоворот, в бездонную пучину. Холодное мрачное чувство, и я поспешил подумать, что фюрер все уладит. Но мрачное холодное чувство не отпускало меня. Словно сквозь вату я слышал, как Гитлер сказал, что с этой минуты и до самой победы он будет выполнять свой долг в качестве ефрейтора и не снимет боевого мундира — одеяния славы, которое наденет весь народ, — до тех пор, пока враг не будет повержен наземь и раздавлен, и я подумал, что фюрер простым ефрейтором пойдет с каким-нибудь полком на фронт, а Геринг или Гесс на это время примут правление в свои руки, и мрачное чувство притупилось, стало тупым беспокойством, тупой тоской, и я вдруг решил добровольно вступить в армию.

Речь кончилась, мы встали и вместе с депутатами рейхстага закричали «Зиг хайль!» и спели «Германия превыше всего» и марш Хорста Весселя, а потом так и остались стоять в растерянности. Директор школы, маленький толстый человек в черном сюртуке с медалью за мировую войну на груди, вышел вперед и, запинаясь и без конца откашливаясь, прерывающимся голосом сказал, что после глубоко захватывающей речи фюрера он просто не может найти слов, чтобы выразить все то, что наполняет его душу и душу каждого честного немецкого мужчины и юноши, ибо час испытания настал и мы все как один должны беззаветно следовать за своим любимым фюрером, куда бы он нас ни повел. Затем он снова откашлялся и сообщил, что пока занятий в школе не будет, что мы в свое время получим новые указания, и затем мы все разошлись по домам и началась война.

Началась война, мы пошли домой, и, как ни странно, я больше ничего не могу вспомнить об этом дне. Возможно, воспоминания мои потускнели оттого, что после речи Гитлера все пошло совсем не так, как я себе представлял. Ведь началась война! Был первый день войны, жребий судьбы был брошен, и я ждал, что теперь произойдет что-то особенное, какое-то необычайное событие, взрыв, буря, гром орудий, марширующие отряды, ликующие толпы — этот день должен пройти иначе, чем все остальные дни. Но ничего подобного не случилось. Ни бури, ни взрыва, ни ликования, ни цветов, ни знамен, ни песен — война началась тихо, железный жребий упал бесшумно. Мужчины и женщины на улице выглядели испуганными, подавленными и угнетенными, и у меня тоже стало мрачно и тяжело на сердце. Началась война, но жизнь тем не менее продолжалась, как она продолжается всегда, и в этом было что-то призрачное. Где-то на востоке стреляли, шли танки и пушки, падали солдаты, звучала железная поступь истории, а в Хоенэльбе бакалейщик продавал

<sup>1</sup> Речь идет о фашистской провокации: на немецкую радиостанцию напали переодетые в польскую форму нацисты (Прим. перев.)



соль, а булочник хлеб, почтальон разносил письма, грузчики вкатывали на телегу бочки с пивом. Все они выглядели подавленными и разговаривали мало, и вдруг мне показалось противным разуму, почти преступным то, что грузчики вкатывают сейчас бочки с пивом, а почтальон разносит письма, булочник продает хлеб, а бакалейщик соль. Сейчас, когда началась война! Война, война, война! Я почувствовал, что нужно что-то делать, и побежал к командиру своего штурмового отряда, седому капитану бывшей королевско-имперской австрийской армии, который владел в Хоенэльбе посреднической конторой по продаже недвижимости, и доложил ему о своем прибытии. Командир был в форме и при всех орденах. Тяжело ступая, он маршировал по своей квартире и по-военному строго ответил на мое по-военному четкое приветствие. Он согласился со мной, что нужно что-то делать, потом долго и напряженно думал и сказал, что у него еще нет указаний, но на всякий случай он объявляет боевую готовность номер один: каждый штурмовик должен находиться у себя дома или на работе в полной форме и в состоянии полной боевой готовности, и он приказал мне передать этот приказ командирам всех отрядов; я помчался к командирам отрядов, которые тоже уже облачились в форму. Потом я сидел в своей комнате и слушал последние сообщения: победоносное наступление, зверства поляков, угрозы французов и англичан, фюрер на фронте, исторический час, и я помню, что в эту ночь я лег спать, не снимая мундира и сапог.

На следующий день занятия в школе опять не состоялись, и, так как была суббота, я поехал на конец недели домой, к родителям. Я застал их в растерянности.

— Я пойду добровольцем, — объявил я, и моя мать вдруг закричала, а отец бросил на меня грозный взгляд и сказал:

— Ты не пойдешь добровольцем.

— Я пойду добровольцем! — повторил я, и мой отец, коренастый и сильный, как медведь, схватил мои руки, сжал их и, вдавливая меня в кресло, произнес:

— Ты не пойдешь добровольцем.

И так как я продолжал настаивать на своем, отец крикнул, что запрещает мне идти добровольцем, а если я сделаю это тайком, он пойдет на призывной пункт и заберет мое заявление, потому что я несовершеннолетний, и опозорит меня перед всем светом.

Я знал, что он так и сделает, и больше не стал ничего говорить. Я хлопнул дверью своей комнаты и сел к радиоприемнику слушать последние сообщения: победоносное наступление, зверства поляков, угрозы англичан и французов, фюрер на фронте, исторический час! За известиями последовали сообщения рот пропаганды: фюрер ест гороховый суп вместе со своими храбрыми солдатами и офицерами (из одного котла!); жена фельдмаршала, как простая сестра милосердия, ухаживает в госпитале за храбрыми ранеными; правительство установило наивысший продуктовый паек гражданам, занятым на тяжелых работах, и запрещает танцы и прочие увеселения, пока наши храбрые солдаты погибают на поле боя.

Я с восхищением подумал, что фюрер добился самого трудного: он добился единства народа, он создал народную армию, где генерал и солдат едят гороховый суп из одного котла и где главнокомандующий — простой ефрейтор. Я решил, что, несмотря на гнев отца, все-таки запишусь добровольцем. Я сидел у радио и слушал известия и необычайные сообщения о новых и новых победах: взят Ченстохов, форсирована Варта восточнее Вилуна, захвачен Яблунковский перевал, установлено господство в воздушном пространстве над Польшей, а на стратегический

объект — Варшаву — сброшены бомбы. Я сидел у радио и слушал сообщения о все новых и новых победах и слышал железную поступь истории. Весь день я ни с кем не разговаривал, мать молча прилаживала затемнение для окна в спальне, отец пошел в трактир «У Рюбецаля», чтобы обсудить военное положение. Вечером мы встретились на улице, он взял меня под руку и пошел со мной по дороге в горы. Окна домов были затемнены, нигде не было видно света, мир казался черным, как подземное царство: темная пещера, накрытая ночным небосводом. Вечер был ветреный, серые и черные тучи проносились над вершинами гор, мчалась Бешеная охота<sup>1</sup>: впереди всадник, за ним беснующиеся кони и псы — Бешеная охота неслась к месяцу, лимонно-желтый сверкающий серп которого стоял над горной вершиной.

— Старый еврейский бог мстит за себя,— прошептал мой отец.

Он твердо держался на ногах, хотя много выпил, он тихо бормотал, но язык его не заплетался.

— Старый еврейский бог мстит за себя,— шептал он и неподвижным взглядом смотрел на Бешеную охоту, которая терзала месяц и пожирала его.— Он зарвался,— продолжал шептать мой отец.— Он зарвался и теперь всех нас погубит вместе с собой.

Я не понимал, о ком он говорит. Я испугался. Уж не бредит ли он?

— На этот раз он погубит весь мир,— шептал мой отец, он схватил меня за плечо и вдруг закричал: — Это мировая война, мальчик! Германия ее не переживет!

Его слова обрушились на меня, как удар обухом.

— Но ведь у нас есть фюрер,— пролепетал я, сбитый с толку, и затем сказал, что еще не было ни одной войны, в которой солдаты не понимали бы так ясно, за что они борются.

— Так за что же? — спросил мой отец.

Я вдруг не смог ответить ему и почувствовал, как заколотилось мое сердце. Было темно, ревели буря, она поглотила месяц, я слышал ее завывание, я искал ответа и не находил его. Я заговорил о чести, о свободе и сам услышал, что все это — пустые фразы, а мой отец сказал, что завтра Франция и Англия объявят нам войну и Америка последует за ними, и это будет закатом Германии. Вдруг он покачнулся, язык его начал заплетаться, я взял его под руку и повел домой. Я брел ощупью: темнота, словно море, поглотила землю.

На следующий день, а может, это был и не следующий день, Франция и Англия объявили Германии войну, но об этом дне я совсем ничего не помню. Снова начались занятия в школе, радио сообщало о все новых и новых победах, танки неудержимо вклинивались в территорию противника. Мы бомбардировали Варшаву, перешли Нарев, а французы и англичане стояли у линии Зигфрида и не произвели ни единого выстрела, и будущее снова предстало нам в розовом свете.

— Великолепно он это проделал, наш фюрер,— говорил мой отец, словно у него и тени сомнения не появлялось в том, что фюрер сможет это проделать.

Половина класса записалась в армию добровольцами, но нас не взяли. «Германия не нуждается в том, чтобы на войну шли мальчишки»,— сказал нам майор Глазер на призывном пункте, и мы снова вернулись за парты. Через шестнадцать дней фюрер покончил с Польшей и присоединил Вартегау, и Верхнюю Восточную Силезию, и Польский коридор, и Данциг, и генерал-губернаторство к рейху, который после аншлюсса с

<sup>1</sup> Бешеная охота — в легендах средневекового германского эпоса — призраки погибших в сражениях, которые беспрестанно носятся по небу, как охотники, преследующие зверя. (*Прим. перев.*)

Австрией назывался «Великим Германским Рейхом». Снова были разрешены танцы, и мы танцевали на Новый год в трактире «У Рюбецаля». Это был замечательный новогодний праздник, и зимнее солнце пылало над горами. А потом фюрер занялся Данией и Норвегией, и снова были запрещены танцы, а потом фюрер справился с Бельгией, Голландией, Францией, Люксембургом, Югославией, Грецией и Критом, Северной Африкой, и танцы снова разрешили. Но мне уже тогда не было никакого проку от этого разрешения. Я нес службу в рядах имперской трудовой повинности, мы стояли у Мемеля, в трех километрах от русской границы, где не было ни танцплощадок, ни девушек.

## *Каждому своей Сталинград*

Февраль 1943 года, битва под Сталинградом.

Когда гремела битва под Сталинградом и радиостанция «Германия» ежедневно уверяла, что окончательное падение города — вопрос нескольких дней, я не верил, что Сталинград будет взят нынешней зимой; я считал, что это произойдет в начале лета. Я думал так не потому, что не доверял нашему радиовещанию, просто я знал это лучше. Сейчас взят город было нельзя: война на Востоке имела свой четкий ритм. В теплое время года, когда земля просыхала и зеленели поля, фронт продвигался на сотни километров вперед, в распутицу наступление увязало в грязи чавкающих дорог, зимой фронт окончательно замерзал и, сжимаясь, как все сжимается от холода, отступал на несколько километров назад, на укрепленные позиции, чтобы, снова оттаяв весной, осуществить в мае стремительное продвижение вперед, в бескрайние владения Востока, чтобы когда-нибудь — через десять, через двадцать, а может быть, и через сто лет — мы остановились у Тихого океана на страже империи нового Александра Македонского. Нет, когда я вернулся с ночного дежурства на узле связи и со вздохом натягивал на портянки шерстяные носки, а потом снова надевал сапоги, я не верил, что Сталинград будет взят сейчас, в январе или в феврале. В тридцатиградусный мороз город взять нельзя, это нереально. Сейчас наши ребята, думал я, займут позиции вокруг Сталинграда, а потом, в апреле или мае, захватят город; в июне десантные суда переправятся через Волгу, а в августе танковые клинья достигнут границы между Европой и Азией где-нибудь в районе Уральска или Оренбурга, и тогда, думал я, наш узел связи при штабе военно-воздушных сил имперской области Украины переведут из Полтавы в Сталинград, и придет лето, цветущее лето, и мы вздохнем свободно, потому что фронт снова двинется вперед. Но пока все это оставалось мечтой, пока была зима и снаружи бушевала вьюга, мороз покрывал окна ледяными листьями и цветами, и я должен был, хотя я только что вернулся с ночного дежурства и собирался лечь, снова выйти из дому, чтобы починить поврежденную проводку на линии, которая вела к товарной станции.

Я был телеграфистом, и в обычное время починка кабеля, тем более после ночного дежурства, не входила в мои обязанности. Но так как несколько недель тому назад по тыловой службе прошлась специальная комиссия и добрую треть наших связистов и всех солдат телеграфно-строительной команды отправили на фронт, мы, оставшиеся, несли двойные дежурства, и время от времени нас использовали и для наружных работ. Обматывая голову шарфом, я с неудовольствием думал о предстоящих часах: если мне повезет и разрыв кабеля обнаружится где-ни-

будь недалеко от узла связи, я быстро справлюсь и смогу еще поспать, если же мне не повезет, тогда придется пройти с катушкой кабеля все восемь километров до товарной станции, и тогда я опоздаю к обеду, и обед, который возьмут для меня товарищи, обязательно остынет — холодная гороховая каша или холодное картофельное пюре с холодным соусом. Если же будет много работы, а судя по всему так оно и будет, придется после обеда опять идти дежурить. Прощай чудесный свободный день, а я-то собирался отоспаться и пойти в баню, а потом в солдатский клуб. За окном завывает вьюга. Чертыхаясь, я надеваю предохранительный пояс.

Я уже выходил из комнаты, когда зазвонил телефон. Я снял трубку и, к своему изумлению, услышал голос инспектора Эйхеля, заведующего офицерским казино, который временно замещал заболевшего руководителя ремонтных работ. Правда ли, спросил инспектор Эйхель, что я один иду исправлять повреждение на линии. Когда я удивленно подтвердил это (инспектор Эйхель обычно не очень-то заботился о нас), он сказал, что только что прибыли двое украинских добровольцев, которые будут состоять при нас и использоваться на тяжелых работах, и что он немедленно пришлет их ко мне. Я поблагодарил, он дал отбой, и я мысленно усмехнулся: какой услуги потребует от меня взамен в мое следующее ночное дежурство продвунной господин инспектор — разговора ли с Бордо, где он заказывал у своего приятеля, который сидел там в интендантстве, коньяк для штаба, или разговора с Дортмундом, с женой. «Наверное, Бордо», — подумал я, потому что только вчера слышал, как наш начальник майор Хогнер разносил инспектора за то, что в казино скучно и даже вина приличного нет. Что ж, Бордо так Бордо, с ним легче наладить связь, чем с Дортмундом. Дверь рванули, и в комнату вошел ефрейтор из канцелярии.

— Добровольцы — тебе? — спросил он.

Я подтвердил.

— Давай сюда, — сказал ефрейтор с повелительным жестом.

Добровольцы вошли в комнату.

Я с любопытством смотрел на них, они интересовали меня. Мне до сих пор не удалось, как я ни стремился к этому, наладить контакт с населением. С военнопленными я не сталкивался, Любовь, Тамара и Ольга, официантки из казино, пышногрудые и толстозадые белокурые валькири с подрагивающими щеками и ярко намазанными вишнево-красными ртами, были доступны только для офицеров и не желали иметь дело с паршивым ефрейтором вроде меня. Уборщицы и кухарки только отрицательно мотали головами, когда мы их о чем-нибудь спрашивали, говорили «никс дейч» и убегали так стремительно, что грязная вода выплескивалась из ведер. Жители города избегали нас; когда мы приближались к ним, они враждебно смотрели на нас и поскорее прятались в дома, и их взгляды из занавешенных окон кололи нам спину, словно кинжалы. Поэтому я обрадовался, что смогу познакомиться с двумя добровольцами, которые симпатизируют нам, и представил себе, что сейчас войдут два казака с окладистыми бородами или двое из секты взыскающих бога, с пылающими глазами и белым, восковым, словно лепесток лилии, лбом, но в дверь смущенно и неуклюже, с узелками в руках вошли два здоровых белокурых парня моего возраста, широкоплечие, рослые, подтянутые, и я сразу решил, что в их жилах, конечно, течет немецкая кровь. Возможно, они из немцев Поволжья, а может быть, и потомки Рюрика. Ефрейтор, который их сопровождал, давно уже ушел.

— Дейч ферштеен? — спросил я, нарочно коверкая слова.

— Да, господин, немного, — ответил тот, что был поменьше ростом, а другой кивнул.

— Вы из немецких колонистов? — снова спросил я.

— Нет, господин, в школе учили.

— В немецкой школе? — удивился я.

— Нет, господин, в украинской школе, — ответил он и рассказал, время от времени запинаясь и подыскивая нужные слова, что в их школе немецкий преподавался с пятого класса как иностранный язык.

Я недоверчиво слушал его и хотел уже высказать свое недоверие, как вдруг вспомнил, что во многих крестьянских домах, где мы стояли на квартирах, я находил немецкие книги: школьные учебники, хрестоматии, новеллы Келлера, романы, стихи, например, «Лорелею». Я улыбнулся: значит, без немецкой культуры не может обойтись ни один народ, даже большевистская Россия, и с удовлетворением подумал, что под немецким господством даже в России наконец установится порядок, не будет больше большевистской заразы, будет чистая, упорядоченная, цивилизованная область Германии — этого мы добьемся, как мы уже добились многого другого. Добровольцы стояли у дверей и теребили в руках свои узелки. Я приветливо кивнул им и спросил, как их зовут. Того, что поменьше и поразговорчивее, звали Николаем, второго — Владимиром. Я назвал свое имя и сказал:

— Будем друзьями?

— Да, господин, — ответили оба.

— Оставьте это, — сказал я, — мы, разумеется, будем на «ты».

Николай обрадованно кивнул, Владимир казался смущенным.

— Положите-ка сначала ваши узелки ко мне на кровать, — продолжал я, и Николай и Владимир осторожно положили свои узелки на голубое клетчатое одеяло, покрывавшее кровать. «Надеюсь, у них нет вшей», — испуганно подумал я, когда они положили узлы на мою кровать, и хотел уже сбросить их на пол, но сдержался, оставил их на кровати. На улице хрипло дышала буря. Я показал на катушку кабеля.

— Пошли! — сказал я, и мы вышли на улицу.

Погода стала немного мягче. По-прежнему хрипло дышала вьюга, но теперь ее широкая пасть выдыхала не свистящий ледяной ветер, а южный воздух и толстые ватные тучи, которые слегка согревали нас и будили надежду на снег — мягкий, белый, теплый снег, а над ним ясное небо и теплый солнечный шар, предвестник лета. Бараки нашего узла связи лежали у подножия мелового холма, в стороне от города. Вокруг сверкал лед, широкая равнина покрылась коркой наста, как струпьями, наст растрескался, и струпья громоздились один на другой, образуя зубчатые края серой дымки, из которой поднялся голубоватый город, возникший внезапно, словно по волшебству. Так как холм больше не прикрывал нас и засвистел ветер, мы пошли быстрее; в городе, который нам предстояло пересечь, наверное, будет теплее. Тучи натыкались друг на друга. Где-то завывала собака. Из дымовых труб над обледеневшими крышами не вырывалось ни облачка дыма, только зеленые купола заполняли небо. Город, казалось, вымер, на улицах ни души, в окнах, несмотря на пасмурное утро, не горел свет. Под аркой ворот стояли две закутанные женщины, они увидели нас и беззвучно исчезли во дворе, закрыв за собой ворота. Ветер перестал дуть, стало почти тепло, меньше чем двадцать градусов. Словно сговорившись, мы пошли медленнее. Из переулка вышел поп. Оба добровольца низко склонились перед ним, а поп поднял им навстречу свой нагрудный крест, тяжелое серебряное распятие. Из солдатского клуба был слышен шум, и я подумал, что после того, как мы закончим работу, я приглашу, хоть это и не рекомендуется делать, своих добровольцев в солдатский клуб и угощу их чашкой чая и печеньем, ничего другого там все равно нет.

Добровольцы остановились на минуту, чтобы поменяться местами у катушки кабеля. Они остановились у какой-то лавки, и я скусающим взором поглядел сквозь тусклое стекло: на обгорелом бархате лежал поломанный допотопный хлам — испорченные щипцы для сахара за сто карбованцев, гребенка с редкими зубьями за пятьдесят, пара дырявых башмаков за две тысячи, венки из бумажных цветов, кусок какой-то материи, картина, писанная масляными красками, и гитара с оборванными струнами. Вот он, рабочий рай! Как же все это должно было выглядеть раньше, до того, как полтора года назад мы принесли сюда хоть малую толику культуры, и умение хозяйничать, и свободу от большевистского ярма! Ведь мы пришли как освободители; в этой лавке, как и во всех других, висел портрет фюрера, а под ним было написано: «Гитлер — освободитель». Гитлер — освободитель! Я с гордостью подумал, что снова мы, немцы, спасли Европу от варварства Востока, как некогда от нашествий арабов, гуннов, монголов и турок, и я подумал, как это прекрасно, что народы Европы наконец-то объединены в борьбе со смертельным врагом: немцы, итальянцы, румыны, венгры, словаки, хорваты, фламандцы, французы, люксембуржцы, нидерландцы, испанцы, черногорцы, мавры, болгары, арабы, финны, латыши и далеко на востоке мужественные японцы, а теперь и лучшие сыны русского народа. Я догнал добровольцев, которые тем временем продолжали путь, и спросил, откуда они родом. Николай сказал, что родом они из одной деревни под Харьковом, где их отцы были когда-то крестьянами, самыми богатыми крестьянами в деревне, и где они погибли в борьбе с комиссарами, которые насильно сгоняли крестьян в колхоз.

Что такое колхоз? Мы плелись дальше; добровольцы тащили катушку с кабелем, а я размышлял о том, что же такое в конце концов колхоз. Точно я этого не знал, но в школе я слышал, что колхоз — это суший ад для крестьян, и я представил себе именье, им владеет, конечно, комиссар, то есть богатый еврей, который заставляет своих крепостных, бывших свободных крестьян, чью землю он украл, работать на себя под кнутом чекиста.

— Колхоз шлехт? — спросил я.

— Колхоз шлехт, господин, — сказал Владимир и добавил что-то грубо по-украински, должно быть, выругался.

— Колхоз шлехт, господин, — повторил Николай и плюнул. — Черт твою мать...

— А теперь никс колхоз? — спросил я.

Николай пожал плечами.

— Нет больше колхоза, господин, — сказал он и объяснил, что большевики хотели эвакуировать всех жителей деревни, но он с матерью и сестрой и Владимир со своими спрятались, пока не пришла немецкая армия.

— Теперь колхоза больше нет, и вы опять крестьяне? — спросил я.

Оба промолчали. Мимо нас со звоном пронеслись сани с колокольчиками.

— Ну, вы получите землю, все будет улажено, — быстро сказал я и еще сказал им, что выясню, какие нужны формальности, чтобы вернуть землю. Николай сказал тихо: «Спасибо, господин», а Владимир только вздохнул и покачал головой.

Тем временем мы вышли из города. Вокруг лежало открытое поле, море ледяных струпьев, на гребнях волн которого металась стаи ворон. Наш разговор замерз. Я смотрел вверх на кабель: насколько я мог видеть, он висел между столбами без всяких повреждений, значит, нам придется идти еще далеко. Холод пробирал до костей, ветер сипел,

застывшие тела десяти повешенных болтались под круглыми кронами лип, словно языки колоколов. Я видел, как их казнили. Это было три дня назад, как раз когда я возвращался с линии, исправив какое-то повреждение. Они стояли на перевернутых ящиках, в рваной одежде, с веревками на шее; они сжимали кулаки и перед рывком в смерть что-то кричали украинцам, которых согнали сюда часовые, чтобы казнь послужила предостережением, ибо этих десятерых казнили как заложников после взрыва железнодорожного пути. Это были десять крестьян, и, прежде чем умереть, они десять раз сказали что-то твердыми голосами, и теперь они висят здесь уже третий день. Меня трясло от холода. На казненных не было башмаков. Мимо проехал грузовик. Он разбрызгивал льдинки. Добровольцы шаркали ногами, втянув шеи, тесно прижав руки к телу, шаркали и тяжело топали ногами по гладкой дороге. Я тоже приподнял плечи, стараясь немного прикрыть горло. Шарф на голове заиндевел. Шоссе перед нами вытянулось прямое, как стрела: мы вот-вот будем у станции, а кабель все так же туго висит на столбах, нигде ни царапины, никакого видимого повреждения, и я уже в отчаянии думал, что кабель вообще не порван, а только у какого-то из столбов на нем протерлась обмотка, так что обнаженная проволока замкнулась на землю, и теперь мне придется долгие часы искать место этого замыкания, когда наконец у самой станции с тускло поблескивающими рельсами я увидел повреждение: кабель был разорван между двумя столбами и почти половина его мягко свисала с перекладины, словно огромный кучерской кнут. Это было легко устранимое повреждение, и то, что мне нужно было сделать, казалось очень простым: я должен откусить кусачками оборванные концы кабеля и заменить их куском нового; в обычных условиях это работа на несколько минут. Я пристегнул железные кошки и, зажав в зубах свободный конец кабеля, поданный мне с катушки, полез на мачту. Тупые концы кошек плохо держались на обледенелом дереве, два раза я скатывался вниз и едва успевал повиснуть на предохранительном поясе. Наконец я добрался до верха. Ветер клевал меня, словно стая коршунов. Внизу топтались добровольцы, хлопали себя руками по плечам, растирали пальцы. Я завидовал им: в толстых перчатках на руках я не мог закрутить тонкую проволоку, а когда я работал голыми руками, обнаженный металл прилипал к коже. Кончики пальцев у меня побелели, и я должен был спуститься вниз. Добровольцы растоптали сапогами кусок наста и растерли мне руки мелким льдом, я снова полез наверх. Как долго продолжалась работа, я теперь уже не помню, знаю только, что, когда я слез со второго столба, ресницы у меня смерзлись. Ветер гладил и скреб застывшие сугробы.

— Дойдем до станции, погреемся там,— проговорил я; мороз буквально перехватывал дыхание.

Добровольцы кивнули. На товарной станции, разумеется, не было ни буфета, ни зала ожидания, но на насыпи между путями стояло несколько барачков, и я надеялся, что там найдется какая-нибудь канцелярия с пылающей железной печкой, у которой мы отогреемся и запасемся теплом на обратную дорогу. Первый барак, куда я попытался проникнуть, был заперт, в окне второго виднелся лейтенант в очках, я отдал ему честь, и мы пошли вдоль длинного барака, чтобы войти через заднюю дверь. Мы обогнули барак и разом остановились. Перед нами, прижавшись к стене барака, стоял, слегка покачиваясь, безмолвный строй. Это были украинские женщины и девушки, они стояли в три ряда и слегка покачивались, они стояли, тесно прижимаясь друг к другу, взявшись под руки, и покачивались, как соломинки на ветру. Перед каждой из них лежал на земле узелок с вещами, маленький узелок: белье, миска, ложка. Они стояли, и ветер задувал через крышу барака, и тут мы услышали, что

их строй не молчит, что он тихо поет, тихо, совсем тихо поет протяжную песню. Перед женщинами стояли закутанные в меховые тулупы часовые с винтовками наперевес. Фельдфебель ходил взад и вперед перед строем и курил; резко засвистел паровоз, и черной тенью на рельсы надвинулся товарный состав. Мы застыли на месте, я смотрел на женщин, а одна из них, стоявшая недалеко от нас, повернула голову и взглянула на меня, потом на Николая и Владимира, на обоих добровольцев с надписью «добровольцы» на нарукавных повязках, потом она толкнула женщину, стоявшую рядом, и все женщины одна за другой медленно повернули головы, словно перелистнулись страницы книги, и посмотрели обоим в лицо и на повязки с надписью «добровольцы», потом медленно, молча одна за другой отвернули головы. Лица добровольцев побелели, губы затряслись. Товарный состав перестал гроыхать, теплым покрывалом за клубился серый дым. Я подумал, что добровольцы убегут под защитой дымового облака, но они остались стоять, словно примерзшие к земле. Раздвинулись двери товарных вагонов, открыв темные ямы, женщины молча подняли узелки, фельдфебель заорал: «Давай, давай, поторапливайся!», солдаты стали толкать женщин вперед, и вдруг Владимир закричал, бросил катушку с кабелем и кинулся к поезду. Одна из женщин еще раз повернулась к нему, и Владимир выкрикнул какое-то имя, низкий kloкочущий звук. Один из часовых выскочил вперед, ударил Владимира в грудь и заорал, чтоб мы убирались отсюда. Владимир сжал кулаки, часовой сорвал с плеча винтовку. Я потащил Владимира назад: почувствовав мою руку на плече, он весь обмяк, повернулся и пошел, спотыкаясь и опустив голову. Николай стоял молча, скрипя зубами. Женщины исчезли в темноте вагонов, и вдруг я впервые увидел то, что видел здесь на товарной станции уже десятки раз и о чем выстукивал бесчисленные телеграммы: в Германию отправлен рабочий транспорт, в Берлин, или в Вену, или в Эссен, или в Гамбург. Только теперь я увидел: да у них же на ногах нет никакой обуви, накручено какое-то тряпье, а грудь и спина обвязаны бумажными мешками из-под цемента, ни у одной нет одеяла, а вагоны ведь не отапливаются, в них не горит печь, а на полу лишь тонкий слой соломы, и с зарешеченных узких окон свисают ледяные сосульки. Тяжело ступая, подошел фельдфебель.

— Вы чего глазееете? — спросил он тихо.

Я отрапортовал, мы с Николаем быстро взяли катушку кабеля и пошли прочь. Владимир стоял возле станции, прислонившись к дереву и закрыв глаза: его бил озноб. Я положил руку ему на плечо и искал слова, чтобы сказать что-нибудь. Я хотел сказать, что после Киева женщинам, несомненно, будет лучше, что в Германии их хорошо устроят, но не мог сказать ни слова. Я достал портсигар и дал каждому по сигарете; мы курили и слушали перестук колес, который становился все быстрее и все тише, потом опять засвистел паровоз, а стук растаял в сером сумраке дня. Кто это был? Его девушка или сестра? Я хотел спросить, но не спросил. Приближался полдень, улицы стали оживленнее: звеня колокольчиками, пронеслись санки, запряженные лошадьми; кричали торговки, из солдатского клуба доносилась песня. Мы нигде не остановились, и когда я в штабе доложил инспектору Эйхелю, что задание выполнено, он сказал, что добровольцы должны сейчас же опять идти работать: нужно разгружать ящики с товарами для войсковой лавки; и мне тоже придется, к сожалению, смущенно покашливая, сказал инспектор Эйхель, дежурить в послеобеденную смену: войсковой узел связи наземных войск вышел из строя, подземный кабель поврежден, вероятно, партизанами, и все сообщения идут теперь только через нашу телефонную и телеграфную сеть. Я обрадовался, мне не хотелось сейчас сидеть без дела.



Я проглотил несколько ложек холодной гороховой каши и попросил товарищей, у которых как раз был перерыв, позаботиться о постелях и тумбочках для добровольцев. Затем я отправился на телеграф, сел у своего аппарата, взял пачку из груды телеграмм, соединился с Киевом и начал передавать донесения дальше. Я считался опытным и точным телеграфистом, поэтому мне постоянно давали телеграммы, в которых было много цифр, зашифрованных слов и названий, и поэтому обычно я передавал оперативные донесения, приходящие с фронта и помеченные буквами «СО» (срочная оперативная). «Оставлены позиции южнее пункта Червленая», — передавал я, — «Попытка прорыва у пункта Облиновское потерпела неудачу», «Части из Тацинской отведены назад». Бои и прорывы, кровь, крики, раны были названиями и цифрами, рядами букв на узкой серовато-белой полоске бумаги, которая пробегала под буквами: О б л и н о в с к о е. Я писал, и вдруг позади меня остановился инспектор Эйхель, заглядывая через мое плечо.

— Господи, да это сталинградская сводка, давайте сюда, я немедленно отнесу шефу, его младший сын там. — Он нетерпеливо шелкнул пальцами, и я едва успел напечатать последние буквы, как он схватил листок и побежал к шефу.

Я взял новую пачку — это были донесения о поставках; до сих пор я писал, как меня учили, букву за буквой, не задумываясь над общим смыслом, и вдруг я запнулся: в одном из сообщений под рубрикой «Отправлено в рейх» стоял пункт 3: «312 раб. жен. из Полтавы в пере-сылный пункт Укр.». Затем пункт 4: «Растительное масло, пищевое, три тонны для хоз. управл. Укр.» — и пункт 5: «Телят 614 (шестьсот четырнадцать), быков 530 (пятьсот тридцать), свиней 308 (триста восемь) для хоз. упр. Укр. Подлинник подписал обер-инспектор Зодельбринг».

Я передавал телеграммы и видел женщин, которые стояли, покачиваясь, возле барака, стояли, взявшись за руки, на ногах вместо обуви — тряпье. Тихо поющий строй перед ледяными ямами, скользящими на колесах, и я слышал крик Владимира и думал о том, что война — чертовски жестокая вещь и что, собственно говоря, парень держался замечательно. Затем я передавал донесения о поставках, которые пришли из Кривого Рога — железорудного бассейна — и которые надо было немедленно передать дальше в Берлин. Я соединился с Берлином и начал передавать: «Из Кривого Рога отправлено в рейх: железной руды двенадцать вагонов для «ДЕГУССА», железного лома для «ДЕГУССА» четырнадцать вагонов; железной руды двадцать четыре вагона для «ДЕМА», железного лома одиннадцать вагонов для «ДЕМА». Я писал цифру за цифрой, название за названием и видел поезда, поезда с красной рудой и с красным поржавевшим ломом; и старый вопрос, который мучил меня, когда я был мальчишкой, снова встал передо мной: кому принадлежат эти богатства? Кто управляет хозяйством? Кто приводит в движение рычаги? Принадлежит это Германии или все это попадет в карманы к нескольким воротилам, как во время первой мировой войны, или с этим теперь покончено? А может быть, и нет? Я не знал. Я передавал телеграммы. Было уже поздно. Я отстукивал их механически. Я устал, цифры на бумажных полосках начали мелькать, стало душно. Я хотел спать. Сейчас же после смены я пошел в казарму. В ней все было, как всегда: постелей и тумбочек для добровольцев не было. Я спросил ребят, и они рассказали мне, что уже приготовили постели и тумбочки, но пришел дежурный офицер и разбушевался: что им взбрело в голову, немцы и русские в одном помещении — это недопустимо, русские остаются нашими рабами, будь они тысячу раз добровольцами и сколько бы катушек с кабелем они ни протащили. Я подумал, что это низость, и решил завтра утром просить инспектора Эйхеля вмешаться в это дело; сегодня я слыш-

ком устал, да это и не имело смысла: сейчас господа офицеры сидели в казино, инспектор Эйхель приказал заколоть свинью, а из Франции, сообщили мне товарищи, пришла посылка с красным вином и коньяком, сейчас господам офицерам никак нельзя было мешать. Поэтому я лег и закрыл глаза, но уснуть никак не мог. Я дремал, и передо мной пронеслись видения, смутный поток лиц, колеса, ветки, ямы, иногда дым, иногда снег, один раз я совсем рядом увидел чью-то руку. Потом появился клоун с напудренными щеками, он смеялся и гримасничал, а перед ним пылало алое пламя. Погас свет, я погрузился глубже в дремоту, теперь мне казалось, что играет музыка, потом что-то зашелестело, и я заснул по-настоящему. Вдруг я вскочил: в комнате громко звучал чужой голос, я никогда не слышал его прежде, это был низкий голос, который заполнял комнату, как звук набатного колокола. «Друзья, братья!» — говорил голос сверху из громкоговорителя.

«Друзья, братья! — говорил он, и слова звучали, как трубы органа. — Друзья, в Сталинграде, в снегу и во льдах, истекает кровью шестая армия».

Я лежал, словно парализованный, и ужас, какого я прежде еще не испытывал, пронизал мозг — я понял, что это немецкий голос говорит с нами и задает нам вопросы. «За кого вы отдаете свою жизнь, свое счастье, друзья?» — спрашивал голос, и мы лежали на соломенных матрацах в темноте, не спали и слушали эти ужасные вопросы, и каждый знал про другого, что тот не спит и слушает, и никто не встал, чтобы выключить громкоговоритель, никто, и я тоже, а ведь это была вражеская пропаганда, и то, что мы делали, было мятежом — одним из самых тяжких преступлений! Да, это был мятеж, враг был в комнате, на наших позициях, а мы смотрели ему в лицо и не уничтожали его, и у меня вдруг возникло чувство, что весь мир вокруг утонул и не осталось ничего, кроме этой комнаты, этого голоса. Теперь я услышал, что этот невидимый немец читает стихи:

Да что вы, богом позабыты?!  
 Кому охота подыхать?  
 Вставайте, двери в жизнь открыты,  
 Оружье — прочь, пора кончать.  
 Пускай все громче раздастся  
 Над вами разума призыв:  
 Кто сдастся в плен — тот будет жив,  
 Кто...<sup>1</sup>

Что-то щелкнуло, и голос оборвался: радио выключили в узле связи.

Никто не сказал ни слова. Мы слышали дыхание друг друга, малейший шорох соломенных матрацев, и самое страшное было то, что никто не решился состричь. Дыхание прерывалось, тишина шумела. Я слышал, как бьется мое сердце. Я был бессилен под градом вопросов, которые взрывались в моем сознании, как гранаты в открытом поле. Для чего жертвы? Зачем война? Ради Германии? Действительно ли ради Германии? А если нет, то ради кого же? — и я почувствовал, как вопрос этот поднимался в моем мозгу, как вода в половодье. А знаешь ли ты вообще, за что сражаются другие? Что такое большевизм? «Идиотский вопрос, — быстро подумал я, — идиотский вопрос, что за чепуха!» И я увидел лавку с поломанными щипцами для сахара и услышал, как Николай говорил: «Чертов колхоз!» — но затем я увидел крестьян на виселице и на ветвях деревьев, крестьян, крестьянок, молодых девушек и юношей, стариков, и я видел, как их приводили под зеленые виселицы с ароматными цветами и под черные сучья, покрытые льдом, над которыми кружились воро-

<sup>1</sup> Из стихотворения Эриха Вайнера. (Прим. перев.)

ны. Ах, виселицы, виселицы, виселицы — не это ли след, что мы оставляем на русских полях? Русские шли на виселицу с поднятой головой, сжимали кулаки и с веревкой на шее кричали слова, которые мне перевел один из товарищей и которые значили: «Да здравствует Родина!», «Мы победим!» и «Смерть оккупантам!» Разве так умирают люди низшей расы? Что давало им такую силу, какая цель стояла у них перед глазами, когда они умирали? Почему они борются против нас, если мы освобождаем их от комиссаров и колхозов? Это был вихрь, водоворот, каждый ответ уносило прочь. Я вдруг почувствовал, что вообще ничего не знаю, я даже не знаю, зачем я здесь лежу, и почему мои товарищи гибнут под Сталинградом, и почему на той стороне тоже есть немцы, и что они там делают. Я просто ничего не знал. Голос давно умолк, но он все еще заполнял комнату. Он повторял свое «зачем», которое нельзя было заглушить, и я знал, что в эту минуту молчания, когда каждый затаил дыхание, в моем рассудке укоренилось сомнение, которого теперь оттуда не вырвать. Потом я заснул, я спал без снов, меня разбудили выстрелы. Я вспомнил о партизанах и соскочил с кровати, но в это время кто-то вошел со двора и сказал, что один из добровольцев попытался убежать с винтовкой и застрелен при попытке к бегству.

— Так,— сказал я, стараясь скрыть свое волнение.

— Выстрел в спину, умер на месте,— зевая, сказал гот и, отрезав кусок хлеба, намазал его искусственным медом.

— Так,— сказал я, и тупая стрела медленно вонзилась мне в сердце.

— Холодно сегодня,— продолжал тот с набитым ртом. Потом он подошел к радио и включил его, мы услышали голос диктора имперского радио... «Наш железный вал, возведенный на Волге, непреодолимая преграда для еврейско-азиатских орд...» Я вдруг перестал верить, что Сталинград будет взят и в начале лета. А ветер гнал по небу тучи.

*Перевел с немецкого Э. Львова.*



---

РОБЕРТО ОБРЕГОН МОРАЛЕС

★

## ДВА СТИХОТВОРЕНИЯ

*С испанского,*

### *Осень*

В листьях звон металла  
и гитары перезвоны...  
В тишине прозрачно-желтой  
замирает звук устало.  
По ночам приносит ветер  
листопада вздох тяжелый,

горьковатый запах прели  
и печаль размокшей глины.  
Перелив дождя стеклянный  
отдается эхом в теле...  
Вспомнит путник: лето было,  
скрипнет старый мост уныло...

На раздетой ветке птица —  
мелкий дождик крылья мочит.  
Птица — искорка надежды,  
перьев серенький комочек.  
Холод, дождь, нагие ветви,  
перезвон осенней ночи.

### *Тень гончара*

На муравейник,  
дождем размытый,  
луна похожа.  
И желтая глина  
размыта тоже.  
Луна, словно

---

Молодой гватемальский поэт Роберто Обрегон Моралес родился в 1940 году. В 1961 году в Гватемале вышел первый сборник стихов молодого поэта. На родине он принимал активное участие в революционном студенческом движении. В настоящее время Роберто Обрегон Моралес живет в Советском Союзе. Он — студент философского факультета МГУ.

бурый филли  
или  
бронзовый жук.  
Лунный круг —  
воск и вода.  
Брызги света,  
пугливых теней стада.

Тени сосудов —  
круги, полукружья.  
Лунность, и звезды,  
и лужи.

И в глубине двора  
спит одиноко  
тьень  
гончара.

Круглая тень,  
набухшая влагой,  
лежит на земле  
вязкою лавой.

Глиняной тени излом,  
и кувшина тело,  
на доньшке сумрак  
завязан узлом,  
к стенкам  
луна прикипела.

На муравейник  
тени похожи,  
снуют муравьи  
луны  
желтокожей.  
Снуют и свинцовую тень,  
дымную тень поглощают.  
На булыжнике  
лунные блики  
играют.

*Перевела Нателла Горская.*



---

---

# НА ЗАРУБЕЖНЫЕ ТЕМЫ

ЦЕЦИЛИЯ КИН

★

## ЩИТ И КРЕСТ

«Рим. Монтечиторио. Вечер выступления Трабукки с самозащитой. Четыреста депутатов и сенаторов демохристиан столпилось вокруг обвиняемого. Они воспламенены, они аплодируют. К Трабукки проталкиваются, его хлопают по плечу, обнимают, целуют. Преимущественно целуют. Одной такой сцены достаточно, чтобы почувствовать колорит эпохи. Это тотем, символ целого правящего класса. Так может выглядеть церемония посвящения в мафию или ритуальная пляска племени, окружившего воина, который вышел невредимым из битвы с чудовищем».

Эта остроумная заметка напечатана в итальянском еженедельнике «Эспрессо»<sup>1</sup>. На протяжении лета 1965 года общественное мнение Италии было так взбудоражено делом Трабукки, что все другие, может быть даже более важные, события отошли на второй план. Бывают моменты и в частной жизни людей, и в жизни общества, когда проблемы личной порядочности и морали приобретают решающее значение. В таких случаях изолированный, казалось бы, факт выходит за рамки простого эпизода и может превратиться почти что в символ. Так произошло с делом Трабукки.

Кто такой Трабукки? Его имя — Джузеппе, но теперь его обычно называют Трабукки-бананы или Трабукки-табак. Он сенатор, бывший министр финансов. Он принадлежит к демохристианской элите — в 1961 году он выступал на первом идеологическом конгрессе христианско-демократической партии (ХДП) в Сан-Целлегерино с сообщением на тему: «Проблемы политики реформ». Оба скандала, с которыми неразрывно связано имя Трабукки, — банановый и табачный — сами по себе не выходят за рамки вульгарных нарушений закона — и не такое бывает. Почему же дело Трабукки приобрело символическое звучание?

Банановая эпопея разыгралась в мае 1963 года, когда был арестован по обвинению в мошенничестве Франко Бартоли Авведутти, президент АНБ (Национальная монополия бананов). Авведутти, бывший кавалерийский офицер, доверенное лицо министра Трабукки и сотрудник его личного секретариата, был назначен в АНБ всего за три месяца до своего ареста. Но за эти три месяца он успел проявить большую инициативу: Авведутти доверительно сообщил нескольким оптовикам цены, намеченные для аукциона. Этим он, так сказать, нарушил правила игры. Дело в том, что АНБ, созданная еще во времена фашизма, была вотчиной узкого круга лиц, которые делили между собою миллиардные прибыли. Инициатива Авведутти им очень не понравилась. Разыгрался скандал.

В процессе расследования в архивах АНБ был найден документ, в котором весьма прозрачно намекалось на необходимость «подмазать», выделив несколько десятков миллионов лир для предвыборной кампании христианско-демократи-

<sup>1</sup> «Espresso», № 31, 1965.

ческой партии. На суде Авведутти ссылался на Трабукки, на письма дочери Трабукки, в которых были названы некоторые имена. В общем, история вышла грязная, Авведутти получил три года тюрьмы, а шеф остался на своем высоком посту, отделившись тем, что приобрел прозвище Трабукки-бананы.

Табачная афера отличалась от банановой еще более живописными подробностями. Скандал разыгрался только в 1964 году, но события, которые его вызвали, происходили осенью 1961-го. Семьдесят процентов посевов табака на итальянских плантациях были поражены грибом, и это нанесло серьезный ущерб национальной экономике. Катастрофы, однако, никакой не было, так как в стране имелся двухгодичный аварийный запас, а, кроме того, государство могло закупить необходимое количество табака на зарубежных рынках. Неожиданно министр финансов Трабукки, вопреки протестам компетентных учреждений, в обход закона, регулирующего импорт, предоставил одному частному лицу исключительное право на ввоз в Италию табака с плантаций, принадлежащих этому лицу в Мексике, Сальвадоре и Гватемале.

История этого деятеля, ныне уже покойного, заслуживает того, чтобы рассказать о ней подробно. Глава акционерных компаний САИМ и САИД, депутат Кармине Де Мартино — персонаж чрезвычайно типичный. В начале двадцатых годов Де Мартино не имел ни средств, ни положения в обществе. Однако он сделал ставку на фашистов и выиграл. Де Мартино завязал теснейшие отношения с местными иерархами, в кратчайший срок нажил колоссальное состояние и превратился в экономического диктатора южного города Салерно.

Когда в 1944 году, после падения Муссолини, правительство Бадольо переехало из Рима в Салерно, оно сочло своим долгом провести расследование деятельности Де Мартино, который был одним из крупнейших «*profitatore*» того времени. Буквально это слово означает «торгаш» — так называли дельцов, разбогатевших при фашистском режиме. Расследование поручили тогдашнему заместителю министра финансов Антонио Пезенти, который сейчас прислал газете «Унита» письмо с подробным рассказом обо всей этой давней истории. В ходе расследования вскрылись скандальнейшие махинации, в которых были замешаны видные фашисты, вскрылись вопиющая коррупция, шантаж, в общем черт знает что. Антонио Пезенти пришлось лично беседовать с Де Мартино, который сказал ему буквально следующее: «Ваше превосходительство, вы молоды. При фашизме, для того, чтобы продвигаться, надо было поступать именно таким образом. Я докажу вам, что сумею продвигаться и при демократии, другими способами»<sup>1</sup>.

Вскоре правительство вернулось в Рим, и в июле 1944 года был принят закон о санкциях против фашистов. Создали Верховный комиссариат по дефашизации. У верховного комиссара было четыре заместителя. Одному из них, Марио Чинголани, видному деятелю ХДП, поручили работу по конфискации прибылей, полученных благодаря фашистскому режиму. Пезенти передал Чинголани все собранные им документы, касавшиеся Де Мартино. Когда через некоторое время Пезенти справился о ходе дела, оказалось, что досье Де Мартино исчезло. Просто исчезло, испарилось, не осталось ни одной копии, ни одного клочка бумаги. Де Мартино оказался прав: он не так уж плохо устроился и при демократии. Дальше все идет, как в сказке: Де Мартино вступил в христианско-демократическую партию и решил заняться политикой; вскоре он стал депутатом парламента, а в одном из кабинетов ему дали пост заместителя министра иностранных дел. Впрочем, занимаясь высокой политикой, он не утратил своих коммерческих талантов. Получив от министра Трабукки исключительное право на ввоз табака, он заработал довольно круглую сумму — миллиард лир.

Это фактическая сторона дела, без подробностей, довольно пикантных, но требующих слишком много места. Обвинение против бывшего министра финансов Трабукки было выдвинуто прокуратурой, которая раскрыла всю эту авантюру, потребовала от акционерных компаний САИМ и САИД возмещения

<sup>1</sup> «Unita», 15 luglio 1965.

убытков, причиненных казне, и согласно **существующему** законодательству просила у парламента разрешения привлечь к ответственности экс-министра. Минуем подробности работы специально созданной комиссии, борьбы мнений и т. д. Факт тот, что представители всех парламентских групп, кроме ХДП, потребовали, чтобы Трабуки предстал перед палатой и сенатом. Христианские демократы оказались в полной изоляции. Тут началась паника. Всем было ясно, что дело не только и не столько в Трабуки. Важен был политический аспект скандала. Христианско-демократическая партия двадцать лет одна или в коалиции с другими партиями находится у власти. Было бы, конечно, ошибочным упрощать вопрос и сводить всю ее деятельность к злоупотреблениям, нарушению законов, кумовству и коррупции. Однако за эти двадцать лет произошло столько безобразных историй, что «Эспрессо» опубликовал 18 июля 1965 года «Черную книгу христианской демократии», а другой еженедельник, «Мондо», уже после того, как произошла сцена с поцелуями в Монтечиторио, писал о том, что обвинение предъявлено самой ХДП:

«Своим поведением христианско-демократическая партия вновь поставила в порядок дня, в острой форме, проблему своей политической и моральной изоляции, да к тому же по вопросам, касающимся прочности общественного строя и общественной морали. Возникает сомнение: не кроется ли за ошибками, совершенными партией большинства, органическая неспособность демократов отдать себе отчет в новом положении, сложившемся в стране»<sup>1</sup>. Еженедельник писал о том, что ХДП в деле Трабуки еще и еще раз проявила присущий ей дух групповщины, безоговорочно поддержав своего серьезно скомпрометированного деятеля.

Мы говорили о том, что дело Трабуки приобрело характер символа. На карту был поставлен престиж ХДП и ее влияние. Все существующие в природе средства воздействия — от риторики до шантажа — были пущены в ход, чтобы собрать голоса. Пресса христианской демократии включилась в общий хор. Тут было все: обвинения против коммунистов, которые стремятся скомпрометировать ХДП и «всю систему», против социалистов и республиканцев, которые поддержали коммунистов, угрозы правительственного кризиса, развала левоцентристской коалиции, хаоса в стране. Наконец произошло голосование: за предание Трабуки суду был подан четыреста шестьдесят один голос, против — четыреста сорок. Председательствующий истолковал это в том смысле, что абсолютного большинства нет, и экс-министр был спасен. Однако, по удачному выражению Марио Аликаты, «есть оправдания, которые накладывают на обвиняемого и на тех, кто его поддерживает, большее пятно, чем осуждение»<sup>2</sup>. У христианско-демократической партии нет оснований ликовать: дело Трабуки пролило яркий свет и на то, как понимает она права и обязанности правящей партии через двадцать лет после краха фашистского режима.

\* \* \*

Когда начинаешь работать над какой-нибудь большой темой, идет длинный, трудный и увлекательный период «первоначального накопления». Растут стопки прочитанных книг, вытащены старые вырезки, на столе нагромождаются тетради с выписками. Вот уже как будто многое знаешь: факты, даты, персонажи, столкновения идей, свидетельства современников, суждения историков. Вот уже, кажется, собрано столько материалов, вложено столько труда, что имеешь право писать. И все-таки не можешь, чего-то не хватает — мысль работает, но чувство молчит, не найден лейтмотив, и лучше не браться за перо — все равно ничего не получится. И выучить может только что-либо совсем непредвиденное. Вот если произойдет какой-то толчок, и возникнет сквозная линия, и ты «войдешь в образ». Тогда хочется писать и начинаешь надеяться, что раз все это кажется таким интересным тебе самому, оно может показаться интересным и другим.

<sup>1</sup> «Mondo», 27 luglio 1965.

<sup>2</sup> «Unita», 21 luglio 1965.



Так получилось у меня с работой о христианских демократах. Много месяцев чтения, нескончаемые «заготовки» и раздумья, и все-таки не было ощущения, что можно начинать. И вдруг мне попался в одном итальянском еженедельнике портрет основателя их партии — Луиджи Стурцо «в последние годы его жизни». Я многое знаю о доне Стурцо, знаю, как он жил и умер, какую роль сыграл в итальянской истории, каких высот достигал и до каких компромиссов вынужден был опускаться. Я могу рассказать, что говорили о нем друзья и враги, и каким он был оратором, и какой у него был литературный стиль, — недаром я читала и перечитывала толстые тома его сочинений, изданные Институтом Луиджи Стурцо. И фотографии его видела прежде, но только этот портрет, такой неожиданный, вдруг заставил по-новому осознать все, что уже знала раньше.

Старый священник, старый человек, здесь ему лет восемьдесят шесть — восемьдесят восемь, но он кажется гораздо моложе. Он снят в полупрофиль. Веки опущены, а рот полуоткрыт (может быть, он говорил что-то в момент, когда его засняли, или молился?). Глубокие морщины на лбу, большой нос с горбинкой, коротко остриженные волосы, худая шея. Руки застыли — они странно симметричны: на обеих все пальцы слегка раздвинуты и кончик указательного пальца прижат к большому. Трудно объяснить почему, но руки драматичны. А лицо сложное: в нем ум, и хитрость, и воля, и смирение (так мы представляем себе иезуитов, но дон Стурцо иезуитом не был), и еще что-то глубоко затаенное. Я долго смотрю на портрет и думаю о доне Стурцо. Как жаль, что глаза прикрыты; у него должен был и в глубокой старости сохраниться острый взгляд — хватку он сохранил. Ему было восемьдесят четыре года, когда он прочитал в реакционнейшем еженедельнике «Боргезе» статью Марио Тедески, задевшую его гражданскую честь. И вот какое письмо он послал 25 мая 1955 года в редакцию:

«Многоуважаемый редактор,

тороплюсь опровергнуть сообщение, якобы я сказал или написал до или после конгресса партии «пополари», состоявшегося в Турине в апреле 1923 года, — в Италии либо за границей, — что «конгресс партии «пополари» был искренне, ясно и недвусмысленно склонен к основанному на доверии сотрудничеству с фашистским правительством».

Я не знаю, где Марио Тедески взял подобную фразу, заключенную им в кавычки; я желаю знать источник, чтобы разоблачить этот обман.

Впрочем, тот, кто прочтет даже теперь, через тридцать два года, доклад, сделанный мною на этом конгрессе и вскоре опубликованный («Пополаризм и фашизм», изд-во Гобетти, 1924), а затем переизданный в сборнике «Политические речи» (Институт Луиджи Стурцо, 1951), сможет легко понять, почему Муссолини озаглавил свою неподписанную статью в «Пополо д'Италия» (апрель 1923) — «Речь врага».

Луиджи Стурцо»<sup>1</sup>.

Марио Тедески в свое оправдание сослался на то, что он взял эту цитату из книги известного историка Емоло «Церковь и государство в Италии за последние сто лет». Тогда Стурцо пишет профессору Емоло, и тот в свою очередь ссылается на публикацию в журнале «Чивильта каттолика» от 5 мая 1923 года. В ней сообщалось, якобы сам дон Стурцо в беседе с журналистами в Риме говорил, что ему непонятна непримиримая позиция председателя совета министров (Муссолини), поскольку — дальше следует взятая в кавычки фраза. Тогда дон Стурцо пишет редактору «Чивильта каттолика», и вся эта эпопея заканчивается тем, что орган иезуитов 16 июля 1955 года помещает «уточнение». Дон Стурцо добился своего — истина установлена.

<sup>1</sup> Luigi Sturzo. Il partito popolare italiano. Nicola Zanighelli editore. Bologna. 1956. Vol. II, p. 277.

Ис правда ли, это великолепно? Такое уважение к своему прошлому, такая принципиальность, такая настойчивость и прямота. Но за три года до того, как были написаны эти полные достоинства письма, разыгралась одна политическая трагикомедия, вошедшая в историю под названием «операция Стурцо».

Двадцать пятого мая 1952 года должен был состояться второй тур административных выборов в районах Центральной и Южной Италии. По принятой в Италии терминологии, выборы в парламент называются политическими, а выборы в органы местного самоуправления — административными. Выборы предстояли в тридцати шести провинциях и двух тысячах четырехстах коммунах. Списки кандидатов должны были быть опубликованы не позднее 24 апреля, и уже с начала апреля все партии развили лихорадочную деятельность. В первую очередь это надо сказать о христианских демократах. Они были очень напуганы успехом коммунистов и социалистов на Юге. 3 апреля орган ХДП «Пополо» писала о том, что партия «должна вступать в коалицию со всеми демократическими силами против коммунизма».

Особенно важно для христианских демократов было договориться с ПНМ, монархической партией, которая сохранила значительные силы в некоторых центрах Юга. При этом надо было подыскать такую формулу, которая не нарушила бы равновесия внутри правительственной коалиции: христианских демократов, социал-демократов и республиканцев, а также либералов. Секретарь ХДП Гундо Гонелла пытался договориться с главой монархической партии Лауро. Тот потребовал, чтобы в союз были включены и неофашисты, но на это руководство ХДП не хотело пойти. 7 апреля в «Пополо» появилась новая статья, подписанная «Quidam de populo» («Некто из народа»), которую приписывали самому премьер-министру Де Гаспери. В ней говорилось, что нельзя отказывать какой-либо партии в праве считаться демократической лишь потому, что она монархическая, и ХДП, чтобы помешать завоеванию большинством социалистами и коммунистами, согласна выступить совместно с монархистами, лишь бы списки их кандидатов не были связаны со списками неофашистской партии «Итальянское социальное движение» («Мовименто сочяле Италиано» — МСИ). Поскольку монархисты на уступки не пошли, переговоры были прерваны.

Тут в правых кругах ХДП и массовой католической организации мирян «Ационе каттолика» («Католическое действие») началась паника. Такая же паника была в эпоху «великого страха», перед парламентскими выборами весной 1948 года. Именно тогда, в январе месяце, была создана мощная католическая организация «Комитати чивичи» («Гражданские комитеты»), которую возглавил профессор Луиджи Джедда. Он развил бешеную деятельность по сбору голосов. Джедда был так динамичен и работал так успешно, что его провозгласили «спасителем религии, церкви и самого папы от большевистской опасности». При Пие XII Джедда был в большом фаворе и, как считается, оказывал на папу немалое влияние. Полагают, что он имел прямое отношение к отлучению коммунистов от церкви. В 1951 году он публично заявил, что гражданские комитеты — это политическая организация, что их право — и не только право, но прямой долг — еще более активно вмешиваться в предвыборную борьбу. Естественно, что при ситуации, сложившейся в апреле 1952 года, Джедда не мог упустить случая воспользоваться своим правом и выполнить свой долг, для чего потребовалось обратиться непосредственно к папе.

В связи с этим выплывает еще одна фигура — иезуит падре Ломбарди, которого называли «микрофон Господа», поскольку он ежевечерне выступал по ватиканскому радио, призывая «к пробуждению совести». Луиджи Джедда и падре Ломбарди запросили руководителей ХДП, могут ли они «с математической точностью» гарантировать победу на выборах. Те, само собой, поклялись в этом не могли. И вот тогда... Но тут мы обратимся к первоисточнику. Дочь покойного лидера ХДП, в то время премьер-министра Алчиде Де Гаспери, — Мария Романа Катти Де Гаспери в своей книге «Де Гаспери — только человек» рассказывает:

«Утром 19 апреля незуит падре Ломбарди явился в Кастель-Гандольфо, чтобы поговорить с моей матерью. Во время полуторачасового разговора он, переходя от лести к угрозам, настаивал на том, чтобы фронт был расширен и чтобы христианские демократы составили единый список, включая крайне правых. Он говорил, например, такие вещи: «Папа предпочел бы увидеть Сталина с его казаками на площади Святого Петра, чем коммунистов, победивших на выборах и захвативших Капитолий»... «Учтите,— сказал он, намекая на моего отца,— если выборы пройдут плохо, мы заставим его уйти в отставку»<sup>1</sup>.

Фактически именно об этом, очевидно, шла речь. План, выработанный Джеддой и Ломбарди, сводился к тому, чтобы любой ценой помешать победе левых на выборах. Дочь Де Гаспери приводит и другие факты, подтверждающие, что высшая церковная иерархия сомневалась в успехе ХДП на выборах и что ставка делалась на «Ационе каттолика» как единственную силу, способную «противостоять коммунизму». Именно «Ационе каттолика» должна была выступить с так называемым единым списком кандидатов.

И вот для осуществления этой политической акции Ватикан решил опереться на моральный авторитет дона Луиджи Стурцо. Какая жестокая ирония! Человек, который действительно был убежденным антифашистом, смело и умно выступал против Муссолини, человек, которого в 1923 году заставили уйти в отставку потому, что он мешал Ватикану договориться с фашистами, и он эмигрировал и вернулся только через двадцать лет,— этот самый человек оказался теперь вынужденным принять участие в грязной сделке. Теперь об «операции Стурцо» в Италии очень много пишут, потому что один из лидеров крайне правого крыла ХДП Джулио Андретти неожиданно опубликовал в своем журнале «Конкреттеца» разные, до сих пор неизвестные подробности. Теперь спорят, приводят всевозможные свидетельства и детали. Разумеется, дело не только в историческом интересе, который представляет «операция Стурцо» сама по себе. Дело во взаимоотношениях сильной, авторитетной и как будто самостоятельной политической партии с церковной иерархией.

И прежде чем закончить рассказ об «операции Стурцо», перенесемся в далекое прошлое, в 1923 год. Фашисты уже захватили власть, но Маттеотти еще не убит, Грамши еще не арестован, еще существует сильная оппозиция фашистскому режиму и он нуждается в том, чтобы соблудности видимость демократии: иметь свой парламент с гарантированным большинством. Партия «пополари», имевшая массовую базу в стране и свыше ста депутатов в палате, располагавшая большими возможностями, не обладала необходимым единством. Дон Стурцо был против вхождения «пополари» в первый кабинет Муссолини, но они вошли в него. Парламентская группа «пополари» лавировала и хотела сотрудничать с фашистами, а дон Стурцо решительно отвергал это сотрудничество. Муссолини назвал его речь на туринском съезде «речью врага».

Положение еще более обострилось, когда фашисты решили провести так называемый «проект Ачербо», то есть чрезвычайную избирательную реформу. Суть ее заключалась в том, что список, собравший относительно большинство голосов, обеспечивал две трети мест в парламенте. Автор этого проекта Ачербо и сейчас здравствует и даже процветает в республиканской Италии. Партия «пополари» всегда отстаивала пропорциональное представительство и отказывалась согласиться на проект Ачербо. Дон Стурцо резко выступил против, и тогда на него обрушилась вся ярость фашистов. Они потребовали отлучения его от церкви. Это был самый откровенный шантаж: фашисты угрожали, что разгромят все католические организации, если им не подадут на блюде голову дона Стурцо. И им подали ее. Разумеется, все было проделано весьма деликатно. Просто-напросто 25 июня в католической газете «Коррьере д'Италия» была помещена статья монсеньера Пуччи, в которой он просил дона Стурцо «не создавать трудностей для святого

<sup>1</sup> Цитирую по «Rinascita», № 33, 21 agosto 1965.

престола». Вот и все. Но этого оказалось достаточно. Было совершенно ясно, чья воля скрывается за вежливой статьей монсеньера. Об уходе дона Стурцо в отставку было публично объявлено 10 июля, в тот самый день, когда в палате начались прения по законопроекту Ачербо.

Есть много воспоминаний, подтверждающих, что дону Стурцо нелегко далось решение уйти, да в этом и сомневаться не приходится. Организатор, лидер, идеолог партии уходит с руководящего поста в очень трудный, опасный и ответственный момент. Мог ли он поступить иначе? Мог ли глубоко верующий католик ослушаться, не склониться перед высшей волей? Где проходит грань между смелостью и смирением, между правом и обязанностью? Ватикан большей частью именно так и действует: соответствующая статья в «Оссерваторе Романо» — и этим все сказано, этого достаточно. Те, кто из года в год следит за итальянской политической жизнью, легко приведут такого рода примеры. Вот и при последних выборах президента республики, когда Фанфани фактически заставили снять свою кандидатуру, произошла аналогичная история.

Но вернемся к «операции Стурцо». Мы остановились на том, что именно на Луджи Стурцо была возложена обязанность договориться с монархистами и неофашистами. Практически из этого ничего не вышло, так как в силу стечения различных обстоятельств альянс провалился. Но дон Стурцо все-таки и встречался с ними, и вел переговоры, и намеревался выступить с обращением к народу. И памятником его личного падения — разве некоторые компромиссы не тождественны падению? — осталась статья в «Пополо», озаглавленная «Судьба Рима». Но, думая о доне Стурцо, я никогда бы не решилась, несмотря на всю эту отвратительную историю, поставить его имя рядом с именами каких-либо демокристических политических дельцов.

Прежде чем начать разговор о нем по порядку, хочу рассказать об одной сцене, происшедшей 27 июня 1957 года в здании верхней палаты Италии, Палаццо Мадама. В этот день сенатор Стурцо, основатель первого политического движения итальянских католиков, обрушился не только на все левые партии, существующие в стране, но и на президента республики католика Джованни Гронки, и на свою христианско-демократическую партию. Величайшее зло и величайшую опасность он видел в том, что внутри ХДП есть фракция, которая в нарушение традиции «стремится объединить христианскую социальную доктрину с учением Маркса». Восемьдесятшестилетний священник говорил страстно, яростно, он произнес такую речь, что сенатор Эмилио Луссу с глубоким прискорбием заметил, что дон Стурцо превращается в символ вражды к республике и свободе. А ведь на знамени основанной им партии изображен щит с крестом и на нем написано слово «libertas» (свобода). И если к концу жизни (через два года после речи в Палаццо Мадама дон Стурцо умер) он дошел до такого выступления в сенате, значит к этому привела его неумолимая логика идеологической борьбы.

Автор этой статьи ставит перед собой ограниченную задачу: сделать попытку, отказываясь от готовых схем, разобраться в том, чем была партия «пополари» и что представляет собою сегодня ее преемница — христианско-демократическая партия. Но все это — со скромных позиций публициста, без всяких претензий на глубокие обобщения.

\* \* \*

Основы социальной доктрины католической церкви — это общезвестно — содержатся в энциклике Льва XIII «Рерум Новарум» (1891). В Италии крупнейшим теоретиком (на него ссылаются и сейчас) был Джузеппе Тониоло, специалист по политической экономии и философии права. Тониоло был убежден в том, что для решения социальной проблемы надо создать корпорации, признанные государством; в них по иерархическому признаку должны объединяться хозяева и рабочие. Тониоло выдвигал и такие предложения: участие рабочих в прибылях, защита интересов исполщиков, защита интересов

кустарей и мелких предпринимателей, организация народных банков и т. д. В программе Тониоло было немало абстрактного и утопического, но вместе с тем она отвечала назревшей потребности католического движения.

Надо было бороться за души. Социалистическая партия делала быстрые успехи, вокруг Палат труда группировались рабочие. Католический «Союз по изучению социальных проблем» в январе 1894 года принял на совещании, состоявшемся в Милане, документ, озаглавленный: «Программа католиков в противовес социализму» («Миланская программа»). В этой программе намечалась возможность создания профсоюзных организаций. В 1897—1898 годах в стране возникли первые группы, называвшие себя «христианско-демократическими». Против них ополчились многие неприимимые клерикалы, но их поддержал своим авторитетом Тониоло. Молодые христианские демократы в какой-то степени находились под влиянием идей социализма. Известный историк Канделоро считает, что в основе борьбы за обновление, которую попытались развернуть молодые христианские демократы в католическом лагере, лежало сознание необходимости создать профсоюзные и политические организации.

Идеологом христианских демократов был молодой священник Ромоло Мурри. Он основал журнал «Культура социале» (первый номер вышел в Риме 1 января 1898 года). Вокруг этого журнала сгруппировались наиболее прогрессивно мыслящие католики — священники и миряне. Позиция журнала была ясной. С самого начала было недвусмысленно заявлено, что в «Культура социале» сотрудничают преданные папе католики, намеренные бороться и с социализмом и с либерализмом. В то же время журнал открыто осуждал капитализм, писал о необходимости «расчистить путь» для левой католической программы и о том, что для осуществления этой программы христианские демократы будут опираться главным образом на народные массы.

Мурри придавал огромное значение борьбе в защиту конституционных свобод; в связи с этим он написал «Открытое письмо к Биссолати»<sup>1</sup>, опубликованное в социалистической газете «Аванти» 6 ноября 1898 года. Несколько месяцев спустя в серии статей под общим заглавием «Намерения католиков» Мурри повторил, что в этой борьбе католики и социалисты должны выступать как союзники. В статьях была выдвинута также мысль о необходимости создания католических профсоюзов и основания политической партии. Программа этой партии выглядела несколько странно: в ней причудливо сочетались как будто исключающие друг друга элементы. Например, Мурри высказывался за расширение избирательной системы и в то же время считал правильным продолжать политику так называемого абсентизма (неучастия в выборах). Он выдвинул ряд чисто политических требований: широкая децентрализация административных органов, сокращение военных расходов, сокращение налогов, строгое соблюдение конституционных свобод и т. д. При этом он откровенно признал, что эти требования в основном совпадают с требованиями, выдвинутыми программой-минимум социалистической партии, а также с требованиями радикалов и республиканцев. И вместе с тем, как это ни удивительно, Мурри был убежден в том, что все сложные проблемы, возникшие в Италии перед началом XX века, может разрешить только «неогвельфизм», то есть сближение итальянского государства со святым престолом.

Наряду с группой Мурри существовали и другие группы христианских демократов с более или менее сходными программами; однако кое в чем они расходились, не все разделяли политический радикализм Мурри. Между тем христианско-демократическое движение крепло и расширялось, мысль о создании партии зрела в умах. 1 ноября 1900 года Мурри и его друзья опубликовали воззвание к католикам. Они писали, что 7 декабря выйдет в свет первый номер

<sup>1</sup> Леонида Биссолати (1857—1920) — один из основателей Итальянской социалистической партии.

еженедельника «Домани!», который станет органом «зарождающейся партии». В самом деле, христианские демократы практически уже приступили к организации партии. Кроме того, они широко развернули профсоюзную работу, создавая ассоциации и откровенно стараясь вырвать трудящихся из-под влияния социалистов.

Однако папа Лев XIII, для которого идеи христианских демократов были слишком левыми, не только не поддержал их, а фактически воспрепятствовал их деятельности. Когда же после его смерти (1903 год) на папский престол вступил Пий X, политика Ватикана стала еще более решительной. Пий X применил самые крайние репрессии по отношению ко всем, кого причислял к «модернистам». К ним были отнесены и христианские демократы, их разгром стал неотвратимым, но произошел лишь через три года.

Минуя различные фазы развития взаимоотношений Ватикана с Италией и Европой, «римский вопрос», борьбу пап за светскую власть и много других интересных событий, отметим, что итальянские католики в начале нашего века находились в совершенно ином положении, нежели католики в других странах. В соответствии со знаменитой формулой «non expedit» (не дозволяется) они не имели права принимать участие в политических выборах. Впервые эта формула появилась еще в 1871 году при Пие IX, впоследствии она неоднократно подтверждалась, и таким образом итальянские католики не участвовали в парламентской игре. В условиях буржуазной демократии и всеобщего избирательного права этот порядок значительно тормозил деятельность католических организаций.

Пий X отлично понимал это. В 1904 году он «молчаливо одобрил» отмену абсентеизма. В то время предстояли всеобщие выборы. Правительство хотело объединить все либеральные и консервативные силы, чтобы преградить дорогу социализму; поэтому было решено сделать все возможное, чтобы добиться разрешения папы на участие католиков в избирательной борьбе. Папа нашел уклончивую и осторожную формулу. Он сказал: «Делайте то, что подсказывает вам совесть». Католики приняли участие в выборах, и во многих округах их голоса помогли победе «умеренных», то есть консерваторов. Ромоло Мурри резко осудил этот союз с консерваторами, Луиджи Стурцо назвал участие в выборах «проституированием». После неожиданной отмены принципа «non expedit» брожение среди итальянских католиков усилилось. Группы, связанные с Мурри, продолжали, несмотря на все рогатки, действовать.

Через девять лет после отмены этого принципа произошло важное событие — был заключен так называемый «пакт Джентилони», крупная предвыборная операция, сыгравшая большую роль в расстановке сил в стране. Перед парламентскими выборами 1913 года тогдашний премьер-министр Джолитти заключил союз с организованными католиками, которые, безусловно, действовали с ведома Ватикана. Граф Джентилони, возглавлявший в то время Итальянский католический избирательный союз, после соглашения с Джолитти разослал руководителям католических организаций на местах особый циркуляр, в котором содержались точные указания, как действовать, кого поддерживать и о чем договариваться с кандидатами. Причем в циркуляре была фраза о «необходимой осторожности».

Предвыборная кампания изобиловала очень неприглядными инцидентами, и, несмотря на всю предписываемую осторожность, ни католики, ни аппарат Джолитти не могли скрыть, что между ними существует тайный союз. Никакого зафиксированного на бумаге соглашения Джолитти — Джентилони, очевидно, не было, и Джолитти после выборов публично отрицал наличие «пакта», но всем все было ясно. Не только социалисты, но и многие органы либеральной прессы выступали с разоблачениями, приводили скандальные факты. Дон Стурцо также был против этого беспринципного альянса.

Смысл «пакта Джентилони» в том, что впервые в истории Италии вопреки всем расхождению во взглядах государственный аппарат объединился с като-

лической церковью. У них был общий и грозный враг — социалистическая партия. Граф Джентилони, проявивший во время предвыборной кампании бешеную энергию и полное пренебрежение к понятию моральной чистоплотности, после победы встал в позу спасителя страны. Он хвастал тем, что более чем в двухстах избирательных округах только благодаря голосам католиков не прошли социалисты и другие левые, не прошел, в частности, Ромоло Мурри, который к тому времени давно уж был отлучен от церкви.

История с «пактом Джентилони» отражала глубинные процессы, происшедшие в стране в период, предшествовавший первой мировой войне. Джолитти, который пытался смягчить классовые противоречия, проводя гибкую либеральную политику и опираясь, с одной стороны, на промышленников, а с другой стороны — на реформистских лидеров рабочего движения, потерпел крах. Чтобы удержаться у власти, Джолитти был вынужден обратиться к помощи такого оплота реакции, как Ватикан. «Пакт Джентилони» оказался возможным потому, что и позиция Ватикана по отношению к итальянскому государству к этому времени изменилась. «Пакт Джентилони» и участие католиков в выборах имели громадное значение. Отныне католические массы, в основном крестьянские, вышли на политическую сцену. В стране появились реальные предпосылки для создания католической партии.

Будущий основатель этой партии Луиджи Стурцо родился в сицилийском городе Кальтаджироне в 1871 году, он был на двенадцать лет старше Муссолини. В возрасте двадцати трех лет он стал священником, изучал философию и теологию в Грегорианском университете в Риме, потом вернулся в родной город, основал еженедельник, с головой окунулся в общественную и политическую деятельность. Много лет начиная с 1895 года он руководил местным муниципалитетом, формально считаясь заместителем мэра, так как по закону священник не мог быть мэром. Он вращался в гуще народа, сталкивался с самыми насущными, житейскими вопросами, его жизненный и политический опыт неуклонно возрастал. У него были ясный ум, огромная энергия и талант организатора. Он был совершенно бескорыстен.

На протяжении восьми лет, с 1898 по 1905 год, он был связан с христианскими демократами, сотрудничал в «Культура сочиале», разделял идеи и политическую линию Ромоло Мурри. Под его руководством сицилийские группы христианских демократов были очень активны. Он был убежденным противником социализма, но не менее убежденным противником клерикалов и реакционеров; он считал, что христианские демократы должны во всей своей деятельности ориентироваться на «демократический подъем низших классов» и что от верности этим принципам зависит будущее христианских социальных сил.

Двадцать четвертого декабря 1905 года дон Стурцо выступил в Кальтаджироне с речью: «Проблемы национальной жизни итальянских католиков». Она считается его первой программной речью. В ней вновь была выражена мысль о необходимости создания национальной партии католиков, демократической и не «конфессиональной». Этот термин означает, что партия должна быть вполне самостоятельной, не зависящей от церковной иерархии.

В 1906 году Пий X официально осудил журнал «Культура сочиале», и начался разгром всех католических групп и организаций, так или иначе связанных с Мурри. В это время дон Стурцо держался крайне осторожно, ушел в тень и репрессии Ватикана на него не распространились. Он продолжал активно и успешно работать, играл большую роль в Ассоциации итальянских коммун и стал одной из самых заметных фигур в католическом движении.

Через несколько недель после начала первой мировой войны Пий X умер и на папский престол вступил Бенедикт XV, снискавший себе большую популярность пацифистскими выступлениями. В годы войны католическим организациям удалось завоевать новые слои населения и еще более укрепить свое влияние. Дело не только в пацифизме папы, но и в том, что Социально-экономический

союз итальянских католиков, созданный в 1906 году, успел к этому времени обеспечить массовую базу католического движения.

Этот союз работал преимущественно в трех направлениях: профсоюзы, взаимопомощь и кооперация. Центральное руководство союза создало в 1910 году особые органы, которые ведали различными отраслями его деятельности. Так был учрежден Генеральный секретариат профессиональных союзов, прообраз будущей «белой» конфедерации трудящихся. Он ставил своей задачей защиту интересов трудящихся, но при этом отвергал принцип классовой борьбы. Союз создал разветвленную сеть сельскохозяйственных кооперативов и сельских касс взаимопомощи. Большую роль играли также католические «народные» банки.

Вскоре после окончания первой мировой войны была создана Итальянская конфедерация трудящихся (ИКТ), к которой присоединились все «белые», то есть католические, профсоюзы. Были сформулированы принципиальные установки «белого» профсоюзного движения. В соответствии с традицией вновь был выдвинут принцип классового сотрудничества. Прогрессивные итальянские историки считают, что итальянские католики пытались в то время найти некий средний путь между капитализмом и социализмом.

Перемирие было подписано 4 ноября 1918 года, а 17 ноября Луиджи Стурцо произнес в Милане свою вторую программную речь, которая была как бы прелюдией к образованию партии «пополари». Речь называлась «Послевоенные проблемы» и начиналась на самых мажорных нотах: «Еще не смолкло эхо аплодисментов и гимнов, еще не утих энтузиазм после безмерной победы нашей и наших союзников... Быстрая, как молния, огромная, как буря, все увлекающая за собой, как ураган, пришла победа»<sup>1</sup>. Далее говорилось о добродетелях воинов и о роли провидения, а затем дон Стурцо перешел к побежденной Германии. Эту часть речи я читала с некоторым удивлением, так как не узнавала в ней его обычной манеры — он говорил всегда куда более сдержанно. Здесь появился даже Люцифер, который упал с небес, когда обуюнные сатанинской гордостью немцы потерпели поражение. Однако в собственно политической части речи манера оратора резко изменилась. Перед нами опытный, осторожный и в то же время решительный политический лидер.

Обзор положения в послевоенной Европе начинается с России. Дон Стурцо понимает, почему в этой стране произошла революция: он говорит, что большевизм явился естественным следствием тирании и ненавистной народу войны. Но дальше этого Луиджи Стурцо пойти не сумел. Вся его интеллектуальная формация, весь его духовный склад не позволил ему возвыситься до понимания сущности Октябрьской революции. Она представлялась ему «хаотической», он говорил об абсурдных принципах и ложных теориях, которые привели Россию к распаду государства, к моральному и политическому кризису. И, разумеется, больше всего его заботило не положение в России, но влияние русской революции на народы Европы, на Италию.

В этой речи было сказано много презрительных и гневных слов о либеральной буржуазии, о бессилии парламента, о необходимости свободы, о «программе свободы», которой настоятельно требует совесть людей, о праве народа реально участвовать в решении всех общественных вопросов. Страх перед возможной революцией, которая рисовалась Луиджи Стурцо как власть толпы, пронизывает эту речь. Но было в ней одно место, показывающее всю проницательность «священника из Кальтаджироне»: 17 ноября 1918 года, когда фашизм был совершенно ничтожным явлением (в сущности, был только намек на фашизм), дон Стурцо сказал об опасности, которую могут представить фашисты. Сейчас эти слова кажутся настоящим политическим предвидением. Основная идея речи заключалась в необходимости укрепить демократию, решительно обновить парламент, послав в него «вместо правящей буржуазии» представителей народа, чтобы парламент, как новый Антей, обрел силу, прикоснувшись к матери-земле.

<sup>1</sup> Luigi Sturzo. Il partito popolare italiano. Vol. I, p. 34.



После миланской речи началась подготовительная организационная работа: маленькие группы единомышленников донна Стурцо собирались в Риме и Милане, обсуждали положение в стране, готовились. Официально днем создания Partito popolare italiano (Итальянской народной партии) считается 18 января 1919 года. Этим числом датирована программа, а следующим — 19-м — обращение к народу. Я не стану подробно говорить обо всех двенадцати пунктах программы. Ее социально-экономические пункты были почти дословным повторением требований, выдвинутых за несколько месяцев до этого ИКТ. Они касались социальной и экономической политики, налоговой системы. В общем, требования были довольно демократическими, но в то же время умеренными, реформистскими. Если социальные пункты программы не поднимались над уровнем социальной католической традиции и не отличались особой силой, то были другие, очень важные и встретившие живой отклик. Это шестой и десятый пункты. В шестом была четко выражена дорогая дону Стурцо идея о необходимости административной децентрализации и предоставления самых широких полномочий и автономии местным органам власти. В десятом пункте содержалось требование провести избирательную реформу и установить систему выборов на основе пропорционального представительства.

Я не сказала о первом пункте программы. В нем шла речь о целостности семьи и защите ее от разложения, о защите детей и розыске отцов, а также — более широко — об охране нравственных устоев общества. Этот пункт полностью отвечал католической традиции. Вообще же надо сказать, что программа партии «пополари», когда вчитываешься в нее, производит большое впечатление своей удивительной конкретностью. Чувствуется, что организаторы этой партии отлично знали повседневные тяготы и интересы населения, в особенности — крестьянского. В пятом пункте, например, среди прочего были указаны такие вещи, как упорядочение водного хозяйства, мелнорация и устройство горных водоемов. В седьмом пункте говорилось об усилении борьбы с туберкулезом и малярией. Надо немножко знать итальянские условия, и тогда станет понятно, что сама «будничность» этой программы, ее умеренность, ее осторожный демократизм и в то же время забота о насущных нуждах населения должны были понравиться крестьянам. Так оно и произошло.

Воззвание было коротким и энергичным. «*A tutti gli uomini liberi e forti!*» — «*Кто всем свободным и сильным людям!*» — так начиналось оно. Эти слова остались в анналах партии «пополари», о них не раз напоминал дон Стурцо, их цитируют историки, о них немало говорили и на первом идеологическом конгрессе христианско-демократической партии в Сан-Пеллегрино, призывая к себе на помощь «славное прошлое».

Первая в истории Италии политическая партия католиков из отвлеченной идеи превратилась в реальность. Ее успехи были поразительны. На выборах 1919 года «пополари» получили сто мандатов. Один журналист писал тогда по этому поводу, что если бы газеты в одно прекрасное утро сообщили римлянам, будто ночью на вершине холма Джаниколо открылся кратер вулкана, их изумление не было бы большим, чем когда неожиданно-негаданно в парламенте появились сто депутатов «пополари» — «а кто когда-нибудь слышал о такой партии?».

Надо представить себе обстановку. Только что закончилась война. Октябрьская революция потрясла умы. Либеральное государство, старый правящий класс Италии — политический труп. В стране — инфляция. Стоимость жизни в 1919 году возросла почти в три раза по сравнению с 1913 годом. На протяжении 1919 года в Италии произошло более одной тысячи восьмисот шестидесяти забастовок, в которых приняло участие около полутора миллионов человек. Деревня охвачена небывалым возмущением. Классовая борьба в деревнях приобретает острые формы, потому что проблема земли — одна из центральных проблем итальянского общества — полностью созрела и требовала неотложного решения.

И вот в такой исторический момент на авансцену выходит партия «попо-

ляри». В католической стране партия, возглавляемая священником и выдвинувшая демократическую программу, не могла не иметь успеха. Грамши отнесся к новой партии с интересом, он видел, что ее идеи находят широкое распространение в массах. Однажды он даже высказал предположение, что в будущем силы, группирующиеся вокруг «пополари», будут «поглощены» партией рабочего класса. Идеология «пополари» представляет для нас большой интерес также и потому, что она во многом определила идеологические и политические позиции христианско-демократической партии.

«Белые» кооперативы и профсоюзы, подготовившие создание партии «пополари», были, как мы уже отмечали, в основном связаны с крестьянством, с деревенскими муниципалитетами и приходами. Социальная база движения предопределяла его идеологическую ограниченность. Недавно один католический историк точно заметил, что дон Стурцо и «пополари» «остановились у порога современной индустрии» и перешагнуть через него не смогли. Впрочем, сам Стурцо понимал это. В 1923 году он писал о том, что социализм, «особенно немецкий», дал теоретическое обоснование движению промышленных рабочих, занятых на крупных предприятиях. Между тем «христианское социальное движение представляло собою не больше чем экономическое течение среди земледельцев, ремесленников, мелких предпринимателей»<sup>1</sup>. Он добавил, что к ним отчасти примешивались представители средних слоев, у которых были такие же интересы и образ мыслей.

Лунджи Стурцо и не ставил перед созданным им движением задачу проникнуть в среду промышленного пролетариата. Не в развитии индустрии видел он будущее страны. Ему была отвратительна сама идея сильного государства, централизованной власти, он считал это несовместимым с морально-этическими основами христианской религии. Крепкая семья, взаимопомощь, сотрудничество классов, полная самостоятельность местных властей, воспитание детей в религиозном духе, реформы, уважение прав человека — вот круг идей, дорогих Стурцо и отвечавших всему его интеллектуальному складу и католической традиции.

\* \* \*

В 1924 году либерал Пьеро Гобетти, человек редкого благородства, сблизившийся с Грамши и его друзьями, издал сборник статей и речей дона Стурцо, озаглавленный «Пополаризм и фашизм». Гобетти, ставший впоследствии одной из жертв фашизма, с интересом относился к «пополари». Именно на этот сборник, изданный Гобетти, ссылался дон Стурцо в 1955 году, опровергая приписываемую ему фразу о сотрудничестве с фашистами. Он открывается коротким обращением дона Стурцо «К пополари», датированным 18 января 1924 года — пятая годовщина основанной им партии. Он уже не лидер, но понимает, что личный его авторитет продолжает оставаться громадным. Он пишет очень достойно: «Не следует думать, что в общественной жизни приносишь больше пользы и достигаешь лучших результатов, когда находишься у власти, на командном посту. Если внешние обстоятельства меняются и ты занимаешь более скромное положение, — живая мысль становится более значительной, ко всеобщей пользе»<sup>2</sup>.

В книге собрано много статей дона Стурцо, которые появились в периодической печати большей частью без подписи. Этим статьям предпослан исторический обзор, написанный им специально и посвященный партии «пополари». Дон Стурцо в который уже раз объясняет, почему партия не названа католической. Это важная мысль, но мне кажется, что она удачнее всего была выражена в докладе дона Стурцо на первом конгрессе партии «пополари» в Волонье 14 июня 1919 года. Он сказал тогда: «Излишне говорить, почему мы не назвали

<sup>1</sup> Luigi Sturzo. Riforma statale ed-indirizzi-politici. Vallecchi. 1923. Цитирую по «Il convegno di S. Pellegrino», p. 151.

<sup>2</sup> Luigi Sturzo. Il partito popolare italiano. Vol. II, p. 4.

себя «католической партией»: эти два термина — антитеза, католицизм — это религия, это всеобщность; партия — это политика, это разделение»<sup>1</sup>.

Дон Стурцо просит не забывать о том, что существует «теория дуализма, согласно которой не надо смешивать индивидуума с обществом, государство с религией, человека с богом». Он говорит о том, как ошиблись некоторые теоретики, увидавшие в партии «пополяри» старый клерикализм, замаскированную эманацию Ватикана. Он характеризует партию «пополяри» как партию порядка, конституционную, стоящую на позициях строго легальной борьбы, христианскую по своим этическим принципам. Он довольно ядовито говорит о тех, кто в 1919 году, будучи в душе заядлым консерватором и устрасаясь «волны большевизма», устремился к «пополяри», надеясь найти в них прибежище. Однако, едва началось фашистское движение, эти люди — сперва духовно, а затем и организационно — отошли от «пополяри» и примкнули к фашистам.

Дон Стурцо пишет затем, что на первом съезде в Болонье велась борьба на два фронта: против «конфессионалистов», стремившихся поставить партию под контроль духовенства (это течение на съезде возглавлял Джемелли, впоследствии ректор католического университета в Милане), и против крайне левых во главе с Гуидо Мильоли, который страстно призывал «пополяри» создать классовую партию, партию «христианских трудящихся». Именно на этом съезде, полемизируя с левыми, дон Стурцо выдвинул тезис, имеющий самое большое принципиальное значение: тезис не классовой, но межклассовой (*interclassista*) партии. Этот принцип, соответствующий католической традиции, впоследствии сохранила и христианско-демократическая партия.

Дон Стурцо критиковал всех левых «пополяри» и так называемые авангардные группы, которые возглавлял Мильоли, за их «экстремизм». Он считал классовый характер «основной ошибкой социалистической партии». Гуидо Мильоли выступал очень решительно. Он так резко говорил против милитаристов, что на съезде разыгрывались настоящие скандалы, он выступал против каких бы то ни было соглашений с буржуазией. Принципиальные установки ИКТ и программу 18 января он считал консервативными. В предложенной Мильоли резолюции черным по белому было написано, что трудящиеся массы Италии стремятся прийти к власти и имеют на это право. Вопрос в том, заявил Мильоли, достигнут ли этого трудящиеся под руководством социалистов или под руководством христианских сил.

Не только Мильоли, но и многие деятели «белого» профсоюзного движения, присутствовавшие на съезде, требовали, чтобы партия «пополяри» заняла отчетливую антикапиталистическую позицию. Но с самого начала своего существования партия находилась под влиянием разнородных, зачастую антагонистических сил. Если Мильоли и его сторонники выражали интересы наиболее передовой части католического крестьянского движения, то значительным влиянием пользовались и земельные собственники, которые, естественно, были настроены консервативно. Партия, массовой базой которой было крестьянство, не могла, разумеется, занять в вопросе о земле явно консервативную позицию, не могла и уклониться от самых жгучих проблем, но в ее политике была двойственность, помешавшая ей сыграть в истории страны ту роль, которую она могла бы сыграть, если бы победило ее левое крыло.

А между тем партия «пополяри» располагала огромными возможностями. На выборах 1919 года за нее проголосовало свыше 1120 тысяч человек. У меня нет данных за 1919 год, но в 1921-м в одной лишь Паданской долине существовало 311 католических земледельческих кооперативов и только 236 социалистических и республиканских. В 1920 году в ИКТ — «красные» профсоюзы — входило 750 тысяч крестьян и батраков, а в «белые» — 945 тысяч, преимущественно исполынки, арендаторы и мелкие собственники. Эти данные приводит Ренцо Де Феличе в первом томе своей работы о Муссолини, и он же пишет, что

<sup>1</sup> Luigi Sturzo. Il partito popolare italiano. Vol. I, p. 73.

партия «пополяри» не использовала своих возможностей: «Логическим выходом было бы соглашение между социалистами и «пополяри». В действительности это оказалось невозможным как из-за максимализма социалистов, так и из-за антиклерикальной предвзятости, которая в этом отношении объединила социалистов, республиканцев, радикалов и вообще всех демократов, и наконец из-за противоречий, присущих самой партии «пополяри», в которой сосуществовали демократическое большинство и консервативное меньшинство. В руках этого меньшинства остались весьма основательные орудия власти, благодаря чему оно могло влиять на важные решения; кроме того, оно пользовалось доверием Ватикана и высшего духовенства»<sup>1</sup>.

К этому надо добавить, что дело было, конечно, не только в антиклерикализме демократов, но и во враждебности католиков, воспитанных на идеях «Рерум Новарум», к социалистической идеологии. «Пополяри» стремились вырвать массы из-под влияния социалистов. Канделоро пишет, что «белое» крестьянское движение «втянуло в борьбу те социальные группы, которые социалисты не хотели или не могли пробудить к жизни»<sup>2</sup>. Все это глубоко драматично: взаимная враждебность «пополяри» и социалистов доходила до того, что были случаи кровавых столкновений между крестьянами, находившимися под влиянием социалистов, с одной стороны, и католиков — с другой. Надо ли говорить, что, если бы обстоятельства сложились иначе, объединенные действия двух массовых партий — социалистов и «пополяри», — поддержанных мощными профсоюзными организациями, «красными» и «белыми», могли бы преградить фашизму путь к захвату власти. И, напротив, вражда между ними облегчала чернорубашечникам их действия.

Теперь пришла пора показать две души партии «пополяри», ее двойственность. Напомним о Мильоли и его единомышленниках. Вопреки позиции большинства они продолжали и пропагандировать и проводить на практике свои идеи. Они предлагали экспроприировать и передать в собственность крестьянам земельные участки, превышающие двадцать пять гектаров. Эти земли должны были либо быть разделены на мелкие участки, либо, если этого не позволяли природные условия, поступать в коллективное владение крестьян. «Белые» лиги и кооперативы участвовали в захвате запущенных или плохо обрабатываемых земель и на Юге и на Севере. Особенной силы достигло «белое» крестьянское движение, руководимое Мильоли, в провинции Кремона. На протяжении долгого времени один из самых экстремистских вожаков фашизма, Фариначчи, вместе со своими сквадристами<sup>3</sup> громил «белые» лиги и кооперативы Кремоны с такой же яростью, с какой фашисты обрушивались на «красных». Избиения, издевательства, поджоги, разрушения зданий — весь ассортимент фашистского террора был пущен в ход. Фашисты физически уничтожили передовой отряд крестьянского католического движения. Так бесчинствовали они не только в Кремоне, но во всех провинциях, где пользовались влиянием левые католики.

И в это же время, громя «белые» организации, Бенито Муссолини, явно позабывший о своем прежнем антиклерикализме, делал всяческие авансы Ватикану, заявляя, что именно католицизм выражает истинные латинские традиции и дух Римской империи. В январе 1922 года умер Бенедикт XV и на папский престол вступил Пий XI, человек гораздо более консервативный, бывший до того миланским кардиналом. 17 февраля Муссолини откликнулся на избрание нового папы приветственной статьей в «Джорнале д'Италия». Он писал о том, что кардинал был «в высшей степени любезен», когда миланским фашистам пришлось договариваться с ним относительно одной религиозной церемонии, — кардинал охотно разрешил им внести в собор десятки фашистских знамен. Надо сказать, что Пий XI продолжал оставаться «исключительно любезным» по отношению к

<sup>1</sup> Renzo De Felice. Mussolini il rivoluzionario. Torino. 1965, p. 431.

<sup>2</sup> Дж. Канделоро. Католическое движение в Италии. Издательство иностранной литературы. М. 1955, стр. 435.

<sup>3</sup> Сквадристы — члены вооруженных фашистских отрядов.

фашизму на всем протяжении своего понтификата. Достаточно того, что в период «похода на Рим» партия «пополари» занимала антифашистскую позицию, а Ватикан дал указания духовенству оставаться совершенно нейтральным. Впрочем, на деле и партия вела себя пассивно.

В этом не было, в сущности, ничего удивительного, потому что политика «пополари» отнюдь не определялась левым ее крылом. А дон Стурцо, при всей его пронизательности, в годы, предшествовавшие «походу на Рим», так боялся большевистской опасности, что и мысли не допускал о том единстве действий с социалистами, к которому стремилась группа Мильоли. Вот документы, которые дон Стурцо включил в том «Пополяризм и фашизм». Эти документы должны были, видимо, служить своего рода свидетельством благонадежности «пополари».

В январе и феврале 1920 года в Италии произошли две крупнейшие общенациональные забастовки — почтово-телеграфных служащих и железнодорожников. «Белые» профсоюзы в обоих случаях играли роль штрейкбрехеров, а партия «пополари» поддерживала их самым активным образом. Дон Стурцо, разумеется, свято верил в то, что «белые» организации оказали родине величайшую услугу. Опровергая обвинения в «белом большевизме», он включил в том «Пополяризм и фашизм» свое письмо, адресованное Мортаре, исполнявшему в то время обязанности председателя совета министров (Нитти, тогдашний премьер, был за границей). Вот текст этого письма.

«Рим, 20 января 1920 (вечер)  
№ 18006 — Пас. 4.А.8.Г.  
Его превосх. депутату Мортаре  
И. о. Председателя Совета Министров

Рим

Тороплюсь сообщить вам, что согласно сведениям, полученным сегодня из различных центров организаций, примыкающих к итальянской конфедерации трудящихся, и согласно последним телефонным сообщениям депутатов ППИ, полученным нашим секретариатом, забастовка почтово-телеграфных служащих предположительно может считаться законченной.

Центр в Болонье не принял еще решения приступить к работе. Но сегодня вечером я телефонировал в этом смысле вследствие решений, принятых нашей парламентской группой и уже переданных для опубликования в печать, о чем имею честь сообщить вам.

С особым почтением.

Политический секретарь

Стурцо».

А затем дон Стурцо с негодованием пишет, что уже на следующий день правительство «уступило требованиям «красных» профсоюзов и, мало того, распорядилось заплатить им за все дни стачки, что было неслыханно и беспрецедентно. А бедные «белые» почтово-телеграфные служащие получили в качестве премии за свое противодействие забастовке неприятности на службе, презрение и оскорбления со стороны «красных», насмешливое равнодушие со стороны начальства; их начали перебрасывать из одного места в другое под тем предлогом, что их не желают терпеть и что, следовательно, их присутствие мешает работе»<sup>1</sup>.

Такая же история повторилась и с железнодорожниками, и опять дон Стурцо горько сетует на правительство, оказавшееся неблагодарным по отношению к тем, кто «сопротивлялся анархии и большевизму».

Мне очень жаль, что обстоятельства места не позволяют рассказать об отношении «пополари» к представителям либерального государства, в частности к Джолитти (была такая история со знаменитым veto дона Стурцо, однажды не позволившего Джолитти возглавить кабинет; кстати, о Джолитти дон Стурцо

<sup>1</sup> Luigi Sturzo. Il partito popolare italiano. Vol. II, p. 17.

метко сказал, что он «силен со слабыми и слаб с сильными») или к Орландо (о нем дон Стурцо говорил, что Орландо перед лицом профашистов справа и социалистов слева вел себя, как буриданов осел, жалобно повторяя «*pec sumte, pec sinete, vivere valeo*»<sup>1</sup>), и отказался от предложения сформировать правительство). Жаль, что нельзя рассказать об участии и неучастии «пополяри» в разных кабинетах, о раздорах внутри партии в связи с этим. Но об одном эпизоде упомяну хотя бы вскользь: был такой премьер Факта (перед приходом к власти фашистов), и, вопреки мнению дона Стурцо, «пополяри» вошли в его первый и второй кабинет. Дон Стурцо в книге «Пополаризм и фашизм» написал, что они вошли в кабинет просто потому, что... устали от политики. А Муссолини, к слову говоря, весьма ядовито высказался по этому поводу. Он сказал: «Партия «пополяри» не любит и никогда не любила и эффективно не поддерживала кабинет Факта. Простите меня, если образ вульгарен. Вы — крысы с острыми зубами, и вы вонзили их в министерский сыр, чтобы его сожрать». Эта тирада содержится в речи Муссолини в палате депутатов, произнесенной 19 июля 1922 года, когда он выступил против правительства Факта.

Приведу еще несколько выступлений Муссолини, в которых он затрагивал «пополяри». Когда на выборах 1921 года Муссолини был выбран депутатом, он 21 июня 1921 года произнес в палате свою первую речь. Она вообще интересна, так как носила программный характер, и о ней я скажу несколько подробнее. «Меня отнюдь не смущает, дорогие коллеги, что я начинаю свою речь, занимая место на одной из скамей крайней правой... Заявляю вам сейчас с великолепным презрением, которое я питаю ко всем этикеткам, что я буду поддерживать здесь реакционные идеи. Я хочу уточнить позицию фашизма по отношению к другим партиям».

Затем Муссолини говорит о коммунистах. Он знает их отлично, ибо некоторых из них сам «отравил, включив в духовный мир итальянского социализма немного Бергсона и очень много Бланки». И дальше: «До тех пор, пока коммунисты будут говорить о пролетарской диктатуре, о республике, обо всех этих абсурдных и более или менее нереальных вещах,— между нами может быть только состояние войны». Обругав попутно социалистов, Муссолини перешел к своему символу веры. «Мы отрицаем, что существует два класса,— сказал он,— их существует гораздо больше. Мы отрицаем, что историю человечества можно объяснить при помощи экономического детерминизма (аплодисменты крайней правой). Мы отрицаем ваш интернационализм, так как это предмет роскоши, доступный лишь высшим классам, между тем как народ отчаянно привязан к своей родной земле (аплодисменты крайней правой). Мало того, мы утверждаем, основываясь на недавних социалистических публикациях, что настоящая история капитализма начинается сегодня. Капитализм — это не только система репрессий, это также отбор духовных ценностей, координация иерархий, самое развитое чувство индивидуальной ответственности».

И наконец, переходя к «пополяри», Муссолини заявил: «Партия «пополяри» должна сделать выбор: либо стать нашим другом, либо стать нашим врагом, либо оставаться нейтральной». А 13 ноября 1921 года в речи на фашистском конгрессе в Риме Муссолини сказал о «пополяри» так: «Несомненно, это могущественная партия, так как она опирается на тридцать тысяч приходов; она располагает очень дисциплинированной политической организацией... Она могущественна благодаря своим банкам, своим газетам и престижу, объясняющемуся тем, что ее рассматривают как представителя католического населения. У нее также есть свои внутренние кризисы. В нее входит много людей, занимавших позицию самого гнусного нейтралитета, саботировавших войну, и в аграрном вопросе она соперничает с большевизмом. У нас есть, следовательно, два большевизма: красный и белый. Мы не можем не вступить в борьбу с этой партией».

<sup>1</sup> Я не в силах жить ни с тобой, ни без тебя (лат.).

И они вступили в борьбу с этой партией, которой суждено было, несмотря на все компромиссы и заклинания «злых духов», сойти с исторической сцены под ударами фашистской диктатуры. А заклинаний было много. В сущности, это был чистой воды коллаборационизм, и это признают все серьезные историки, включая католических. Габриеле Де Роза в своем предисловии к тому «Пополяризм и фашизм» прямо пишет о дезертирах и отступниках, о том, что вопреки сопротивлению дона Стурцо парламентская группа «пополяри» решила участвовать в кабинете Муссолини для того, чтобы «избежать худшего». Несмотря на «поход на Рим», несмотря на циничную откровенность Муссолини, несмотря на то, что чернорубашечники по всей стране громили не только «красные», но и «белые» организации, депутаты «пополяри» надеялись «образумить Муссолини», повлиять на него (это после того, как он 16 ноября 1922 года швырнул депутатам в лицо: «Я мог бы превратить эту тупую и бесцветную палату в солдатский бивак»), умиротворить его. Прелюдия к Мюнхену...

А тем временем фашисты усилили свой террор по отношению к низовым организациям партии «пополяри» и ИКТ. То в одной, то в другой провинции «карательные отряды» нападали на их активистов, избивали даже священников. Муссолини проводил политику уничтожения решительно всех рабочих и крестьянских организаций, будь то «красные» или «белые». Кроме того, он хотел расколоть партию «пополяри». Это ему удалось как нельзя лучше. Группа видных и влиятельных деятелей (сенаторов) вышла из партии и образовала фашистское клерикальное течение.

Все же, несмотря на все репрессии, на всеобщих выборах 6 апреля 1924 года партия «пополяри» получила тридцать девять мест, сохранив свое основное ядро. «Пополяри» выступили на этих выборах с антифашистской программой; беда в том, что действенность этой программы резко ограничивалась тем, что «пополяри» не желали сотрудничать с другими антифашистскими партиями. Только после убийства Matteotti они отказались от своей традиционной обособленности и примкнули к Авентинскому блоку. Мало того: был момент, когда руководители партии «пополяри» склонялись к мысли о сотрудничестве с социалистами против фашизма. Но тут в дело немедленно вмешался Ватикан. 16 августа 1924 года орган иезуитов «Чивильта каттолика» опубликовал статью, озаглавленную «Место католиков в происходящей сейчас борьбе политических партий в Италии». Смысл этой статьи был непреложным: самое главное и страшное зло — идеи социализма. Если бы вместо фашистов к власти пришли социалисты, положение в стране стало бы еще хуже. Партия «пополяри» ни в коем случае не должна и не смеет оказывать им хотя бы малейшее содействие. Короче говоря, после veto, наложенного Ватиканом, идея сотрудничества «пополяри» с социалистами была отвергнута.

И все-таки эта идея не умерла. К единству действий стихийно тянулись многие рядовые члены партии «пополяри» и «белых» профсоюзов. 12 декабря 1924 года Мильоли дал интервью газете «Унита». Он призывал католиков отказаться от антикоммунизма и заявил, что необходимо добиться единства всех профсоюзов. Это интервью стоило ему партийного билета: 25 января 1925 года он был исключен из партии «пополяри».

Последний, пятый конгресс партии «пополяри» состоялся в Риме в июне 1925 года. В это время фашизация государства шла полным ходом, возможности оппозиции все время сужались. В ноябре 1926 года был принят пресловутый фашистский закон «о защите государства», все оппозиционные партии были распущены, их газеты были закрыты, парламентские мандаты всех депутатов меньшинства были аннулированы.

Партия «пополяри» не ушла в подполье, не существовала и в эмиграции. Практически она сошла с политической сцены. Ватикану удалось, однако, сохранить свою находящуюся под контролем церкви массовую организацию «Ационе каттолика».

Спору нет, партия «пополари» несет свою долю ответственности — и немалую — за то, что фашистам удалось захватить и удержать власть. В рамках статьи невозможно — да и смысла нет — перечислять факты, документы, выступления сенаторов «пополари», решения парламентской группы, рассуждать о колебаниях, компромиссах, давлении консервативных элементов внутри партии. Даже сам дон Стурцо, при всем его искреннем антифашизме, был настроен фаталистически. Вскоре после «похода на Рим», 25 ноября 1922 года, он писал в газете «Пополо», что ничего не поделаешь: «Эксперимент Муссолини должен идти своим путем и развиваться в направлении возврата к законности». Правда, это пессимистическое выступление Луиджи Стурцо не характерно для него.

За два дня до «похода на Рим», в обстановке трусости, паники, пособничества фашизму, которым заклеили себя представители старого правящего класса, этот священник, отнюдь не левый, боявшийся большевистской революции, написал от имени национального совета «пополари» мужественное и достойное воззвание. Он выразил в нем надежду (увы, не сбывшуюся!), что партия «пополари», сохранив верность своим христианским идеалам, останется «моральным резервом нации». В тяжкий час испытаний, писал дон Стурцо, «нельзя, невозможно дезертировать с поля боя, ибо свое место мы избрали по убеждению и по велению совести»<sup>1</sup>.

Я могла бы привести много цитат из выступлений Луиджи Стурцо в последующие годы, среди них есть очень яркие, резко направленные не только против фашистов, но и против «алчной» буржуазии. Но, думаю, можно ограничиться только одним документом. 30 марта 1925 года дон Стурцо выступил в Париже с докладом, озаглавленным «Состояние общественного мнения в Италии в настоящее время и проблема политической свободы». Этот доклад поразительно интересен, в частности, потому, что дон Стурцо с большой силой говорил об ответственности старых правящих классов за победу фашизма. О том, что буржуазия давала фашистам средства и вооружала их. О том, что ни у одного из либералов не нашлось мужества запротестовать, когда Муссолини, «став в позу укротителя зверей, оскорблял парламент». О том, что высшие классы боятся народа, боятся распространения в народе коммунистических идей, «им кажется, что большевики уже стоят у них за спиной», и поэтому они предпочитают подавлять и угнетать народ.

В докладе есть такое рассуждение о коммунизме: «В самом деле, среди трудящихся сегодня есть течения, которые обольщаются мифом коммунизма. Но я спрашиваю: если коммунизм — это сказка, почему его надо бояться? А если, напротив, он может стать реальностью, то уж, конечно, не реакция могла бы этому помешать, напротив, она только ускорила бы процесс. Разве не выступали точно так же сторонники абсолютизма из Священного союза против парламентских режимов и либеральных течений? И тюрьмы были переполнены политическими заключенными. Разве не говорило то же самое русское самодержавие? И Сибирь была переполнена ссыльными...

Может быть, кто-нибудь подумает, что, по моему мнению, не надо бороться против социализма и коммунизма? Нет, надо бороться против них, против того, что в них есть антиобщественного и антирелигиозного, но это надо делать на почве свободы, а не реакции. Им надо противопоставлять пропаганду, организации, печать. Надо устранить или способствовать устранению тех моральных и политических причин, которые заставляют крепнуть классовую ненависть»<sup>2</sup>.

Эта речь была произнесена уже политическим эмигрантом. В октябре 1924 года дону Стурцо «посоветовали» уехать из Рима. Он уехал в Лондон, рассчитывая вскоре вернуться, но вернулся только через двадцать лет. А с тех

<sup>1</sup> Luigi Sturzo. Il partito popolare italiano. Vol. II, p. 62.

<sup>2</sup> Там же. Vol. III, p. 200.



пор, как Луиджи Стурцо выступал в Париже, прошло уже больше сорока лет. Казалось бы, можно теперь, раздумывая над всем сказанным, оставаться хладнокровным, а все-таки не можешь отделаться от чувства горечи. Вот Ренцо Де Феллице правильно написал, что соглашение между «пополляри» и социалистами было бы логическим выходом. А если бы Авентинская оппозиция, в которой участвовало столько мужественных и глубоко порядочных людей, послушалась призыва коммунистов, последовала бы за Грамши, объявила себя «антипарламентом» и призвала народ к восстанию? Вся история Италии, возможно, пошла бы иначе. Да, для успеха восстания были тогда все шансы. Политика социалистической партии — это особая, большая тема. А что касается партии «пополляри» — мы уже знаем, что в тот самый момент, когда она начала серьезно мешать договоренности между Ватиканом и Муссолини, всю эту партию цинично принеслив в жертву, подобно тому как за три года до этого был принесен в жертву ее лидер.

На этом заканчивается рассказ о партии «пополляри» и о Луиджи Стурцо. Он не был последовательно левым католиком, подобно Ромоло Мурри и Гундо Мильоли, которые до конца сохранили свою идейную самостоятельность. Он искренне возмущался обвинениями в «белом большевизме», которые действительно не могли относиться к нему. Он был скорее всего центристом, и в его сочинениях я нашла подробное объяснение понятия «центризм». Он был очень умен и проницателен, но не сумел подняться выше некоторых традиционных католических предрассудков. Он был убежденным врагом социалистических идей и именно поэтому дал вовлечь себя в унизительную «операцию Стурцо». Как жаль, что так произошло. Как жаль, что эта история останется неизгладимым пятном на памяти о нем. Но будем снисходительны: он был в то время глубоким стариком и уступил давлению, авторитету, воле Пия XII. И все-таки, несмотря на ошибки, заблуждения и компромиссы, несмотря на то, что и самое мышление его не выходило за известные рамки, он был большим человеком и искренним антифашистом. Он по праву вошел в историю своей партии и своей страны, и кто знает, может быть, будь он жив в эпоху Иоанна XXIII, он мыслил бы не так, как в тот день, когда произнес свою фанатическую речь «против всех левых» в Палаццо Мадама.

\* \* \*

А теперь мы опустим большой кусок итальянской истории — от 1926-го, когда партия «пополляри» сошла со сцены, до 1943-го.

Восьмого сентября 1943 года было объявлено о капитуляции Италии, король бежал из Рима, а на следующий день Комитет национального освобождения (КНО) обратился к народу с призывом бороться против гитлеровцев. В состав КНО вошли представители шести антифашистских партий: коммунистической, социалистической, партии действия, партии «демократии труда», христианско-демократической и либеральной. От христианских демократов — Альчиде Де Гаспери, тот самый, чью жену падре Ломбарди пугал впоследствии «Сталиным и его казаками».

Об участии католиков в движении Сопrotивления существует богатая литература. Дальше мы вернемся к этому, а пока — о Де Гаспери. Как уже было сказано, партия «пополляри» не ушла в подполье, лишь несколько ее деятелей оказалось в изгнании. Оставшихся в Италии фашисты не тронули, за исключением Де Гаспери. Он был арестован в марте 1927 года и приговорен к четырем годам тюрьмы за попытку тайно выехать за границу. Фактически он просидел шестнадцать месяцев, а после освобождения стал работать в ватиканской библиотеке.

Он сам говорил об этом 3 ноября 1946 года в Риме, во время предвыборной кампании, в таких выражениях: «Нет, дорогой друг Тольятти, между мной и тобой есть большая разница. Ты эмигрировал в Россию и стал там одним

из вождей, одним из секретарей Коминтерна». Затем, оставляя прямое обращение к Тольятти, он продолжал: «Я его в этом несколько не упрекаю. Говорю лишь, что у него была возможность действовать в соответствии с его политическими убеждениями, получать и давать политические директивы, касавшиеся не только Италии, но всего мира. Я же, злосчастный (*povero diavolo*), оказался после тюрьмы на улице и нашел убежище в четырех стенах ватиканской библиотеки. Я не получал и не давал никаких политических заданий, не нес никакой политической ответственности... и в то время, как он имел возможность развивать свою пропаганду и свою организаторскую деятельность во всей Европе, я вынужден был укрываться среди старинных книг, чтобы по крайней мере духовно быть свободным от тогдашней тирании»<sup>1</sup>.

Вот так речь! Она действительно дает представление об «особом» мышлении демохристиан, об их политической логике. В самом деле: коммунисты ушли в подполье, их вождь — Антонио Грамши — погиб после одиннадцатилетнего тюремного заключения, их активисты в самых тяжелых условиях самоотверженно вели пропаганду против режима Муссолини (восемьдесят пять процентов антифашистов, которых во время черного двадцатилетия судил Особый трибунал, принадлежали к коммунистической партии). Они ушли и в изгнание, из Парижа в Италию нелегально переправлялся их журнал «Лё стато операйо», печатавшийся на папиросной бумаге, чтобы легче было прятать. Они сражались в Испании, они были — это признают и буржуазные историки — главной силой итальянского Сопротивления. И вот оказывается, что Пальмиро Тольятти — просто баловень судьбы, а *povero diavolo* Де Гаспери — мученик фашизма.

Не хватило у лидера христианских демократов душевного благородства, чтобы сказать «дорогому другу Тольятти», что партия коммунистов немало сделала для спасения родины. А ведь это значило бы только признать неопровержимую историческую правду. Что же касается Тольятти, он всегда говорил, что движение Сопротивления было в с е н а р о д н ы м делом, он никогда не желал принизить роль, которую сыграли в нем трудящиеся-католики и сельское духовенство. Историк-коммунист, покойный Роберто Батталья в своей уже ставшей классической книге приводит множество данных, называет имена мужественных священников, участников Сопротивления: «В Риме выделялась фигура дона Пьетро Морозини, расстрелянного «за горячие проповеди среди бывших военнослужащих итальянской армии... за приобретение и хранение оружия». («Если вы отпустите меня на свободу, я снова примусь за то же самое», — гордо заявил он судьям.) Священник дон Паоло Пекораро также совершил в Риме незабываемый героический поступок: «12 марта 1944 года на площади Сан-Пьетро, где собралось огромное количество народа по случаю папского благословения и было много эсэсовцев и фашистов, дон Паоло Пекораро, презрев опасность, рискуя жизнью, поднялся на пьедестал обелиска посредине площади и громовым голосом призвал всех итальянцев бороться против угнетателей и изгнать ненавистных захватчиков». Многие десятки приходских священников в Апеннинах и в Альпах предоставляли церковные помещения под партизанские склады оружия, более того — они сами призывали народ к освободительной войне и организовывали его на борьбу. Так, например, поступил дон Паскуино Борги в районе Реджано, расстрелянный в январе как организатор первых отрядов повстанцев, так действовал дон Анъези в Пьемонте, превративший свою церковь в «призывной пункт 4-й Гарибальдийской бригады»; дон Гаджеро, в Генуе, руководил местным Комитетом национального освобождения»<sup>2</sup>.

<sup>1</sup> Alcide De Gasperi. Discorsi politici. Edizioni 5 Lune. Roma. 1956. Vol. I, p. III.

<sup>2</sup> Роберто Батталья. История итальянского движения Сопротивления. Издательство иностранной литературы. М. 1954, стр. 341.

Мало того, Батталья пишет дальше: «Наконец следует отметить как факт первостепенного, а в некоторых районах и решающего значения искреннее и безоговорочное участие в движении Соппротивления членов низовых католических организаций, особенно в Ломбардии. Если сперва участие католических сил в движении было нерегулярным, ограничивалось рамками той или иной местности и, помимо того, что было беспорядочным, сливалось с участием в движении представителей низшего духовенства, то теперь оно стало шире и дифференцировалось в политическом отношении. Ломбардское движение «Фьямме верди» («Зеленое пламя»), которое, пожалуй, с этой точки зрения было наиболее значительным, выражало стремление одновременно с борьбой против итало-немецкого фашизма разрешить проблемы социального характера и возникло на этой почве»<sup>1</sup>.

В противоположность позиции трудящихся католиков и низшего духовенства политика высшей церковной иерархии была не только осторожной, но зачастую двусмысленной: не хотели поддерживать опозоривший себя и провалившийся режим Муссолини и в то же время отчаянно боялись успеха и влияния левых, в первую очередь коммунистов. Эти противоречия, эта двойственность с самого начала существования христианско-демократической партии характеризовали всю ее политическую линию. Подобно партии «пополари», ХДП из-за пестроты своего социального состава испытывает влияние разнородных сил, причем удельный вес консервативных групп, как правило, чрезвычайно велик.

Лидер партии Альчиде Де Гаспери родился в 1881 году и был, следовательно, на десять лет моложе Луиджи Стурцо. Он трентинец<sup>2</sup>, и его политическая карьера началась с того, что он был депутатом австрийского рейхсрата от трентинской народной партии. Именно как трентинец он был избран в президиум первого конгресса партии «пополари» в 1919 году и ему предоставили честь открыть работы конгресса вступительной речью. Он не был избран ни в руководство партии, ни в ее национальный совет, но был избран депутатом парламента и вместе с другим видным деятелем, Каваццони, возглавлял парламентскую группу. Как раз про них и написал дон Стурцо знаменитую фразу, что они дали согласие на вхождение трех министров «пополари» в правительство Факта исключительно потому, что они «устали».

Когда Муссолини захватил власть, Де Гаспери и Каваццони вели с ним переговоры, и несколько «пополари» вошли в состав его кабинета. После того как Муссолини, «став в позу укротителя зверей», оскорбил палату в своей речи от 16 ноября 1922 года, Де Гаспери как лидер парламентской группы партии «пополари» все же выступил с осторожными упреками по адресу фашистов и дуче, но вслед за этим голосовал за доверие правительству и за предоставление ему неограниченных полномочий. На четвертом, Туринском конгрессе партии, открывшемся 12 апреля 1923 года, дон Стурцо, как мы помним, произнес речь, которую Муссолини охарактеризовал как «речь врага». На этом же конгрессе Де Гаспери выступил с докладом, всячески стараясь доказать необходимость и неизбежность сотрудничества «пополари» с фашистами. Он разработал также проект резолюции, в которой предлагалось сохранить это сотрудничество «на определенных условиях». Резолюция была принята, министры «пополари» остались в правительстве, но вскоре Муссолини исключил их из состава кабинета, так как не считал более нужным соблюдать хотя бы видимость коалиции.

Во время истории с законопроектом Ачербо об изменении избирательной системы Де Гаспери не занимал непримиримой позиции, подобно дону Стурцо.

<sup>1</sup> Роберто Батталья. История итальянского движения Соппротивления, стр. 443—444.

<sup>2</sup> Трентинец — житель города Тренто или области Трентино-Альто-Адиже, ранее входившей в состав Австро-Венгрии.

Когда Стурцо ушел в отставку с поста политического секретаря партии, национальный совет назначил триумvirат, который просуществовал до мая 1924 года. Затем новым политическим секретарем был назначен Де Гаспери. После убийства Маттеотти и совместного участия всех антифашистских партий в Авентинском блоке позиция Де Гаспери несколько изменилась. Когда лидер правых социалистов (они назывались тогда «унитарными социалистами») Турати предложил союз своей партии с партией «пополари», Де Гаспери откликнулся на это осторожно, но довольно сочувственно. Но как раз тогда «Чивильта каттолика» опубликовала статью, о которой говорилось выше, и на этой идее был поставлен крест. Об этом раз как-то напомнил Тольятти; он сказал, что Де Гаспери упомянул об одной своей беседе с Маттеотти в 1924 году, когда обсуждалась в благоприятном духе возможность установления сотрудничества между социалистами и «пополари», чтобы в последний момент спасти демократию от фашизма. «Депутат Де Гаспери, наверное, помнит, — сказал Тольятти, — какую сильную головомойку задало ему одно в высшей степени авторитетное учреждение за занятую им тогда позицию»<sup>1</sup>.

Серьезные историки, в том числе католические, дают точное описание событий, но, так сказать, для массового употребления пускается в ход иная, приглашенная и отлакированная версия всего происходившего тогда. Итальянский литератор Руджеро Дзангранди в своей вызвавшей массу споров книге «Долгое путешествие по фашизму» обвиняет некоторых историографов католического движения в прямой фальсификации. Он пишет, в частности: «Интересно и поучительно видеть, как эта самая настоящая историческая ложь конкретизируется сегодня в преднамеренно составленных официальных биографиях, например в парламентских ежегодниках, касающихся республиканского парламента первого, второго и третьего созыва»<sup>2</sup>. Руджеро Дзангранди приводит в качестве примера приукрашенную биографию Де Гаспери, в которой его взаимоотношения с режимом Муссолини изображены так, словно никакого коллаборационизма со стороны Де Гаспери никогда не было. Нам, однако, известны подлинные факты, и возвращаться к этой теме не стоит. Историческая правда все равно рано или поздно выходит наружу.

\* \* \*

Первый конгресс христианско-демократической партии состоялся в Риме 24 апреля 1946 года. В своей вступительной речи Де Гаспери напомнил о том, что в 1925 году, на последнем съезде партии «пополари», он обратился к делегатам со словами: «Ждите часа справедливости, не переставайте надеяться на освобождение»<sup>3</sup>. Освобождение пришло через двадцать лет. Народ ждал справедливости и надеялся, что ее час настал.

Представим себе обстановку в стране в начале 1944 года. На Юге — оккупационные англо-американские войска, в Риме и на Севере — немцы-палачи и такие же кровавые палачи, так называемые «республиканские фашисты», в созданной Муссолини марионеточной республике Сало. Когда Тольятти 27 марта 1944 года приехал в Неаполь из Москвы после восемнадцатилетнего изгнания, он застал разрушенный город и увидел, что Италии как организованного общества нет, все надо начинать как бы сызнова. Голод, разруха, сотни тысяч людей без крова, черный рынок, смятение в умах. И тут Тольятти проявил свои блистательные качества идеолога и политика. Он чрезвычайно быстро уяснил себе положение. После нескольких дней интенсивных переговоров со всевозможными деятелями он созвал Национальный совет Итальянской

<sup>1</sup> Пальмиро Тольятти. Речи в Учредительном собрании. Издательство иностранной литературы. М. 1959. стр. 224.

<sup>2</sup> Ruggiero Zangrandi. Il lungo viaggio attraverso il fascismo. Milano, 1962, p. 323.

<sup>3</sup> Alcide De Gasperi. Discorsi politici. Vol. I, p. 71.

коммунистической партии (30—31 марта) и выдвинул в качестве первоочередной задачи объединение всех политических течений для участия в войне против Германии. Это, естественно, предполагало создание правительства национального единства. Резолюция, принятая по докладу Тольятти, вошла в историю под названием «неаполитанский поворот».

Двадцать второго апреля было сформировано правительство с участием представителей всех антифашистских партий, входивших в КНО, 5 июня 14-я немецкая армия бежала из Рима, а 10 июня произошло важнейшее событие — объединение профсоюзов. На этот счет была договоренность между «красными» и «белыми» профсоюзами еще в период нелегальной деятельности. Надо ли говорить о том, какое громадное, поистине историческое значение имело создание Всеобщей итальянской конфедерации труда (ВИКТ), в которой объединились три профсоюзных течения: коммунистическое, социалистическое и христианско-демократическое. Совместное участие в Сопротивлении, в правительстве, объединение трудящихся — какие перспективы открывались перед итальянским народом, сколько надежд!

Но все было сложно. Вероятно, легче было с оружием в руках бороться против нацифашистов, чем приступить к строительству нового итальянского общества. Люди были дезориентированы, они отвыкли даже от элементарных форм предфашистской буржуазной демократии, не знали, с чего начинать. Новое общество родилось в морально-политической атмосфере Сопротивления, но даже по вопросу о форме правления не было единодушия. Если отвращение и ненависть к фашизму были всеобщими — далеко не таким ясным и четким было отношение к монархии. Множество людей не понимало всей меры вины и ответственности Савойского дома за приход Муссолини к власти, существовали всякие иллюзии насчет Виктора Эммануила и принца Умберто. 2 июня 1946 года был проведен всенародный референдум. За республику было подано 12 672 767 голосов, за монархию — 10 688 905, разница в пользу республики — всего на два миллиона голосов, это говорит о многом.

В палату депутатов было избрано 556 депутатов, из них 104 коммуниста. Больше всего мест получили христианские демократы, но общее число депутатов коммунистов и социалистов было еще выше. Надо было во что бы то ни стало находить какую-то единую точку зрения по основным вопросам, в частности — при выработке новой конституции страны. И вот Пальмиро Тольятти произнес в Учредительном собрании чрезвычайно важную речь. Он заявил, что новая конституция должна дать Италии три основных блага: «Первое — свобода и уважение суверенных прав народа, второе — политическое и моральное единство нации; третье — социальный прогресс, связанный с приходом нового руководящего класса»<sup>1</sup>. Подчеркнув, что эти требования не временные, не конъюнктурные, Тольятти заговорил о том, каким образом комиссия семидесяти пяти, выработавшая проект конституции, сумела прийти к соглашению. Он заявил, что взгляды двух мощных течений — коммунистов и христианских демократов — совпали по ряду важнейших вопросов: о провозглашении прав трудящихся, о социальных правах, о новой концепции в области экономики — не индивидуалистической, а основанной на принципе солидарности и преобладания сил труда, о новой концепции и границах права собственности.

Речь заканчивалась страстным призывом к единству. И, поскольку ее надо рассматривать как программную, я приведу еще одну большую цитату: «Мы находимся здесь, и прежде всего те из нас, кто принадлежит к подавляющему большинству в этом Собрании как представители великого освободительного национального движения, которое черпает свои силы в лучших традициях жизни и истории нашей страны — в либеральных и демократических

<sup>1</sup> Пальмиро Тольятти. Речь в Учредительном собрании, стр. 23.

традициях. Фашизм отрицал и пытался уничтожить эти традиции; ему не удалось это, он рухнул и, к сожалению, увлек в своем падении в пропасть также и нас.

Но мы чувствуем себя здесь — мы, коммунисты, вы, социалисты, и вы тоже, коллеги из христианско-демократической партии, — мы все должны чувствовать себя здесь также представителями не только этого великого движения, но и представителями трудящихся масс — рабочих, батраков, крестьян, служащих, людей из народа, людей, которые живут только своим трудом и уже десятки лет активно участвуют в борьбе за свое освобождение. Эти массы сплотились, боролись и борются посредством забастовок и экономических и политических выступлений не только за улучшение условий своего повседневного существования, но также и прежде всего за то, чтобы заложить фундамент нового социального строя, обновленного национального общества, управляемого силами труда в соответствии со своими интересами и своей высокой моралью, в соответствии с теми принципами свободы, равенства, социальной справедливости, которые составляют сущность идеологии трудящихся классов во всех ее формах, в каких она только может проявляться<sup>1</sup>.

Итак, позиция коммунистов была совершенно ясной. Вспомним доклад Тольятти на VII конгрессе Коминтерна в 1935 году. Уже тогда для него была очевидной грозная опасность сектантства и схематизма. И представляется вполне естественным, что человек такого масштаба, умевший мыслить такими большими категориями, через десять лет в Италии не замкнулся в рамках узкопартийных оценок и интересов: он думал о будущем своей страны, а это будущее в огромной степени зависело от единства всех антифашистских сил. Во имя достижения этого единства он шел на необходимые компромиссы, но при этом заявил в Учредительном собрании, что есть пределы компромисса и его нельзя достигать недостойными средствами.

Для того, чтобы наступил «час справедливости», о котором когда-то сказал и через двадцать лет напомнил об этой своей фразе Де Гаспери, нужно было, разумеется, чтобы христианско-демократическая партия также оказалась на уровне задач, поставленных историей перед антифашистской коалицией. Задачи эти были трудными. Все «традиционные», исторически сложившиеся противоречия и беды итальянского общества (диспропорция в экономическом развитии Севера и Юга, неграмотность, безработица, нищета во многих районах и т. д.) сохраняли свою остроту. Кроме того, общественное мнение настоятельно требовало восстановления демократических свобод. Тяжелым грузом лежал на только что родившейся итальянской республике громоздкий, консервативный, дорогостоящий государственный аппарат, ни в какой мере не соответствовавший новым общественным потребностям. Самым фактом своего существования этот аппарат препятствовал демократизации управления. Недаром Тольятти в той же знаменитой речи говорил о различных доктринах, «которые признают и закрепляют суверенитет не за народом, а только за государством»<sup>2</sup>.

Но вернемся к Де Гаспери. Передо мной два тома его «Политических речей». Может быть, потому, что я читала их непосредственно после трехтомника Луиджи Стурцо, разницу между этими двумя людьми ощущаешь буквально во всем: иное мышление, иной стиль, иной склад характера, иное представление о политической морали. Де Гаспери был человек, бесспорно, умный, ловкий, не идеолог, но политик, и, по правде говоря, не только политик, а и политикан.

После «неаполитанского поворота» коммунистов казалось, что и лидеры христианско-демократической партии искренне стремятся к сотрудничеству. Де Гаспери неоднократно в публичных выступлениях проявлял свои добрые

<sup>1</sup> Пальмир • Тольятти Речи в Учредительном собрании, стр. 46.

<sup>2</sup> Там же, стр. 27.

чувства. 25 августа 1945 года на митинге во Фраскати он сказал, например: «Не соглашаться с марксизмом не значит отказываться от изучения того, что есть нового в советском строе, чтобы внедрить это новое в нашу национальную культуру. Россия может стать великим фактором прогресса, и Италия будет очень рада, если сможет содействовать этому посредством опыта своей многовековой цивилизации и своего труда»<sup>1</sup>.

Однако существовали силы, которые делали все, что от них зависело (а зависело многое), чтобы свести на нет сотрудничество христианских демократов и левых — коммунистов и социалистов. Эти силы орудовали еще в период Сопrotивления, всячески стремясь разрушить КНО, но тогда это не удалось. В период 1945—1947 годов они активизировались под знаменем самого яростного антикоммунизма. Внутреннее положение в разоренной войной Италии оставалось крайне тяжелым, а поскольку левые входили в правительство и им удалось провести некоторые реформы в интересах трудящихся классов, реакционная печать развязала против них разнузданную кампанию. И сам Де Гаспери, через четырнадцать месяцев после своей речи во Фраскати, дал 20 октября 1946 года газете «Джорнале д'Италия» интервью, в котором заявил, что Итальянская коммунистическая партия усиливает свою подрывную деятельность. Еще через два месяца, 22 декабря 1946 года, Пий XII выступил на массовом митинге в защиту церкви с откровенно погромной речью. Для премьер-министра католика позиция папы имела, разумеется, большое значение.

В январе 1947 года Де Гаспери по приглашению госдепартамента выехал в США для переговоров с американским правительством о предоставлении Италии американской помощи. Известны все подробности, связанные с подготовкой и проведением этих переговоров, но сейчас нет смысла о них говорить. Факт тот, что в США выразили желание видеть у власти в Италии «демократическое правительство», что означало на самом деле правительство без левых. Премьер-министр в обмен на кредиты и прочие экономические блага дал соответствующие заверения. Без сомнения, Италия нуждалась в кредитах, в поставках и т. д. Это признавали и Тольятти, и лидер социалистов Ненни, и все здравомыслящие люди. Тольятти заявил об этом: «Никто не говорил, что не следовало посылать делегацию в Соединенные Штаты, чтобы разрешить оставшиеся не решенными между США и Италией вопросы и вести переговоры о помощи, оказанной в прошлом, оказываемой в настоящем, и помощи, которая будет оказана оттуда и в будущем нашей экономике для восстановления и возрождения нашей страны»<sup>2</sup>. Однако нельзя было допустить того, что произошло: прямого политического вмешательства США во внутренние дела Италии. А Де Гаспери и не пытался договориться с американцами на разумных началах, сохранив при этом какое-то политическое достоинство. Он просто продал за чечевичную похлебку антифашистское единство, символом которого являлось коалиционное правительство, и пожертвовал тем самым всеми этическими ценностями Сопrotивления.

Когда 20 января 1947 года Де Гаспери вернулся из США, подготовка к расколу началась одновременно по всем линиям: реакционная пресса, высшее духовенство, министерство внутренних дел во главе с лидером крайне правых групп ХДП Марио Шельба (это имя стоит запомнить), стряпавшее провокационные дела против бывших партизан, все силы итальянского капитализма объединились для того, чтобы любой ценой скомпрометировать, исключить из правительства, лишить влияния на ход государственных дел коммунистическую партию. Кампания, начатая еще в 1945 году, приняла огромные размеры. Надо было во что бы то ни стало создать правительственный кризис, и Де Гаспери это удалось, хотя ему пришлось разыграть спектакль в двух актах:

<sup>1</sup> Марчелла и Маурицио Феррара. Очерки итальянской политической жизни. Издательство иностранной литературы М 1961 стр 115—116

<sup>2</sup> Пальмиро Тольятти. Речи в Учредительном собрании, стр. 213.

сначала новый кабинет с увеличением числа министров демохристиан (он просуществовал со 2 февраля до 31 мая 1947 года), но коммунисты еще входили в него, а затем новый кризис и создание так называемого «технического кабинета» из одних христианских демократов с привлечением специалистов.

Тольятти отлично понимал смысл и цели маневров лидера ХДП. Две речи, которые Тольятти произнес в связи с этим в Учредительном собрании, кажутся мне классическим образцом его аналитического мышления и ораторского таланта. Сила логики в них сочеталась с силой чувства, ирония, темперамент, широта взглядов, гибкость в соединении с высокой принципиальностью и достоинством пролетарского революционера — это было великолепно. Мне хотелось бы привести здесь целые страницы из речей Тольятти, но это, к сожалению, невозможно. Вопрос был поставлен со всей остротой: раскол демократического единства произведен не случайно. Нет, одну цитату дать необходимо: «Существо дела в том, что хотели отстранить от участия в управлении страной партии, наиболее тесно связанные с рабочим классом и другими трудящимися классами. (Протесты в центре и справа, одобрение слева.)

Коллеги из христианско-демократической партии, я призываю вас сохранять спокойствие, ибо это лишь начало критики — худшее еще впереди. (Смех.) Когда хотят отстранить от власти эти партии, кого, в сущности, хотят отстранить от власти? Хотят отстранить силы итальянского социализма, ибо эти две партии — коммунистическая и социалистическая — представляют в виде двух ответвлений, со всем общим и всеми различиями между ними, то великое движение прогресса и свободы, каковым всегда было итальянское социалистическое движение».

И дальше: «Итак, создание этого правительства знаменует начало глубокого кризиса итальянской демократии, ибо оно представляет собой временный отказ от великого завоевания трудящихся классов и, следовательно, большой шаг назад в развитии республиканской демократии. Кто хочет этого? Было бы ошибкой думать, что мы имеем дело с желанием одного человека или нескольких человек. Нет, речь идет сперва об упорном и вполне сознательном сопротивлении, а затем о столь же сознательной и упорной борьбе консервативных групп и реакционных слоев, которые считают, что они наделены по воле всевышнего, поскольку им принадлежит большая часть богатств страны, правом одним управлять страной, отстраняя партии, самым непосредственным образом представляющие рабочих и трудящиеся классы»<sup>1</sup>.

Так, после разрыва демократического единства весной 1947 года христианские демократы стали управлять страной сами или в различных коалициях, но неизменно под знаменем антикоммунизма. Но прежде чем перейти к дальнейшим событиям, я хочу сказать несколько слов о литературно-ораторской манере Де Гаспери. Это только справедливо, — мы так много говорили о стиле Тольятти. Так вот, Альчиде Де Гаспери, который был, как известно, очень умным человеком, в речах своих бывал склонен не только к риторике (это исконный бич итальянской интеллигенции), но и к сентиментальности; любил говорить об идеалах, мыслил образами, имел обыкновение по всякому поводу сетовать и жаловаться, то и дело цитировал священное писание. Кто-то из итальянских журналистов назвал стиль Де Гаспери «вымученным». Приведу несколько примеров его красноречия.

Двадцать третьего июля 1944 года — первая речь Де Гаспери после освобождения Рима. Он говорит о «безмерных исторических заслугах Советской Армии, которые останутся жить в веках». Он говорит, что в опыте русской революции есть многое, сближающее ее с христианством. Он добавляет, что оценил заявление Тольятти о том, что коммунисты будут уважать католическую религию — веру большинства итальянского народа. Дальше (пример образного мышления) он говорит, что «глазами веры видит, как по кручам

<sup>1</sup> Пальмиро Тольятти. Речи в Учредительном собрании, стр. 220—221, 224.



шествует осиянный светом другой великий Пролетарий, также израелит, как и Маркс. Две тысячи лет тому назад он основал Интернационал, покоящийся на равенстве и всеобщем братстве»<sup>1</sup>.

Так говорил он в 1944 году. Когда же после разрыва антифашистского единства левая печать обвинила Де Гаспери в прислужничестве американским монополиям, он произнес речь на втором национальном съезде ХДП в Неаполе (1947 год). Эта речь характерна для «жалобной манеры» Де Гаспери. Он сообщает, что приехал в Неаполь в отличном настроении: спокойное море, чудесное небо, все так отрадно, но вдруг... он разворачивает свежий номер «Унита» от 17 ноября, и там напечатана резолюция ЦК ИКП. Боже, какая резолюция! Коммунисты объявили ему войну! Но мало того, что «Унита» расстроила Де Гаспери; «Аванти» ничем не лучше: в номере от 9 ноября, в честь тридцатилетия Октябрьской революции, она поместила «Русский гимн Владимира Маяковского, посвященный коммунистической молодежи»<sup>2</sup>.

«Вы читали его? — спрашивает Де Гаспери. — Прочтите!» — и начинает цитировать, повторяя некоторые строчки два раза, стихотворение, в котором говорится: «Вырывай у бога вожжи». Дальше у Де Гаспери гневная тирада насчет атеистической идеологии и т. д. Но дело не в этом, конечно. Просто он счел стихотворение Маяковского, помещенное в социалистической газете, удобным предлогом для контратаки: «Я говорю им: не оскорбляйте нас, называя чуждыми своему народу и слугами иностранцев, вы, которые дошли до того, что берете в чужой земле даже ваши гимны. Мы защищаем гуманистические идеалы греко-римской цивилизации, которая на этих берегах получила духовное обновление, оплодотворенная христианством...» и т. д. и т. д.

Мы уже знаем, что Де Гаспери любил жаловаться на Тольятти, на «Унита», на «Аванти», был даже случай, когда он пожаловался на московскую «Литературную газету». Но это все пустяки. Иногда он еще больше обижался на своих единомышленников. После провала весной 1953 года «ледже труффа» — мошеннического избирательного закона — Де Гаспери, оставаясь лидером партии, уступил пост премьер-министра вначале Джузеппе Пелла, а затем — Аминторе Фанфани. Кабинет Фанфани, состоявший из одних христианских демократов, просуществовал всего двенадцать дней (с 18 января по 30 января 1954 года). В руководстве партии были всяческие разногласия, сейчас нет смысла рассказывать подробности. Факт тот, что в одной провинциальной христианско-демократической газете появилась карикатура: она изображала Де Гаспери, который подпиливал министерское кресло Фанфани.

Что тут было! Де Гаспери произнес на национальном совете ХДП речь, изболовавшую выражениями вроде «коварные клеветники», «злостная бумажная буря» и т. д. Он задал риторический вопрос: чего можно ожидать от левой прессы, если газета, «считающая себя демохристианской», позволяет себе такие злые насмешки и бросает тень на его моральный облик. Этого мало. Де Гаспери заявил, что самый факт существования каких-нибудь газет, выступающих с яростной и ядовитой критикой «или же со сплетнями», заставляет людей думать, что в рядах ХДП есть трещина или даже угроза раскола. Поэтому, сообщил он, руководство партии обратилось к некоторым издателям с просьбой «отказаться от большого искушения» (имеется в виду острая критика) и в период, предшествующий партийному съезду, проявить внутреннюю дисциплину и сделать все для соблюдения единства. Де Гаспери выразил надежду и даже уверенность, что «издатели и писатели вступят между собою в соревнование, чтобы дать доказательства этого единства, которое все считают необходимым». После этого несколько неожиданно последовал заключительный монолог-апофеоз ораторского искусства Де Гаспери:

«Примем же, друзья, полностью демократические правила со всеми их выго-

<sup>1</sup> Alcide De Gasperi. Discorsi politici. Vol. I. p. 19.

<sup>2</sup> Имеется в виду стихотворение В. Маяковского «Наше воскресенье».

дами и со всем риском, но прежде всего установим между собою такие политические обычаи, которые соответствуют евангельскому учению, содержащемуся в молитве «Отче наш»: «И остави нам долги наша, якоже и мы оставляем должником нашим». Общественность, страна имеют право судить нас не по нашим речам, а по тому, как мы осуществляем между собою эти правила братства»<sup>1</sup>.

Ну, а теперь хватит о стиле Де Гаспери (хотя давно известно: стиль — это человек), перейдем к вопросу о политических союзах ХДП.

В 1965 году в Италии вышла книга о нацифашизме в мире<sup>2</sup>. В ней собрано множество интереснейших материалов. В частности, мы узнаем, что уже в 1945 году, сразу после освобождения страны, было задумано разорвать коалицию антифашистских сил. Операция была задумана христианами демократами и либералами — не надс забывать, что в Италии либералы — крайне правые, — «чтобы создать базу для более широкой стратегии с целью реставрации». Позднее стало известно, читаем мы, что об этой реставрации мечтали правые монархические круги и Умберто Савойский. Ничего подобного, как известно, не произошло, но авторы этой книги, отнюдь не являющиеся коммунистами, прямо обвиняют ХДП в том, что она своей политикой яростного антикоммунизма создала благоприятную почву для усиления монархических настроений и для возникновения разного рода неофашистских течений и групп.

Что касается государственного аппарата, он «в значительной мере оставался пленником бюрократии, утвердившейся в нем во время фашистского двадцатилетия». И после разрыва антифашистского единства «правительственное большинство призывало все так называемые здоровые силы нации объединиться в крепкий антикоммунистический блок с тем, чтобы оказать сопротивление мятежным «планам» левых, которые, как тогда говорили, могли создать большевистский режим, если бы весной 1948 года Народный фронт одержал победу на выборах».

Выборы окончились иначе, но левых боялись до такой степени, что в 1951 году по инициативе Де Гаспери были созданы организации белой гвардии. «Перемещение всей политической оси страны вправо, произведенное демохристианским руководством, — читаем мы в книге о нацифашизме, — достигло кульминации в апреле 1952 года, когда дон Стурцо...» Но об «операции Стурцо» мы достаточно писали. Важно лишь добавить, что, хотя в столице история с так называемым гражданским списком провалилась, во многих провинциальных центрах «это послужило началом союзов христианской демократии с крайне правыми партиями, и таким образом неофашисты получили непосредственный доступ в административные органы управления, получили возможность оказывать политическое влияние и вообще вышли из состояния изоляции, в котором находились до тех пор»<sup>3</sup>.

Когда в середине пятидесятых годов Италия вступила в полосу некапиталистического развития и наиболее динамичные и современно мыслящие группы буржуазии перешли к новой стратегии, гораздо более гибкой, чем грубый и агрессивный антикоммунизм предшествующих лет, слишком прямые и открытые контакты с неофашистами стали неудобными для христианско-демократической партии. Тем не менее внутри партии существовало крайне правое «шельбианское» крыло (от имени Марио Шельбы, бывшего министра внутренних дел, впоследствии премьера, — о нем упоминалось выше), которое эти контакты поддерживало.

На седьмом съезде ХДП осенью 1959 года партия оказалась перед необходимостью принять какую-то ориентацию, потому что этому съезду предшествовало несколько кризисов: внутри социал-демократической партии, внутри либеральной партии (которая окончательно стала рупором «Конфиндустрии»)

<sup>1</sup> Alcide De Gasperi. Discorsi politici. Vol. II. p. 262.

<sup>2</sup> Angelo del Boca, Mario Giovanna. I "figli del sole". Mezzo secolo di nazifascismo nel mondo. Feltrinelli Editore. Milano. 1965.

<sup>3</sup> Там же, p. 187.

и внутри самой ХДП. В это время у власти было правительство Сеньи, которое поддерживали все правые: монархисты, либералы и неофашисты. На съезде очень мужественно выступил только один деятель партии — Чирпако Де Мита. Он призывал «сказать «нет!» правительству Сеньи, потому что это правительство создает в стране атмосферу, в которой невозможно дышать, которая способствует возможности возрождения фашизма». Но он был одинок. На съезде одержала победу «вторая душа» христианско-демократической партии — консервативная.

А вскоре оказалось, что Де Мита был совершенно прав, и разыгралась скандальная, позорная история, получившая в то время международный резонанс. В начале мая 1960 года кабинет демохристианина Фернандо Тамброни получил большинство голосов в парламенте благодаря голосам неофашистов. Через два месяца руководство МСИ, упоенное своими успехами при разрешении правительственного кризиса, сочло момент вполне подходящим для того, чтобы принудить правительство вернуться к политике силы по отношению к рабочим, «к восстановлению порядка» в стране. Они хотели и сами прийти к «активной политике». И вот неофашисты с согласия правительства Тамброни решили провести в Генуе свой национальный конгресс под председательством Карло Эмануэле Базиле, бывшего фашистского префекта этого города, занесенного в списки военных преступников. Провокационный смысл всего этого дела был очевиден.

Город Генуя, награжденный Золотой медалью Сопротивления, не пожелал допустить в своих стенах такого позора. 30 июня состоялась антифашистская демонстрация, вылившаяся в настоящее народное восстание. Полиция стреляла в народ, было убито пять человек. В течение двух суток город практически находился под управлением антифашистов и трудящихся. Тамброни решил послать туда войска и обратился к президенту республики Гронки за специальными полномочиями. Перед лицом всей возмущенной страны Гронки вынужден был потребовать, чтобы Тамброни подал в отставку. Но стало вполне очевидным, что провалившаяся попытка фашистского путча оказалась возможной лишь благодаря тому, что внутри правящей христианско-демократической партии существовало сильное реакционное крыло, получавшее поддержку в Ватикане и у некоторых влиятельных групп промышленной и финансовой буржуазии.

\* \* \*

Мы много говорили об идеологии партии «пополяри». Хотя христианско-демократическая партия — ее преемница, однако знака равенства между ними ставить нельзя.

В 1961 году ХДП созвала в Сан-Пеллегрино свой первый идеологический конгресс. В нем приняли участие около полутора тысяч представителей демохристианской элиты: ученые, политики, деятели католической культуры. Стенографический отчет конгресса составил восемьсот страниц. Это ценнейший документ, потому что он позволяет нам судить о различных позициях, о столкновении идей, о настроениях итальянской католической интеллигенции в ту пору, когда Иоанн XXIII издал свою энциклику «Матер эт Мажистра». Эта энциклика, которую по праву считают самой смелой и решительной попыткой преодолеть исконный консерватизм католической церкви в социальных вопросах, датирована 15 мая 1961 года. Конгресс состоялся через четыре месяца, в сентябре, и выступления говорят о большом подъеме, больших надеждах, возникших у левого крыла ХДП. Перед участниками конгресса стояла задача заново осмыслить идеологию и историю католического движения в Италии, уточнить периодизацию, дать оценку различных течений внутри этого движения и наконец подвергнуть беспристрастному и глубокому анализу деятельность христианско-демократической партии в наши дни, «заглянуть в свою душу», сказать всю правду, подвести итоги и наметить перспективы.

Мне кажется, не будет ошибкой сказать, что первый конгресс в Сан-Пеллегрино был наивысшей точкой в истории итальянской католической общественной мысли двадцатого века. Были до и после него интересные и смелые речи и статьи, но здесь, в атмосфере, созданной энцикликой, были высказаны такие мысли и с такой искренностью и прямоотой, которые при Пие XII были бы просто невозможны. Христианские демократы хотели взглянуть в глаза итальянской действительности начала шестидесятых годов не сквозь розовые очки официальной пропаганды, а по-настоящему. И надо признать, что борьба взглядов на конгрессе (хотя внешне все было чрезвычайно корректно) отражала жизненно важные для Италии вещи. Достаточно заметить, что в центре дебатов оказался чрезвычайно интересный доклад профессора Акилле Ардиго, озаглавленный «Социальные классы и политический синтез».

Ардиго поставил перед собой трудную задачу: проанализировать развитие и основные вехи «политической идеологии католиков» от объединения Италии до наших дней. Особенно важно — он это подчеркнул — осмыслить события последних лет. Из колоссального материала, имеющегося в докладе, я выбираю то, что нас сейчас больше всего интересует: оценку идеологии дона Стурцо и Де Гаспери, а затем анализ современного положения. Между прочим, когда читаешь доклад Ардиго, а также некоторые другие выступления, невольно ощущаешь глубокое (возможно, даже не всегда осознанное) воздействие марксистской мысли на наиболее передовых деятелей современной католической культуры. Уже само заглавие доклада профессора Ардиго — «Социальные классы и политический синтез» — кой о чем говорит, хотя Ардиго подчеркивает, что нельзя даже подступать к этой теме, отвлекшись от социальной доктрины католической церкви и, в частности, от последней энциклики, в противном случае «не далеко уйдешь от рационалистов, позитивистов, эмпириков и историков-марксистов»<sup>1</sup>.

Но ведь обе знаменитые энциклики Иоанна XXIII «Паче ин террис» и «Матер эт Мажистра» свидетельствуют о том, что лучшие умы католической церкви понимают, что католическая религия — в историческом плане — серьезнейшим образом отстала и проиграла много битв из-за своего реакционного консерватизма. Конечно, церковь не отказывается от своей традиционной «надклассовой» доктрины и от спора с идеями научного социализма; однако Иоанн XXIII отдавал себе ясный отчет в социально-экономическом подъеме трудящихся классов и в новой политической реальности, сложившейся в современном мире.

Несколько упрощая основные положения доклада профессора Ардиго, скажем, что он говорил об идеологической позиции лидеров «пополари» и ХДП перед лицом современного мира. Дон Стурцо как бы остановился на пороге «индустриальной реальности», он находился во власти патриархальных идеалов. Крестьянство и средние слои были не только базой созданного им движения, но и теми силами, которые он считал центральными в итальянском обществе. Так мыслил он и в 1902, и в 1922 году, и даже позднее. Он не только не понимал роли промышленного пролетариата, он не хотел развития индустрии, он считал несравненно более моральными и отвечающими христианской социальной доктрине отношения «патерналистского» типа. С этим было связано и его отвращение к централизованному государству, которое он считал душителем автономии, его упор на местные муниципалитеты, на укрепление семьи, на «белые» профсоюзы, стоящие на позициях классового сотрудничества. Кооперативы и профсоюзы, подготовившие создание партии «пополари», были в основном связаны с деревенскими муниципалитетами и деревенскими приходами. Отсюда и неизбежная ограниченность идеологической базы «пополари», и профессор Ардиго подчеркивает драматичность создавшегося положения.

<sup>1</sup> Il Convegno di S. Pellegrino. Atti del I Congresso Nazionale di studio della Democrazia Cristiana. Edizioni 5 Lune. Roma, 1960, p. 130.

Наступает фашизм, проходят годы, вопреки желаниям и предположениям Луиджи Стурцо в стране развивается индустрия, изменяется соотношение социальных сил. «Участие католиков в Сопротивлении, — говорил Ардиго, — расширяет их присутствие в мире индустриального труда»<sup>1</sup>. Перед христианско-демократической партией встают, таким образом, новые задачи: она хочет расширить свою социальную базу, расширить сферу своего влияния в рабочей среде и в новых слоях городского населения, сохранив при этом, разумеется, свои крепкие позиции среди крестьян. По мнению Ардиго, лидер ХДП Де Гаспери, «как великий политик», понял необходимость для партии завоевать новые слои населения для того, чтобы противостоять «социал-коммунистической угрозе» и превратить христианскую демократию в партию большинства итальянского народа.

Хотя во многом взгляды Де Гаспери совпадали с идеями дона Стурцо, между ними существовало и серьезнейшее различие: Де Гаспери был убежденным сторонником сильного централизованного государства. При этом он говорил о государстве, гарантирующем всем гражданам свободу и основанном на «солидаризме» между различными классами. Идею солидаризма Де Гаспери всячески развивал и пропагандировал. Он говорил о ней, в частности, 27 июня 1954 года на открытии пятого национального конгресса ХДП, когда заявил, что считает самой правильной формулу: «Не капитализм, не коммунизм, но солидаризм народа, когда труд и капитал объединяются со все возрастающим преобладанием труда под контролем и, когда это нужно, при содействии демократического государства»<sup>2</sup>. (К чему это приводит практически, мы хорошо знаем по истории рабочего движения в годы правления Де Гаспери. Кроме того, он сам в 1952 году говорил, что если сталкиваются интересы работодателей и какой-то категории рабочих, «инстинкт» толкает христианско-демократическую партию к тому, чтобы встать на сторону рабочих, однако надо действовать прежде всего в интересах государства.)

Речь Де Гаспери на пятом конгрессе — одно из самых интересных его выступлений и, пожалуй, его лебединая песнь: вскоре он умер.

«Не кажется ли вам, — говорил Де Гаспери, — что зачастую, сознательно или бессознательно, мы употребляем терминологию, которой заразились от коммунистов? Отчасти это объясняется наивностью добрых людей, которые хотели бы дать материалистическому лексикону христианскую интерпретацию... Отчасти — неразборчиво употребляют выражения и термины, обладающие притягательной силой, популярные. И таким образом постепенно в умы и в речи входит такая аксиома: для того, чтобы совершить акт справедливости по отношению к обездоленным, мы должны выйти из своего собственного дома и повстречаться по крайней мере на полпути с теми, кто сами называют себя представителями и выразителями интересов трудящегося класса. А «трудящийся класс» — это только те, кто работает руками, и в особенности их наиболее активная часть из крупных промышленных центров, хотя наиболее нуждающимися являются бедняки и безработные. И кончается тем, что начинают верить, будто возвышение труда возможно лишь под влиянием и под эгидой победившей политики большевизма»<sup>3</sup>.

Эти слова Де Гаспери свидетельствуют о том, что он так и не сумел выйти из плена традиционно католических, патерналистских представлений о «богатых и бедных», не мог осознать динамику социальных сил, не мог внутренне примириться с тем, что на политическую авансцену Италии после периода Сопротивления вышел новый класс, которому предстоит в недалеком, вероятно, будущем стать руководящей силой национального обновления.

<sup>1</sup> Il Convegno di S. Pellegrino. Atti del I Congresso Nazionale di studio della Democrazia Cristiana. p. 154.

<sup>2</sup> Alcide De Gasperi. Discorsi politici. Vol. II, p. 295.

<sup>3</sup> Там же, p. 310.

В этой же самой речи Де Гаспери говорит о том, что пятьдесят процентов избирателей — почти одиннадцать миллионов человек — заняты в тяжелой промышленности и в отличие от ремесленников и мелких предпринимателей сконцентрированы в крупных центрах. Он признал, что голоса этих людей представляют большую политическую силу. «Но все же мне кажется, — сказал он, — что в Италии объединение сил, сознательно основанное на противопоставлении интересов и в особенности окрашенное диалектикой классовой борьбы, не отвечает подлинной жизнеспособности итальянской нации»<sup>1</sup>.

Если перевести это на более понятный язык, будет, мне кажется, правильным сказать, что Де Гаспери в своей теории «солидаризма» фактически отрицал для христианско-демократической партии возможность в классовых спорах эффективно выступать против имущих классов. Профессор Ардиго считал, что Де Гаспери подходил к пониманию того, что «чем больше растет крупная индустрия, тем сильнее дают трещину социальные и культурные базы солидаристского государства. Но именно поэтому средние слои, ремесленники, члены кооперативов, земледельцы имеют для него — не только в соответствии с социальной доктриной церкви — социальное и политическое значение, превышающее их экономический удельный вес и их вес при выборах. Они являются социологической гарантией солидаризма»<sup>2</sup>.

Я пока ничего не говорила о борьбе различных течений внутри христианско-демократической партии. Между тем они были и есть, и, надо полагать, будут и впредь. Подобно тому, как в свое время Ромоло Мурри, а позднее Гуидо Мильоли были идеологами крайне левых групп внутри католического движения, в сороковых годах эту роль играл Джузеппе Доссетти, человек, никак не связанный с опытом и традициями партии «пополяри» и идеями дона Стурцо и поэтому смотревший на вещи несравненно более широко. Доссетти и его единомышленники, объединившиеся вокруг журнала «Кронаке социале», считали, что над всей экономической деятельностью страны должен быть учрежден социальный контроль со стороны трудящихся классов, совершенно иначе, чем Де Гаспери, оценивали взаимоотношения между различными общественными силами внутри капиталистической системы. Доссетти резко критиковал современное итальянское государство. Он не верил в так называемый «межклассовый» характер ХДП. Юрист по образованию, работавший в индустрии, участник Сопротивления, он, конечно, был деятелем нового типа.

Личная судьба Доссетти сложилась драматично: он потерпел поражение в схватке с Де Гаспери и ушел в монастырь, а группа его распалась. Однако идеи Доссетти живы и сейчас, и на конгрессе в Сан-Пеллегриньо о них продолжали яростно спорить. Несколько раз имя Доссетти мелькало в печати за последние три-четыре года. Есть все основания предположить, что, пребывая в монастыре, он не только не изменил своих взглядов, но в известной мере по-прежнему играет политическую роль. Один раз я встретила его имя в связи с работами Вселенского собора, другой раз — в связи с Аминторе Фанфани. Доссетти встречался с ним и с группой их общих друзей; очевидно, он поддерживает личные отношения с Фанфани, а личные — у людей такого типа — означают и политические.

Профессор Ардиго, которого кто-то из выступавших в прениях прямо назвал учеником Доссетти, говорил о нем с величайшим уважением. Излагая взгляды Доссетти, Ардиго особенно подчеркнул его коронную идею: в современном мире в конечном счете есть две настоящие силы, оспаривающие положение лидера в рабочем движении: это коммунисты и католики-демократы. Доссетти считал, что и церковь и политическое движение католиков должны во что бы то ни стало отыскать пути для сближения с рабочим классом.

<sup>1</sup> Alcide De Gasperi. Discorsi politici. Vol. II, p. 277.

<sup>2</sup> Il Convegno di S. Pellegrino. Atti del I Congresso Nazionale di studio della Democrazia Cristiana, p. 130.

Концепцию Доссетти следует рассматривать в свете тех больших и важных дискуссий, которыми в середине пятидесятых годов была охвачена итальянская католическая интеллигенция, в частности профсоюзные деятели и социологи. Именно в эти годы утверждала себя в Италии идеология неокapитализма. Италия переживала полосу бурного промышленного развития. Благодаря научно-техническому перевороту, модернизации оборудования, преобразованию страны из аграрно-индустриальной в индустриально-аграрную уже после смерти Де Гаспери христианские демократы должны были искать новый «политический синтез». Говоря объективно, быстрый процесс индустриализации невыгоден для христианских демократов: уменьшается роль и сфера воздействия деревенских приходов, перемещение значительных групп населения в города изменяет психологию и взгляды людей. Кроме того, старая схема совершенно отсталого, деревенского Юга и одного лишь «промышленного треугольника» на Севере уже не точна. Индустриализация захватывает все новые районы в центральных областях и на Юге страны со всеми вытекающими отсюда последствиями.

Профессор Ардиго считал, что «новый политический синтез» христианская демократия должна искать, исходя из новой реальности. Общество переживает процесс очень быстрой трансформации, изменяется не только состав рабочего класса, но, «к сожалению», как он говорит, изменяются и средние слои: это уже не прежние люди свободных профессий, они также все в большей степени подпадают под влияние того, что Ардиго называет «ложной истиной». Анализируя результаты выборов — «социологию избирателей», — он без обиняков признает, что происходящие в стране социальные сдвиги создают для ХДП большие трудности и одновременно создают большие возможности для коммунистов. Он не боится смелых выводов: если христианские демократы не отдадут себе ясный отчет во всем этом, не сумеют найти возможности для проникновения в новые социальные слои, они фатально обречены на снижение своей роли и своего влияния.

В конце доклада профессор Ардиго с большой силой говорил о смелости, о требовательности, о непримиримости к беззакониям, о том, что надо усилить роль и действенность профессиональных союзов. В этой связи были произнесены очень резкие слова по адресу государства и правительства, которые не способны добиться политического синтеза, в то время как жизнь настоятельно требует его.

\* \* \*

Отвлечемся от идеологического конгресса, хотя к нему еще надо будет вернуться. Обратимся к свидетельствам из другого источника. Однажды в «Мондо» появилась статья, озаглавленная «Физиология христианской демократии»<sup>1</sup>. На первый взгляд кажется, что в ней слишком много арифметики, но стоит вчитаться — и за сухими цифрами встают нравы, организации, столкновения интересов, борьба сил — мозаика политической жизни страны. Подсчеты «Мондо» сводятся к тому, что христианско-демократическая партия, католические профсоюзы, восьмимиллионная конфедерация земледельцев и силы «Ационе каттолика» составляют от шестнадцати до семнадцати миллионов человек.

Чрезвычайно любопытен анализ социального состава христианско-демократической партии. «Мондо» ссылается на данные, явившиеся результатом очень серьезной работы и опубликованные в журнале «Темпи модерни». В партии — миллион шестьсот тысяч человек. Из них четверть (400 тысяч) — домохозяйки, 200 тысяч — крестьяне и менее 300 тысяч — рабочие. Однако квалифицированных рабочих — всего 40 тысяч. Около 150 тысяч — земельные собственники, промышленники, торговцы. Служащих (включая пенсионеров) — свыше 200 тысяч. Состав «белых» профсоюзов и «Ационе каттолика» дает

<sup>1</sup> «Mondo», 24 marzo 1964.

примерно такую же картину. «Физиология христианской демократии» такова, что в католических организациях преобладают женщины и сельское население, много стариков и много молодых людей, которые, однако, достигнув совершеннолетия, уходят. В наиболее активных и зрелых слоях населения в больших промышленных центрах католики представлены несравненно слабее.

Надо отдавать себе отчет в громадной разветвленной и глубоко продуманной системе агитации и пропаганды, которой располагают итальянские католики. Достаточно сказать, что в стране выходят двадцать три ежедневные католические газеты общим тиражом свыше миллиона экземпляров. Кроме того, великое множество еженедельных, двухнедельных и ежемесячных журналов, рассчитанных на все категории читателей. Самые образованные читатели имеют в своем распоряжении примерно сорок журналов, начиная с органа иезуитов «Чивильта каттолика». Есть литература для промышленников и рабочих всех профессий, специальные журналы для женщин, для мужчин, для юношей, девушек, мальчиков, девочек, для семейного чтения, для людей, почитающих того или иного святого. Еженедельник с многокрасочными иллюстрациями «Христианская семья» выходит тиражом свыше 900 тысяч экземпляров, еженедельник с забавным названием «Скуилли» (буквально: звон, звуки) для молодежи из «Ационе каттолика» — 450 тысяч, еще два еженедельника для молодежи — «Молодость» и «Аспирант» — тиражом около 300 тысяч, орган христианской ассоциации итальянских трудящихся «Ационе сочiale» — 550 тысяч, еженедельник ХДП «ДискуSSIONE» — около 300 тысяч и т. д. Рекордный тираж в 1600 тысяч экземпляров имеет так называемая благочестивая печать — «Мессаджеро ди Сант-Антонио» («Вестник святого Антония») — нечто вроде обозрения различных милостей, получаемых верующими благодаря покровительству этого святого.

Поскольку речь идет об агитации и пропаганде, не могу удержаться, чтобы не рассказать об одном «современном апостоле», как выражаются итальянцы. Это дон Джованни Росси, сейчас ему восемьдесят лет, и его называют «режиссер Христа» (не путать с падре Ломбарди — «микрофоном Господа»). Я хочу рассказать о его деятельности и о его карьере, так как это интересно и поучительно. Началась эта карьера давно-давно, когда дон Росси был секретарем одного влиятельного кардинала в Милане, а затем сотрудничал в различных солидных католических организациях. Но, в общем, ему не везло. Человек очень инициативный, до отказа набитый оригинальными идеями о том, как лучше внедрять в массы католические идеалы, он не пользовался ничьим высоким покровительством и его как-то отстраняли более известные коллеги. В то время как некоторых других щедро финансировали, его после одного провала ядовито прозвали «обезглавленный святой Иоанн» и к нему неважно относились в некоторых кругах римской курии.

Однако он не дал себя окончательно съесть и в 1939 году в ночь под рождество явился в город Ассизи с группой своих последователей: два священника, пять юношей и тринадцать девушек. Местный епископ признал их движение, которое в конце концов приняло название «Прочивитате кристиана» (по смыслу примерно означает «За христианскую цивилизацию»). Они пытались вести пропагандистскую работу в массах, но долгое время почти голодали и никто их не поддерживал. Надо полагать, что дон Росси — человек целеустремленный и обладающий личным обаянием, поскольку ему удалось удержать своих помощников, несмотря на то, что им всем приходилось крайне туго. Но 21 апреля 1951 года произошло «чудо»: в Ассизи приехал крупный промышленник Фурио Чиконья, впоследствии много лет возглавлявший «Конфиндустрию». О чем Фурио Чиконья и дон Росси говорили между собою в этот день, никто, конечно, не знает, но факт тот, что для «Прочивитате кристиана» все волшебным образом изменилось.

Появились дома и особняки, своя церковь, свои аудитории и театральное здание, свое издательство, свой журнал. Начались визиты промышленников и



политических деятелей, число помещиков-добровольцев достигло ста, наконец пришло и официальное признание Папы римского и дон Росси смог развернуться. Он охотно принимает журналистов, охотно рассказывает и показывает — ему есть чем похвастаться. Конференции, миссии, циклы лекций, марши верующих, путешествия по святым местам, молодежные семинары, литературные премии и даже празднества песни. Известные певцы исполняют специально написанные песни с назидательным содержанием, причем берутся мелодии популярных, традиционных танго, фокстротов и вальсов. Приведу один пример:

Клип-клоп, маленький ослик;  
Он шел тихо-тихо.  
Чтобы не разбудить Иисуса.  
«Клип-клоп,— шептала Мария,—  
Спи спокойно, сын божий».

Дон Росси сказал корреспонденту «Эспрессо», что кое-кто осуждает их за эти песни, но критики не правы: сейчас все поют, и нет ничего плохого в том, что и они поют, ибо надо идти в ногу со временем. Поскольку «Прочивитате кристиана» идет в ногу со временем, а сейчас очень распространены разного рода конференции и дискуссии, в Ассизи в августе 1965 года был устроен «круглый стол», на котором присутствовали некоторые видные деятели светской культуры. Тема: «Грехи человека наших дней». Судя по статье в «Эспрессо», там говорили немало любопытного. Однако важнейшая сторона деятельности дон Росси — это проникновение в рабочую среду. В беседе с тем же корреспондентом дон Росси сказал, что к ним нередко приходят «сомневающиеся» и даже «красные». Их принимают наилучшим образом («мы им даем хорошо закусить и еще лучше выпить, потом приглашаем на собеседования о Христе... потом многие начинают верить»). Может быть, именно о таких вещах говорили дон Росси и Фурио Чиконья.

Конечно, все это не имеет непосредственного отношения к деятельности христианско-демократической партии. Но практически нелегко отличить и четко разграничить пропаганду, которую ведет партийная пресса, и, скажем, влияние «Вестника святого Антония» или организации, возглавляемой доном Росси. Ведь гражданские комитеты, созданные для активного вмешательства в предвыборную борьбу, непосредственно связаны с приходами. Причем известно, и тому можно привести сколько угодно примеров, что верующим даются прямые указания, за кого им голосовать (при этом подвергаются дискриминации даже представители левых течений внутри ХДП). Поэтому не формально, а по существу мне кажется закономерным поставить многообразную деятельность «Прочивитате кристиана» в связь с необходимостью, толкающей христианских демократов на проникновение в новые слои населения. Еще в одной песенке, исполняемой в Ассизи, поется так: «Я была овечкой, черной, черной, черной. Но настал счастливый день, когда пастырь нашел меня. Он тотчас окунул меня в воды источника, чтобы я стала невинной и чистой, как цветок». Овечек надо завлекать любимыми способами.

К слову говоря, в начале 1965 года итальянское общественное мнение было немало взбудоражено тем, что гражданские комитеты, о которых было совсем позабыли, вновь появились на политической арене. 30 января Павел VI в торжественной обстановке принял около двух тысяч активистов гражданских комитетов во главе все с тем же Луиджи Джеддой и говорил о вещах, которые наводят на серьезные размышления. За несколько недель до аудиенции у папы, утром 6 января, без всякого шума в восемнадцати тысячах приходов тысячи активистов гражданских комитетов раздавали миллионам прихожан «Азбуку гражданина», написанную Луиджи Джеддой. Не подлежит сомнению, что распространение этой книги — акт политики итальянских клерикалов. По существу эта «Азбука» — нечто вроде политического катехизиса. Там собраны евангельские прит-

чи, выдержки из конституции и из Латеранских пактов<sup>1</sup>. А самое существенное — это дух апокалиптического антикоммунизма, такого же, какой насаждали в 1948 году гражданские комитеты.

Надо добавить, что вся эта история с возрождением гражданских комитетов, судя по намекам прессы, сильно обеспокоила многих авторитетных деятелей ХДП, опасавшихся нового непосредственного вмешательства высшей церковной иерархии во внутривнутрипартийные дела. Пишут, что встревожены были и Моро, и Фанфани, и другие, а «доволен один лишь Гонелла». О Гуидо Гонелле мы уже упоминали. Это один из старых деятелей правого крыла партии, некоторым образом идеолог (он выступал на конгрессах партии с политическими докладами), его называют «папский легат», поскольку его не раз использовали для разных шекотливых поручений, когда надо было во что бы то ни стало добиться хотя бы формального единства в партии. Гонелла был секретарем ХДП во время «операции Стурцо» и безоговорочно проводил линию, угодную Пию XII.

Проблема отношений христианско-демократической партии с церковной иерархией и сегодня остается такой же жгучей, какой была во времена партии «пополари». Практически — от этого никуда не денешься — партия не обладает политической самостоятельностью, необходимой для того, чтобы проводить независимую линию. Слишком многое зависит от того, «что скажут там», — не случайно Тольятти напомнил Де Гаспери о головомойке, которую тому однажды устроило «одно авторитетное учреждение».

Я не берусь рассказывать о «приливах и отливах», об игре сил, обо всей гигантской машине, от которой так много зависит. Я привела только один факт последнего времени: возрождение гражданских комитетов, хотя фактов можно привести много. Для рядовых людей — не только для специалистов по католицизму — ясно, что церковь переживает сейчас один из поворотных пунктов в своей многовековой истории. Ясно также и то, что консервативные силы еще очень сильны и им удастся вопреки силам обновления оказывать большое влияние на политику, проводимую Ватиканом.

\* \* \*

Возвращаясь к идеологическому конгрессу, скажем, что Гонелла сделал там доклад на тему «Христианство и демократические свободы» и заявил, что коммунистическая партия в условиях демократического государства вообще не имеет права на существование. Гонелла не был одинок, но не он и его друзья задавали тон на конгрессе. Многие крупные деятели католической культуры, профсоюзные руководители, сенаторы отвергали самую идею воинствующего антикоммунизма. Иногда это облекалось в несколько парадоксальную форму. Сенатор Умберто Мерлин, один из организаторов партии «пополари», подписавший в 1919 году вместе с доном Стурцо знаменитый манифест «Во всем свободным и сильным людям», произнес яркую речь, требуя запрещения всех неонацистских организаций. Он напомнил о горьких уроках прошлого, когда в страхе перед революцией развязали руки Муссолини. «Вы боитесь коммунизма? — сказал Мерлин. — Я тоже. Но фашизма я боюсь больше»<sup>2</sup>.

Левый католик Луиджи Гранелли поставил вопрос четко: история сложилась так, что новая итальянская реальность создана блоком сил, принимавших участие в Соппротивлении. Они совместно заложили основы демократического государства. Но только два больших течения, две главные политические силы в состоянии обеспечить устойчивость нового общества: «Нравится нам это или не нравится — это только движение католиков и марксистское движение»<sup>3</sup>. В сущности говоря, это очень напоминает выступления Тольятти в Учредительном собрании и соответ-

<sup>1</sup> Латеранские пакты — соглашения, заключенные в 1929 году между правительством Муссолини и Ватиканом, регулировавшие их взаимоотношения.

<sup>2</sup> Il Convegno di S. Pellegrino. Atti del I Congresso Nazionale di studio della Democrazia Cristiana, p. 458.

<sup>3</sup> Там же, p. 248.

ствует исторической правде. Формула Гранелли кажется мне не вполне точной только потому, что нельзя говорить о католическом движении как о чем-то целостном.

Кто-то из итальянских журналистов удачно назвал ХДП «федерацией различных партий». В ней существуют оформленные течения со своими лидерами, своими печатными органами. При избрании руководящих органов партии учитывается соотношение сил и каждое течение получает соответствующее число мест. В 1954 году, после смерти Де Гаспери, партия пережила период некоторого смятения умов, и в конце концов в результате компромисса между течениями лидером стал Аминторе Фанфани. Подобно Доссетти, он принадлежит ко второму поколению деятелей ХДП (он родился в 1908 году). Как и Доссетти, он интегралист. Католический интегрализм — концепция, согласно которой именно католическая партия должна руководить страной. Доссетти еще в 1947 году требовал, чтобы ХДП приняла на себя всю полноту власти, выполнила свой «исторический долг» и правила страной одна, не идя ни на какие компромиссы и не вступая в коалиции с «капиталистической буржуазией». Фанфани также часто говорит о «матери-церкви», о необходимости «заменить либеральное государство христианским государством». Он стоит за то, чтобы реальная экономическая власть перешла от частнокапиталистических групп к предприятиям, находящимся под контролем государства: ИРИ, ЭНИ, ЭНЕЛ<sup>1</sup>.

Именно в те годы, когда Фанфани стал лидером правящей партии, в Италии начались дискуссии о возможности обновления капитализма и его стабилизации. Мне случилось уже на страницах «Нового мира»<sup>2</sup> писать об организованной в 1962 году Институтом имени Грамши конференции на тему «Тенденции развития капитализма в Италии» и, в частности, о блестящем докладе члена ЦК ИКП Бруно Трентина «Идеология «неокапитализма»<sup>3</sup>. Сейчас некоторые материалы переведены у нас с отличным предисловием молодого советского ученого Е. А. Амбарцумова, и я горячо советую всем, кого эти вопросы интересуют, прочесть эту книгу.

Бруно Трентин писал, в частности, о том, что для того, чтобы понять, как неокапиталистические доктрины влияют на политику господствующих в Италии групп, надо прежде всего тщательно разобраться в католической идеологии. Одной из линий, по которым должно идти изучение «генезиса» взаимопроникновения неокапиталистических доктрин и социальной доктрины католического движения, заявил Трентин, должно быть изучение экономических и политических взглядов группы Доссетти, которая находилась под влиянием американских неокапиталистических теорий. «Оно выражается в основном, — пишет Трентин, — в новой формулировке концепции католического интегрализма, в «омолаживании» старых концепций непримиримых католиков по вопросу об организации общества и государственного устройства»<sup>4</sup>. Нам сейчас любопытно отметить, что Фанфани еще в 1946 году написал книгу, озаглавленную «Североамериканский неволюнтаризм». У группы «Кронаке социале» новейшие неокапиталистические теории сочетались с традиционным католическим корпоративизмом. Установка группы на необходимость «социального контроля над экономической деятельностью» как раз и привела к резким столкновениям с Де Гаспери и поражению Доссетти.

Необходимость проведения серьезных структурных реформ признавали и христианские демократы. Она зафиксирована и в их программе, одобренной на первом съезде ХДП в 1946 году. В частности, крупный деятель ХДП Ванони был автором плана реконструкции экономики, расплывчатого, схематичного, но все же это было первой серьезной попыткой, хотя бы ясным признанием необходимости демократически планировать народное хозяйство.

<sup>1</sup> И Р И — Институт промышленной реконструкции. Э Н И — Общество жидкого топлива. Э Н Е Л — Общество электроэнергетики.

<sup>2</sup> Статья «Итальянский вариант» (№ 12, 1963).

<sup>3</sup> «Тенденции развития капитализма в Италии». «Прогресс». М. 1964.

<sup>4</sup> Там же, стр. 145—146.

Но вернемся к Доссетти. Он и его друзья были, так сказать, интеллектуальной аристократией партии; им завидовали, их не любили и пренебрежительно называли *professorini*. Они, впрочем, выражались по адресу своих противников совсем не вежливо. Но не будем об этом говорить. Факт тот, что взгляды Фанфани и его стремление осуществить некоторые реформы в соответствии с этими взглядами показались большинству его коллег по партии и правительству (он был одновременно лидером ХДП и премьер-министром) слишком рискованными и его решили убрать.

Все было тщательно подготовлено. В начале 1959 года возглавляемая Фанфани группа «Инициатива демократика» собралась в монастыре святой Доротеи и после бурных прений раскололась на две части. Большинство, занявшее главенствующее положение в партии, назвало себя «Импеньо демократико», а меньшинство, оставшееся верным Фанфани, приняло имя «Нуове кронаке», видоизменив, таким образом, название журнала Доссетти «Кронаке социале» и подчеркнув тем самым идейную преемственность. Вскоре после собрания в монастыре святой Доротеи был созван национальный совет ХДП, который в отсутствие Фанфани принял его отставку, утвердив секретарем партии Альдо Моро. Теперь главенствующее в партии течение «Импеньо демократико», собравшее на последнем съезде ХДП 46,5 процента голосов, включает в себя различные группы — от умеренно реформистских до крайне правых.

После поражения в 1959 году Фанфани на некоторое время ушел в тень, потом опять вышел на авансцену, опять был премьером (сейчас он — министр иностранных дел). Между прочим, однажды, будучи премьером, он пришел в такой ужас от засилья бюрократии, что сказал: «По правде говоря, это какая-то подпольная организация: мы о ней не знаем абсолютно ничего». И вот он сделал попытку бороться с бюрократией, и, в частности, с обилием sinecur. Он разослал циркуляр генеральным директорам всех ведомств с просьбой срочно сообщить, какие именно должности они совмещают и какова общая сумма получаемых ими окладов. На циркуляр ответила одна седьмая часть лиц, которым он был адресован, остальные предпочли отмолчаться и благополучно дождались смены правительства<sup>1</sup>.

О Фанфани пишут много. На протяжении своей политической карьеры он терпел одно поражение за другим, но тем не менее сохраняет большое влияние. Его лично считают человеком совершенно честным. Утверждают, что его окружение также отличается щепетильностью в финансовых делах, что группа как будто не получает никаких субсидий. Сам Фанфани провозгласил лозунг «*mani pulite*» — чистых рук. Он пользуется особым влиянием в некоторых областях: Тоскане, Умбрии и других, в этих зонах аппарат Фанфани — это аппарат ХДП, он не нуждается в помощи священников и гражданских комитетов. О нем пишут как о человеке с данными диктатора, у него много приверженцев, но мало друзей, он не прощает обид, он умеет, когда считает нужным, уступать и отступать в предвидении нового рывка вперед и вверх, он обладает большим личным обаянием.

Его группа «Нуове кронаке» сейчас вторая по величине: двадцать два процента голосов в партии. Если верить итальянским журналистам, в ватиканских сферах у Фанфани есть друзья и враги, за него — миланская группа наиболее современно мыслящих иезуитов, объединившихся вокруг журнала «Адзорнаменто социале», против него — самая могущественная группа иезуитов из журнала «Чивильта каттолика». Фанфани упрекают в том, что он весьма неразборчив в политических связях. Один из самых влиятельных его врагов, Марио Шельба, после того, как Фанфани выставил в декабре 1964 года свою кандидатуру на пост президента республики помимо официального кандидата ХДП Леоне, очень ядовито писал в своем еженедельнике «Чентро», что Фанфани нет дела ни до каких принципов и ему со-

<sup>1</sup> «Espresso», № 25, 1965.

вершено безразлично, кто за него голосует, у него теория «компенсации голосов». Мы знаем, впрочем, что такая же теория была у Дзоли, вообще она в ходу.

Опять-таки о политической морали. Мы говорим о разных течениях внутри ХДП. Надо иметь в виду, что их нельзя рассматривать как нечто устойчивое: внутри них существуют подгруппы, течения сливаются или размежевываются, внутрипартийная борьба нередко принимает довольно скандальные формы. Разумеется, между течениями есть серьезные политические разногласия и они неизбежны в такой пестрой по социальному составу партии, в которой представлены разные слои населения с различными, иногда противоположными интересами. Но, кроме этих принципиальных разногласий, сколько фактов совершенно беспринципной борьбы за власть, сколько фактов коррупции, запугивания, циничных сделок, прямого предательства по отношению к тому или иному лидеру.

Крайне правое течение внутри ХДП называется «Чентризмo исполяре», оно располагало на последнем съезде 11,5 процента голосов. Его фактический лидер — Марио Шельба, о котором мы уже не раз упоминали. Вместе с ним там подвизаются Гуидо Гонелла и Марио Чинголани, тот самый, при котором исчезло пресловутое досье Де Мартино.

О Шельбе стоит рассказать подробнее. Восемнадцатилетним юношей он вступил в партию «пополяри» в момент ее основания и стал личным секретарем дона Стурцо. При фашизме он держался в тени, занимался адвокатурой и поддерживал осторожные контакты с некоторыми друзьями, оказавшимися за границей, и с Де Гаспери. Он убежденный антифашист и республиканец и когда-то ясно видел связи фашизма с монополиями, понимал всю степень ответственности старых правящих кругов за приход Муссолини к власти. Лично он всегда считался честным человеком. Но случилось так, что этот старый «пополяри», в котором как будто жили лучшие традиции времен дона Стурцо, превратился в одну из самых зловещих фигур на политической сцене Италии. Его имя связано с репрессиями против партизан, с «мошенническим» избирательным законом, с самым патологическим антикоммунизмом. После окончания войны он вошел в правительство и вскоре стал министром внутренних дел. В страхе перед «коммунистической угрозой» он не брезгал никакими средствами. В 1956 году на шестом съезде ХДП Марио Шельба хвастал долголетней практикой полицейских репрессий и преследованием коммунистов.

Шельба в некотором смысле фигура символическая. Путь, который он прошел, как бы отражает все то, что за эти годы произошло с самой ХДП. Этот приверженец политики сильной руки, обладающий несомненной цельностью характера, оказался вольно или неволью, прямо или косвенно замешанным во множестве политических и уголовных скандалов. Самым громким из них было грязное, кровавое и запутанное дело Монтези. Оно началось с того, что на пляже обнаружили труп молодой девушки Вильмы Монтези, потянулась цепочка расследования, и в убийстве оказались замешанными многие крупные демокристские деятели. Шельба лично был скомпрометирован близким знакомством с одним из главных обвиняемых. В это время он был уже не министром внутренних дел, а премьером, ему пришлось уйти в отставку. Он пользуется среди правых христианских демократов значительным влиянием, претендует на роль руководителя всех правых групп. Он связан с кругами крупной промышленной буржуазии, и для иллюстрации я хочу рассказать об одном интересном эпизоде.

Когда в декабре 1963 года ХДП находилась в состоянии очень серьезного кризиса, вызванного тем, что Шельба и его друзья отказались голосовать за доверие правительству Моро—Ненни—Сарагата, в дело вмешалась «Конфиндустрия». Для того, чтобы укрепить правое крыло и организационно поддержать его, «Конфиндустрия» срочно создала в Риме на улице Кондотти свое собственное бюро по выборам. Его возглавил некий Дженнаро Пистолезе, ответственный редактор миланской экономической газеты «Соле». По мнению радикальной печати, это бюро должно было стать руководящим центром организации, которой предстояло развить свою деятельность по всем провинциям, собирая и объеди-

няя всех, кто был недоволен линией руководства ХДП. Тогда усиленно заговорили о возможности раскола христианско-демократической партии и организации второй католической партии, откровенно консервативной.

В то время называли сорок—пятьдесят депутатов, с которыми «Конфиндустрия» уже установила контакты, назывались имена, в частности Гуидо Гонеллы. Многое зависело от того, какую позицию займет Паоло Бономи, президент «Кольтиватори диретти» («Конфедерации земледельцев»), один из очень влиятельных людей. Что случилось бы, если бы к группе Шельбы—Гонеллы (тридцать семь депутатов) присоединилась группа Бономи, — трудно сказать, главным действующим лицом был Шельба, но он прятался от всех. Наконец его поймали три авторитетных деятеля ХДП — среди них секретарь партии Румор — и объяснились с ним. Шельба требовал, чтобы правительство со всей ясностью и энергией подчеркнуло свой антикоммунистический характер, и настаивал на «антикоммунистических традициях ХДП». Он встретился и с тогдашним президентом Италии Сеньи. Возможно и даже вероятно, что Шельба не имел намерения расколоть партию, он хотел лишь показать Моро, что правое крыло сильно и сплочено, а также что он, Шельба, является признанным лидером этого крыла.

Однако для того чтобы уступить, Шельбе нужен был какой-то удобный предлог. Таким предлогом явилась статья, напечатанная в «Оссерваторе романо» 14 декабря 1963; она называлась «Единство или поражение», и предполагали, что ее написал монсеньер Франко Коста, близкий к Павлу VI. Как обычно, статьи в «Оссерваторе романо» оказалось достаточно: Шельба уступил, бюро на улице Кондотти было ликвидировано, и видимость единства ХДП сохранила. Некоторые представители промышленных монополий продолжают, однако, считать христианскую демократию «тяжело больной» и, кажется, не очень верят в возможность ее выздоровления. ХДП, со своей стороны, не перестает звать к промышленникам. На девятом съезде в сентябре 1964 года секретарь партии Румор в связи с «Памятной запиской» Тольятти распылился в «принципиальном» антикоммунизме, ибо коммунизм — не только антитеза христианскому мировоззрению, но и вообще «противится естественным законам». Обращаясь к промышленникам, Румор просил их «сознавать свои обязанности» и не «преследовать лишь цели максимальной прибыли».

Что касается «Конфиндустрии», она не очень стесняется. Примеров можно привести сколько угодно, но я ограничусь одним. В феврале 1964 года на ежегодной ассамблее «Конфиндустрии», на которой присутствовало около четырех тысяч человек и масса журналистов, президент «Конфиндустрии» Фурио Чиконья (тот самый, напоминаю, что сыграл роль посланца провидения для донна Росси) в своей речи сказал с полнейшей откровенностью: «Мы расположены поддержать и оценить лишь такое правительство, которое пользуется нашими советами и считается с нашими требованиями, не склоняясь перед желаниями толпы и подсказкой специалистов по программированию»<sup>1</sup>.

Сидевшие в президиуме министры — христианские демократы — промолчали. Среди них был Эмилио Коломбо. О нем также надо сказать несколько слов: фигура характерная. Он родился в 1920 году и принадлежит к «третьему поколению». Он доктор юридических наук, автор нескольких серьезных книг. Его карьера началась сразу после войны в юношеских организациях «Ационе католика». Он был близок к доссеттианцам, но никогда не входил в их группу. Очень ловкий и осторожный человек, он продвигался медленно, но верно, почти постоянно входит в состав правительства и обладает большим влиянием. Впервые он выступил на пятом конгрессе ХДП в 1954 году, когда начались разговоры о необходимости социальных реформ. Он тоже высказался за реформы, причем настаивал на том, что, проводя политику реформ, можно тем самым успешнее проводить политику антикоммунизма, оспаривая у коммунистов влияние на из-

<sup>1</sup> «Espresso», № 9, 1964.

вестные слои населения. Коломбо замешан в скандале с бананами и еще в некоторых темных историях, но все ему благополучно сходит с рук. Коломбо принадлежит к течению большинства «Импеньо демократико».

А теперь я хочу рассказать — и это последняя история — о том самом Паоло Бономи, от которого, как считают итальянцы, в значительной степени зависело, решится ли правая группа расколоть христианско-демократическую партию. Он президент Конфедерации земледельцев и глава Федерконсорци (Федерации аграрных консорциумов). Это один из самых могущественных людей в стране. Премьеры приходят и уходят, а Бономи на протяжении двадцати лет как крупнейший феодал бесконтрольно и безнаказанно при помощи своих подручных совершает самые фантастические операции с государственными средствами, ворочает миллиардами, покупает людей, диктует свои условия, чинит суд и расправу, железной рукой подавляет попытки бунта.

Что такое Федерконсорци? На протяжении двадцати лет экономисты, юристы, политические деятели разных направлений, включая христианских демократов, много раз поднимали вопрос о вопиющих безобразиях, творящихся в вотчине Бономи. В 1961 году парламент создал специальную комиссию, которая должна была проводить расследования всех нарушений правил свободной конкуренции. Эту комиссию в просторечии называют «антитрестовской» и на нее первоначально возлагали много надежд. В начале зимы 1963 года комиссии был представлен строго документированный доклад, прозвучавший подлинно обвинительным актом. Из него яствовало, что Федерконсорци не только нарушает существующее законодательство, но не может представить данные о том, куда израсходована «тысяча миллиардов».

Автор доклада Манлио Росси Дориа, не колеблясь, заявил, что Федерконсорци несет главную ответственность за отсталость итальянского земледелия. В то время министром земледелия был Мариано Румор, теперешний секретарь ХДП, сменивший на этом посту Моро после того, как тот стал премьером. Когда разразился скандал с тысячей миллиардов, Румор выступил с решительным опровержением, заявив, что министерство знает обо всей деятельности Федерконсорци. Однако в январе 1964 года Нино Коста, председатель административного совета Федерконсорци, работавший там десять лет и, разумеется, знавший всю подноготную, совершенно неожиданно составил письменный доклад о злоупотреблениях и нарушениях закона в системе Федерконсорци и созвал на 9 января заседание административного совета, чтобы огласить там свой доклад. Все собралось, но Коста запаздывал. Потом оказалось, что его шесть часов подряд «обрабатывали» в кабинете Бономи, где собралась вся главные руководители Конфедерации земледельцев и других организаций, входящих в систему. Нино Косту буквально судили за «предательство», совершенное им по отношению к Бономи, к ХДП и к правительству, поскольку силы, объединяемые Паоло Бономи, — верный оплот демохристианского режима, и Моро даже назвал Конфедерацию земледельцев «продолжением ХДП в деревне».

Скандал вышел невероятный, сенсационный. «Эспрессо», получивший сведения обо всех этих событиях непосредственно из первых рук, сообщил красочные подробности. От Косты требовали, чтобы он забрал обратно свой доклад, уговаривали, грозили, подсунили ему текст, который он должен был по их приказу зачитать на заседании. Друзья Косты, видя, что он запаздывает, боялись, что над ним учинили физическое насилие, и хотели уже звонить президенту республики Сеньи (Нино Коста — его племянник), но тут он явился, вошел в свой кабинет и показал своим друзьям (их было всего несколько человек — председатели консорциумов из Анконы, Бергамо, Болоньи и т. д.) «подсунутый» ему текст. Они читали, заглядывая через плечо. Потом тот, кто держал документ в руках, взглянул на Косту и на остальных, скомкал эту бумагу и бросил ее в корзину. Через пять минут Коста вошел в зал и открыл заседание.

«Эспрессо» писал: «Мы сообщаем все эти подробности не потому, что наших читателей может очень интересовать личная история Косты, человека, который

на протяжении долгих лет как бы в шутку играл роль президента самой мощной экономической, предвыборной и политической организации, когда-либо существовавшей в Италии, и который внезапно понял, какой громадный вред Федерконсорци приносит экономике и моральной жизни страны. Но эти подробности дают живое представление о нравах, укоренившихся в Федерконсорци, о беспорядках, угрозах, насилиях. Лучше, чем любые рассуждения, они показывают, что нельзя дальше терпеть такого положения в организации, которая управляет миллиардами общественных средств»<sup>1</sup>.

Остается рассказать, как дальше развивались события. На заседании административного совета за резолюцию Косты проголосовало четверо, против — семнадцать. Тогда он официально отправил свой доклад в министерство земледелия, и механизм пришел в движение. Бономи уже не властен был помешать созданию парламентской комиссии. И правительство и ХДП должны были как-то реагировать на весь этот скандал. Республиканцы называли Бономи и Федерконсорци «раковой опухолью». Социалисты требовали решительной реформы Федерконсорци. О коммунистах и говорить нечего — их позиция ясна! Но Моро считал нужным настолько решительно взять Бономи под защиту, что это произвело самое странное впечатление. После того, как Бономи выступил на широком собрании с реакционнейшей речью против программирования, против каких бы то ни было изменений в статуте Федерконсорци, против массовых крестьянских организаций «Аллеанца контадини», где объединены социалисты и коммунисты, — после всего этого Моро приветствовал Бономи и даже при всем честном народе обнял его.

Тем временем парламентская комиссия по расследованию деятельности Федерконсорци была создана и работала более года. Тот же «Эспрессо», который все время следил за этим делом, поместил статью об итогах работы этой комиссии. Депутат, член ХДП Луиджи Д'Амато написал доклад на шестидесяти страницах, в котором отклонялись все обвинения против Бономи. «Эспрессо» пишет, что, когда руководящие деятели Федерконсорци прочли доклад, они пришли в восторг: так бы мог написать сам Бономи. В докладе идилично говорится. «Итальянская Федерация аграрных консорциумов — это кооперативное общество с ограниченной ответственностью, членами которого являются провинциальные аграрные консорциумы».

«Эспрессо» добавляет: «Он, однако, забыл сказать, что речь идет о странном кооперативе, который получает от государства большую часть средств, отпускаемых для развития агрикультуры, что он управлял и продолжает управлять всеми закупками, не давая никому никаких отчетов, и принимает в число своих членов лишь тех, кто может предъявить членский билет ХДП и Конфедерации земледельцев»<sup>2</sup>. Еженедельник снова приводит данные о секретных соглашениях Федерконсорци с монополией «Фиат», о разных закулисных сделках и т. д., но тут же добавляет, что не приходится уже рассчитывать на глубокое и объективное расследование: парламентская комиссия выдала Федерконсорци «пожизненное отпущение грехов»: в момент голосования по докладу Д'Амато все политические силы, которые всегда поддерживали Бономи — христианские демократы, либералы, монархисты и неофашисты, — голосовали «за». Только коммунисты и социалисты голосовали «против», но они находились в меньшинстве.

Все это очень понятно. Тот же «Эспрессо» много писал о деятельности «антистретовской комиссии», которой отвели помещение на пятом этаже палатцо Монтечitorio. Там скопились многие тысячи документов: «балансы, подделанные и составленные в двух и трех вариантах, загадочные самофинансирования, прибыли, скрытые не только от налогового обложения, но и от акционеров, которым теоретически они как будто предназначены. Те, кто в нашей стране удивляется подобным вещам, слынут простачками».

<sup>1</sup> "Espresso", № 3, 1964.

<sup>2</sup> Там же, № 26, 1965.



«Эспрессо» утверждал, что буквально всякий раз, когда надо ограничить монополии, парламентская комиссия решительно их защищает: «Как все это получается? По очень простой причине. Всякий раз, когда комиссия должна была занять позицию по отношению к какому-либо конкретному лицу, десять комиссаров-демохристиан блокировались с четырьмя представителями правых против одиннадцати представителей левого центра и левых. Католики неизменно оказываются вместе с либералами, монархистами и неофашистами»<sup>1</sup>.

Осенью 1965 года скандал с Бономи вступил в новую фазу. Во-первых, коммунистическая фракция палаты настойчиво потребовала, чтобы пресловутые отчеты Федерконсорци были наконец представлены, а министр земледелия не смог этого сделать, прозрачно намекнув, что этому препятствует лично Моро. «Ринашита»<sup>2</sup> опубликовала текст памятной записки, которую Нино Коста передал в 1964 году парламентской комиссии по расследованию. Во-вторых, недавно вышла книга Эрнесто Росси «Путешествие в вотчину Бономи», которую та же «Ринашита» характеризует как «драгоценный и неопенимый труд». Книгу эту группа видных общественных деятелей официально препроводила генеральному прокурору республики: в ней содержится множество документов и материалов, разоблачающих деятельность Федерконсорци, Конфедерации земледельцев и лично Паоло Бономи.

«Ринашита» заявляет, что Альдо Моро защищает и покрывает сегодня не только Бономи и всю его группу, «он непосредственно покрывает соучастие, ответственность, незаконные средства, получаемые ХДП, покрывает деятелей ХДП и среди них в первую очередь теперешнего секретаря ХДП, депутата Румора». В связи с этим журнал напоминает о том, как Румор взял под защиту Бономи в истории с тысячей миллиардов.

Я вспоминаю программу партии, созданной доном Стурцо, и думаю о популярности этой партии среди крестьян. Сейчас создана чудовищная надстройка (Нино Коста назвал ее мастодонтом), которая самым наглым образом эксплуатирует этих самых крестьян, производителей, мелких арендаторов, как раз те слои населения, которые по традиции составляют оплот христианской демократии. Мы знаем множество циничных историй, но это — одна из самых циничных и отвратительных. Разумеется, ХДП получает от группы Бономи весьма значительные суммы (она получает их и от «Конфиндустрии», конечно), и все это лишней раз подчеркивает, как далеко зашел процесс разложения христианской демократии.

В двадцатые годы, в трудный час, когда фашисты подавляли остатки демократических свобод, дон Стурцо произнес гордые слова: он сказал, что «пополяри» останутся «моральным резервом нации». Это сказал человек, начавший с обращения «Ко всем свободным и сильным людям». А теперь не подлежит сомнению, что христианско-демократическая партия — главный оплот итальянской буржуазии. Во что вылился пресловутый «интерклассизм»? В чьих интересах действует ХДП, как бы она ни лавировала, на какие ограниченные реформы ни вынуждена была идти?

В Италии часто пишут, что у христианско-демократической партии две души: народно-демократическая и консервативно-реакционная. Это, конечно, правда, беда только в том, что в столкновении этих двух душ до сих пор неизменно побеждала вторая. (Недаром весной 1966 года президентом ХДП был избран лидер правого крыла Шельба.)

Тольятти понял это еще тогда, когда многие христианские демократы, быть может, не вполне отдавали себе отчет в том, как действительно обстоят дела. 24 июля 1946 года Тольятти говорил в Учредительном собрании о резолюции, принятой ХДП в октябре 1945 года, — весьма прогрессивной. Она предусматривала аграрную, промышленную и финансовую реформы, уничтожение всеилия монополий, широкое развитие демократии.

<sup>1</sup> «Espresso», № 26, 1965.

<sup>2</sup> «Rinascita», № 49, 1965.

«Депутат Де Гаспери! — сказал Тольятти. — Мы не требуем от вас ничего другого, кроме осуществления этой программы. Осуществите эту программу — и вы внесете самый большой вклад в дело достижения прочного единства широких масс трудящихся, к какой бы массовой партии они ни принадлежали, ибо вы внесете вклад в дело политического и социального обновления Италии. Мы ожидаем от вас, чтобы вы подтвердили это на деле. Но будьте осторожны, депутат Де Гаспери, смотрите, чтобы в тот момент, когда вы приступите к осуществлению этой программы, не протянулась рука, которая бы удержала вас, и чтобы эта рука не протянулась из самого вашего правительства. Смотрите, чтобы рука, которая попытается вас удержать на этом пути, не протянулась бы изнутри самой вашей партии»<sup>1</sup>.

И предсказание Тольятти сбылось. На протяжении всей истории христианско-демократической партии левые в конечном счете неизменно терпели поражение за поражением. Теперешнее левое течение называется «Форце нуове» («Новые силы»), на последнем съезде они получили 20,7 процента всех голосов. Эта группа объединяет людей, наиболее тесно связанных с трудящимися-католиками: профсоюзные деятели, некоторые деятели АКЛИ (Христианская ассоциация итальянских трудящихся), группа «Базе» (буквально — «Низы»); к группе «Форце нуове» принадлежат и многие из тех, кто так сильно и смело выступал на первом конгрессе в Сан-Пеллегрино. Но беда их в том, что они, очевидно, не могут психологически перейти за какую-то грань: подчинение высшей церковной иерархии почти для всех остается обязательным и непреложным, и этот козырь нередко пускается в ход против них.

Есть левая, прогрессивно мыслящая католическая интеллигенция, неконформистская и смело, хотя не всегда последовательно, отстаивающая свои идеи. Есть журналы левых католиков: «Куэститалия», «Тетто», «Галло», «Локуста», «Тестимоньянца» — они выходят в Венеции, Неаполе, Генуе, Виченце, Флоренции; зачастую они находят очень сильные аргументы и очень гневные слова по поводу всяких безобразий, творящихся внутри ХДП и в государстве. Потенциально силы католической левой велики, практически — они разобщены. Кроме того, порою возникает впечатление, что левые не всегда умеют находить отчетливые политические формулы для выражения своих взглядов и желаний. За самые последние годы наметились возможности их прямых контактов и сопоставления идей с коммунистами. Крупный деятель католической культуры Марно Гоццини составил книгу «Диалог держит испытание», в которой участвуют десять авторов: пять католиков и пять коммунистов. Это интересное и смелое начинание, попытка прямого разговора без взаимной нетерпимости, вне схем, попытка честного спора с целью перекинуть мост.

Статья подходит к концу, и автор ясно видит ее незавершенность: многое сказано вскользь, многое, быть может, несколько субъективно. Я не хотела отказываться от права на личное восприятие, хотя понимаю, что дона Стурцо, и Де Гаспери, и других, с кем читатели встретились на этих страницах, можно воспринимать и расценивать по-разному.

За рамками статьи осталась важнейшая тема: о левоцентристском правительстве, которое находится у власти третий год. Это связано с драмой итальянского социализма, и о таких вещах нельзя писать бегло. Здесь надо поднять новые большие пласты материалов: надо разобраться в противоречиях и расколах, в тяге к единству, в своеобразных путях, по которым идет славное итальянское рабочее движение, в тех социальных и политических силах, которые оказывают серьезное влияние на развитие классовой борьбы в Италии. Каждый день приносит новости, пульс страны бьется неровно, напряженно.

Мне хотелось только сказать в заключение, что Итальянская коммунистическая партия относится к вопросам, связанным с католическим движением, со

<sup>1</sup> Пальмиро Тольятти. Речи в Учредительном собрании, стр. 152.

всей серьезностью и ответственностью. Никто не отрицает, что в прошлом коммунисты не всегда отличались той широтой взглядов, той гибкостью и стремлением к объединению всех сил труда и демократии, которые характеризуют сейчас политическую линию и практическую деятельность ИКП. Начиная с «неаполитанского поворота» вопреки политике раскола, проводимой Де Гаспери, вопреки традиционному антикоммунизму ХДП, вопреки множеству препятствий на этом нелегком пути итальянские коммунисты настойчиво стремятся найти общий язык с трудящимися-католиками и передовой католической интеллигенцией. Это зафиксировано в решениях съездов, об этом много раз, особенно за последние годы, говорил и писал Пальмиро Тольятти.

Трудно делать прогнозы, трудно загадывать, что произойдет через год, через три года. Но все мы верим в поступательный ход истории, и мне кажется, что сама жизнь подсказывает необходимость диалога и контактов во что бы то ни стало. Этого хотят коммунисты, этого хотят, мучительно продираясь сквозь колючую проволоку предрассудков и предубеждений, лучшие представители католической мысли.



---

# ПУБЛИЦИСТИКА

А. БИРМАН

★

## ПРОДОЛЖЕНИЕ РАЗГОВОРА

*(Мысли после съезда)*

### НОВЫЙ ПОДХОД

Решения XXIII съезда партии охватывают широкий круг политических, социальных и экономических проблем. Их разработка станет делом всех общественных наук на протяжении ряда лет. Цель данной статьи — коснуться некоторых вопросов, о которых не так давно уже шел разговор на страницах «Нового мира»<sup>1</sup>, и рассмотреть их в современных условиях, после съезда партии. Прежде всего речь пойдет о сущности и значении хозяйственной реформы, начатой мартовским и сентябрьским (1965) Пленумами ЦК КПСС.

В докладах товарищей Л. И. Брежнева и А. Н. Косыгина, в выступлениях делегатов съезда и в его решениях подчеркивается та важная мысль, что предусмотренные мартовским и сентябрьским Пленумами ЦК КПСС хозяйственные мероприятия должны быть осуществлены полностью. И, как говорится в резолюции съезда о Директивах по пятилетнему плану развития народного хозяйства, «разработанные партией в последние годы методы хозяйственного строительства и руководства экономикой должны получить дальнейшее развитие».

Что же представляют собой эти хозяйственные мероприятия?

В резолюции съезда по Отчетному докладу ЦК КПСС хозяйственная реформа характеризуется как «новый подход к руководству народным хозяйством», как «новая система хозяйствования», как «принципы экономической политики», разработанные партией на современном этапе развития социалистической экономики. Следовательно, речь идет не о тех или иных, хотя и важных, но частных решениях, а о новом подходе к руководству народным хозяйством в целом.

Нужно ли задерживать внимание на этой стороне вопроса? Не ломимся ли мы в открытые двери?

Нам такая необходимость представляется безусловной; в основном мероприятия, проводимые различными органами государственного управления по осуществлению реформы, касаются чисто хозяйственных вопросов и проблем: порядка образования фондов, порядка распределения прибыли, системы материального поощрения, принципов долгосрочного кредитования капитальных вложений и т. д. Совершенно очевидно, что ее осуществление возможно лишь на базе подобных нормативных документов, и этим подчеркивается их значение. При всем том, однако, — и нам думается, что это прямо вытекает из решений съезда, — переход к экономическим методам управления народным хозяйством, осуществление того самого нового подхода, о котором идет речь, не может ограничиваться разработкой инструкций, положений и других чисто хозяйственных документов. Оценка, данная съездом новому этапу раз-

---

<sup>1</sup> «Новый мир» № 12 за 1965 год. Статья «Мысли после Пленума».

вития народного хозяйства СССР, обязывает к неизмеримо более широкому подходу к реформе.

Как известно, в дискуссии, которая предшествовала мартовскому и сентябрьскому Пленумам ЦК КПСС, в центре внимания были показатели планирования и отчетов о работе предприятий. «Вал» или НСО (нормативная стоимость обработки). «человеко-фондо-продукция» или прибыль — вот о чем спорили прежде всего, в чем видели первоисточник всех бед и обид. Съезд ответил на этот вопрос подлинно научно, по-марксистски: «Причинами этих отрицательных фактов явились недостатки в управлении народным хозяйством, недооценка экономических методов руководства, хозяйственного расчета, неполное использование материальных и моральных стимулов, некоторые просчеты в планировании, субъективистский подход к решению ряда экономических проблем». Административные методы руководства народным хозяйством вовсе не следует смешивать с административными функциями государства, что весьма охотно делают сторонники администрирования, желая, грубо говоря, навести тень на плетень. Административные функции присущи государству, и они будут им выполняться, пока оно существует. Более того, можно предположить, что после того, как в коммунистическом обществе государство отомрет, какие-то элементы административного регулирования, несомненно, останутся. Но речь идет вовсе не об этом. Партия совершенно четко указала, что под административными методами управления народным хозяйством она понимает совершенно другое, а именно: попытки из центра регламентировать каждый шаг в деятельности каждого предприятия, ограничивать его десятками различных мелких заданий и показателей, оформлять выпуск любого изделия постановлениями и резолюциями.

Характеристика хозяйственной реформы, данная съездом, требует, на наш взгляд, прежде всего ответа на вопрос: почему пошатнулся новый подход к руководству народным хозяйством?

Это очень важный вопрос, и его разработка, можно в этом не сомневаться, потребует немало сил и времени у советской экономической науки. Дело в том, что прошедшие десятилетия для нашей страны, для Советского Союза, — уже история. Но для других народов, которым предстоит еще вступить на путь строительства социализма, — это будущее. Наш интернациональный долг состоит в том, чтобы самым тщательным образом разобраться в истории строительства социализма в СССР, выяснить и сказать народам, что мы делали правильно, что делали неправильно, однако поступали так потому, что не имели другой возможности, а что было и вовсе неправильным при всех условиях. Эта наша обязанность перед трудящимся человечеством в историческом плане по своему значению не только не меньшая, но, пожалуй, неизмеримо большая, чем даже конкретная помощь поставкой оборудования, передачей технического опыта или строительством заводов и институтов, при всем огромном значении этой помощи. Но чтобы сказать другим, надо сперва разобраться самим.

Итак, почему же потребовался новый подход? Легче всего ответить: потому, что выросло хозяйство, усложнились взаимосвязи между отраслями производства. Такой ответ, будучи правильным, представляется нам все же неполным и, так сказать, описательным. По-иному ответил на этот вопрос на съезде секретарь Московского городского комитета КПСС Н. Г. Егорычев:

«В короткий исторический срок у нас создана передовая техника, подготовлены кадры, в совершенстве владеющие техникой. И это стало возможным благодаря огромной созидательной работе партии и народа.

Но думается, что на каком-то этапе была допущена некоторая недооценка всей важности марксистско-ленинского положения о том, что исключительно высоким темпам развития производительных сил при социализме должно в полной мере соответствовать и совершенствование производственных отношений, а социалистический способ производства впервые в истории создает для этого все условия, но, разумеется, не действует автоматически».

Это объяснение представляется нам чрезвычайно важным. В самом деле, в течение многих лет у нас явно недооценивали влияние и роль производственных отношений. Между тем В. И. Ленин придавал им значение исключительное.

В самые первые месяцы существования Советского государства Ленин в своих работах неоднократно ставил вопрос о том, что является самым важным для установления нового общественного строя. Казалось бы, что в условиях того трудного времени он будет говорить о создании вооруженных сил, подавлении белогвардейщины и т. д. Между тем Владимир Ильич на первый план выдвигает совершенно другое — организацию учета и контроля, понимая их, разумеется, не как бухгалтерские операции, а как привлечение миллионов трудящихся к управлению государством. Через год-другой Ленин ставит вопрос о том, есть ли у нас необходимые условия для построения социализма. Можно ожидать, что он начнет с перечисления природных ресурсов, производственных мощностей, специалистов и т. д. Это ведь было бы естественно, не правда ли? А какой ответ дает на это Владимир Ильич? Он пишет, что у нас есть все необходимое для построения социализма, не хватает лишь умения управлять. В работе, написанной накануне Октября, поднимается проблема: при каких условиях начнется переход от социализма к коммунизму, от первой ко второй фазе коммунистического способа производства? Вроде бы уместно говорить о производстве на душу населения, о тоннах и киловатт-часах. А Ленин пишет совершенно иное: переход от социализма к коммунизму начнется тогда, когда каждый получит возможность и фактически будет участвовать в управлении производством.

Иначе говоря, всюду на первом месте — производственные отношения. Это отражено и в знаменитом, классическом определении сущности коммунизма: советская власть плюс электрификация всей страны, под которой (электрификацией) имелось в виду, конечно, не просто производство киловатт-часов электроэнергии, а полное преобразование характера труда и процессов производства на базе высшей техники.

Сказанное совершенно не означает, что Ленин недооценивал или, более того, отрицал роль производительных сил в строительстве социализма. Напротив, он говорил о том, что мы экономим на всем, даже на школах, лишь бы создавать тяжелую промышленность; что, даже будучи свободными на свободной земле, мы погибнем, если не создадим тяжелую промышленность. Он подчеркивал, что социализм немислим без машин, без современных средств транспорта и связи. При всем том, повторяем, на первом месте всюду стояли производственные отношения. Ленин четко различал материально-техническую базу общественного строя и сам строй; фундамент, на котором строятся здания, и само здание. Их не надо противопоставлять, их нельзя отождествлять. Ведь машины, механизмы, тонны и киловатт-часы в огромном количестве производятся и в США, и в ФРГ, и в других капиталистических странах. Однако сами по себе, известно, они не создают никакого социализма.

В годы культа личности в указанной области произошли существенные изменения. Чем дальше, тем больше суть дела сводилась к созданию промышленных центров, количеству точно-километров, киловатт мощностей и киловатт-часов электроэнергии. Задачи, стоявшие перед нашей страной после окончания Великой Отечественной войны, как известно, и были сформулированы в виде нескольких цифр, характеризовавших объем производства стали, угля, нефти и электроэнергии. При таком понимании сущности социалистического строительства условия хозяйственной деятельности, экономические рычаги отходят на второй план. При каких условиях строятся электростанции — не так важно, главное в том, чтобы они были построены и производили электроэнергию. Поэтому — план любой ценой. Поэтому — прежде всего количество и пренебрежение к качеству. Поэтому — фетишизация показателей плана. Поэтому — административное требование выполнять любой показатель плана, хотя бы в изменившихся условиях хозяйствования изготовляемая продукция менее нужна, а то и вовсе не нужна.

Усиление роли производственных отношений должно сказаться решительно во всем, и потому было бы несерьезным пытаться в данной статье охватить все связанные с этим вопросы. Однако на некоторых из них остановиться необходимо.

Вероятно, прежде всего — и об этом говорилось в докладах и выступлениях делегатов съезда — должно значительно усиливаться внимание к социальным аспектам и последствиям развития экономики. Эти социальные аспекты, если говорить формально,

не входят ни в какие колонки производственных заданий и не поддаются исчислению в процентах. Тем не менее их важность и значение для создания материально-технической базы коммунизма исключительно велики. Бесспорно, что за годы семилетки мы достигли успехов в развитии металлургии, химии или реконструкции железнодорожного транспорта неизмеримо больших, чем, скажем, в ликвидации различного рода предрассудков и пережитков прошлого в сознании людей. Такой результат не в последнюю очередь объясняется тем, что зачастую отождествляются человек и выполняемое им дело. Точнее говоря, в центре внимания не сам человек, а выполняемая им работа. Мы сплошь и рядом судим о человеке лишь по его делам. Это правильно, если в таком подходе соблюдать необходимую меру. И это совершенно неправильно, если попросту отождествлять человека и работу: можно быть передовиком на стройке, на заводе или в совхозе и совершенно отсталым человеком в быту. К сожалению, таких примеров куда больше, чем хотелось бы.

Отсюда новая и сложная задача — разработать на каждом предприятии не только пятилетний план прироста производственных мощностей и увеличения реализации продукции, но и принять конкретные и решительные меры для духовного роста трудящихся. Об этом хорошо сказал на съезде секретарь Ленинградского областного комитета КПСС товарищ Толстиков. Что будет с каждым рабочим и служащим данного цеха, предприятия в 1970 году? Каким станет каждый из них? В какой мере удастся им осуществить свои мечты, желания, планы, которые, естественно, не сводятся только к тому, чтобы на столько-то процентов больше выплавить чугуна или изготовить обуви. Сейчас, разумеется, трудно говорить об этой работе конкретно — для этого попросту нет никаких данных. Здесь непочатый край работы для социологов, и нужно отдать справедливость — они горячо и широко берутся за эту работу. Однако в общей форме о социальном разрезе пятилетнего плана необходимо говорить и прямо, непосредственно, когда речь идет об экономике.

В предыдущем очерке в «Новом мире» мы обращали внимание читателей на важную особенность экономических методов управления народным хозяйством, которая состоит в том, что надо добиваться повышения производительности общественного труда, соблюдения режима экономии, улучшения использования фондов и в конечном счете роста рентабельности производства, воздействуя на и интересы каждого трудящегося, каждого коллектива. Среди этих интересов, как нам представляется, на первом месте стоит естественное стремление каждого человека работать по способностям, дать выход своим наклонностям, стремлениям, иметь возможность делать ту работу, к которой лежит душа. Только в этом случае будет покончено с текучестью рабочей силы (хотя, разумеется, одного этого недостаточно), с пассивностью, с безынициативностью какой-то части рабочих и служащих, с халатностью, с браком и другими недостатками.

В этом важном экономическом вопросе, как, впрочем, и во всех других, не следует забегать вперед и заниматься прожектерством. Только на стадии коммунизма общество будет располагать возможностью получать от каждого по способности. Следовательно, речь идет не о том, чтобы решить эту исключительной сложности проблему в течение, скажем, данной пятилетки. Нет, постановка вопроса куда более скромная. Имеется в виду серьезный подход к этой задаче, начало ее осуществления, подразумеваемая под началом планомерную работу коллективов предприятий, местных Советов, партийных и других организаций; имеется в виду, чтобы эта сторона экономики, эта сторона организации общественного труда привлекала бы столько же внимания и разрабатывалась бы так же по-деловому, как, скажем, составление баланса использования оборудования или сырья. Уделяем же мы (и правильно делаем) огромное внимание правильности использования каждого вида продукции! Стремимся же мы каждую тонну материала применить именно там, где только она может быть применима, и заменять ее менее дефицитным или более дешевым материалом, где то позволяют технология и экономика! Почему же не подойти с такой же точно меркой к организации общественного труда, к использованию кадров? Совершенно очевидно, что такая организация, такой уклон в работе с кадрами куда более соответствует достигнутому уровню развития производственных отношений в нашей стране, чем просто набор людей.

На съезде заслуженно уделялось большое внимание проблеме воспитания, в частности воспитанию молодежи. В этой области важно преодолеть, если так можно выразиться, «параллельное» решение экономических и воспитательных проблем, когда в одних колонках и графах предусматриваются задание, выработка и заработная плата, а в других — проблемы воспитания. Решать обе эти задачи как одну — вот что вытекает из решений съезда, вот что, как нам представляется, включает в себя новый подход к руководству народным хозяйством.

В этой связи следует более внимательно подумать о социальных последствиях тех чисто конкретных экономических рычагов, которые применяются в народном хозяйстве: нормы выработки, формы и методы установления расценок, системы оплаты труда и т. д. Известно, что недостатки тех или иных чисто экономических показателей (того же «вала», к примеру) состояли ведь не только в том, что искажались цифры, характеризующие работу предприятия. Нередко при этом наносился огромный моральный ущерб, если люди были вынуждены поступаться своей совестью, если на это их толкали задания производственной программы и существовавшие методы материального поощрения и оценки работы. Короче говоря, речь идет опять-таки о социологическом подходе к хозяйству.

Из сказанного вовсе не следует, что в экономике нет ничего устойчивого. Мораль другая: не надо связывать себя догмами, положениями, правильными при одних условиях и подчас бессмысленными в других. Возможно, что воплощение в жизнь этого требования подлинной экономики окажется наиболее сложным делом при проведении хозяйственной реформы.

Мало менять колонки, таблицы и показатели. Важно серьезно перестроить психологию командиров производства. Надо научиться по-настоящему «смотреть в корень». Не все то золото, что блестит. Самое трудное состоит, видимо, в том, что опять-таки не может быть единой команды для всех. И вовсе не требуется все брать под сомнение. То, что не годится в текстильной промышленности, может дать огромный эффект в лесозаготовительной или на железнодорожном транспорте. Еще и еще раз полезно вспомнить слова Ленина о том, что в такой огромной стране, как наша, и в таком новом деле, как строительство коммунизма, шаблон и рутина недопустимы, вредны и опасны.

Станки, моторы, ботинки и конфеты изготавливают не только в СССР, но и в капиталистических странах. Можно предположить, что технология производства более или менее одинакова, а политические и экономические последствия диаметрально противоположны. В результате роста производства в нашей стране укрепляется и совершенствуется социалистический строй, диаметрально противоположный и принципиально отличный от строя капиталистического. Поэтому никак нельзя забывать о социальной стороне хозяйствования.

Но нередко именно об этой стороне хозяйствования забывают, отчего получается вред, который не возместить никакой суммой дополнительных рублей накоплений. Впрочем, в подобных случаях — и это закономерно — и накоплений получается не больше, а меньше.

Что имеется здесь в виду? А хотя бы бессмысленная работа. Изготовление изделий, не имеющих сбыта; спешка, ведущая к браку в проектах, и т. д. Вель эта работа не только убыточна в прямом смысле этого слова. Она наносит огромный моральный ущерб, так как работающие не могут не понимать, что поступают они плохо. И тот факт, что они вынуждены работать плохо, что условия оплаты труда и показатели выработки, установленные для них, заставляют их именно так трудиться, разумеется, сводит на нет любые политбеседы и другие мероприятия, проводимые общественными организациями для повышения политического уровня этих работников.

Или же другой пример. В свое время в печати приводились факты, когда шоферы грузовых машин выливали десятки литров бензина, оказавшегося «экономленным», так как им приписывали тонно-километры работы, которых в действительности не было. Разве не очевидно, что, совершая такое по сути дела преступление, шоферы теряли морально (и общество в целом вместе с ними) не меньше, чем стоил



вылитый бензин. А какие социальные последствия имеет так называемая «выводилка», которая на ряде строек давно уже заменила сдельную форму оплаты труда! Свое название эта «система» оплаты получила потому, что строителям, независимо от его действительной работы, «выводят» определенный заработок, допустим — сто десять рублей в месяц. Чтобы эта цифра не бросалась в глаза, ее несколько разнообразят: сто рублей в январе и, допустим, девяносто рублей в феврале. Таким легким способом иные прорабы прикрывают простои и другие промахи в организации работ. Но можно ли покрыть моральный ущерб, наносимый трудящимся подобного рода действиями?

«Это самая вредная, прямо-таки трагическая сторона в действии неудачно назначенных показателей планирования,— пишет известный авиаконструктор Герой Социалистического Труда О. К. Антонов в книге «Для всех и для себя». — Мы идем к коммунизму, но сколько препятствий нагромождает сами подчас на этом пути, каким испытаниям подвергаем совесть простого труженика, честь и совесть руководителя! Что может сделать воспитательная работа, проводимая на собраниях и лекциях, литературой, кино и живописью, если в своей трудовой практике советский человек порой принуждается неуклюжими «показателями» к действиям, противоречащим его совести, пониманию общественной пользы?

Ведь трудовой фактор в воспитании — это фактор не эпизодический. Уж если заложено противоречие между «планом» и совестью, то оно действует ежедневно, ежедневно и в массовом масштабе».

Трудно согласиться с тем, будто все эти беды вызваны тем, что основным показателем хозяйственной деятельности служит валовая продукция, попросту говоря «вал». Мы думаем, что такое представление наивно. Дело, конечно, не в показателях, а в тех методах администрирования, при которых реальные возможности работников влиять на организацию производства в ряде случаев были крайне ограничены. Разве не ясно, что, не будь всего этого, «выводилка» или другие подобные явления не могли бы продержаться ни одного дня независимо от того, в каких показателях планируется и учитывается деятельность предприятия?! Это обстоятельство нужно особо отметить, потому что неправильное указание причин толкает и на неправильное следствие. Можно ввести любые другие показатели, но если не осуществлять на деле проводимый партией курс на широкую демократизацию основ хозяйственной деятельности, то всякого рода извращения (а мы перечислили далеко не все) сохранятся и в дальнейшем.

Хотя после октябрьского (1964 года) Пленума ЦК КПСС прошло еще не так много времени, тем не менее и за этот короткий срок многое сделано для выкорчевывания шумихи, хвастовства, шапкозакладательства, очковтирательства и многих других явлений, чуждых и не совместимых с социалистическими производственными отношениями, но прилипших к ним и цепко держащихся. Хозяйственная реформа — и об этом четко сказано в решениях XXIII съезда — органически включает в себя развитие демократического централизма, расширение прав коллективов предприятий и их возможностей влиять на условия хозяйствования. Дело теперь за тем, чтобы линию партии и в этом вопросе проводить в жизнь до конца.

Однако расширение демократических основ хозяйствования — проблема не только моральная, но и чисто экономическая в самом прикладном смысле этого слова. И вот почему. Частный предприниматель, принимая то или иное решение, отвечает за него своим капиталом. В одних случаях это приводит к осмотрительности, в других — стимулирует риск. Работник министерства или главка, как и директор завода, в нашей стране находится в ином положении. Экономическая пружина непосредственно на каждого из них не давит. Поэтому иной раз и появляется безответственный оптимизм или столь же безответственный запрет. В первом случае выпускаются десятки тысяч ненужных швейных машин, во втором — возникает дефицит горчичников или лезвий для безопасных бритв.

Коллективный разум и коллективная воля — единственное противоядие против подобных субъективных ошибок хозяйственных руководителей.

Новый подход к руководству народным хозяйством будет состоять, по-видимому, и в крутом изменении оценки работы каждого предприятия коллективом самого этого

предприятия. Тридцать—тридцать пять лет назад, когда впервые складывались основы централизованного планирования и им охватывались предприятия, задача, естественно, состояла в том, чтобы каждый коллектив отвечал за свою работу, как она выглядит в его балансе. В этих условиях, понятно, снижение себестоимости продукции рассматривалось как важнейший показатель, и показатель себестоимости продукции действительно был важнейшим. Необходимо было приучить предприятия к строжайшему соблюдению режима экономии, к комплексной экономии на всех этапах производства. Однако в дальнейшем оказалось, что такой подход уже недостаточен. При всем том, что строительство материально-технической базы коммунизма ведется с помощью товарно-денежных отношений, что коллектив каждого предприятия выступает как товаропроизводитель, ответственный перед обществом за сохранность и приумножение переданного этому коллективу национального достояния (Уставный фонд), что для этой цели действительно необходимо стремиться к максимально возможному уменьшению издержек производства и обращения,— при всем том преобладающим является социалистическая собственность на средства производства. Любое другое советское предприятие коллективу каждого предприятия должно быть так же близко, как и свое. Отсюда следует, что пришла пора подняться на высший класс оценки результатов хозяйствования и мерить успехи не только балансом данной фабрики, данного завода, а балансом народного хозяйства в целом. И тут еще трудно сказать, что важнее: сэкономить ли три рубля на своем заводе или, потратив их и добившись повышения качества продукции, получить для общества в целом гораздо большую прибыль, хотя она пойдет по отчету другого предприятия.

Но здесь вторично предоставим слово О. К. Антонову.

#### ЧТО ВАЖНЕЕ: СЕБЕСТОИМОСТЬ ИЛИ «ТЕБЕСТОИМОСТЬ»?

Слово «тебестоимость», приведенное О. К. Антоновым, выражает одну из центральных идей его книги — в основу оценки работы предприятий ставить интересы и потребности народного хозяйства. Практически эти интересы выражает потребитель — предприятие или каждый из нас. Если встать на такой путь, исчезнет планирование программы производства оборудования в тоннах, перевозок — в тонно-километрах, задания леспромхозам — в виде количества спиленных деревьев, программы трактористов — в гектарах и т. д.

Выражая это справедливое мнение, сентябрьский Пленум ЦК КПСС и утвердил в качестве основного показателя работы предприятия реализацию продукции, то есть получение и оплату потребителем, что, разумеется, не умаляет значения производственной деятельности, которая была, есть и будет основным видом хозяйственной деятельности. Однако разработкой конкретных показателей соответствующие органы будут заниматься еще в течение довольно длительного времени и, как нам представляется, им, безусловно, было бы полезно учесть замечание, которое приводит автор:

«Сделаем небольшой расчет, показывающий эффективность работы завода. Если завод ремонтирует в год «скоростным» методом 13 500 автопокрышек, эти покрышки выдержат 6 750 000 километров пробега. А если как следует отремонтировать 5 тысяч покрышек, они будут выдерживать по 5000 километров пробега каждая вместо 500. И общий пробег составит 25 000 000 километров. Следовательно, экономический эффект от деятельности завода увеличится в 3,7 раза, а срок службы автопокрышки в десять раз. Разве можно отмахиваться от таких выводов, особенно если учесть, что автопокрышки очень дефицитны».

Кто же мешает повернуть всю работу предприятий в сторону максимального учета нужд потребителей? Как ни странно... задания по снижению себестоимости продукции! В свое время, в начале тридцатых годов, было целесообразно указывать предприятию, на сколько оно должно снизить себестоимость продукции. Это был период, когда планирование только-только входило в практику хозяйствования и надо было приучить предприятия укладываться в пределы общественно-необходимых затрат на производство и реализацию продукции. Невозможно отрицать тот факт, что в течение

нескольких десятилетий задание по снижению себестоимости продукции было основным показателем, характеризовавшим качество производственной деятельности предприятий. В силу многих причин — и теоретических и практических — прибыль в те годы не могла играть присущей ей при социализме роли, и ее место с достаточным успехом занимал показатель себестоимости продукции. Однако в последние годы положение существенно изменилось. Сейчас в очень многих случаях для народного хозяйства выгоднее произвести некоторые дополнительные затраты в процессе производства и получить машины, приборы или любые другие изделия с гораздо большей прочностью или надежностью. Оказывается, что экономия такого рода на издержках разорительна для народного хозяйства. Однако показатель по снижению себестоимости продукции, поскольку он был в свое время утвержден, получил директивную неколебимость и стал действовать вслепую, независимо от тех действительных последствий этой так называемой экономии для народного хозяйства. Вот что, кстати, пишет по этому поводу О. К. Антонов:

«Казалось бы, кто может сомневаться в том, что себестоимость продукции надо снижать? Да, снижать надо, если народное хозяйство получает ту же продукцию, того же качества при меньших затратах труда, материалов, энергии и т. п. Тут все ясно. А как быть, если народнохозяйственную полезность продукции можно резко повысить, но это вызывает и некоторое повышение себестоимости?»

На это современная система планирования и показатель «себестоимости» отвечает однозначно: не повышать полезность, если это повышает себестоимость!»

Фетишизация показателей, как и любая другая фетишизация, способна причинить огромный ущерб. Года два назад в издательстве «Знание» вышел сборник научно-художественных очерков «Если дружить с экономикой...». В умном и глубоком очерке под интригующим названием «Разоблачение икса» О. Р. Лацис показал, какие любопытные обстоятельства складываются порой в хозяйственной деятельности. При определенных обстоятельствах бывает так, что ручной труд оказывается эффективнее механизированного; при определенных обстоятельствах менее долговечные подшипники лучше более прочных; перерасход кожи порою выгоднее, чем ее экономия, и т. д. и т. д.

Проблема «тебестоимости», то есть оптимального сочетания интересов потребителя и производителя, решается преимущественно посредством экономически обоснованных цен. Поставщику должно быть гарантировано возмещение в цене плановых, объективно необходимых издержек производства и образование нормальной рентабельности. При этом он должен иметь возможность повышать затраты, если они окупаются дополнительной выгодой для народного хозяйства. Потребителю тоже должно быть выгодно применять самые прогрессивные машины, приборы и материалы.

Интересы потребителя и поставщика не всегда прямо совпадают. Первые экземпляры новых машин и материалов могут быть очень дороги. Возможны и другие несоответствия. Их должна предусмотреть экономически обоснованная, гибкая система цен для поставщиков, сбытовых органов, потребителей. В соответствии с указаниями Пленумов ЦК КПСС сейчас идет напряженная работа над проблемой цен. Но уже подходит пора выносить проекты из стен кабинетов на суд общественности.

### УЧИТЬ ДУМАТЬ!

Недостаточная полнота представления о масштабах хозяйственной реформы сказывалась до XXIII съезда КПСС, в частности, и в том, что реформа охватывала только сферу производства, точнее говоря, преимущественно промышленность. Экономическая наука, подготовка кадров экономистов, разработка программ, учебников и учебных пособий продолжались более или менее по-старому, словно бы их не касались принципиальные изменения, предусмотренные мартовским и сентябрьским Пленумами ЦК КПСС. Чтобы не давать повода для кривотолков, надо пояснить, что, собственно, имеется в виду. Разумеется, во всех программах и учебных планах, в лекциях и на

семинарских занятиях, а также в рукописях учебников и учебных пособий решения Пленумов нашли широкое отражение. Иного и представить себе невозможно! Однако это отражение состояло в том, что были вписаны соответствующие страницы в те разделы, которых непосредственно касались решения Пленумов. Были изменены отдельные формулировки в прежних программах и т. д. Иначе говоря — по-старому говорили о новом. Между тем очевидно, что новый подход должен затронуть саму экономическую науку: и разработку проблем, и обучение студентов.

Можно ли представить себе, что в то время, когда директора предприятий, плановые, финансовые и другие работники должны проделать огромную, не только чисто экономическую, но и психологическую работу, чтобы оказаться способными осуществить хозяйственную реформу, как того требует партия подготовка экономических кадров для нужд завтрашнего дня будет вестись вчерашними и даже позавчерашними методами?

Вряд ли можно сомневаться в том, что новый подход к управлению народным хозяйством означает и новый подход к разработке экономических проблем, к подготовке экономических кадров, к обучению экономике будущих инженеров, агрономов и других специалистов. Разумеется, в данной статье не ставится задача сформулировать суть этого нового подхода. Лишь в результате многих научных и методических дискуссий и конференций, в которых будут участвовать тысячи научных работников и преподавателей вузов, будет сформулирован такой ответ. Однако для начала некоторые вопросы следует поставить.

Что должно быть основным, коренным в обучении экономике? Нам думается, что проблема эффективности, рентабельности производства. О чем бы ни шла речь — о размещении предприятий или их специализации, о техническом прогрессе в промышленности или о выведении новых пород скота, о тарифной системе или распределении прибыли — все должно рассматриваться под углом зрения того, какой эффект получает народное хозяйство при том или ином варианте решения вопроса. Как нам представляется, подобный подход к проблеме позволит решительно ликвидировать «словесный» характер изучения экономических наук, описательность, господствующую во многих учебниках и программах. А это едва ли не наибольшие беды экономической науки и обучения экономике сегодня.

Из сказанного вовсе не следует, что рентабельность — это единственный критерий, что ее значение нужно фетишизировать. И все же следует еще раз напомнить, что Программа партии выдвигает как важнейшее требование задачу получения наибольшего результата для народа при наименьших затратах.

Новый подход к экономическим проблемам, несомненно, коснется и методики ведения научных исследований, методики обучения экономике. Не секрет, что здесь преобладает пока что стремление наполнить голову студента и аспиранта как можно большим объемом фактических знаний. Однако нередко такой действительно многознающий студент, придя на предприятие в качестве молодого специалиста, оказывается не подготовленным к практическому использованию своих знаний. Темы дипломных и курсовых работ чаще всего нацеливают на анализ и описание явлений, а не на их изменение к лучшему. Будущим молодым специалистам в стенах экономических вузов в совершенно недостаточной мере прививаются организаторские навыки, умение управлять, руководить.

Касаясь методики обучения, делегаты съезда, выступавшие устно и в печати, сформулировали основное требование в виде лозунга: учить думать! Это требование, безусловно, верно применительно к любому специалисту, во сто крат важнее для тех, кто занимается экономикой, для экономистов, потому что здесь неизмеримо больший выбор возможных вариантов, а их конечные последствия куда менее очевидны, чем когда речь идет о тех или иных формах технологии производственного процесса. Полезно напомнить слова Маркса о том, что в области экономических наук мало помогают микроскоп или химические реактивы, здесь важнее всего способность к научной абстракции, то есть, проще говоря, к всестороннему умственному представлению о выборах путей решения той или иной практической задачи и о возможных его результатах.

### «ПУСКОВОЙ ИМПУЛЬС»

Чтобы привести в движение гигантский многомоторный самолет, достаточно небольшого толчка стартера. Соотношение между мощностью моторов и стартера может быть как между миллионом и единицей. Однако без действия стартера моторы не работают.

Проблема «пускового импульса» представляется чрезвычайно важной и когда речь идет о хозяйственной реформе. В самом деле, в течение десятилетий миллионы людей изо дня в день работали, добивались успехов, допускали ошибки, но, в общем, делали свое дело, и неплохо. Теперь речь идет о том, чтобы они в короткий срок не только стали работать значительно лучше, но во многом преодолели навыки, складывавшиеся в течение этих десятилетий в силу тех объективных условий, в которых протекала их производственная деятельность. Скажем, раньше при разработке плана на предстоящий год приходилось учитывать, что этот план хорошо бы выполнить на несколько дней досрочно; что сверх этого плана будут социалистические обязательства, их тоже неплохо бы выполнить досрочно; что от прибыли, полученной сверх плана, отчисления в премиальные фонды примерно в десять раз выше, чем от той же суммы прибыли, если она была заранее занесена в план. Практическим последствием указанных объективных условий была тяга к некоторому прикрыванию резервов, к использованию их исподволь. Теперь все меняется. Прямая выгода каждого предприятия состоит в том, чтобы решительно все имеющиеся резервы вложить в план. Эта выгода изложена в соответствующих параграфах соответствующих положений и инструкций. Достаточно ли этого, одного этого, чтобы миллионы людей сразу повернули на сто восемьдесят градусов?

Во всех учебниках по экономике и организации производства написано, что необходимо стремиться к сокращению вспомогательного времени, к уменьшению переналадок оборудования, к увеличению объема производимой партии однородной продукции. Между тем хозяйственная реформа требует от тысяч предприятий, изготавливающих предметы потребления, крутых перемен и в этой области: быстрого приспособления программы к требованиям моды, малых партий однородных товаров, как можно большего расширения ассортимента, производства дополнительных затрат, если они увеличивают спрос или по другим причинам выгодны народному хозяйству в целом.

Могут ли подобные изменения произойти сразу и в течение короткого срока? А ведь никто не заинтересован в том, чтобы новые формы хозяйственного руководства внедрялись в вялом темпе и в течение многих лет. Поскольку все мы убеждены, что переход к экономическим методам управления несет с собой огромную дополнительную выгоду народному хозяйству, то очевидно, что желательно сократить период перехода, разумеется, не создавая спешки и сутолоки. Точно так же мероприятия, намеченные мартовским и сентябрьским (1965 года) Пленумами ЦК КПСС и подтвержденные XXIII съездом партии, предусматривают существенное расширение прав предприятий и усиление элементов демократизма на самих предприятиях. Опять-таки эти изменения не могут быстро и эффективно воплотиться в жизнь на том лишь основании, что будут выработаны соответствующие положения и инструкции. Нормативные государственные документы, безусловно, необходимы. Однако одних их недостаточно. Требуется «пусковой импульс» — совокупность организационных, моральных и материальных мер и стимулов, в результате которых каждый работник предприятия — от директора до кладовщика — сразу почувствует, что действительно введены в действие новые методы управления народным хозяйством, новые формы планирования, руководства, стимулирования.

Можно бы сказать, что в общем виде эти вопросы ни с чьей стороны не вызывают возражения. Однако горячие дебаты начинаются вокруг того, есть ли у нас материальные ресурсы для указанного «пускового импульса». И расстановка сил здесь примерно такая: хозяйственники убеждены, что такие ресурсы есть в достаточной степени, а некоторые работники Комитета по труду и заработной плате и особенно Министерства финансов клятвенно заверяют, что средств нет и потому рассчитывать сразу на что-нибудь крупное и осязаемое не приходится. Иначе говоря, они отрицают по существу

возможность создания этого «пускового импульса» в той части, в какой он касается материального поощрения.

«Чем больше Минфин односторонне экономит на фонде зарплаты, штатах и премиях и чем больше вводит всевозможных ограничений и запретов по расходования государственных средств, тем труднее становится сбалансировать бюджет», — пишет О. К. Антонов.

Верны ли приведенные слова? Нам трудно, разумеется, дать совершенно точный ответ: его могут дать лишь работники Министерства финансов. Но что в процессе выполнения семилетнего плана ряд заданий оказался невыполненным в связи с нехваткой ресурсов — это бесспорно. Да и сейчас проблема ресурсов приобретает исключительное значение. Чтобы проводимая хозяйственная реформа дала тот колоссальный эффект, который в ней потенциально заложен, необходим немалых размеров «пусковой импульс». Проще говоря, нужно существенно повысить материальную заинтересованность трудящихся в результатах хозяйствования. Где же взять ресурсы для поощрений?

Проблема эта сейчас оживленно обсуждается в среде тех практических работников, которые участвуют в экспериментальном переводе предприятий на новую систему хозяйствования. Как и во всякой дискуссии, выявились две точки зрения. Одни считают, что нужно сперва в результате новых форм хозяйствования получить значительные дополнительные накопления и затем из них увеличить стимулирование. Другие полагают, что без указанного «пускового импульса» реформа будет проходить в вялом темпе и даст крайне малую долю того, на что она способна. Повторяя уже сказанное в своей первой статье, мне хочется еще раз поставить вопрос: что же такое премии — расход или семена? Если семена, то, видимо, с их использования начинается борьба за урожай.

Когда не хватает угля, обращаются к шахтерам. Когда нужны дополнительные ресурсы, правомерно посмотреть на работу Министерства финансов. Где, в чем и как оно ищет и находит ресурсы?

Впервые я познакомился с работой этого ведомства ровно тридцать лет назад. Работники отраслевых отделов и управлений Наркомата финансов анализировали бухгалтерские отчеты предприятий, выделяли внереализационные доходы и потери: первые, чтобы изъять доход из бюджета, вторые, чтобы исключить из «базы» и не допустить тем самым преуменьшение заданий по прибыли в плане будущего года. Они кропотливо изучали размеры и состав административно-управленческих расходов с тем опять-таки, чтобы внести предложения по их сокращению. Рассматривая отчеты строительных организаций, они концентрировали внимание на лежащих на площадках материалах, требуя (и совершенно справедливо) их употребления в дело. Чем занимаются сейчас, тридцать лет спустя, работники финансовых органов? Тем же самым. Формы, методы, содержание работы финансового аппарата за это время не изменились или почти не изменились.

А между тем народное хозяйство, как известно, совершенно не то, что было в годы второй пятилетки, и ресурсы нужно искать совсем не там.

...Каждая пора года имеет у нас свои характерные приметы. Зима и особенно декабрь — период покупки сейфов, ненужных ковров, одним словом, лихорадочной траты средств тысячами предприятий, организаций и учреждений по всей стране — от Курильских островов до Бреста. Эта тема неуязвима. Фельетонисты, куплетисты, карикатуристы ежегодно возвращаются к этой теме и развлекают читателей, слушателей и зрителей рассказами о том, как бессмысленно и бесхозяйственно тратятся народные деньги. Но кто же эти одержимые покупатели? Почему их так много? Почему они повсюду и почему они поступают таким образом? Неужели мы имеем дело лишь с глупцами и дураками? Разве тот факт, что судорожная трата денег повторяется ежегодно и на территории всей страны, — разве этот факт не указывает на наличие какой-то объективной и устойчивой причины подобных действий?

По заверению знатоков, существующая система бюджетного финансирования со строгим расписанием каждой копейки по полочкам и изъятием неизрасходованных

средств в конце года стара, как мир. Бюджетные ассигнования предусматривают определенные расходы. Выдаются средства в течение года скуповато и лишь в конце, поближе к декабрю, выделяются в полной сумме. Если их не израсходовать, то в будущем году действительно дадут меньше — «на уровне базы». Израсходовать же их целесообразно полностью не удастся, так как, повторяем, в течение года они поступают крайне неравномерно. Такова прозаическая подоплека того явления, которое ежегодно с точностью астрономических процессов вспыхивает на экранах телевизоров и появляется на страницах газет и сатирических журналов.

Лет сорок назад, когда уровень механизации был незначителен, доля заработной платы в издержках производства велика, а структура и штаты многих органов действительно чрезмерно велики, была настоятельная необходимость изыскивать ресурсы для развития народного хозяйства в административно-управленческих расходах, в штатных единицах. Тогда попросту не было других значительных источников и подобное направление работы финансовых органов было оправдано. Еще раз напомним слова Ленина: «Мы экономим на всем, даже на школах». К счастью, однако, в результате полного преобразования нашей экономики сейчас появились неизмеримо более мощные и перспективные источники ресурсов. Беда финансовых органов состоит в том, что они упорно не желают их видеть и отругиваются в ответ на все попытки повернуть их лицом к современной структуре нашего народного хозяйства.

О. К. Антонов приводит множество примеров, когда миллионы и десятки миллионов рублей теряются лишь из-за того, что финансовые органы упорно не видят подлинных источников народнохозяйственного накопления. Мы ограничимся лишь несколькими. Оказывается, что изменение профиля металлоз, поставляемых Аэрофлоту, способно в течение первого же года эксплуатации самолетов окупить некоторые дополнительные затраты на изготовление нужных профилей металла. А улучшение авиационного оборудования и снижение его веса дают дополнительные резервы в десятки миллионов рублей в год. Дополнительные затраты окупятся в первый же год, а иногда в первые полгода эксплуатации. Поощрение повышения качества покрышек дает в год сто миллионов рублей экономии. Эта сумма, вероятно, не меньше того чистого дохода, который в масштабах РСФСР дает реализация билетов денежно-вещевой лотереи в течение года. Однако лотереей финансовые органы занимаются непрерывно, а проблема увеличения «ходимости покрышек», насколько нам известно, никогда не была в центре внимания Министерства финансов РСФСР.

Некоторые дополнительные затраты, обеспечивающие увеличение надежности и долговечности работы станков, несут с собой миллиарды рублей дополнительных накоплений.

Короче говоря, основной резерв гигантских, в крайне малой степени используемых источников роста национального дохода — во всемерном содействии быстрому внедрению новой, прогрессивной техники и технологии. Все рычаги финансового аппарата должны быть направлены на преодоление рутины, косности, на содействие рационализаторам и изобретателям.

Нам представляется, что с участием Академии наук СССР и Государственного комитета по науке и технике должны отбираться важнейшие изобретения и открытия, широкое внедрение которых даст в короткий срок значительные денежные накопления. Такие технические и экономические новшества имеются в каждой отрасли. Сведенные и утвержденные в едином государственном документе, допустим, для проведения в 1967 году, они станут объектом специального контроля со стороны финансовых органов. Разумеется, финансист не может и не должен решать научную проблему по существу. Но когда она решена и рекомендована авторитетными органами для внедрения, финансовый работник очень многое может сделать для ускорения оформления смет, проектов, штатов и ставок, цен, короче говоря — для уменьшения «хождения по мукам», отнимающего подчас годы и годы. И такая роль — представляется нам — более благодарна и плодотворна, чем погоня за экономией на командировках.

Но есть резервы, к которым подступиться попроще, полечче. О. К. Антонов совершенно справедливо не пренебрегает и ими. Как-то, проходя по одной из улиц Мо-

сквы, он остановился около грузовика, с которого две девушки сгружали кирпич для стройки. Поскольку им оплачивали сделно, с количества груженого кирпича, а шоферу — с количества сделанных тонно-километров, то кирпич вовсе не сгружали, а просто сбрасывали на землю, отчего около трети его (по подсчетам автора) тут же превращалось в щебень. Автор подсчитал, что если бы эти девушки получали заработную плату с каждой тысячи доставленного и уложенного в целости кирпича и так же точно оплачивалась бы работа шофера, то была бы получена экономия, равная стоимости полутора машин кирпича. Из этой суммы можно было бы значительно повысить заработок работницам и шоферу и дополнительно дать государству отчисления от прибылей строительных организаций.

Второй пример. Так называемый половняк не идет на кладку стен, потому что при этом уменьшается выработка каменщиков и им нужно несколько повысить заработную плату. Добиться этого невозможно, и, экономя копейки фонда заработной платы, мы теряем рубли, овеществленные в материалах.

— Так что же нам, стать ходоками у предприятий, быть у них на посылках? — так в запальчивости спросила меня однажды после доклада сотрудница Министерства финансов, подразумевая под «ними» предприятия, народное хозяйство.

Да, быть на посылках, если считать «посылкой» роль танков прорыва, артиллерии на переднем крае и самолетов по отношению к идущей в атаку пехоте.

Затронув этот вопрос, следует сказать, что в поисках ресурсов мы незаслуженно оставляем в стороне целые сферы, которые при правильной организации дела могут одновременно значительно повысить уровень жизни народа и дать дополнительные накопления для развития экономики. Возьмем хотя бы жилищную кооперацию. В течение последних двадцати лет многие экономисты настойчиво говорили о том, что нужно существенно повысить долю кооперативов в жилищном строительстве. В последнее время это сделано, но, как нам представляется, в совершенно незначительных размерах. Конечно, если сразу требовать, чтобы при вступлении в кооператив вносить сорок процентов стоимости будущей квартиры, то это под силу лишь очень ограниченному контингенту трудящихся. Однако нигде не доказано, что вносить нужно сорок, а не, скажем, пять процентов. Почему бы в самом деле не сделать жилищное строительство в городах в основном кооперативным? Сделав вступительный взнос доступным каждому рабочему и служащему, можно резко усилить темпы жилищного строительства и одновременно привлечь значительные дополнительные ресурсы. Скажем, ежемесячный взнос в пять рублей в счет пая доступен практически любому человеку. В масштабе страны это дает гигантские ресурсы.

А не означало ли бы такое изменение характера жилищного строительства каких-либо политических или социальных отступлений от социалистических принципов развития экономики? Нисколько. Кооперация, в том числе и жилищная, — форма социалистической собственности, и кооперативные предприятия (колхозы, потребительская кооперация, рыболовецкая и другие) — полноправные, теоретически и практически оправданные элементы социалистической экономики. Доказано, что в большинстве случаев жильцы-пайщики гораздо более внимательно и по-хозяйски относятся к жилому фонду, их участие в управлении жилищными делами приносит пользу и служит в известной мере школой воспитания общественных навыков. Что касается того, что квартиры не будут предоставляться бесплатно, то это нас не должно смущать, как не смущает и то, что хлеб, учебники и даже лекарства мы ведь также отпускаем за плату.

Не меньшим источником одновременного улучшения обслуживания населения и создания накоплений может стать сфера быта. Кинотеатры, цирки, прачечные, фотоателье, ремонтные и прокатные пункты и т. д. и т. д. могут создаваться без единой копейки бюджетных ассигнований, за счет небольших первоначальных кредитов и последующего использования образуемой прибыли. Для создания этих предприятий не требуются бог весть какие материалы и оборудование, их можно накопить либо за счет сокращения потерь, либо дополнительного производства из местных не дефицитных ресурсов. Подобный подход к сфере быта позволил бы в течение текущей пятилетки решить бытовые проблемы в огромной мере, если не полностью, для значительной части



населения страны и дать одновременно дополнительные ресурсы государству. Многим хозяйственникам подобный подход кажется слишком легким, однако нам ни разу не доводилось слышать сколько-нибудь аргументированных возражений. Полезно, может быть, еще раз напомнить, что ларчики сплошь и рядом открываются просто...

Проводимая в настоящее время реформа требует гигантских ресурсов. Их вполне достаточно в недрах народного хозяйства. Их можно мобилизовать в чрезвычайно короткий срок, если только ресурсы эти будут образовываться в результате непрерывного и эффективного возрастания материального стимулирования и — на его основе — совершенствования организации хозяйствования.

С этих позиций представляется целесообразным тщательное и всестороннее изучение финансовой политики и работы финансовых органов на современном этапе нашего хозяйственного развития. Этого требует «пусковой импульс», значение которого для успеха хозяйственной реформы невозможно преувеличить.

\* \* \*

Многие миллионы людей во всем мире с огромным интересом следили за работой XXIII съезда Коммунистической партии Советского Союза. Доклады, представленные съезду, их обсуждение, принятые решения будут в течение длительного времени находиться в центре внимания самых широких кругов народных масс и в нашей стране, и в других социалистических государствах, и во всех странах мира. Для советских экономистов, как указывается в материалах съезда, сейчас наступила особенно ответственная пора: надо добиться, чтобы пятилетний план, разрабатываемый на основе утвержденных съездом Директив, в наиболее возможной степени был оптимальной программой развития народного хозяйства на предстоящий чрезвычайно важный период времени.



---

ЛЕОНИД ИВАНОВ

★

## ЛИЦОМ К ДЕРЕВНЕ

**М**не приходилось уже писать о колхозе «Молдино» («Новый мир» № 2 за 1965 год). Это самое передовое хозяйство Удомельского района, одно из лучших в Калининской области. Раздумывая над увиденным в «Молдине», я невольно вспоминал произведения последних лет о деревне.

Каким хотели бы увидеть свой родной колхоз герои этих произведений и их авторы? Вообще-то следует заметить, что особого взлета фантазии тут не наблюдается. Чаще всего это хорошая оплата труда, Дом культуры, электричество, водопровод, детские сады и ясли, мотоциклы, телевизоры, хорошие дома и общественные постройки. Конечно — тракторы, автомашины, комбайны. Что же еще? Ну, музыкальные и другие кружки при ДOME культуры, библиотека, возможность на месте получить среднее образование. Вот примерно о чем мечтают наши литераторы, рисуя перспективы колхозного села. И это, конечно, немало. Признаться, и я в своих мечтах не поднимался выше, когда писал о зоне Нечерноземья и Сибири — о тех местах, которые более или менее знаю.

И, приехав в колхоз «Молдино», я был приятно удивлен, когда увидел многое из того, о чем мечтал. В этом колхозе, отдаленном от города и железной дороги, стоит двухэтажный каменный Дом культуры, он ничуть не хуже, чем в райцентре. Есть средняя школа, больница, баня городского типа, детские комбинаты (ясли и детсады), в которых бесплатно воспитываются дети колхозников. И электричество здесь давно светит, и водоразборные колонки на улицах поселка, и добротные дома, и типовые постройки на фермах. И телевизоры появились.

После всего увиденного становилось понятным, почему в отличие от большинства других поселков этих мест центральная усадьба колхоза разрослась с тридцати пяти домов до ста шестидесяти. Пополнение шло за счет приезжих из других районов и даже из городов. В «Молдине» много молодых механизаторов, есть и молодые животноводы. Много молодежи видел я в ДOME культуры.

Полюбилось мне «Молдино», как говорится, с первого взгляда. Понравился и Евгений Александрович Петров — почти бессменный руководитель этого колхоза — умница, большой знаток сельскохозяйственного производства. Недаром же земляки избрали его депутатом Верховного Совета РСФСР.

Осенью прошлого года я снова приехал в «Молдино». Когда мы в последний раз виделись с Петровым, он досадовал, что шаблонные установки по многим важнейшим делам артельного производства мешают более полному использованию резервов, а низкие цены на зерно и мясо сдерживают развитие этих отраслей. Но теперь-то, после мартовского Пленума ЦК КПСС, думал я, и эти тормозы устранены: колхозам дано право самим планировать свое производство, а цены на зерно и мясо значительно повышены. И мне думалось: как же круто зашагает теперь в гору колхоз «Молдино»! Как развернется Евгений Александрович!

И я, конечно, не ошибся. Однако совершенно неожиданно столкнулся здесь с проблемой, которую для «Молдина» считал решенной. И это было для меня совершенно неожиданным.

А проблема эта, как определил ее Евгений Александрович Петров,— проблема номер один! Вообще-то она не нова. Но, впрочем, пусть лучше все будет по порядку.

## 1

Опять знакомые пригорочки и низинки, сосновые леса и заросли кустарников. На пригорках — пожелтевшие пшеницы, овсы, много копен соломы, сулонов льна, а кое-где в низинках лен уже вылежнвается, разостланный ровными лентами. Везде работают люди. На ближайшем пригорке копают картофель, с правой стороны от дороги ползет комбайн, а еще дальше женщины расстилают лен, мужчины скирдуют солому.

Нынешнее лето в этих местах оказалось прохладным и дождливым. Созревание хлебов задержалось недели на две, а то и на три, потому люди и спешат управиться с уборкой, уйти от зилы.

Вот и «Молдино», все в зелени.

В эту пору я не рассчитывал застать Евгения Александровича Петрова в селе. В разгар уборочных работ он, конечно, на полях. Но на всякий случай заглянул в контору.

Вообще-то я встречался с Петровым несколько дней назад в райцентре — он приезжал туда на какое-то совещание. Настроение хорошее. Не скрывал своего удовлетворения последними переменами, положением дел в хозяйстве. Досадовал лишь на то, что по старой привычке многовато совещаний и всяких вызовов в райцентр. Дорога-то дальняя — больше полсотни километров в один конец... И еще досадовал, что никак не закрепляются парторги в колхозе. Все основные кадры — и специалисты, и бригадиры, и механизаторы — с большим стажем работы в родном хозяйстве, а руководители партийной организации часто меняются.

И в самом деле: прошлогодний парторг колхоза Соколов Иван Михайлович — уже директор вновь организованного совхоза. А сменивший его Петров (между прочим, тоже Евгений Александрович) недавно избран был председателем отстающего колхоза.

— Уж на Петрова-то мы надеялись. Все же свой, доморощенный,— говорит Евгений Александрович.— Теперь обещают подобрать со стороны...

Понять Петрова нетрудно, можно ему и посочувствовать. Но ведь правильно делают, когда из передового хозяйства берут работников, чтоб укрепить отстающих. Как же иначе? И отрадно, что колхоз «Молдино» признают «кузницей руководящих кадров».

В конторе оказался заместитель председателя — Михаил Андриянович Комаров. — А Евгений Александрович в Удомлю уехал, на исполком,— сообщил он.

Вот те раз! Опять в райцентр. А ведь разгар уборки...

Михаил Андриянович — невысокий, тихий с виду. Несколько лет руководил передовой бригадой. Рассказ о делах колхоза начал так:

— Нынче животноводы сильно подтянулись. Годовой план по молоку к пятнадцатому сентября завершили. Такого еще не случалось у нас. В сравнении с прошлым годом удои коров увеличились больше чем на триста килограммов! А за год прирастут на четыреста, никак не меньше. Прикинули тут наши животноводы, сами считали! — Михаил Андриянович усмехнулся, видимо вспомнив, как, бывало, «прикидывали» в районе сверхплановые задания.— Две тысячи центнеров сверх плана решили продать. И по мясу больше плана получается. Так что животноводство у нас пошло! Нынче и кормов заготовлено хорошо. Клевера опять удалась — больше сорока центнеров сена с гектара получили.

— А хлеба как?

— Хлеба не все еще убраны. Но прилично получается. Лен тоже хороший, особенно в первой бригаде у Ильи Захарова.

Между прочим, раньше-то этой бригадой руководил сам Комаров.

— И план продажи зерна мы выполнили первыми в районе.— продолжает Комаров. Вообще-то об этом я уже знал после встречи с Петровым. Но все же поинтересовался, как проходила сверхплановая сдача. План-то колхоз **выполнил** уже на сто тридцать процентов.

И опять улыбка на добродушном лице Комарова.

— Нынче все было не так, как раньше... Никто из района не шумел, никто в чине уполномоченного не приезжал выгрести зерно из амбаров. Совсем иначе пошло.. Нынче мы сами созвали общее собрание, Евгений Александрович рассказал о положении с заготовками зерна в стране. Колхозники дружно решили: продать сверх плана. Единогласно!

Михаил Андриянович говорил и о других делах артели. По его словам выходило, что этот год для колхоза по всем статьям, так сказать, успешный. Колхозники довольны, потому что им уже ясно: оплата трудодня опять повысится. И еще потому, что все планы по продаже продукции государству перевыполняются, и весьма значительно. А разве безразлично колхозникам, кого хвалят в газетах, по радио, на совещаниях?..

Тут Михаила Андрияновича позвали по срочному делу. Он извинился и представил меня главному бухгалтеру колхоза Татьяне Николаевне Горячовой, которая только что зашла в контору. Это было очень кстати. Мне хотелось выискнуть в суть бригадного хозяйства, введенного в колхозе.

Как выяснилось из рассказа Татьяны Николаевны, крен взят на большую заинтересованность колхозников в перевыполнении планов производства продукции, на снижение себестоимости продукции, на перевыполнение планов денежных доходов. Вот убедительное тому подтверждение: бригада получает для дополнительного распределения по труду половину урожая зерна и картофеля, выращенных сверх установленного плана. А если при этом перевыполнен и план денежных доходов, то и оплата трудодня увеличивается на столько процентов, на сколько перевыполнен план доходов. Однако если план денежных доходов невыполнен, то никаких доплат за сверхплановое производство продукции бригаде не положено. Потерял теперь значение бытовавший долгое время лозунг: выполнить план любой ценой!

В увеличении денежных доходов артели материально заинтересованы не только рядовые колхозники, но и руководители хозяйств. К примеру, председателю колхоза за каждые десять тысяч рублей дохода начисляется тридцать два трудодня. А зарплата заместителя и специалистов колхоза равна семидесяти пяти — восьмидесяти процентам заработка председателя.

И еще новинка. Специалисты и руководители колхоза получают доплату за выслугу лет: при стаже в три года доплата пять процентов, свыше пяти лет — десять процентов, а кто проработал в артели более десяти лет, получает надбавку в размере пятнадцати процентов. Этот порядок распространен и на бригадиров колхозов. Не потому ли в «Молдине» устойчивы кадры бригадиров и специалистов? Все они получают доплату за выслугу лет.

Между тем Татьяна Николаевна высказала тревогу:

— Беспокоюсь вот, сумеет ли Евгений Александрович оправдаться? Его в район-то вызвали с объяснением. Мы покупали запчасти и строительные материалы у частных лиц, а за это строго наказывают...

Вопрос, конечно, не новый. Много руководителей колхозов «погорело» на этом деле. Даже слишком много. Во всех районах страны. И каждому из них оправдываться формально было нечем: да, покупали запчасти и разные материалы у частных лиц. А как же быть? Остановить производство? Махнуть рукой на гибнущий урожай, на многое другое, совершенно неотложное?

Ответить на эти вопросы трудно. Все официальные инструкции говорят одно: нельзя покупать у частных лиц!

Разумеется, нельзя! Ведь «частные лица», попросту говоря,— это чаще всего воры, самые обычные воры, укравшие у государства или колхоза запасные части, резину и различные материалы.

Ну, а как же все-таки быть руководителю колхоза, у которого стоят тракторы и автомашины, а на государственных складах нужных деталей нет? И все же почему руководители колхозов идут на это, хорошо зная, что понесут за это ответственность?

От нужды великой...

Я знаю многих хороших руководителей колхозов, которые были очень строго наказаны за покупку материалов на стороне. И всякий раз думал: а почему рядом с предсе-

дателем колхоза на скамье подсудимых не сидят директора заводов, сорвавших план выпуска запасных частей? Или руководители планирующих организаций? Разве они в этом преступлении сторонние наблюдатели, а не главные виновники?

## 2

Евгений Александрович Петров приехал вечером. Он бодр — значит «пронесло». Так оно и оказалось. Исполком принял к сведению заверения руководителей колхозов (а обсуждались «дела» нескольких хозяйств, так как ни один колхоз не обходится без недозволенных покупок), что в дальнейшем этого не повторится.

Отпустив помошников, Евгений Александрович присел к своему столу, задумался.

— Грустно все это, — тихо произнес он. — Очень грустно! Состоишь в преступниках, а ведь наш брат тут без вины виноватый... Вот представьте себе, у нас двадцать автомашин, а в прошлом году мы получили наряд всего на шесть скатов... Одну машину одеть. И другим колхозам досталось не больше. Но ведь машины-то ходят — хотя и с перебоями, но у всех ходят! Значит, резины-то почти хватает. Так почему же она не попадает к нам через государственные склады? Почему мы от государства получили только шесть, а у частников купили двадцать шесть скатов?.. Почему никто не следит, не установив контроля, как все это попадает в частные руки? Зато все видят, когда мы покупаем! А сколько нравственных сил тратишь, совершая сделку! Чтобы оформить каждую покупку, собираем правление, оно утверждает, и всякий раз в своем решении пишем: «В виде исключения разрешить...» А этим исключениям и конца не видать — у нас-то положение особенно сложно, мы ведь не пользуемся услугами «Сельхозтехники», все машины сами ремонтируем.

Надо заметить, что в районе только колхоз «Молдино» отказался от услуг «Сельхозтехники». Он оборудовал свою ремонтную мастерскую, купил нужные станки и своими силами ремонтирует все машины. Местные работники «Сельхозтехники» за все это в обиду на Петрова и, конечно же, притесняют молдинцев, не выдают им даже положенной нормы запчастей.

— В самом деле, — продолжает возмущаться Петров, — иной раз не уловишь: кто же у нас держатель фондов на запасные части, на резину, на некоторые строительные материалы? Надо прямо сказать: если бы мы не купили у частных лиц краску, олифу и еще кое-что, то наш Дом культуры и сейчас стоял бы недостроенный. И большая половина автопарка стояла бы на колодках. И тракторы... — Он махнул рукой, показывая этим, что говорить бесполезно, никто не поможет.

Я заикнулся было: может, держаться поближе к «Сельхозтехнике», у них ремонтировать? Но встретил решительное возражение:

— Что вы! Когда сами ремонтируем, то обходится намного дешевле! А о качестве и говорить не приходится. У нас механизатор машину для себя готовит, поэтому надежно, у него нет стремления лишь бы сдать ее по акту. Нет, этот вопрос для нас ясен: только своими силами!

— Значит, и запчасти у частных лиц...

— А что же делать?

Что я мог ответить? Когда работал в совхозах, то тоже прибежал к таким покупателям. Значит, все это тянется десятки лет, а проблема запчастей так и остается нерешенной. Не слишком ли долго она решается?

Евгений Александрович заговорил о другом. В колхозе начали установку столбов для высоковольтной линии. Подсчеты показали, что свои маломощные электростанции все-таки дороговаты, людей много отнимают. Просьба колхоза о подключении к государственной электросети удовлетворена наконец. И Петров не скрывает своей радости.

— Мы тоже раскошались, — улыбнулся он. — Выделили на электрификацию из колхозных средств сразу девяносто тысяч! В наши дни много говорят о хозрасчете, и это очень правильно. Считать надо, людей всех до единого увлечь экономикой хозяйства, сделать их активными участниками общего нашего дела. Правильно, словом. Но... — Он остановился, переждав немного, собираясь с мыслями. — Вот мы говорили о ремонте машин, о запчастях, приобретаемых на стороне. Дело-то в том, что в наш век

главный расход средств — на технику, и совсем не безразлично, во что она нам обходится. Главная расходная статья должна быть взята под особый контроль. Именно здесь в первую очередь хозрасчет необходим. Вот мы ввели для механизаторов премии за экономию запасных частей. Половину экономии выплачиваем. Знаете, как это подтянуло механизаторов? Все считать научились, и очень быстро. А это только на пользу! А вот я думаю о тех хозяйствах, где даже мелочной ремонт производится чужими, так сказать, силами... Понимаете?

И Евгений Александрович повел речь о необходимости создания ремонтной базы в каждом колхозе и совхозе. Пока хотя бы для текущего ремонта. Потому что ездить за каждым пустяком десятки километров неразумно, это иной раз губит урожай. Особенно если учесть здешнее бездорожье — и весеннее и осеннее, когда самая напряженная работа на полях. Он считает, что в каждом хозяйстве надо иметь также и передвижную ремонтную мастерскую, сварочный агрегат.

Евгений Александрович вынул из стола расчеты. Да, ремонт у них обходится значительно дешевле, чем в мастерских «Сельхозтехники».

— Это еще при общем недостатке многих запчастей, — замечает Петров. — А если бы их было достаточно — доживем же мы когда-то до такой роскоши? — усмехнулся он. — Доживем! Тогда ведь мастерские «Сельхозтехники» могли бы заниматься комплектованием узлов машин и продавать нам целые узлы. Ну, может, и капитальный ремонт проводить. А пока смешно получается... Колхозы посылают в мастерские «Сельхозтехники» своих механизаторов, потому что никогда не хватает постоянных кадров ремонтников, и платят колоссальные деньги за ремонт. Нет, как хотите, а в каждом хозяйстве должны быть свои ремонтные мастерские. Ведь теперь в наши края будут направлять много техники! Да мы уже чувствуем это. За год у нас удвоился парк комбайнов, льноуборочной техники. У нас и сейчас около сотни моторов в хозяйстве, а заглянуть вперед! Удвоим, а может, и утроим вооруженность. Словом, я за мастерские. И если всерьез говорить о хозрасчете в колхозах, то он-то и подскажет: нужны свои ремонтные мастерские!

Я завел разговор о переменах после мартовского Пленума ЦК.

— Я же писал вам — отрадно! В этом году мы действительно сами планировали свое производство, ни единой поправки никто не вносил, ни единой подсказки сверху. Даже удивительно. Все же у нас много любителей совать свой нос в колхозные дела. А тут полная самостоятельность.

— И большие поправки в плане? В сравнении с прошлыми годами? — заспешил я.

— Да как вам сказать... По сути дела никаких коррективов в наш план не пришлось вносить.

— Почему же тогда столько разговоров о планировании?

— В прошлые годы нам приходилось составлять два плана — один для управления, в точном соответствии с их заданиями, а другой для работы у себя. Так тот план, который делали для себя, и теперь не претерпел серьезных изменений. Вообще-то при правильных севооборотах, у кого они сохранены, планирование полеводства — дело, строго говоря, простое. Вот когда ломают севообороты — тут и голову поломать придется: как и что сеять? А ведь сам севооборот — это и есть план на много лет. Коррективы только в показателях урожайности — она должна расти понемногу.

— Значит, свой план стал теперь реальным и самым точным планом?

— Можно и так сказать. Но весной уже на полях пришлось вносить коррективы. Мы все же планировали засеять кукурузой семнадцать гектаров, но весна оказалась поздней, поэтому от кукурузы ждать было нечего. Мы эти площади засеяли овсом в смеси с горохом и получили прекрасный урожай силосной массы. А ведь раньше-то разве нам разрешили бы такие вольности? Теперь в полном объеме восстанавливаем чистые пары, но парам озимые отлично растут. Теперь производство зерна очень выгодно и у нас. Помните, в прошлом году мы обижались: зерно в убыток хозяйству? А теперь картина меняется!

— Какой же выигрыш за счет повышения цен?

— Большой, — быстро ответил Петров. — Тысяч семьдесят... Рассчитывали получить за счет новых цен добавочно пятьдесят тысяч, а получили семьдесят, потому что

планы по хлебу и молоку перевыполнили. Потому мы и на электрификацию сразу девяносто тысяч махнули. Да и на покупку машин порядочно выделили. И оплата трудодня выше прошлогодней значительно. Словом, выигрыш очень большой.

Взглянув на свои часы, поднялся:

— Скоро двенадцать, свет погасят. Пока нет высоковольтной линии, светим только до полуночи. Пошли отдыхать!

Уже на улице продолжал:

— Люди очень чутки к различным переменам. У нас человек десять купили телевизоры, но гидростанции наши работают неуверенно, напряжение иногда резко меняется, поэтому и видимость у телевизоров неважная, да и портятся быстро. И покупка телевизоров приостановилась. А теперь узнали, что скоро будет высоковольтная линия, заговорили о телевизорах: кто деньги откладывает, а многие уже заявки дали. Видите как!

Да, наши люди очень чутки к переменам, особенно к добрым.

### 3

Я поднялся в шесть утра, оделся, на цыпочках прошел к умывальнику. Но только взялся за дверную ручку, как услышал из кухни голос Татьяны Никифоровны, жены Петрова:

— Не забудьте про завтрак, к восьми приходите!

— А Евгений Александрович...

— А он уже давно ушел.

На улице тихо, небо густо заволкло тучами. Такой день не может радовать колхозников.

Я перешел мост через Молдинку, зашагал через парк к Дому культуры. Здесь я не был с прошлогодней весны. Тогда, помнится, комсомольцы и молодежь колхоза соорудили площадку для памятника В. И. Ленину: делали оградку, обсаживали ее. А теперь здесь высился памятник: на постаменте — бюст Ленина. Оградка утопает в цветах.

Отсюда хорошо видно озеро, оно слегка подернуто дымкой. Вот бы где с удочкой! Бсматриваюсь: что-то не видно удильщиков. Просто удивительно. Как же не воспользоваться таким утром? В пасмурную погоду рыба клюет лучше, это всем рыбакам известно. А тут такая благодать, и никого... Впрочем, вдали что-то чернеет. Приглядевшись получше, я понял: кто-то удит с лодки. А левее заметил еще одного рыбака. И все! А ведь мне говорили, что озеро Молдино рыбное. В чем же дело?

На улице показалась группа людей. Я пошел следом за ними. У здания сельского Совета собралось несколько десятков людей, слышен говор, смех.

Увидев бригадира Илью Васильевича Захарова, я понял, что здесь сборный пункт его бригады.

Так оно и оказалось.

Илья Васильевич — широкоплечий, круглолицый — спросил:

— Все собрались?

Кто-то ответил:

— Да, наверное, уж все!

— Тогда зачитываю наряд,— объявил Захаров.

Однако зачитывать было нечего. Он без бумажки рассказал, кому куда направляться на работу. На всякий случай предупредил членов своей бригады: если пойдет дождь, то переключиться на расстил льна. Пока же все направились исполнять вариант наряда, рассчитанный на благоприятную погоду.

Просто и деловито.

Много раз доводилось мне вот так же утрами бывать на нарядах и в колхозах и в совхозах различных областей. Обычно возникает множество всяких недоразумений. То кто-то не явился на работу — и это разрушало звено, назначенное на копку картофеля. То лошадей еще не пригнали — и это сдерживало начало работ большой группы людей. А кое-кто возражал против назначения на такую-то работу, требовал другую, так сказать, более денежную.

А тут ни единого возражения. Наряд продолжался десять минут.

— У вас, Илья Васильевич, порядок в бригаде отличный...— сказал я бригадиру.— Ведь обычно по утрам бригадир верхом на лошади объезжает по домам колхозников, уговаривает...

— У нас давно уже этого нет... У нас хозрасчет,— несколько торжественно подчеркнул он.

— Может, потому и рыбаков на озере не видно?

— Рыбаков-то? — переспросил Захаров.— Пожалуй, поэтому... Люди больше стали интересоваться делами, доходами... Ну, а сейчас поджимают, чтобы трудней побольше было.

Захаров отправлялся в поле. Я увязался за ним.

Когда вышли из поселка, Илья Васильевич снова заговорил о хозрасчете:

— Здорово людей подтянуло! Теперь все друг дружке помогают, но и друг за другом следят, чтобы никаких там тебе огрехов, никакого брака в работе не было. Много легче стало и бригадиру, будто все у тебя помощники, а их в моей бригаде почти полсотни!

Мне еще на наряде у сельсовета бросилось в глаза, что в бригаде Захарова нет молодежи. Правда, в школе начались уже занятия. Но отучившиеся-то должны быть.

— Да в нашей бригаде на полеводстве только семейные,— ответил Захаров.— Молодежь есть на машинах. На машины-то всегда есть желающие и из молодежи, а вот на общие работы...— Он развел руками.— Собирать камни или руками лен таскать охотников среди молодежи не найдешь... Школьники, правда, у нас хорошо работают, всегда хорошо!

— А почему же тогда...

— Почему после окончания школы к нам не идут? — угадал мою мысль Захаров.— На машины кое-кто идет, а на общие работы нет.

Я поинтересовался лучшими работниками бригады. Захаров в ответ пожал плечами:

— Все у нас в бригаде хорошие, работающие. Выделять, пожалуй, и не стоит, а то могут обидеться. Все хорошо работают. Силы, понятно, не равны, а ценить-то приходится и за старательность. А стараются в полную свою силу, считай, все. При случае так и напишите: все старательные в первой бригаде,— посоветовал Илья Васильевич.— И механизаторы у нас старательные...

Я начал «пытать» насчет механизаторов и услышал любопытную историю. В колхозе лишь одна тракторная бригада, и потому каждому механизатору приходится работать в нескольких полеводческих бригадах. Однако механизаторы стремятся попасть прежде всего в первую: здесь работать легче, потому что с полей убрана основная масса камней. Да и трудодень в первой бригаде повесомей.

— А другие бригадиры не обижаются на вас?

По губам Захарова скользнула добродушная улыбка:

— Может, и обижаются. Однако теперь все бригады сильно взялись за уборку камней с поля.

— А у вас все поля от камней очищены?

— Нет, что вы... Собираем каждую весну, наверху не остается ни на льне, ни на клеверищах, а вот вспашем поле, опять вывернем. Но все же заметно убавляется. Тут машинами надо бы, а машин нет,— тяжело вздохнул бригадир.

В дальнейшей беседе выяснилось, что Захаров — сибиряк, с Алтая. Работал он в Томской области, а с 1947 года — в «Молдине», приехал сюда после войны. На войне был автоматчиком, заслужил шесть правительственных наград.

Мы поднялись на пригорок. Отсюда далеко видно.

Поля оживали. К дальней полосе мчали две подводы. На левом крае с десятком женщин собирали картофель. Оказывается, борозды были распаханы еще вчера. А на правом крае застрекотала льнотеребилка. Чуть дальше ходил трактор, оставляя за собой черные борозды. Взгляд бригадира устремлен к этому трактору, на округлом лице его медленно расплывается блаженная улыбка. Заметив мой взгляд, он не без гордости произнес:



--- Володька пашет, мой сын.

Вот оно что! Володька, как назвал его отец, окончил нынче среднюю школу, а до этого два лета уже работал трактористом. Вот и нынче сразу после окончания школы сел на трактор.

— На инженера бы ему учиться.

— Нет, инженера, как видно, не получится,— вздохнул Илья Васильевич.— Ждет повестки в армию. а после армии совсем по другой линии надумал... Начитался разных книжек про шпионов да про разведчиков, теперь, говорит, буду учиться на следователя по особо важным делам.

Мне стало грустновато. Не только потому, что в этих заметках хотелось бы написать: вот, мол, сын лучшего бригадира колхоза, будущий инженер, колхозный стипендиат, вернется в родной колхоз. Грустно потому, что деревня потеряет хорошего механизатора...

Похоже, что Захаров прочел мои мысли, успокоил:

— Механиком-то, как видно, будет Серега — второй мой сын. В десятый класс пошел. Вот этот к механизации сильную тягу имеет, так и говорит: буду механиком! Каждое лето работал в колхозе, все добивался права за руль подержаться. Не меньше сотни трудодней за лето вырабатывает. И нынче тоже...

А когда мы пошагали дальше, Илья Васильевич рассказал мне и о третьем своем сыне — Александре, ученике восьмого класса.

— Только Саша не мне помощник, а матери,— добродушно произносит Илья Васильевич.— Полюбились ему телятки, вот уж три лета телят пасет, тоже побольше сотни трудодней за лето-то вырабатывает.

— А жена ваша на ферме?

— Второй год в животноводстве. Она — мой помощник по животноводству, бригады-то у нас комплексные. Раньше работала в поле, а теперь в животноводстве.

Я вспомнил: совсем недавно в районной газете опубликована полоса, посвященная бригаде животноводов, руководимой Захаровой.

— У животноводов заработки раза в два выше, чем у полеводов, а вот трудно стало подбирать людей на ферму. Бригадиром и то никто не хотел, потому что, говорят, очень рано надо вставать, да и хлопотно. Пришлось на свою хозяйку нажать.— Тут Илья Васильевич улыбнулся.— Все равно я встаю рано, и ей приходится вместе. Ничего, приспособились. Нынче вот первое место завоевали наши животноводы. Удои коров против плана литров на пятьсот выше будут.

— А молодежи на ферме много?

— Вот и беда-то, что не шибко молодежь идет на ферму,— оживленно заговорил Захаров.— Раньше как-то лучше было — молодые девушки шли в доярки, телятницы, а теперь не то... И вот удивительно-то! Я уж говорил вам — заработки у животноводов почти в два раза выше, чем у полеводов, вы только подумайте: доярка у нас зарабатывает намного больше, чем, скажем, ткачиха в Вышнем Волочке или там продавец какой, а ведь в доярки не шибко идут, а на фабрику — пожалуйста!

— В чем же дело?

— Дело-то ясное,— вздохнул Захаров.— Теперь наши не так чтобы за заработком гонятся, теперь, говорят, о культурном досуге думать надо...

Илья Васильевич примолк.

Наверное, он думал о том, что в его молодые годы о культуре на селе думали меньше, больше «жали» на работу. И сам он не думал о фабрике или заводе. Отвоевав, вернулся в деревню. И, наверное, ему не совсем понятны претензии нынешней молодежи насчет культуры. Главное, о чем он мечтал многие годы — о хороших заработках, об обеспеченной жизни,— все это уже пришло и в его семью, и в семьи других молдинцев.

— Теперь бы только работать,— негромко произнес он, шагая по дороге.

Илья Васильевич побывал на полосе, где копают картофель, уточнил, когда нужен транспорт. Навестил и тех, кто вязал лен, сам связал десятка два снопов. Потом зашел на поле, где скирдовали пшеничную солому, что-то наказал работающим. И все это спокойно, деловито.

А когда мы повернули обратно, он сказал:

— Бригада у нас дружная. Возьмите хотя и в нынешнем году — все видят: лето запоздало, хлеба созрели много позднее, чем всегда. И сами колхозники на общем собрании внесли предложение: работать без выходных дней! С семи утра до семи вечера. Раньше у нас выходные дни аккуратно соблюдались, а нынче почти два месяца без выходных, и никто ни словечка против!

— А летом работа в поле еще раньше начинается...

— Конечно, раньше,— усмехнулся Захаров.— В сенокос на работу выходим с пяти утра, а заканчиваем не раньше девяти вечера.

— Так не это ли отталкивает молодежь от полевых работ?

— И это роль свою играет... У нас механизаторы часто в две смены работают, так что они меньше заняты. А на общих работах и в животноводстве рабочий день длинный... Но зато и заработки хорошие!

В поселке мы расстались. Илья Васильевич пошел распорядиться насчет транспорта для вывозки картофеля, а я пошагал к Дому культуры.

#### 4

В прошлом году Домом культуры заведовала молодая энергичная девушка — Инна Паперная. Она москвичка, до этого ездила на строительство Дивногорска, а вернувшись домой, попросилась на село. Работая в «Молдине», заочно училась в университете. Конечно, приятно было писать о такой девушке. И, конечно же, она может рассказать много интересного, относящегося к молодежной проблеме. Но в клубе был уже другой заведующий — могучий красавец мужчина: рослый, плечистый, с густыми, но сильно седыми уже завитками волос.

— Цвеленев, Георгий Георгиевич,— представился он.— А Инна Паперная вернулась в Москву... Вот так-то...

Георгию Георгиевичу, пожалуй, за шестьдесят... Он рассказал, что десятки лет руководил армейской художественной самодеятельностью, сам немножко рисует, играет на многих музыкальных инструментах. Такой человек, конечно, клад для сельского клуба. Но, как выразился сам Георгий Георгиевич, «возраст-то уже демобилизационный»...

Он повел меня в свои владения, сказал, что они заново монтируют выставку по истории колхоза.

На втором этаже клуба большая комната выделена для картинной галереи — здесь полотна калининских и московских художников. А две комнаты поменьше предназначены для выставки.

Вот первый раздел истории колхоза, названный «Прошлое села Молдино». Бедные домишки — крестьянские, зато очень хороший господский дом. Церквушка...

«Нехожеными тропами» — так назван второй раздел. Это о годах коллективизации, о первых днях коммуны «Молдино», фотографии первых коммунаров. Сохранилась фотография, на которой запечатлено прибытие первого трактора. Бедновато одеты молдинские коммунары, но во взгляде людей, в их осанке чувствуется задор, большая вера в будущее.

Третий раздел — «Трудные годы» — о годах войны и первых послевоенных.

— А во второй комнате у нас будет четвертый раздел,— поясняет Георгий Георгиевич.— Он более обширный, документов и материалов собрано много, скоро начнем монтировать. Называться будет «Верным путем» — это о наших днях.

Что тут скажешь?! Это же так поучительно, так нужно для целей воспитания! У молдинской молодежи есть основания гордиться своими родителями, дедушками и бабушками. Гордиться и благодарить! Много сил положили они, много трудностей пережили, чтобы жизнь их детей стала совсем иной. Жаль, что не сохранилось образцов прежней обуви и одежды. Правда, одежду тех первых лет можно видеть на фотографиях. Но фотографий-то негусто — они ведь денег стоили...

Георгий Георгиевич сетует: зимой действовали многие кружки — и драматический, и струнный, и другие, а летом распались...

— Евгений Александрович поручил мне подготовить осенний бал, это как бы праздник урожая. Надо репетировать, а людей трудно собрать — все очень заняты. А некоторые участники самодеятельности уехали.

— Совсем выбыли?

— Да, совсем,— вздохнул Георгий Георгиевич.— А многие активно участвовали!

И в самом деле: в струнном кружке, организованном уже Цвеленевым, участвовало четырнадцать музыкантов. Неплохо работал и драмкружок. В кружке изобразительных искусств, которым руководит сам Цвеленев, занималось пятеро. Для начала, конечно, хорошо. А вот в вокальном — четверо, создается хоровой, но с большим трудом.

Со всеми кружками заниматься приходится самому заведующему клубом. Учителя хоть и активно участвуют в работе кружков, но руководить ими отказываются, так как перегружены основной работой.

Прав Георгий Георгиевич, когда говорит, что на село нужно посылать больше культурных сил — и музыкантов, и танцмейстеров, и физкультурников. Надо же увлечь сельскую молодежь музыкой, рисованием, художественной самодеятельностью, различными видами спорта. Есть вот у них футбольная команда, и занимается ею сам Евгений Александрович... В молодости, говорят, он увлекался футболом, а теперь по нужде. Некому больше. В районе наставников по спорту нет. А они очень нужны!

Команда сложилась, есть и запасные игроки, но вот вопрос: а с кем играть? В соседних колхозах футбольных команд пока нет, да и райцентр не богат футболистами.

Как тут не вспомнить о городских шефах. Вот где нужна шефская помощь селу! А ведь в Калининской области много городов и крупных промышленных предприятий. Почему бы им не взять шефство над очагами культуры на селе, хотя бы над колхозами, которые уже обзавелись хорошими клубами? Помочь бы и в культуре и в физкультуре.

— С шефством пока слабовато,— опять вздыхает Георгий Георгиевич.— Правда, Вышневолоцкий театр все же вспоминает о нас, приезжает со своими постановками. У нас полюбили вышневолоцких артистов. Но они, конечно, только с постановками... А вот областной драмтеатр один раз приезжал к нам, но больше, видно, уже не приедет...

— Почему же?

— Характерами не сошлись,— грустно улыбнулся Цвеленев.

Он рассказал любопытную историю.

Приехали артисты Калининского драмтеатра, появились афиши. Колхозников удивила цена билетов: пятьдесят, восемьдесят копеек и рубль. Вышневолоцкие брали от тридцати до шестидесяти копеек. А рубль — что-то многовато! Вот и возмутились люди: не пойдём на калининцев! И не пошли... Кассовый сбор — всего около сорока рублей.

— А у вышневолоцких артистов?

— Минимум сто двадцать рублей собирают, а бывает и по полтора ста!

Этот случай, конечно же, требует раздумий...

Заглядывая в ближайшее будущее, Цвеленев не очень бодро настроен:

— Многое надо будет заново создавать... Досадно немножко: только обучишь молодых людей на музыкальных инструментах играть или еще чему-то, а они окончили школу — восемь или десять классов — и до свидания!

— Но все же доброе дело сделано,— возражаю я.

— Это-то так, конечно. Но каждый год если все заново...

Словом, не очень веселую картину рисовал Георгий Георгиевич. Однако он весьма оживленно рассказывал о колхозном празднике весны, состоявшемся после завершения весеннего сева.

Праздник проводили на берегу озера, вблизи знаменитого в этих местах Грановского парка. Были приглашены гости из других колхозов, из райцентра, из Вышнего Волочка, играл духовой оркестр, выступали вышневолоцкие артисты, своя самодеятельность, проводились спортивные соревнования на воде и на суше. На праздник собралось несколько тысяч человек.

— Надолго запомнится этот праздник всем, кто на нем был,— заключил Георгий Георгиевич.

А ведь такие праздники надо бы проводить регулярно. Скажем, группа колхозов избирает постоянное место для празднеств, приглашает гостей, музыкантов, артистов. Побывав на таких праздниках, поучаствовав в соревнованиях или даже только посмотрев на них, молодежь увезла бы с собой стремление разнообразить свой досуг. Это же бесспорно.

И совершенно бесспорно, что развитие культуры и спорта на селе требует вполне определенных мер. И прежде всего кадров! Постоянных кадров культурработников, спортивных инструкторов. На это не следовало бы жалеть материальных затрат.

## 5

В кабинете председателя — солдат и два молодых паренька. Солдат только что вернулся после службы, а два паренька отправляются в армию, просят характеристики для представления в военкомат. И пока Петров писал, молодые люди шепотком переговаривались. Надо думать, молодые интересовались у бывшего солдата: как и что там?

Петров встал, подошел к солдату, протянул ему бумажку.

— Зайди в бухгалтерию, там все оформят, — сказал он, — а насчет работы — к бригадире тракторной бригады, он уже ждет, вчера разговаривали о тебе.

Солдат поблагодарил и, приложив правую руку к фуражке, круто развернулся и вышел.

Молодые ребята не без зависти смотрели на его выправку, а Петров улыбнулся.

Присев к столу, он занялся характеристиками. А когда отдал их перепечатать, разговорился с ребятами.

— Вы постарайтесь на машины попасть, — напутствовал он их. — Нам много механизаторов потребуется.

— Это не от нас зависит, — возразил один.

— И от вас тоже зависит. Проситесь в танковые части или в строительные, но чтобы на машинах... Я насчет этого поговорю с военкомом.

Парни оживились.

Когда ребята, получив характеристики, ушли, Петров заметил:

— Славные ребята. Смирные, работяшие. Оба они — дети первых наших коммунаров. А солдат доложил о прибытии. Все, кто уходит в армию, знают: при возвращении колхоз отпускает бесплатно двести килограммов зерна и столько же картофеля да плюс к этому двадцать рублей деньгами. Так сказать, на обзаведение. Вот и ему выписал, что положено по уставу. А теперь пошли оправдываться перед Никифоровной. За опоздание к завтраку.

Татьяна Никифоровна слегка пожурела нас и взялась собирать на стол. А я тем временем рассматривал фотографии на стене. Выделялась отличной отделкой фотография отца Петрова — Александра Васильевича. Он в форме капитана первого ранга, взгляд строгий, решительный, чувствуется — человек волевой.

Евгений Александрович рассказывает об отце. Незадолго до революции Александр Васильевич перешел с боевого корабля на береговую службу. С первых дней революции — на стороне советской власти. В восемнадцатом году он приехал навестить свою семью, жившую тогда в Удомельском районе. Однажды, вернувшись с охоты, присел на стул, стал снимать перчатку с руки, не успел сдернуть всю, потерял сознание... Здесь его и похоронили.

За завтраком Евгений Александрович заметил:

— Наши планы теперь признали в районе.

А это означало вот что. в колхозе составили пятилетний план развития своего хозяйства. После широкого обсуждения в колхозе план представили в район. И бюро райкома, рассмотрев его, нашло отличным, принято решение: рекомендовать этот принцип работы над планом как пример для всех колхозов района.

Это же так важно! Значит, то, что молдинцы долгое время осуществляли как бы «подпольно», теперь получило признание, рекомендовано другим. Это и есть наиболее верный путь к высоким урожаям, к разумному ведению артельного хозяйства.

Я попросил познакомить меня с пятилетним планом колхоза.

Вот она — основа плана: семипольные севообороты, оправдавшие себя в условиях колхоза. Почти пятьсот гектаров чистого пара. Затем поле озимой ржи и пшеницы, два поля клевера в смеси с другими травами, потом на трехстах пятидесяти гектарах лен...

Любопытно, что во всех бригадах сохраняются прежние севообороты. Но размеры полей увеличатся, потому что колхоз намечает за пятилетие освоить около шестисот гектаров новых земель — отнять пашню у кустарников и болот.

Увеличится внесение в почву местных удобрений и минеральных. На этой основе рассчитывают повысить урожайность. Надо заметить, что молдинцы не планируют фантастических урожаев к концу пятилетки, они исходят из совершенно реальных возможностей. В шестьдесят пятом году, например, намечали получить зерновых по пятнадцать центнеров с гектара (получили 15,3 центнера), а в последнем году пятилетки — по двадцать. Иначе говоря, ориентировка на урожай, уже достигнутые передовыми бригадами колхоза. Но так как площадь пашни увеличится, валовой сбор зерна за пятилетие возрастет на восемьдесят процентов. Примерно такой же рост планируется по картофелю и льнопродукции.

Большие перемены намечены в животноводстве. Колхоз решил специализироваться на производстве молока и говядины, что в условиях хозяйства наиболее рентабельно. И производство мяса возрастет более чем в два раза, молока — на семьдесят процентов.

Но здесь, как мне кажется, молдинцы поскромничали. Они планируют к концу пятилетки довести удои коров до 2100 килограммов. А ведь бригада Захаровой уже в этом году надоила 2450.

Но вообще-то понять молдинцев нетрудно. За последние пять лет продуктивность их коров не только не поднялась, но, как и в большинстве других хозяйств, даже снизилась. И в 1964 году от каждой коровы было надоено по 1735 килограммов молока. Потому-то и планировали они в 1965 году по 1800 килограммов. Но, как видно, молдинцы напрасно разуверились в своих коровушках. Стоило получше покормить их клеверным сеном, дать немножко концентратов да улучшить содержание, и те за шестьдесят пятый год повысили удои почти на четыреста килограммов!

И еще одна весьма любопытная строчка из пятилетнего плана колхоза: «Завершить очистку полей от камней». Великое дело в условиях нечерноземной полосы! Этим самым открывается дорога на поля для любой современной техники.

Теперь — о доходах артели. Вообще-то чувствуется, что подсчитывались они осторожно. Впрочем, и здесь можно понять молдинцев: по доходам определяется и расход на эти годы. Можно, конечно, вставить в план фантастические цифры доходов и на этой основе запланировать строительство дворцов. Так обычно и планировалось сельское хозяйство в некоторые предшествующие годы. А молдинцы пошли реальным путем. На 1965 год денежные доходы планировались в 572 тысячи, а на конец пятилетки — в один миллион рублей! Но уже в 1965 году денежные доходы равны 718 тысячам рублей. Иначе говоря, они превысили уровень, запланированный на 1966 год.

— Ну, как наш план? — улыбаясь, спросил Петров.

— Если такими шагами пойдете вперед, как в этом году, то пятилетку за три года выполните!

— По урожайности и по продуктивности животноводства, может быть, и досрочно выполним, — согласился Евгений Александрович. — Но нам порядочно земель надо освоить, а это труднее. С освоенных-то мы тоже должны высокие урожаи получить. И строить много наметили.

И он с увлечением начал рассказывать, что и когда намечено построить, что купить. Не буду перечислять технику, запланированную к покупке, — слишком длинен список. А вот о постройках надо сказать. Не о производственных, хотя и их много будет возведено, а о культурно-бытовых.

Предусмотрено сооружение еще одного детского комбината, столовой, трех многоквартирных домов с водопроводом, паровым отоплением

— Дома эти построим специально для молодоженов и для новых колхозников. К нам все же приезжают из других мест, мы с удовольствием принимаем. И в дальнейшем будем иметь в запасе квартиры для новоселов.

— А дом отдыха? — напомнил я. — Он стоит в плане.

— Да, это будет самая ударная стройка, — оживился Петров. — В шестьдесят шестом начнем, через год окончим. Место подобрали замечательное — в Грановском парке, на берегу озера, где когда-то было барское имение.

По всему видно, что руководитель колхоза очень увлечен идеей постройки колхозного дома отдыха — первого в районе, а может быть, и в области.

Что ж, это, конечно, замечательно!

Евгений Александрович говорит и о других первоочередных культурных стройках: о возведении новых и капитальном ремонте старых клубов в бригадах, о расширении стадиона в Грановском парке.

Поздним вечером мы опять беседовали с Евгением Александровичем. Я все спрашивал его насчет нерешенных проблем.

— Главная-то проблема, — начал Евгений Александрович, — вот в чем: нужно всем, так сказать, повернуться лицом к деревне в полном смысле этого слова. Смешно ведь, когда в век техники у наших конструкторов не сработала еще мысль о комплексной механизации животноводческих ферм. Или еще досаднее: не можем изобрести аппарат для льнотеребилки, чтобы вязал снопы. Дико! Это-то вот и значит стоять к деревне спиной! Сколько разговоров о сборе камней, а никакого, даже простейшего, приспособления не придумано. Руками собираем, разве это дело?.. Надо, конечно, резко усилить материальное снабжение деревни. Теперь денег у колхозов станет больше, надо сделать так, чтобы колхозы имели возможность купить все необходимое, тогда быстрее пойдет расширение наиболее доходных отраслей.

— А еще что?

— А еще надо все же поменьше совещаний. До сих пор все боятся оставить нашего брата без присмотра. Впрочем, это понятно. Надо ведь перестриваться и товарищам в районе, в области. Положение-то после мартовского Пленума ЦК изменилось, то есть условия изменились, но со старыми привычками трудно расставаться, и этот процесс отвыкания от негодных методов надо как-то ускорить. Недавно получили мы из района телефонограмму. Она адресована всем колхозам и совхозам. Требуют: все силы перебросить на уборку картофеля!

— А разве это плохо?

— Так это же опять, так сказать, вмешательство в наше планирование. Но дело даже не в этом. Разумный хозяин в эти дни все силы бросит на лен! В первую очередь — на лен! — повторил Петров. — Если через неделю его не околотить и соломку не разостлать, то считай, что половину выручки за лен потеряли, потому что лен не успеет уже вылежаться, может уйти и под снег. Понимаете? Эту неделю все силы надо бросать на лен, а следующую неделю — навалиться на картофель.

— Так неужели в районе этого не понимают?

Петров пожал плечами.

— Наверное, понимают... Там есть опытные товарищи, должны бы понимать, но старые привычки, как камни на ногах, — тянут к старому. Директива эта вызвана, видимо, тем, что району хочется поскорее выполнить план продажи картофеля. Тут они почувяли возможность отличиться, вот и махнули рукой на самую доходную культуру. Ради своего престижа. План-то по льну можно и в ноябре выполнять. Нет, от старых методов руководства надо отрешаться. Экономика, здравый расчет должны руководить хозяйственными делами, умение заглянуть вперед, хотя бы на небольшой период времени, но вперед глядеть!

Он помолчал немного. Потом заговорил о нуждах колхоза. Совсем плохо снабжают деревню строительными материалами. Почти невозможно в магазинах купить шифер, цемент и многие другие материалы.

— И вот еще, — оживился Петров. — О дорогах. Это же проблема, наверное, всей России.

Это верно. Мне вспомнились дороги к моему родному селу. Половину года для

автомашин они практически непроезжие. Недавно я оказался свидетелем совсем уж грустной картины: на совещание в центральную контору совхоза вызвали бригадиров и руководителей нашего отделения. Если на лошадях ехать, то километров двенадцать, а на машине надо в объезд, а это более шестидесяти километров! Поехали машиной, потому что людей много везли.

— А ведь и проблема-то не ахти какая,— продолжал Евгений Александрович.— Вот, скажем, для нас. Хорошо иметь бы один экскаватор, мы года за два сделали бы все наши дороги проезжими, да и соседям помогли. Но ведь сейчас-то во всем районе на дорожном строительстве нет экскаваторов. А ведь никто не подсчитает, сколько колхозы, а в конечном счете государство теряют из-за плохих дорог, сколько гробится машин. Ведь в наших местах и раньше дорогам внимания не уделяли, да и теперь не счесть...

Проблемы встают и со льном. Но уже с позиций экономических.

— Надо бы как-то стимулировать сверхплановую продажу льна, как это сделано с зерновыми культурами. Лен остался незаслуженно забытым. А ведь это послужило бы сильным стимулом для повышения и урожая, и качества волокна.

— Тогда надо говорить и о молоке и о мясе?

— А почему бы и сверхплановую продажу молока не стимулировать? — спросил Петров.— Надо поддержать и животноводов. Все это требует серьезного обдумывания и, конечно,— улыбнулся Петров,— дополнительных средств. Но надо поощрять сверхплановую продажу.

Порывшись в столе и не найдя нужной бумаги, Евгений Александрович задвинул ящик, о чем-то задумался.

— Все эти проблемы, о которых мы только что говорили, видимо, решатся в ближайшее время. Да некоторые уже решаются. Но есть самая главная проблема, которую не решить постановлениями: о людях, о кадрах деревни, а если точнее — о молодежи.

Я заметил, что для колхоза «Молдино» это уже не проблема, здесь много молодежи, и...

Евгений Александрович перебил меня:

— Раньше и я так думал, а вот теперь вижу, что и для нас молодежь — проблема!

Проблема? Ведь в Молдине так много сделано для молодежи: прекрасный клуб, спортивная площадка, средняя школа. Разве случайно все сыновья бригадира Захарова работают в колхозе? У самого Евгения Александровича все дети тоже в колхозе. Здесь не на словах, а на деле много делается для совмещения учебы с практикой.

Колхозные ребята активно участвуют в артельных работах. За минувшее лето, например, десятки школьников выработали по семьдесят—восемьдесят и даже по сто трудовых дней. Эти данные я взял из списка молдинских школьников, которые в августе ездили на экскурсии в Москву, Калинин, Ленинград. Этот порядок в колхозе введен давно: школьники, которые наиболее активно помогают родному колхозу, получают право на экскурсию за счет колхоза. Сами школьники установили и норму: кто выработает больше пятидесяти трудовых дней, тот и получает право на поездку. В этом году такое право заслужили восемьдесят три школьника.

— Да, но тем не менее это и для нас становится проблемой,— продолжал Петров.— Хотя для наших соседей острота ее ощущается куда больше. Из-за соседей-то, как это ни странно, и нам труднее.— Евгений Александрович вышел из-за стола, прошелся по комнате.— Наши ребята как говорят? — продолжал он свои размышления.— Незачем ходить в другую деревню, там молодежи нет. А у себя все так знакомы, что вроде бы и неинтересно... Понимаете? Так что дело-то это общее... В последнее время и наши многие потянулись в город. Просто удивительно: даже после средней школы поступают в кулинарную школу, в торговый техникум, чтобы стать продавцами, поварами... Но зато в городе! Беда в том, что теперь и родители часто поддерживают такие устремления молодежи.

— Почему именно теперь? — не понял я.

— А потому, что жить стали лучше. В послевоенные годы тяжело жила молодежь. Без отцов поднимали семьи, старшие дети были кормильцами. Тогда матери уго-

варивали детей оставаться дома, в колхозе, чтобы поднять всю семью. А теперь стали позажиточней, самым необходимым уже обеспечены, кормильцы не так нужны, вот родители и отправляют своих детей в город на любую работу, но только в город. Там, видите ли, работа легче, там семичасовой день. Впрочем, они правы... У нас пока, сами видели, с семи до семи работаем, с небольшим перерывом на обед. А в сенокос еще раньше начинаем рабочий день, иначе не управиться вовремя.

Петров поделился любопытными наблюдениями: раньше многие просились работать на животноводческую ферму — там заработки были всегда выше, чем у полеводов. Они и теперь выше, однако труднее становится уговорить молодых работать в животноводстве. А почему? Опять-таки потому, что жить стали лучше, за большими заработками уже не гонятся. Теперь неплохо можно заработать и в полеводстве, и на строительстве. Но зато не надо вставать в три часа утра, чтобы успеть на дойку коров, не надо ходить на ферму и поздно вечером.

— А тут еще дачники — досадливо махнул рукой Евгений Александрович.— Раньше мы даже радовались, дачники раскупали у нас ягоды из колхозного сада, приносили, так сказать, доход. А теперь я не пустил бы их... Понимаете, в чем тут дело? Дачники — это в основном те, кто когда-то уехал из колхоза в город, а теперь приезжает в отпуск отдохнуть, погулять. Многие из дачников материально живут хуже наших, это я точно знаю. Но каково-то нашим колхозникам в грудную сенокосную пору любоваться гуляющей публикой?..

— Да, но ведь в вашем колхозе тоже платные отпуска,— заметил я.

— Отпуска мы даем, но пока только в зимние месяцы.

— А почему бы и летом...

— В том и вопрос. Надо и летом давать. Потому и дом отдыха будем форсировать. А то ведь что получается? Возим мы своих школьников по столицам, в самые красивые места, во дворцы. Они, конечно, жадно все это смотрят и наверняка думают: вот где жизни! В столице, в городе... А тут девчата со своими претензиями. Некоторые прямо мне сказали, что боятся остаться одиночками. И это тоже гребует задуматься.

Проблема сельской молодежи не нова, в послевоенные годы она обострилась, но в прошлый свой приезд я увидел здесь богатый колхоз, огромный для этих мест поселок, близкие к городским культурно-бытовые условия — казалось, здесь был сделан максимум возможного для закрепления кадров. И в прошлый мой приезд Петров говорил, что молодежный вопрос их пока не очень волнует. Что же произошло за эти полтора года?

Евгений Александрович ответил так:

— Проблема эта назревала постепенно. Разумеется, отлив молодежи в города, на стройки, на учебу неизбежен, от этого никуда не уйдешь. Да мы ведь никогда и не старались удержать в колхозе всех выпускников школ. Наши прикидки показали: если бы в колхозе оставалась примерно половина нашей молодежи — никакой тревоги не было бы. Понимаете?.. Достаточно половины. А в дальнейшем, с комплексной механизацией колхозного производства, потребность в рабочей силе еще уменьшится, и весьма значительно.

— Но ведь нельзя же ориентироваться на рабочий день от семи утра до семи вечера? — возразил я.

— Да, это верно,— охотно согласился Петров.— У нас к этому уже попривыкли... Однако и это надо теперь учитывать.

Он открыл ящик стола, порылся в нем, отыскал свою зеленую тетрадочку.

— Вот картина-то какая... С пятьдесят пятого до шестидесятого года из армии демобилизовалось более сорока наших парней. Из них только трое ушли в город, а остальные остались в колхозе. Понимаете? А с шестьдесят первого года картина резко меняется. Сначала из шести вернувшихся со службы в колхозе осталось четверо, потом из семи осталось трое, затем из шести один, а в шестьдесят четвертом году из восьми задержались двое. И нынче на большее рассчитывать не приходится...

Вот откуда началось беспокойство председателя колхоза. Об этой закономерности мне говорили и в некоторых других хозяйствах района. Выражали досаду: вернется паренек со службы, женится и с молодой женой уезжает в город, увозя, так сказать, еще одну колхозницу.



А из последних четырех выпусков средней школы в колхозе задержались только четверо, иначе говоря, из тридцати — один... Из нынешнего выпуска пока остались в колхозе трое, но двое из них уйдут в армию.

— Беда-то еще вот в чем,— жалуется Петров,— очень трудно уговорить учиться на агронома, быть колхозным стипендиатом и вернуться в родной колхоз. Это меня совсем расстроило... Только с большим трудом и с помощью родителей удалось сагитировать Гаю Ипполитову поступать в сельхозинститут.

— А что же ее смущает? Почему отказывается?

— Галя говорила так: окончу институт — надо возвращаться в колхоз, и уже на всю жизнь в деревню. Понимаете? Деревня пугает! Тут и сила примера имеет значение. Галя прямо говорит: все мои подружки устроились в городах, а я не хуже их...— А вот в трехгодичную школу культработников так и не удалось никого сагитировать. Никого! — подчеркнул Евгений Александрович.— И мотив тот же, обычный: после учебы работать в деревне всю жизнь... Нет, молодежный вопрос теперь, когда, в общем-то, решены экономические стимулы развития колхозного производства, становится проблемой номер один! — заключил он.

## 6

Признаться, меня озадачила эта беседа с Петровым. Но, конечно же, Евгений Александрович очень прав, поднимая тревогу. Оказывается, не так давно свои тревожные мысли он изложил на пленуме райкома, когда обсуждались решения мартовского Пленума ЦК КПСС. Он привел там все те цифры из своей зеленой тетрадки, которые вызвали теперь у меня замешательство. Наверное, мое представление, как и многих моих собратьев по перу, было слишком примитивным, прямолинейным, что ли. Укладывалось оно в упрощенную схему: на село придут новые машины, электричество, колхозы заживут много богаче, появятся клубы и другие очаги культуры, тогда сами собой решатся и наиболее острые проблемы жизни деревни. И в первую очередь — проблема молодежи. И вот те на!..

В смысле культуры, богатства, оплаты труда людей колхоз «Молдино» сильно опережает большинство хозяйств в этих краях. Он как бы правофланговый. И вот Петров затревожился, что из выпускников средней школы совсем мало осталось в колхозе. А ведь в моем родном «Великом Октябре» (в этом же Удомельском районе) уже после восьмого класса в колхозе не задержалось ни одного человека из выпуска шестьдесят пятого года. Ни одного! Все подались в город или в райцентр.

За жизнью родного колхоза я наблюдал давно. И всех его председателей (а их сменилось порядочно) я всякий раз старался ободрить примером колхоза «Молдино»: заживет, мол, ваш колхоз, как «Молдино», вот и решится проблема рабочей силы и молодежи. А что же теперь скажу руководителям «Великого Октября»? На кого буду ориентировать? Да и себя-то тоже?

Последнее обстоятельство меня, по понятным причинам, беспокоило больше всего. Сразу после беседы с Петровым я не мог самому себе дать убедительный ответ. И как это иногда случается, даже усомнился сперва: а не преувеличивает ли Евгений Александрович? Для него ведь непривычно было узнать, что выпускники средней школы все вдруг решили уехать из родного колхоза. А может быть, в следующих выпусках будет иначе? Но эта «соломинка», за которую я было ухватился, не выдержала... Петров не паникер. В приведенных им цифрах видна тенденция.

И все же я решил кое-что «уточнить».

Прежде всего познакомился с бригадиром передовой животноводческой бригады Прасковей Никаноровной Захаровой. Женщина она общительная, боевая. Очень охотно рассказывала представителю районной газеты (мы к ней пришли вместе) о делах своей бригады. Да и как не рассказать — бригада-то передовая в районе!

Беседа велась на выпасном участке, в нескольких километрах от деревни. Дневную дойку животноводы проводят на выпасах, приезжают сюда на попутном транспорте, если он окажется.

— Живем хорошо, только никто почему-то не завидует,— весело рассмеялась Прасковья Никаноровна и посерьезнела: — Ну, я так, шутки ради... Бригада у нас по-

добралась дружная, шесть доярок и все давно работают, опытные. Зарабатываем хорошо. Лучше всех показатели у Анны Егоровны Лебедевой...

— А почему же не завидуют животноводам?

— Это я сужу по другим бригадам,— возразила Прасковья Никаноровна.— Трудно стало подбирать людей на ферму, молодые нос воротят от животноводства: видите ли, вставать надо очень рано! Столько дел еще впереди, а им подавай семичасовой день!..

Она рассказала нам потом, что в ее бригаде пожилая доярка Прасковья Михайловна Беляева сумела заинтересовать работой на ферме свою дочь Галю. После окончания школы Галя вот уже несколько лет трудится вместе с матерью. Как видно, Захарову больше беспокоит положение в других бригадах.

Заговорили о рабочем дне колхозной доярки. Встает она рано — часа в три, потому что надо успеть на утреннюю дойку, которая начинается в четыре. После некоторого перерыва — выезд на выпасной табор — в полдень вторая дойка. Здесь коров подкармливают чем-нибудь. Осенью, например, брюквой, а ее надо надергать из земли, вымыть, измельчить, разнести коровам — каждой по ведру, а иногда и по два. А вечером третья дойка коров — часов с восьми.

Летом, говорит Прасковья Никаноровна, дояркам много легче. Зимой корма надо раздавать три раза в день — разносить их по кормушкам. А кормов для каждой коровы за сутки задается от тридцати до пятидесяти килограммов.

Картина знакомая. Мне приходилось уже не однажды выступать в печати, обращать внимание общественности на тяжелый труд наших доярок. Я и теперь твердо убежден: из всех сельских работ самая тяжелая у доярок. Лишь в немногих хозяйствах механизирована раздача кормов. В большинстве же доярка сама разносит корма своим коровам. А ведь при механизированном доении на доярку по норме положено двадцать пять—тридцать коров, а на каждую корову, как уже упоминалось, расходует до пятидесяти килограммов разных кормов. Бывает и больше.

Но, пожалуй, самое нескладное в работе доярок — это разорванный на три части рабочий день. Представим себе такую картину. На какой-то фабрике вдруг объявили: переходим на трехпромежуточный рабочий день — рано утром работаем три часа, потом днем часа два, а с восьми вечера еще два-три часа. Все это выглядело бы просто дико. И ясно, что на такой фабрике не осталось бы работниц. А между тем у многомиллионной армии наших доярок рабочий день именно такой. Практически доярка лишена возможности бывать в кино, в клубе — у нее с восьми вечера начинается третий период работы. Молодым дояркам трудно выкроить время для заочной учебы. Многие доярки говорили мне:

— На нашей работе мужик не выдерживает!

В этих словах много правды. Дояров-то у нас далеко не на каждый район по одному приходится.

Могут возразить: такова специфика производства.

Это, конечно, так. Вот и Прасковья Никаноровна говорит: летом-то, в период сенокоса, полеводам приходится работать не меньше, чем дояркам. Все же успокоение... Однако легко ли убедить в правомерности такого распорядка рабочего дня парня или девушку, которые отлично осведомлены о семичасовом дне на фабриках, в конторах?

Много раздумывал я над этим и всякий раз приходил к одному-единственному выводу: руководители Министерства сельского хозяйства ничего пока не сделали для улучшения организации труда животноводов. Похоже, что они даже не интересуются этими вопросами.

А ведь еще в довоенные годы ученые и практики искали пути к лучшей организации труда животноводов, хотя тогда не так остро стоял вопрос о кадрах доярок. И путь был найден! По примеру промышленной организации труда. На фабрике станки обслуживаются в две-три смены. На скотном дворе — тоже станки, хотя и живые. Поэтому и тут возможна посменная работа, точнее — двухсменная!

Помню я, как двухсменная работа доярок вводилась в Северо-Любинском совхозе Омской области и как потом возмущалась бригадир Ольга Дмитриевна Батищева:

— Что же раньше-то не могли до этого додуматься? Такое хорошее дело!

А ведь дело-то оказалось простым, исключительно простым! Бригада Батищевой обслуживала сто коров, которых доили с помощью машины. За каждой дояркой закреплено шестнадцать — семнадцать коров, их тогда доили четыре раза в сутки. С чего же началась двухсменка? Две доярки, по взаимному согласию (это очень важно для начала), объединили свои группы коров в одну и с этого момента обе стали ухаживать за спаренной группой коров, но по очереди, в две смены. К четырем утра приходит доярка первой смены и работает до часу дня, имея часовой перерыв на обед. За это время она дважды доит спаренную группу коров, кормит их. А после часа дня свободна до следующего утра. Доярка второй смены приходит на ферму к трем часам дня и работает до двенадцати ночи, проводит точно такую же работу, что и ее напарница. Каждую неделю доярки чередуются сменами.

С переводом доярок на двухсменную работу на ферме стали работать и семейные женщины. Все признали: труд доярки облегчился. Надо заметить, что и продуктивность коров в Северо-Любинском совхозе быстро пошла вверх, достигнув вскоре показателя: 4500 килограммов молока на корову в год.

Когда рабочие совхозов были переведены на семичасовой рабочий день, «двухсменка» сохранилась, хотя коров стали доить три раза в сутки, как это делается сейчас почти во всей стране. Рабочий день доярок стал таким: первая смена приходит на ферму к пяти утра и работает всего шесть часов. За этот промежуток доярка проводит одну дойку коров, одно кормление и подготавливает корма для очередного кормления животных. И с одиннадцати часов утра до следующего дня она свободна.

Доярка второй смены работает восемь часов, дважды доит коров и дважды кормит их. Но так как смены доярок каждую неделю чередуются, соблюдается и семичасовой рабочий день.

Когда я все это рассказал Захаровой, она искренне удивилась:

— А почему же у нас ничего об этом не слышали? Если бы так работать, так все иначе бы пошло...

А вот работники Министерства сельского хозяйства знают о «двухсменке» почти тридцать лет, но ничего не сделали для ее внедрения и усовершенствования. Хотя совершенно ясно, что на механизированной ферме при двухсменной работе труд доярки (свинарки и телятницы тоже) действительно становится разновидностью труда индустриального.

Вот и приходится отмечать печальный факт: в Сибири, например, сейчас на двухсменной работе доярок в несколько раз меньше, чем десять лет назад. Было бы еще понятно, если бы велись поиски в каком-то другом направлении. Но ведь нет таких поисков, миримся с тем, что было тридцать — сорок лет назад. Можно ли тогда рассчитывать, что молодежь ринется на фермы?

Правда, «двухсменка» все же пробивает себе дорогу. Совсем недавно я с радостью прочел в одной из статей о широком распространении двухсменной работы на фермах Свердловской области. Не могу удержаться, чтобы не привести высказывания свердловских животноводов.

Вот что пишет комсомольско-молодежная бригада совхоза «Щелкунский»: «Мы убеждены, что без двухсменной работы невозможно организовать успешный труд и интересный отдых. Теперь у нас есть свободное время для общественных дел, для повышения общеобразовательного и политического уровня. Мы имеем возможность бывать в театрах, кино, читать книги».

И еще: «Оценив перемены, происшедшие в организации труда, многие животноводы, ранее покинувшие фермы, снова вернулись туда. В хозяйствах, где животноводы работают в две смены, проблема текучести кадров снята с повестки дня. Усилился приток молодежи на фермы».

Замечательно!

В «Молдине» я беседовал с некоторыми подростками-школьниками, активно работающими в колхозе. Настроены они бодро. Один паренек решительно заявил:

— Работать в поле легче, чем учиться.

Тут, понятно, есть намек на перегрузку школьных программ. Но есть и искрен-

ность. В самом деле: молдинские ребяташки с детства привычны к труду. И если бы найти, как принято говорить, подход к этим трудолюбивым ребятам, увлечь их перспективами, то ведь какие золотые работники пришли бы на смену старшим!

И все же почему эти неизбалованные, привычные к труду ребята стали посматривать на город?

Несколько подростков, которым задавал этот вопрос, ответили заученно:

— В городе легче жить и работать. Там машины и рабочий день короткий.

А что тут возразить? Разве что сказать, что в деревне воздух чище. Но ведь для молодых ребят эти слова, как говорится, не звучат. Можно поговорить о патриотизме, о любви к своему родному колхозу. Но разве работа на заводе, на стройке — не патриотизм? Городская-то молодежь не едет в колхоз...

Между прочим, молдинские ребята осведомлены о труде подростков на фабриках и заводах, знают, что там для несовершеннолетних шестичасовой рабочий день (а для пятнадцати-шестнадцатилетних — четырехчасовой), но оплата труда в таких случаях производится, как за полный рабочий день взрослого рабочего соответствующей квалификации. Такой порядок, кстати, распространяется и на совхозы. Однако в колхозах никакого поощрения труда подростков не предусмотрено. А почему бы не поощрить деревенского подростка? Кто рос в деревне, тот хорошо знает, как гордится паренек, если смог заработать не меньше отца!

В словах молдинских подростков проскользнула некоторая досада:

— Машин подходящих в деревне маловато...

Не ново, конечно. Однако почему ученики сельской школы, окончивая восьмой (десятый тем более) класс, не обучены вождению трактора, автомашины, работе на комбайне? А деревенские школьники совсем не знакомы с машинами, действующими на фермах, на обработке льна?

Вопросы эти не праздные...

И Евгений Александрович и другие приводили любопытные примеры. Возвращаются ребята из армии, и кто владеет специальностью механизаторов, тот «наш»!

Так почему основную массу сельских школьников не выпускать из школы уже механизаторами? Товарищи, побывавшие в Америке, рассказывали мне, что фермерский мальчишка в двенадцать лет умеет управлять трактором, автомашиной. Неужели наши ребяташки не так смыслены? Дай только им в руки подходящую машину! И тогда можно не сомневаться, что в деревне будет достаточно своих механизаторов. А ведь ясно: будут свои механизаторы — наполовину решен вопрос с кадрами на селе!

И, конечно же, надо более серьезно решать вопросы культуры. Разговоров об этом много, ведутся они давно. В последние годы заметно усилилось строительство клубов в деревне. Но не так трудно заметить в этом деле один весьма существенный недостаток. Почти все клубы и другие очаги культуры возводятся на центральных участках колхозов и совхозов. А загляните на окраины, в отдаленные поселки, именуемые фермами или бригадами. Там-то зачастую полнейшее запустение: ни клубов, ни красных уголков.

Обращаю на это внимание потому, что располагаю цифрами по десяткам хозяйств Сибири и Нечерноземья: молодежь этих отдаленных от центра поселков практически в полном составе уезжает из села. Иногда на центральную усадьбу — там устраивается на работу. А чаще в город.

Впрочем, об этом все знают. А вот ответных мер, как говорится, не предпринимается.

И еще один вопрос, связанный с культурой села. Клубы, конечно, будут. А вот будут ли в них квалифицированные организаторы досуга молодежи? Успеют ли наши техникумы и культпросветшколы готовить кадры сельских клубных работников? Я не располагаю цифрами, но факты известны: пока что подготовленных клубных работников в деревню попадает мало.

Мне доводилось слышать от районных, да и областных работников, что культура на селе быстро растет, кое-где не заметно уже разницы между городом и деревней. В таких случаях я спрашивал товарищей:

— А что, разве развитие городской культуры было приостановлено? Разве в городах ждали, когда подтянется культура села, чтобы потом шагать вместе, рядом? Ответа на этот вопрос и не требовалось.

Теперь мне понятнее стали задумки Евгения Александровича. Строительство колхозного дома отдыха становится здесь самой ударной стройкой! В 1966 году будет построен клуб в десятой бригаде, заново оборудован в седьмой, капитально ремонтируется в третьей. Во всех отдаленных поселках форсируется строительство водопроводов и водоразборных колонок. Только недавно в третьей бригаде вода подана в четыре квартиры колхозников. Это первые квартиры с водопроводом. И не на центральной усадьбе, а в отдаленной бригаде.

В этой общей цепи продуманных мер разве не представляют интереса такие, как постройка мисоквартирных домов со всеми городскими удобствами специально для молодоженов и новых колхозников? А строительство стадиона?

Плоды не заставят себя ждать.

Но вот ведь вопрос-то: молдинцы реализуют свои планы культурного строительства. Но большинство других-то колхозов района в этом деле пока очень сильно отстает от «Молдина»... Можно ли ограничиваться «оазисами» культуры на селе?

## 7

Я, конечно, не сомневался, что у Евгения Александровича есть и предложения, связанные с молодежной проблемой. Не могло не быть. И мне, понятно, хотелось «выудить» их. Я снова «атаковал» его за вечерним чаем.

Выслушав мои вопросы, Петров усмехнулся:

— Новых предложений, пожалуй, и нет. В общем-то, ведь ясно, как удержать молодежь на селе. И не только молодежь.— Помолчав немного, продолжил: — Ясно, что экономические условия в деревне должны быть по крайней мере равными с городскими! Понимаете? Равными, а то и повыше.

Я сразу же попробовал возразить: в «Молдине» экономические условия для некоторых профессий не хуже, чем, скажем, в Вышнем Волочке. Однако молодежь уходит в Волочок.

— Правильно,— согласился Евгений Александрович.— Уходит и будет уходить. Потому что только экономическими стимулами этой проблемы не решить. А ведь кое-кто видит лишь экономическую сторону проблемы, вот в чем беда...

— А что же тогда...— начал было я.

— Надо вторую сторону этой проблемы решать более энергично,— жестко проговорил Петров.— В полной мере осуществить поворот лицом к деревне, о чем я уже вам говорил. А это... А это, если хотите, и запасные части к машинам, которых у нас вечно не хватает. Вы думаете, так просто сосватать в колхоз инженера-механизатора? Инженеры знают: их работа связана с известным риском — надо покупать запасные части у частных лиц, а за это и самому легко попасть в преступники. У нас свой доморощенный механик, в институте заочно учится, наш ко всему привык. А много ли задержалось присылаемых в разное время из городов? У нас в районе, пожалуй, ни одного... Инженеров в наших колхозах вообще нет. И конструкторы вместе с машиностроителями должны решительно повернуться лицом к деревне. Они-то, пожалуй, больше всех могут помочь в решении молодежной проблемы.

— Каким же путем?

— Путь у них один — больше хороших и умных машин для села, таких, чтобы ребята могли управляться с машинами, тогда можно увлечь молодежь.

Знакомые мотивы...

— Надо же смотреть правде в глаза,— продолжал Евгений Александрович.— В деревне долго еще труд будет тяжелым, а рабочий день длинным. Только комплексная механизация может выручить.

Я рассказал Петрову о двухсменной работе животноводов. Это очень заинтересовало его. Он записал себе для памяти, сказал, что непременно пошлет зоотехника в хозяйство, где есть двухсменная работа, потому что в этом может быть выход.

Говорил Евгений Александрович и о шефском движении. Но решительно подчеркнул:

— Нужно культурное шефство. А что касается помощи в полевых работах, я лично прекратил бы такую шефскую помощь.

— Почему же? — удивился я.

— Очень просто. Прежде всего это невыгодно экономически ни колхозам, ни предприятиям. Расходы большие, ущерб основной работе предприятий заметный, а отдача мала. Все надо брать в расчет. Мы прикинули — и давно уже не прибегаем к такой помощи. Да и другая сторона не менее важная. Куда приезжают горожане? В отстающие колхозы. Что они там видят своими глазами? Непорядки, в отстающих и культура отстает, и быт... Словом, побывав в отстающем колхозе, горожанин не захочет переехать в деревню. И товарищам своим закажет! Есть и еще уязвимое место в таком шефстве. Руководители многих хозяйств, да и сами колхозники, сильно привыкли к мысли, что к ним все равно приедут на помощь горожане, потому и не принимают всех мер к улучшению полевых работ своими силами.

— А если сил мало вообще?

— А если мало, то ведь теперь свое производство колхоз планирует сам. Вот и надо так спланировать набор культур, поголовье скота, чтобы со всеми работами управляться своими силами. Продуманнее надо планировать производство, на свои силы рассчитывать,— подчеркнул он.

У Евгения Александровича есть свои предложения и о подготовке для села деятелей культурного фронта, и о шефстве культурных учреждений. Или вот еще: почему бы демобилизацию воинов, отслуживших в армии, не производить по месту их призыва? Не принудительно, конечно. А все же — заглянет демобилизованный в родное село, побеседует с земляками, с председателем колхоза,— узнает, какая там нужда в умелых руках. Может, и задумается, прежде чем уезжать на новые места. А сейчас-то многие солдаты задолго до демобилизации уже завербованы на стройки или еще куда-то, только не на село. Для них формируются специальные эшелоны. И все они — мимо села, конечно.

— Мы приветствуем порядок, который заведен теперь в сельхозвузах,— говорит Евгений Александрович.— Преимущество при приеме — сельской молодежи! Надо бы этот порядок распространить и на училища механизации. Принимать туда только жителей села, потому что горожане, окончившие курсы трактористов или комбайнеров, как правило, не задерживаются в колхозах.

Много и других мыслей было высказано в этой беседе, много практических предложений. И все они, думается, могут быть решены, если, как выразился Петров, повернуться лицом к деревне. И к такому повороту призывают и Директивы XXIII съезда партии по пятилетнему плану развития народного хозяйства. В них сказано. «Исходя из местных условий различных районов, разработать конкретные мероприятия по устранению различий в культурно-бытовых условиях жизни деревни и города и приступить к широкой реализации этой программы».

Замечательная директива! Впервые так четко подчеркнуты интересы села! Делать за разумными планами и за широкой реализацией их.

Колхоз «Молдино»  
Калининской области.



# ДНЕВНИКИ. ВОСПОМИНАНИЯ

ФЕРЕНЦ МЮННИХ

★

## МАТЕ ЗАЛКА—СОЛДАТ РЕВОЛЮЦИИ

*В славном списке людей, отдавших свою жизнь за светлые идеалы мира, свободы и демократии, имя венгерского писателя Мате Залки занимает почетное место.*

*Он родился 23 апреля 1896 года в крестьянской семье в венгерской деревне Матольч, а погиб 11 июня 1937 года на испанской земле, под Уэской, в рядах Интернациональной бригады, где служил под ныне бессмертным именем генерала Лукача.*

*В этом году ему исполнилось бы семьдесят лет. Мы печатаем воспоминания о Мате Залке, написанные известным венгерским политическим деятелем Ференцем Мюннихом.*

**Л**етом 1917 года Мате Залка находился в Сибири, в лагере военнопленных, и примыкал к группе левых социалистов. Во многих сибирских городах — Томске, Омске, Иркутске, Красноярске — в местных Советах главенствовали большевики. Это облегчало революционную агитационно-пропагандистскую работу, которую вели организации военнопленных. Во многих местах управление лагерями было передано революционным комитетам военнопленных. Реакционная позиция подавляющего большинства офицеров, их стремление угрозами и террором отпугнуть массы военнопленных от революционных организаций вызвали необходимость отделить офицерские лагеря от солдатских. Тогда создали лагерную охрану из военнопленных солдат, примыкавших к революционному движению. Впоследствии эта вооруженная охрана преобразовалась в красногвардейские отряды, состоявшие из военнопленных. Контрреволюционные выступления и возникшие во многих местах вооруженные мятежи заставляли местные Советы создавать собственные вооруженные силы. Большевицкая партия вооружила своих членов, а в некоторых промышленных районах — например, в Кемеровском, на территории Судженковских угольных шахт и в других местах — образованы были рабочие отряды Красной гвардии. Но все же оборона крупных центров не была еще вполне надежной. Следует помнить, что в распоряжении контрреволюционеров находились десятки тысяч вернувшихся домой реакционных офицеров разгромленной царской армии. Поэтому созданные революционными комитетами военнопленных красногвардейские отряды, состоявшие из обученных, побывавших на фронте солдат, явились для большевицкого руководства весьма желанным подспорьем.

Так было и с отрядом Мате Залки. Уже в то время проявились его военные и организаторские способности. Приобретенные им марксистские знания раскрывали ему все значение назревающей социалистической революции. За короткое время он создал вооруженный полк из хорошо обученных, опытных добровольцев-военнопленных, главным образом венгров.

Подавляющее большинство венгерских военнопленных состояло из крестьян, прежде всего бедняков и сельскохозяйственных рабочих. С ураганной силой захватил их водоворот русской пролетарской революции. Мате Залка и революционные организации военнопленных помогли этим людям понять, что судьба их переплелась с победой рус-

ских рабочих и крестьян, что без победы русской социалистической революции не может быть победоносной революции в Европе.

Красногвардейский полк Мате Залки — как подобные соединения многих других центров — находился в распоряжении комитета партии и местного Совета, которым руководили большевики. Полк помогал поддерживать порядок и принимал участие в ликвидации местных контрреволюционных мятежей.

Революционное движение военнопленных охватило в Сибири не только венгров, но и немцев, австрийцев. Однако в немецких и австрийских лагерях часто верховодили оппортунисты из II Интернационала — социал-демократы, взлелеянные на груди австромарксизма и бернштейнианства. Они возвещали, что задача движения военнопленных состоит в проявлении симпатий к русской революции, но ни в коем случае не в вооруженном вмешательстве. «Wir werden zu Hause zeigen» — «Мы себя дома покажем», — заверяли руководители немецких социал-демократов. Разумеется, среди австрийских и немецких военнопленных встречалось немало и таких, кто думал и действовал иначе.

Мате Залка, который в лагере военнопленных изучал Маркса и Энгельса и вел массовую работу среди военнопленных, стал сознательным революционером. Он считал, что военнопленные революционеры должны с оружием в руках встать на сторону революции. Эту точку зрения он высказывал во время Октябрьской революции, а в предшествующие ей дни принял участие в отражении атаки местной контрреволюции.

От решения вопроса о вооруженной поддержке революции зависело единство революционного движения военнопленных. Ввиду этого томская, омская, красноярская, иркутская и другие крупнейшие организации военнопленных по соглашению с партийными и советскими органами в феврале 1918 года созвали конференцию в городе Канске, находящемся между Красноярском и Иркутском. Автор этих строк, который на конференции представлял томскую организацию, требовавшую вооруженного вмешательства, здесь впервые встретился с Мате Залкой. Подавляющее большинство посланцев требовало поддержать русскую революцию, а нескольким возражавшим против этого делегатам едва удалось произнести свои речи. Большое значение имело выступление Мате Залки. В проникнутой энтузиазмом речи, встретившей бурное одобрение, он призывал к пролетарской солидарности и требовал активного участия в защите русской революции. Конференция единодушно так и решила. Некоторые организации — например, омская, красноярская, иркутская и другие — послали хорошо организованные и обученные отряды на маньчжурскую границу, где банды атамана Семенова напали на страну рабочих и крестьян.

Начиная с этого времени Мате Залку видели повсюду, где молодой советской власти угрожала опасность. Он организовывал отряды, агитировал, воодушевлял, руководил военными операциями. Он был одним из инициаторов движения за то, чтобы местные сибирские революционные организации военнопленных объединились, получили общее руководство и из самостоятельно действующих красногвардейских отрядов превратились в единую военную силу.

Этим планам помешал мятеж контрреволюционной чехословацкой армии в конце мая 1918 года. Стотысячная военная сила, организованная из попавших в плен солдат славянской национальности Австро-Венгерской монархии, в то время располагалась на крупных сибирских железнодорожных станциях, так как Советское правительство согласилось, чтобы они через Владивосток вернулись на свою родину. Правительство Керенского, пополнив эти отряды не только пленными офицерами, но и офицерскими силами своей распавшейся армии, сумело использовать их для антисоветских целей, применяя террор, распространяя клевету о советской власти, сея панические слухи о том, что большевики хотят воспрепятствовать возвращению солдат на родину. В конце мая 1918 года контрреволюционные силы заняли важнейшие узлы большой сибирской железной дороги. Связь между революционными организациями военнопленных отдельных городов была прервана. Полк Мате Залки в то время дислоцировался в Ачинске, где чехословацкие контрреволюционные отряды охраняли значительную часть золотого запаса, увезенного из русского государственного банка.

Быстро приняв решение, Мате Залка использовал замешательство и колебания



среди чехословацких мятежников, возникшие в связи с присутствием в городе его революционного полка. Он собрал железнодорожный состав, прицепил к нему вагоны с золотом, посадил на поезд своих солдат и отправился на запад, решив спасти золото для молодого Советского государства. К западу от Ачинска он остановил поезд и вместе с солдатами разобрал железнодорожную телефонную сеть. Это он повторял после каждой следующей станции. Таким образом он добился того, что состав прибывал на каждую следующую станцию неожиданно. Мятежные контрреволюционные отряды не знали, какой состав прибывает, и достаточно было нескольких пулеметных очередей, чтобы золотой поезд беспрепятственно покидал станцию. Ему удалось прорваться до Уральских гор. Однако здесь Залка столкнулся с более организованными контрреволюционными силами. Пути и железную дорогу охраняли казачьи отряды атамана Дутова, и золотой поезд мог попасть им в руки. Не знаящего препятствий Мате Залку и тут не покинула мужество и находчивость. Его разведчики обнаружили ведущую в шахту промышленную железнодорожную ветку, которая проходила по туннелю длиной в несколько сот метров. Мате Залка ввел в туннель железнодорожные вагоны с золотом и взорвал туннель с обоих концов. Золотое сокровище исчезло в глубине Уральских гор и оставалось там до тех пор, пока эту территорию не освободила победоносная Красная Армия.

У отряда Мате Залки не было возможности в полном составе проскочить через тылы врага и прорвать фронт, проходивший у Волги. Поэтому Залка разделил полк на мелкие партизанские группы, которые пробивались на соединение с Красной Армией или присоединялись к партизанским отрядам, действовавшим на Урале.

Самому Мате Залке вместе с несколькими смелыми товарищами удалось прорваться сквозь вражеское кольцо на советскую территорию. Руководителя сибирских венгерских партизан приняли там с радостью. За инициативные, смелые действия он был награжден самой высокой наградой того времени — орденом Красного Знамени.

Партия оценила в Мате Залке не только храброго солдата, но и хорошего организатора и пропагандиста. Хотя подобного типа военные руководители были очень нужны для организации новых вооруженных сил, Мате Залку все же послали в казанскую партшколу. Там за короткое время он пополнил и привел в систему знания, приобретенные им в марксистском кружке.

Положение на фронтах гражданской войны все более усложнялось. Мятеж чехословацкой контрреволюционной армии, выступление четырнадцати империалистических государств, бросивших против Советов сухопутные и военно-морские силы, ободрили силы внутренней контрреволюции. В Сибири было создано правительство Колчака, на юге свирепствовали банды генерала Каледина, в южных районах Уральских гор оренбургские казаки Дутова напали на нерегулярные части Красной гвардии, созданные рабочими крупных промышленных центров, и на отряды кронштадтских матросов.

Мате Залка, солдат революции, не мог в такое время оставаться в казанской партшколе. Он просил направить его на фронт. В это время особенно ожесточенные бои шли на восточном берегу Волги. Там и оказался вскоре Мате Залка в качестве командира полка.

Его полк был в Самаре (ныне Куйбышев) при ликвидации вражеского прорыва, участвовал во взятии Казани и в жестоких боях в дельте Волги, в районе Астрахани. Затем его направили на Западный фронт. Осенью 1918 года на Украине мародерствовали контрреволюционные банды Петлюры, в Киеве захватил в руки власть ставленник немецкого генерального штаба гетман Скоропадский. Мате Залка и тут успешно дрался за победу власти Советов. Позднее, когда армия Колчака зимой 1919 года вынуждена была отступить под ударами Красной Армии, Мате Залка принял участие в разгроме колчаковских банд. В то время его военная часть сражалась в составе легендарной Чапаевской дивизии. Она приняла участие в освобождении одного из центров Урала — города Уфы.

После разгрома Колчака главной опасностью для революции был прорыв с юга генерала Деникина. Деникин располагал большими силами конных казаков. Для отпора ему партия и правительство решили создать конную армию. Был брошен лозунг: «Про-

летарий, на коня!» Мате Залка, отличный кавалерист, принял участие в создании славной Первой конной. В этой армии во главе кавалерийского полка он сражался против Деникина, отряды которого летом 1919 года оказались в ста восьмидесяти километрах от Москвы.

Молодая Конная армия разгромила опытную, закаленную в боях, руководимую старыми царскими офицерами конницу. Затем она заняла Воронеж и тем самым поставила под угрозу ведущие на юг линии связи контрреволюционных военных сил. В этих боях Мате Залка также отличился и вместе с другими красными командирами был удостоен благодарности.

Солдаты любили его за неизменное хорошее настроение, непосредственность и оптимизм. На полях сражений Залка не терпел для себя никаких привилегий. Он все — и плохое и хорошее — делил со своими солдатами. Во время отдыха обходил своих бойцов, знал всех по имени, расспрашивал о личных делах и, когда было необходимо, помогал. Этим он завоевал огромный авторитет. Приказы его выполнялись точно, и очень редко ему приходилось кого-нибудь наказывать.

В 1920 году части Красной Армии под командованием М. В. Фрунзе вели бои за освобождение Крыма от войск генерала Врангеля. Здесь сражался во главе своего полка и Мате Залка. Под натиском Красной Армии Врангель отступил на защищенный морем и лиманом Крымский полуостров. Надо было идти в обход укреплений Врангеля по холодной морской воде, по топям Сиваша. Выполнение этой задачи Фрунзе поручил наиболее испытанным отрядам. К ним принадлежал и полк Мате Залки.

Бойцы шли по грудь в соленой воде, держа оружие и боеприпасы над головой, пулеметы привязали к плотам и бревнам. Переход продолжался долго, бойцов мучила жажда. Мате Залка вел свой полк. Иногда он шел назад, чтобы ободрить и воодушевить уставших, затем снова оказывался впереди. Его энергия, мужество, неутомимость, доверие к нему бойцов обеспечили решение задачи его отрядом. Еще до рассвета красные войска вышли в тыл перекопских укреплений и тотчас же их атаковали. Охваченные паникой врангелевские части ринулись к югу, и главные силы Фрунзе встретили лишь незначительное сопротивление.

Мате Залка со своим полком преследовал отступающие части Врангеля и одним из первых вошел в Симферополь. Красная Армия очистила от врага весь полуостров.

На молодое Советское государство совершила предательское нападение армия Пилсудского. Польские контрреволюционные силы заняли Киев. В опасности оказалась одна из житниц Советского государства — Украина и Донецкий угольный бассейн. И тут Мате Залка во главе закаленных в боях солдат защищает государство рабочих и крестьян. Его отряд сыграл значительную роль во взятии Киева.

Начался период строительства социализма. Мате Залка мог вернуться к своему главному призванию — писательской работе. Но для него мирный период продолжался недолго. В Турции победило движение Кемалья. Новое правительство поставило своей целью завоевание независимости и национальной самостоятельности Турции. Западные империалисты, чтобы помешать этому, использовали армию греческого короля. Началась война, и, поскольку борьба Кемаль-паши в то время носила антиимпериалистический характер, Мате Залка счел своим долгом принять в ней участие.

И в Турции он проявил недюжинную храбрость и организаторский талант. Находящиеся под его командованием части внесли свой вклад в одно из крупнейших, решающих сражений этой войны — под Смирной.

После окончания войны Залка возвращается к творческой работе. Этот мирный период продолжался до 1936 года, до начала гражданской войны в Испании. Мате Залка не мог оставаться пассивным. Осенью 1936 года под именем генерала Лукача он уже был в Мадриде. Испанская столица в это время переживала критические дни, фашисты стояли у самого города.

Мате Залка принял командование над 12-й Интернациональной бригадой. В бригаду входили батальоны французских, немецких и итальянских добровольцев, было в ее рядах и немало венгров, славян и бойцов других национальностей. Во взаимодействии с испанскими частями бригада Мате Залки приняла активное участие в оборо-

не Мадрида. В это время республиканские газеты ежедневно печатали портреты Залки, рассказывали о его боевой деятельности. Он стал любимым и уважаемым героем борющегося за свободу испанского народа. Его соединение бросали туда, где надо было отразить опасное наступление врага или расчистить путь для атакующих сил республиканской армии.

Отличные руководящие способности Залки, умение быстро ориентироваться немало способствовали успеху сражения при Гвадалахаре в марте 1937 года. В критический момент Залка сам повел бойцов в атаку и принудил к бегству итальянский экспедиционный корпус и другие фашистские силы. Благодаря его личной храбрости военное положение изменилось в пользу республиканской армии; бежавшие фашисты бросили на поле сражения значительную часть своего военного снаряжения.

Мате Залка, интернационалист, революционный солдат, горячо любил свою родину и ее трудящийся народ. Отдых после победы под Гвадалахарой он использовал для того, чтобы собрать в свою бригаду разбросанных по отдельным частям республиканской армии венгерских добровольцев и организовать из них батальон. Этот батальон храбро сражался за свободу испанского народа.

Конец героической эпопеи—Уэска. Республиканская армия должна была взять этот город, чтобы не дать фашистам возможность прорваться вдоль французской границы на восток.

Мате Залка со свойственными ему энергией и энтузиазмом подготовил свою часть к этому наступлению. План был готов, согласовано взаимодействие родов оружия. Но Залка любил все детально проверять сам. В вечер, предшествующий наступлению, он захотел побывать на линии фронта, осмотреть исходные позиции броневиков, побеседовать с командирами.

Фашисты уже год стояли под Уэской, их артиллеристы пристреляли каждый метр, следили за дорогами. Мате Залка выбрал кратчайший путь, часть которого просматривалась фашистскими артиллеристами. Напрасны были все просьбы его товарищей избрать другую дорогу. Он отвечал, что на этом участке машина скорее проскочит и, пока фашисты ее заметят, будет уже недосыгаема. В действительности произошло иначе. Фашисты выпустили по машине целый шквал огня, одна из гранат взорвалась в капоте автомобиля. Осколки смертельно ранили Мате Залку и на месте убили шофера.

Героический солдат революции еще боролся со смертью в полевом госпитале, когда на другой день его часть пошла в наступление.

Испанский народ с глубокой скорбью оплакал смерть Мате Залки. Его похоронили в Валенсии, отдав герою высшие воинские почести.

Мате Залка был солдатом социализма, солдатом коммунизма. Принимая участие в боях, последовавших за Октябрьской революцией, борясь за свободу испанского народа, он знал, что сражается за свою родину, за Венгрию, за Венгерскую коммунистическую партию.

*Перевела с венгерского Елена Тумаркина.*



---

---

# ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА

Е. ПОЛЯКОВА

★

## СОВРЕМЕННЫЙ ПУТЕВОЙ ОЧЕРК

I

**Л**итературные жанры обычно долго живут, рождают новые жанры, иногда сами меняются почти неузнаваемо.

Самый, пожалуй, устойчиво-постоянный и в то же время один из самых древних жанров — это путевые заметки, путевые очерки.

От Антонио Пигафетты и Карамзина до Николая Михайлова и Геннадия Фиша признаки его неизменны. Это заметки о путях дальних и ближних. О путешествиях по родной стране и по странам, тысячами километров от родины отдаленным. Сегодня дальние дороги чужих стран вошли в писательский быт так же прочно, как пишущие машинки. Швед Эрик Лундквист выпускает книги об Индонезии, англичанин Грэм Грин — об Африке, поляк Аркадий Фидлер колесит по миру, выбирая между Мадагаскаром и средним течением Амазонки, немец Генрих Бёль ведет блистательный «Ирландский дневник».

Советские путешественники — писатели и журналисты — по меньшей мере не отстают. Уже в двадцатые — тридцатые годы у нас появилась новая классика старого жанра: «Мое открытие Америки» Маяковского, зарубежные очерки С. Третьякова, Ларисы Рейснер, Михаила Кольцова, записки Ильфа и Петрова, которые исколесили Соединенные Штаты под руководством толстого мистера Адамса.

Но самый жанр насчитывал тогда немного, в лучшем случае несколько десятков книг. Сейчас они выходят сотнями, не говоря уже об очерках газетно-журнальных. М. Шагинян рассказывает нам о дорогах провинциальной Франции, городах Голландии, об английском театре. Л. Ошанин и Ю. Гаврилов — об Эскуриале и Толедо.

В. Островский — об Индонезии. О. Игнатъев выпустил книгу «Амазонка глазами москвича». Очерки И. Забелина «Листья лопуха» посвящены Гвинее и Сенегалу, книги И. Можейко — Бирме. А. Венцлова тепло вспомнил холодную Исландию в «Серебре севера». Маргарита Алигер написала о Чили, Д. Гранин — об Австралии.

Человеку всегда было свойственно стремление к странствиям, к тому, чтобы узнать, что за тем холмом и за той речкой, побывать в чуждеальной стороне. Северяне мечтают увидеть Южный Крест, южане — Большую Медведицу.

В прошлом часто стремление это заглушалось тупой и бедной жизнью или обострялось тупой и бедной жизнью. У Куприна есть рассказ об околоточном надзирателе по фамилии Ветчина. Когда жена уходит в оперетку, надзиратель с сынишкой упоенно путешествуют по карте, составляют маршрут и список нужных вещей, перебивая друг друга, называют дальние реки и города. Жена возвращается из оперетки; Ветчина-отец и Ветчина-сын отрываються от пестрой карты. Завтра идти в постыльную гимназию, заступать на дежурство. Никуда не уйдешь из российской глуши.

Стоит ли повторять, что со времен Ветчины жизнь стала неузнаваемой? Что тысячи русских врачей, агрономов, сталеваров, художников побывали в чужих странах? Что советские экскаваторщики рыли котлован Асуана, советские врачи делают операции в Аддис-Абебе и лечат бирманских детишек, советские дорожники построили шоссе в Афганистане, а черноморские моряки стали лоцманами Суэцкого канала? Что они не только работали там, но многие из них написали о жизни чужой страны интересные книги?

В этих книгах есть, пожалуй, чему поучиться и есть чему позавидовать даже профессиональным литераторам. Позавидовать, скажем, профессору Червинскому, который побывал «в стране кенгуру и эму» как стипендиат ЮНЕСКО, изучал природные ресурсы и их использование в Австралии, колесил ее дорогами, видел пастбища, пустыни, фермы, перегоны скота.

Позавидовать К. Суворовой, молодому врачу (по совместительству ей пришлось заведовать отделением прокаженных), которая за два года работы в Йемене узнала столько, сколько и сами йеменцы не знают о древней и бедной своей стране.

Позавидовать историку Г. Навлицкой, которая жила в Токио (к тому же прекрасно зная язык — обстоятельство важнейшее и, к сожалению, не частое), работала, ездила в часы «пик» в метро, попадала в тайфун, бродила по рынкам, разговаривала с людьми, никуда не торопясь, не поглядывая на часы. В результате очерки «По Японии» по-своему рассказали о простой, «средней» жизни страны восходящего солнца.

Хорошо обычно знают чужие страны журналисты-международники, «собственные корреспонденты», годами живущие на чужбине. Пишут они не путевые очерки, но газетные обзоры, репортажи, а потом часто обстоятельные книги; таковы «Как вы там, в Америке?» Б. Стрельникова, «Все меняется даже в Англии» Б. Изакова — социальный, временной разрез британской империи, сдвиги ее жизни на протяжении нескольких десятилетий.

Но наш разговор — именно о путевых заметках, о книгах не «специальных корреспондентов», но путешественников, книгах, в которых недолгое, расписанное и размеренное время, несмотря на все трудности, все же претворяется в узнавание страны нашим современником и соотечественником.

Ведь несмотря на большой поток «плавающих и путешествующих» ныне в чужие края, все же — по сравнению со всей массой обитателей страны — лишь немногие могут побывать и в Лондоне, и в Адене, и на олимпийских играх в Токио, и на гаванской конференции. Немногие. Среди них — журналисты и писатели. Полпреды миллионов соотечественников. За ними следят добро и требовательно: вы же талантливы, вам и смотреть, сравнивать, вспоминать. Расскажите о виденном так, чтобы и мы

побывали с вами на Гудзоне, на венецианской художественной выставке, в поселках чилийских индейцев.

И не просто побывали, поверхностно посмотрели на чужую жизнь, но увидели бы сложность ее, ее противоречия, иногда отчетливые, иногда тщательно скрываемые, даже маскируемые под идиллию.

Естественно, что главное тут не количество написанных страниц. Стоит иногда вспомнить, что Чехов из своего морского путешествия от Сахалина через Цейлон, Индийский океан, Суэц привез один рассказ под названием «Гусев» — про больного солдата, умирающего в бесконечном корабельном пути, а Лев Толстой помянул Европу маленьким «Люцерном», где нищий певец голодает в чистом, сытом городе.

Знать страну, в которую едешь, знать о ней гораздо больше, чем успеют показать тебе в краткой поездке, чем расскажет переводчик, — первая заповедь автора путевых очерков.

Вторая заповедь — помнить, что ты не первый и не единственный представитель Советской России за рубежом, что предшественники твои рассказали уже так много о чужих странах, особенно европейских, что добавить к этому весомые и нужные страницы совсем не просто.

Еще лет пятнадцать — двадцать тому назад было намного легче. Военные дороги только что сменились тогда мирными путями, вчерашние военные журналисты стали ездить по странам, войной разорванным и войной нетронутым, по старым королевствам и только что родившимся государствам народной демократии. А Караваева и В. Василевская напечатали записки о Франции, П. Павленко — об Италии, Б. Полевой — об Америке. Подарком для людей всех возрастов оказались очерки Сергея Образцова об Англии.

Книги большей частью так и назывались: «По Японии», «По Египту», «Во Франции», «По Италии», «По городам и селам Югославии». Побыл человек шесть недель в Южной Америке и книгу назвал: «Шесть недель в Южной Америке». Большой частью это были описательные, констатирующие очерки. Они свидетельствовали о возрождении мира, о том, что после Хиросимы японцы все же справляют праздник вветушей вишни, а неподалеку от Освенцима, над старым Краковом, ежечасно звучит ме-

лодия «хейнала». Свидетельствовали о сложности жизни, о непреодоленности старых противоречий, на которые наславались противоречия новые.

Очевидец, приехавший из чужой страны, был интересен именно как очевидец. Его расспрашивали обо всех деталях чужой жизни, и редкие могли удержаться от ненужных вопросов: «А Колизей видел?», «А Темза широкая?», «Как там Эйфелева башня — стоит?» Стандарты эти вовсе не показывают ограниченности собеседника. Просто это своеобразные вопросы-символы, пароли, ответ на которые заранее известен. И вопрос и ответ утверждают: был, видел своими глазами.

Правда, возможности такого рода очерка быстро исчерпываются, так же как и возможности сильно распространенного позже очерка, получившего название «туристского» (коротко — об истории страны, о пейзаже, проносимом в окне, два-три бытовых штриха, меню обеда, хорошенькое лицо встречной девушки, иногда новеллка об этой девушке, все мило, «читабельно», хоть и забывается сразу после прочтения). Потому что и тот и другой предназначены для людей хотя и любознательных, но знающих немного, с благодарностью принимающих первые сведения о чужой стране. А сегодня люди достаточно информированы о мире и об изменениях, в нем происходящих, и количество этой информации возрастает. Пишется о других странах все больше, а сами путешествия становятся все более краткими, легкими, организованными.

В старом водевиле «Шельменко-денщик» захолустный жених значительно изрекал: «Когда я вояжировал из Чернигова в Воронеж», — и ему с уважением внимали, ибо путь с Украины до Воронежа был долог, а иногда и опасен. Громадное пространство, долгое время, медленное движение определяли ритм странствий и записки странников прошлых веков. Неторопливо закладывали карету Лоренсу Стерну, на смешливому автору «Сентиментального путешествия», одной из самых несентиментальных книг на свете. Ташился на перекладных русский путник, толковал со стационарными зрителями, менял лошадей в Любани и Черной Грязи — рождалось «Путешествие из Петербурга в Москву».

«Мы пересажали реку вброд; часто вода доходила до седла, и лошади под нами

плыли» — это не исследователь едет по неизвестной стране, а Флобер осматривает Ближний Восток. Самое слово «путешествующий» звучало торжественно, именно — в путь шествующий, — не теряя связи с землей, озирая смену ландшафтов, ночуя в придорожных гостиницах. Путники наблюдали, сравнивали чужую землю с родиной, слали домой пространные «письма русского путешественника».

Несколько лет тому назад путевые очерки начинались чаще всего восторженным описанием красавца самолета и тени его, скользящей по синеве океанов и желтизне пустынь. Сегодня это стало уже штампом, который использовать неловко: «Очень уж не хочется начинать с традиционного самолета, отрывающегося от взлетной дорожки Внуковского аэродрома», — признается В. Некрасов в начале своего «Первого знакомства» с чужими странами. «Рухнула моя надежда начать свои путевые записки как-то необычно, свежо, например, описать полет над океаном, улыбки стюардесс, спасательные жилеты, огни городов под крылом самолета, едко высмеять деление внутри самолета на классы и заклеить буржуев из первого класса», — откровенно иронизирует Д. Гранин над теми, кто отсутствие впечатлений во время полета выдает за богатство их. Воздушному путнику даны предельные удобства и предельная экономия времени. Зато ощущения пространства и движения для него почти исчезают: «Внизу могут быть океан или Аравийская пустыня, Анды или степь, а в самолете чересчур чистенькая, чересчур улыбчивая стюардесса все с тою же заученной ласковостью подносит фруктовый сок или иллюстрированный журнал и присматривает, застегнул ли пассажир ремень, привязывающий его к креслу. Если поглядеть в оконце, чаще всего увидишь облака; их можно сравнить (в зависимости от вкусов и настроения) с вечными снегами или с грязной ватой... По-моему, в воздушном сообщении столько абстрактного, что это способно отучить человека от абстракции» (И. Эренбург).

Но дело не только в том, что самолет Москва — Рим дает меньше впечатлений, чем, скажем, дачный поезд Москва — Пушкино. А в том, что все время и все пространство путешествия с вежливой, но железной тщательностью расписаны заранее. Десять дней, две недели на страну.

Автобусы вместо пешеходства, стандартные обеды в отеле, точное расписание. Редкие утренние часы, урываемые до завтрака, чтобы пробежаться по ближайшим улицам, посидеть на бульваре, где шуршат метлы дворников, дети прыгают через веревочку, прохожие на ходу разворачивают утренние газеты. Чужой быт, чужая повседневность проносятся мимо. Преодолеть это обилие поверхностных впечатлений трудно.

Каждый из пишущих ищет здесь свой путь.

Ищет новую форму каждой своей книги о путешествиях писатель Н. Михайлов. В очерках «Иду по меридиану» он идет (вернее, плывет и летит) с севера на юг, из Арктики в Антарктику, осуществляя мечту географа, перед которым воочию предстают смены ландшафтов и климатов, переходы от тундры к лесам, тропикам, снова к холоду. Слово мы движемся по огромному глобусу и видим, что у Черного моря, скажем, выход в океан — игольное ушко, а после экватора «лестница зон опрокинется, ступеньки пойдут в обратном порядке».

Книга «Американцы» — путевой дневник, который ведут поочередно Н. Михайлов и его жена З. Косенко, писатель и врач. «Японцы» — новый ракурс: писатель и врач сидят перед магнитофоном, разговаривают, вспоминают японских писателей и врачей, стихи классиков и картины современных художников, иногда спорят.

Далеко не всегда прием, найденный тем или иным писателем для преодоления туристского верхоглядства, достигает цели «Вокруг, по обоим берегам Босфора, разворачивается сказочная по красоте панорама. Белые здания, утопающие в зелени, амфитеатром поднимаются вверх по склонам. Роскошные виллы богачей. Огороженные каменными стенами султанские дворцы... Все это плывет — словно декорация проходит перед глазами...»

Мы идем водой Босфора,  
Как фарватером реки:  
Справа — город, слева — город,  
Слева, справа — маяки.  
Справа — улицы Европы,  
Слева — Азии дома...»

На таком чередовании стихов и прозы строит свою книгу «Океан-океанище» В. Захарченко. Стихи об Адене и Сингапуре прославляют социальные и географические экскурсы: «В Малайе температура остается

одинаковой почти круглый год. Средняя температура холодного месяца — января — достигает в Сингапуре плюс 25,7 градуса, а самого теплого — мая — плюс 27,5 градуса. Таким образом, разница между самым теплым и самым холодным месяцами составляет меньше 2 градусов...» Книжка предназначена для среднего школьного возраста, учебник географии дополняется хорошими фотографиями и весьма средними поэтическими и прозаическими описаниями портов, джонк, тропической жары, колониалистского гнета. Но доскональность описаний не спасает от банальности, не помогает увидеть чужие страны глубоко и по-своему.

В. Сафонов, отправляясь в пароходное «путешествие в чужую жизнь», долго готовится к этому «круизу». Как историк и географ изучает он страны, в которых чаще всего узнает только порт в течение считанных часов стоянки. Но зато даже в коротких экскурсиях он увидит исторические пласты архитектуры города, естественность планировки его. В. Сафонов перечитает Эхила перед свиданием с Грецией, в Париже пойдет искать дом Анатоля Франса. Жадно, внимательно будет вглядываться в панораму Стамбула и улицы Стокгольма. И в другой путевой повести — «Опаленные солнцем» — он впервые увидит Африку, услышит шум дождя над ночным Каиром, войдет в «зал мумий» египетского музея, в эвкалиптовый парк Аддис-Абебы.

Но эта первоначальная зоркость изумления дается однажды. В последней путевой повести В. Сафонова «Укрощение Великого Хапи» его новое путешествие в Египет оборачивается порой повторами описаний, повторами интонаций. Обостренность первого взгляда исчезла, времени на узнавание страны, на подлинное знакомство с нею нет. Ощущая опасную легкость туристского жанра, пытаясь бороться с нею, Сафонов все же не преодолевает ее до конца.

Для литератора важно хорошо чувствовать уровень читателя, чувствовать уровень аудитории. Уважая своего читателя, авторы путевых очерков чаще всего отказываются сегодня от формы простого дневника, добросовестно перечисляющего увиденное, ищут новые повороты, чтобы не повторять общеизвестного. К. Симонов повествует не об Японии вообще, но ведет «рассказы о японском искусстве». В. Солоухин свою «Славянскую тетрадь» заполняет отдельными этюдами о Болгарии: этюд исто-

рический, этнографический, даже гастрономический и ароматический. Ю. Трифонов в «Факелах на Фламинию» рассказывает о спорте и спортсменах. У Л. Славина разговор о мирной Польше перебивается воспоминаниями о войне, приводятся фашистские документы об уничтожении страны и ее столицы. Из этого вырастают зарисовки новой Польши и ее людей.

Книги Геннадия Фиша составили уже цикл путешествий по Скандинавии. Неоднократно возвращаясь в Швецию, Норвегию, в «маленькую страну, густо заселенную велосипедистами», — Данию, Г. Фиш меньше всего чувствует себя там беззаботным туристом. Он с каждым разом все глубже узнает жизнь и заботы исландских рыбаков, норвежских студентов, финских крестьян, шведских писателей. Интересно читать, как работают шведские библиотеки, как делают в Дании бутерброды, как живут норвежские городки, пограничные с Россией. Интересно следить за цифрами и справками. Оказывается, уютная, зажиточная Дания — это страна, откуда несложно выехать за границу, но вывоз живой белой беконной свиньи карается чуть ли не как государственная измена. «Дания принадлежит к числу стран с наименьшей детской смертностью и наибольшим процентом самоубийств. Она занимает одно из первых мест по производству на душу населения масла и первая по потреблению этой же душой маргарина...»

А вот другое путешествие. Тоже в скандинавскую страну — в Швецию. «Бедняцкие и середняцкие хозяйства — их 77,4% по отношению ко всем хозяйствам — имеют всего одну треть обрабатываемой площади, а 22,6% помещичьих и фермерско-кулацких хозяйств распоряжаются остальной землей, двумя третями всей посевной площади. Все время идет процесс обезземеливания, бедняцкие хозяйства приходят в упадок и разоряются».

На это нанизываются еще и еще цифры из справочников, аккуратный перечень городов и сел, музеев и достопримечательностей. Так написана книга А. Хижняка «По Швеции». Ежевечерне сидит усталый человек над дневником, старательно перечисляет все виденное за день. Увидел знаменитую столичную ратушу, записывает: «В ратуше вручают Нобелевские премии, принимают зарубежных гостей, в нижнем зале происходят концерты детской самодеятельности. После осмотра ратуши —

прогулка на катере под мостами. Поездка была чудесной — мы увидели много интересного». Или о художественной галерее: «Гетеборгский музей имеет богатую коллекцию картин и скульптур как шведских художников, так и зарубежных. Интересно собрание графики Эдварда Мунка (1863—1944). Осматриваем полотна Веронезе, Тинторетто, Франца Гальса, Рубенса, Ван-Дейка, Иорданса и многих других гениальных художников».

Так и видишь старательного посетителя музея, склонившегося над записной книжкой. Есть такие люди — ходят по выставкам, на картины не смотрят, а все время что-то пишут. В поездке вокруг не глянут — записывают слова экскурсовода. Таким кажется автор дневника. Слово хочет он не столько показать Швецию тому, кто в ней не бывал, но перебрать увиденное, правильно назвать имена, констатировать: видели. А что видели? «...И многих других гениальных художников...»

А вот книжка о поездке в США. Видимо, автор ее рассчитывал на человека, не читавшего об Америке ни книг Полевых, Павленко, Михайлова, ни даже «Города Желтого Дьявола» и «Одноэтажной Америки». Поэтому книжка старательно сообщает, что на Бродвее масса реклам, что в Нью-Йорке есть трущобы, что американской подземке далеко до московского метро, что здание ООН построено в Нью-Йорке, что янки одержимы фанатической любовью к цифрам. Причем автор, тут же уподобившись этим янки, сообщил нам, что в Нью-Йорке одиннадцать тысяч ресторанов, двадцать пять тысяч астрологов, каждые три минуты происходит свадьба...

Цифры и общеизвестные сведения иллюстрированы такими авторскими отступлениями: «Мне было около девяти лет от роду, когда, наступившей однажды ночью июльской грозой в открытой степи, увидел я вдруг разверзшуюся над головой, пронзавшую ослепительным светом небесную бездну... Оторопев от такого пленительно-жуткого зрелища, не страшась даже в те минуты чудовишной, содрогавшей земную твердь грозы, глядел я во все глаза на искрометные, сверкавшие над моей головой мечи, на раскаленные добела копыя и жаркие пернатые стрелы, скрестившиеся в этой яростной огненной перепалке... И вот, спустя многие годы, живые отблески неземного зрелища этого вновь на мгновение затрепетали



в душе в ту самую минуту, когда я впервые увидел с Таймс-сквера ночной Бродвей, полонный неоновыми огнями.

Или идет концерт в Радио-сити: «После магического рывка дирижерской палочки хлынули вал за валом из раструба сценической раковины в зрительный зал новые светлые волны патетически-страстных, трепетных, искрящихся, как дорогое вино в хрустальных бокалах при свечном мерцании, жизнеутверждающе-бурных звуков концерта для фортепиано с оркестром Сергея Рахманинова».

Так описана американская жизнь в книге «Дни и ночи Америки» Ивана Шухова. Почему вдруг серьезный писатель впадает в такой стиль — или цифры и проценты, или «дорогое вино в хрустальных бокалах» и «пленительно-жуткое зрелище». Почему он так всему удивился — рекламе, небоскрегам, количеству воды, употребляемому нью-йоркцами? Совсем уж удивился он, увидев в Америке византийскую икону — «Мадонну с младенцем». Спутники, судя по описанию Шухова, тоже удивились и пришли к глубокому выводу: «Мы единодушно сошлись во мнении, найдя в манере письма безвестного византийца нечто общее со стилем древнерусских наших иконописцев, украшавших своими шедеврами стены древних монастырских храмов и соборы московского Кремля». Неужели ни автор, ни его спутники раньше не слыхивали об «общем» в искусстве Византии и древней Руси? Не были хотя бы в Третьяковской галерее, не видели там Владимирскую богородицу греческой работы — именно «богоматерь», а не «мадонну», как названа здесь икона? Не думаю. Но простодушная констатация общеизвестного идет от уверенности, что советский читатель впервые узнает о Соединенных Штатах из этих вот путевых заметок.

Может быть, это все-таки исключение? Но в том-то и дело, что они не исключение, что представление о читателе путевых очерков как о существе до крайности невежественном — явление почему-то распространенное.

Александра Кулешова никак не назовешь неопытным путешественником или начинающим литератором: он писал рассказы, повести, книги о советских спортсменах, очерки о зарубежных поездках (в книжке «На Дальнем Западе» есть интересные описания американских городов и городков, нестандартные фактические сведения). Книга Ку-

лешова, подводящая итоги множеству поездок его, так и называется: «500 000 километров пути». «На протяжении последних лет более сорока раз выезжал за рубеж», — сообщает издательская аннотация. Три раза автор книги был в Бельгии, Италию исколесил на автомобиле.

Свои, живые слова Кулешов находит в этой книжке там, где говорит об автодорогах и автопроблемах Европы: поток машин на улицах, поиски стоянок — это его кровное, волнующее. А самый город? Ну что же — стоит только забыть, сколько раз до тебя описывали Париж, и сказать о нем так: «Елисейские Поля... Они незабываемо красивы. Перспектива, открывающаяся от Лувра, когда поднимаешься вверх к Триумфальной арке, великолепна!» Или выписать из путеводителя: «Венеция расположена на 118 островах, ее прорезает 175 каналов, из которых самый большой, так и именующийся — Большой канал, имеет в длину около трех километров и метров 50 в ширину».

Больше всего авторы таких очерков любят перечислять виденные произведения искусства. «Перед нами известная картина Рафаэля «Перевоплощение» (вероятно, имеется в виду рафаэлевское «Преображение». — Е. П.). На нее надо смотреть издали... тогда она оживает, становится рельефней».

Бойкий гид сыплет сведения, а экскурсант поспешно все записывает, добавляя от себя такие слова, как «исключительно» и «потрясающе»: «Исключительное впечатление производит Сикстинская капелла, созданная в 1473 году и расписанная Микеланджело». В Риме наибольшее впечатление произвела на Кулешова вилла Боргезе. Особенно его потрясает «гениальная скульптура Кановы «Паолина Боргезе» — ослепительной красоты полуобнаженная женщина изображена полулежа. Мрамор настолько передает мельчайшие детали тела, складки сброшенных одежд, кисти подушек, что кажется, будто это не высечено из твердого камня, а вылеплено из пластилина».

Полмиллиона километров проехал человек по земле, видел лучшее, что создали художники мира, а великой скульптурой он считает ту, где кисти подушек кажутся вылепленными из пластилина. Естественно, что наибольшие эмоции вызовет у него музей восковых фигур, где люди совсем уж «всамделишные»: «Вот в специальной нише, где красуется надпись: «Дедам не смотреть»,

на крюке за ребро подвешен человек. При этом глаза его страшно выпучены, изо рта течет и падает на пол темниции кровь, а грудь судорожно вздымается — за стеной скрыт специальный механизм. Впечатление исключительно тяжелое.

Читаешь такое и думаешь: для кого же это написано? Для того, кто не знает, что Париж — столичный город Франции, а Сикстинская капелла расписана Микеланджело? Для того, кто впервые приобщается к чужеземному искусству через эти очерки? Но тогда с какой же силой ответственности должно их писать, чтобы книга была пусть не первым, но открытием чужого мира!

Ведь самый факт посещения такой-то страны говорит не больше, чем надпись на скале: «Петя и Маня были здесь». Ну, были. Здесь. Это факт их биографии. Писательское дело — превратить свое посещение в факт нашей биографии. Поэтому с готовностью принимаем мы приглашение к путешествию в Италию, которому предпосланы замечательные слова Леонардо да Винчи: «Познание минувших времен и познание стран мира — украшение и пища человеческих умов».

Книга Вс. Кочетова так и называется — «По двум тысячелетиям». Он зовет нас не в туристскую поездку, хотя книга рождалась из нее. Автор хочет поднять пласты истории (два тысячелетия!) и жизни страны, показать нам ее дороги и города, поразмышлять о старом искусстве и сопоставить его с искусством современным. Не случайно писатель несколько раз упоминает о своих раздумьях над судьбой древней страны: «Здесь, на Священном холме древнего Рима, можно стоять часами, смотреть и раздумывать». «Вид Форума, как никакое иное место в «Вечном городе», способен породить раздумья»...

Посетим же вместе с путешественником на гидов, которые «то ли потому, что они неважно подготовлены и знают все до крайности поверхностно, то ли по причине службы своей отнюдь не исторической науке, а лишь бизнесу, коммерческому делу... вам все назовут в соответствии с каталогами, на все обратят ваше внимание, но попробуйте спросить гида (даже хорошего) о чем-либо сверх установленного популярными справочниками, и в большинстве случаев ответа вы не получите. Стойте, вспоминайте сами все когда-либо прочитанное о Риме и раздумывайте».

Пройдемся с Кочетовым в первых главах по Вечному городу, побываем в Ватикане. Узнаем о распутстве пап XV века, о свирепости инквизиции, о том, что автомобиль папы инкрустирован слоеной костью и золотом, что Ватикан поддерживался Муссолини и поддерживается Уолл-стритом. Со всем согласимся. Конечно, римские гиды об этом не расскажут. Но и они, знающие все «до крайности поверхностно», не останутся без работы в путешествии. Именно от бойкого гида идет перечень имен художников и описание панорамы Флоренции: «Мы стояли у парапета на площади Микеланджело, расположенной чуть пониже знаменитой церкви Сан Миниато аль Монте, за спиной у нас высилась внушительная статуя из бронзы — копия «Давида» Микеланджело; влево тянулись развалины городских укреплений». Отсюда рукой подать до знаменитых музеев: «Всемирно известная галерея скульптуры и картин — Уффици, галерея художественных шедевров XIV—XV веков, где собраны полотна Чимабуэ, Джотто, Боттичелли, Гирландайо, Филиппо Липпи, Перуджино... Неподалеку от Палаццо Синьории и знаменитая галерея Питти — только перейти через Арно. Там полотна Тинторетто, Рафаэля, Тициана, Андреа дель Сарто... Ценностей вокруг очень много».

А в Венеции — «катера повезут вас по Большому каналу, повезут к мосту Риальто, к площади Святого Марка, на остров Лидо — вокруг всех 118 островов, на которых расположена Венеция, по всем 160 каналам, под всеми четырьмя сотнями мостов через каналы...». Но позвольте, ведь это мы уже читали. Помните, в книжке А. Кулешова: «Венеция расположена на 118 островах...» И в любом справочнике присутствуют эти цифры. Именно их называет гид, поверхностность которого так сокрушала вначале автора. От этого гида мы можем узнать и о картине Тинторетто, что она «самая большая в мире: ширина ее 22 метра, высота — 7, и размещено на ней до 600 фигур».

Правда, сведения эти перемежаются раздумьями автора. Его волнует судьба старой Венеции. Речные трамвайчики расшатывают старые палаццо, и в писателе просыпается ревнитель старины: «Разве нельзя запретить эти катера и вернуться к спокойным гондолам? Их осталось сейчас что-то около четырех сотен, и пользуются ими

только туристы; утверждают, что местному жителю плыть теперь в гондоле так же нелепо, как москвичу кататься по улице Горького на тройке. Но во имя спасения родного города можно и на тройках поездить в конце-то концов.

Конечно, трудовой московский люд вряд ли бы согласился скакать на тройках на работу. А венецианскому трудовому люду можно серьезно предложить гондольный способ передвижения, не учитывая, что по карману гондола только богачу. Видимо, нужен все-таки иной вариант спасения старой Венеции.

В раздумьях своих об итальянском искусстве Кочетов особенно много места уделяет «Тайной вечере» Леонардо. Вернее, сравнению ее с картиной, изображающей заседание президиума Академии наук. Предпочтение отдается старому художнику, потому что в заседании президиума нет конфликта, а «художественная ценность «Тайной вечери» Леонардо да Винчи заключается в острой конфликтности произведения». И высказывается такая мысль: как было бы хорошо, если бы наш художник изобразил не просто заседание президиума, а «иной момент из жизни академии; например бы, такой, когда кто-либо из ученых докладывал о крупном открытии... или, скажем, такой момент, когда кто-то вносит предложение часть соответствующих институтов перевести из Москвы в Сибирь, на Урал, на Дальний Восток — ближе к жизни? Тут могли бы яснее и ярче открыться характеры. Одни бы радовались, другие как-то иначе реагировали бы на такую весть. Мы увидели бы не статичные фигуры, а живых людей».

Смесь из раздумий такого рода, популярных брошюр, статистических сведений и рассказов гида, который знает все «до крайности поверхностно», и составляет по существу книгу «По двум тысячелетиям».

## II

Казалось бы, путевые очерки — объективный по сути своей жанр литературы. Только будь добросовестен и наблюдателен. И все же как мало бывает нам этого добросовестного описания самых интересных и неизвестных стран.

«Как тут описывать итальянские красоты, когда это уже сделано десятки раз самими сильными перьями в литературе, —

теряется С. С. Смирнов в Италии. — Просто руки опускаются, когда думаешь об этом, пока, наконец, не приходишь к единственному спасительному выводу. Понимаешь, что нужны не описания, а впечатления и что нечего опасаться субъективности твоего восприятия — в нем-то и лежит спасение от опасности пойти по проторенному пути».

Поняв это, Смирнов не стал перечислять, что он видел в Италии, а повел нас... куда может повести Смирнов? — конечно, к генуэзским повстанцам, к партизанам военных лет. Такова позиция писателя. Вот это — мое, об этом я хочу и имею право рассказать.

Конечно, впечатления никогда не ограничены резко от описаний. И все же Смирнов верно сформулировал главную тенденцию развития путевого жанра. Очерк чисто описательный отживает свой век. Сегодня нужны не просто путевые заметки о чужой стране, но заметки о чужой стране вот этого человека, его личные впечатления, его встречи, оценки и открытия.

Так открывал Америку Маяковский. В ослепительных ее красках: «На фоне зеленого моря черный негр в белых штанах продает пунцовую рыбу, подымая ее за хвост над собственной головой». В ритме фордовского конвейера, в небоскребах, возвышающихся над человеком колодезными стенками, в безграничной нищете мексиканцев: «Домики лепятся друг к другу, как ларьки на Сухаревке, но с еще большей грязью... Перед дверьми мелкие худосочные дети едят вареный маис, продающийся здесь же и хранящийся теплым под грязными тряпками, на которых ночью спит сам торговец».

Радостью открытия новых для себя земель и стран полны очерки и рассказы Паустовского.

Стремление к странствиям, ощущение «старых камней Европы» было у него всегда, просвечивало в самых русских рассказах. В молодости жизнь виделась писателю-романтику через Грина и Джозефа Конрада; старые капитаны, огибавшие на парусниках землю, мальчишка с глухого полустанка, побывавший на тихоокеанских атоллах, то и дело возникали в довоенных рассказах Паустовского.

Возможность увидеть Европу самому пришла к писателю в зрелые годы, соединилась не с юношеской восторженностью, но с поздними раздумьями.

Радостно приплыть на заре в город, с детства знакомый по книгам и старым гравюрам, и передать нам эту радость свидания, узнавания и неузнавания Неаполя, который «в действительности оказался как бы сдвинутым в пространстве и цвете. То, что я привык представлять себе с правой стороны, находилось слева; то, что в воображении я видел белым, оказывалось оливковым или коричневым... Ранним утром наш пароход причалил к молу около замка Капель-Нуово. На молу толпились черные монахини в белых крылатых чепцах. Они еще издали торопливо крестили и благословляли наш пароход.

Внезапно к монахиням подъехала на мотороллере полная пожилая игуменья и что-то гневно крикнула. Монахини, испуганно озираясь, засеменяли мелкой рысью прочь от нашего парохода и скрылись в утренней дымке неаполитанских улиц. Игуменья, рыча мотороллером, умчалась за ними. Очевидно, произошла путаница, и монахини встретили и благословили совсем не тот пароход, какой было нужно.

Прекрасна тишина заброшенного приальпийского монастыря, прекрасна шумная толпа Неаполя. Паустовский может написать новеллу «Толпа на набережной», набросать вроде бы разрозненные «Итальянские записки», и везде будет у него то, в чем отказано скучным туристам, которым «земля не давала достаточных поводов для восхищения». У Паустовского поводы эти есть всегда: он радуется любому естественному проявлению жизни, будь то картина великого мастера или запах итальянского сена, «более острый и терпкий, чем запах нашего русского сена. Должно быть, в этом итальянском сене было много пряных и горьковатых горных цветов».

Неожидан, изумителен мир, в котором дано нам жить! Но вот, рассказывая про девочку в стоптанных тапочках, которая тащит маленького брата, писатель как бы вскользь заметит: «Тогда я еще не знал зловонных от гнилых овощей кварталов Неаполя, не знал и окраин к северу от города, где дым канареечного цвета, пахнувший кислотами, висит над пустырями». Это не примелькавшиеся, хотя и совершенно справедливые слова о нищете неаполитанцев. Одна художественная деталь, один запах страшных кварталов — и эти трупы как бы оживают перед нами. Только вместе с художником мы можем пережить его от-

крытие мира, его восхищение природою и людьми и его отрицание зла, творимого людьми же на земле.

А Илье Эренбургу, человеку того же поколения, что и Паустовский, чужие страны были даны с юности; долгая жизнь в Париже, частые поездки в Стокгольм, Америку, Азию... Для «путевых раздумий» последних лет Эренбург выберет не Францию, знакомую ему, как Московская область, но Индию, Японию, где побывал впервые, Грецию, заново увиденную после знакомства с Азией.

В книге «Индия. Япония. Греция» Эренбург не избегает быта. Он замечает, что калькуттские шоферы подтягивают бороды резиночкой, подробен в описании японской трапезы и греческих городков, где «площади пахнут олеандрами и жареным салом». И все-таки быт здесь не главное.

Простая и плоская версия истории человечества, согласно которой великая цивилизация, зародившись в Греции, переливалась из одной европейской страны в другую, отстранившись от иных материков, — эта гимназическая премудрость не только не устраивает сегодня писателя, но активно враждебна ему: «В родословной человеческой культуры имеются явные погрешности: ее переписывали не очень сведущие писцы и ее подчищали достаточно опытные шулера». Эренбург отмечает общность проявлений человеческой культуры в «колыбели древней цивилизации» — Элладе и в отдаленнейших от нее странах Востока: «С детства я знал индийских баядерок, китайские скатерки, украшенные драконами, японские ширмы и фонарики. Искусство Азии мне казалось декоративным, лишенным глубокого содержания». Но, повидав своими глазами японские дома и гравюры, танцовщиц, влюбленных, отроков, королей с фресок Аджанты, Эренбург открывает для себя, что «сложным путем видения Эллады дошли до Тихого океана. Дело, однако, не только во взаимных влияниях, дело и в общности человеческих представлений о любви, мире, добре».

Но уроки прошлого для Эренбурга — это и уроки войн, нашествий, губительной национальной розни. На руинах Элевсина гиды и седельщики говорят об «их» атомных базах в Греции. В Японии писателю вспоминается шведский ресторан, где сторонники мира составляли Стокгольмское воззвание. Высокая и тревожная нота

военных, публицистических статей Эренбурга определяет и его путевые раздумья.

Не столько описание, сколько мысли, сопоставления, ассоциации. Фраза Эренбурга стройна и коротка; общий тон книги строг, даже суховат; «объект» очерчен графически четкими контурами. И в то же время в выборе этих объектов и параллелей автор откровенно субъективен. Взгляды и оценки книги — это взгляды и оценки Эренбурга, с которыми он вовсе не принуждает соглашаться. Но он уверен, что мысли эти и взгляды эти найдут отклик у многих читателей.

Виктор Некрасов полетел в Италию, по дороге день пробыл в Париже. Об этом дне и считанных днях Рима, Неаполя, Венеции рассказал он в «Первом знакомстве», продолжив его затем «Месяцем во Франции» и очерками об Америке.

Лучшая из этих книг, думается, первая. По материалу вроде бы самая мимолетная. По свежести восприятия, новизне мыслей писателя — самая интересная. Это именно первое знакомство, радостное и недолгое. Веселое удивление: «И вот я стою у окна. И подо мной улица. И называется она Рю Монталламер. И внизу машины. А передо мной крыши. С мансардами, трубами, котами. А за всем этим — Эйфелева башня... И мы уже два часа как в Париже». Внезапная решимость: выбросить так любовно составленный, типично туристский план (Лувр, Нотр-Дам, Опера, ресторан) и отправиться бродить по старым улочкам, не раздумывая перед «Джикондой», но поболтать с прохожими и полицейскими.

С первой до последней страницы мы бродим, вернее носимся, по чужим городам не с гидом, не с историком, не с социологом, а с общительным и неутомимым спутником, знающим много, но знаниями не кичащимся. Он не будет толковать нам, что Сикстинская капелла расписана Микеланджело, но поведет по улицам и дорогам, по руинам и новостройкам, познакомит с собратьями по перу, со студентами, гондольерами, домовладельцами. С римским шофером, с молодым человеком, подрабатывающим на жизнь продажей фотографий не самых скромных из помпейских фресок. С молодым спортсменом, оказавшимся иезуитом. Со старым каприйским извозчиком, который не моргнув глазом вспомнит, что он «и Ленина возил». С интеллигентами, которые спорят «в пятнадцатиметровой ком-

нате, набитой по меньшей мере двадцатью курильщиками».

Некрасов знает, что «не надо всем и каждому говорить, что у нас лучшее в мире метро, что Эйзенштейн «Броненосцем «Потемкиным» сделал переворот в мировой кинематографии, что многие писатели Запада учились у Льва Толстого, а режиссеры у Станиславского». Это и так всем ясно. А вот реальные связи Карло Леви и русской литературы раскрыть надо. Не нужно все время повторять, что Италия — страна капиталистическая и противоречия капитализма в ней обостряются. Это мы и так помним. А вот рассказать о своих впечатлениях от фабрики Оливетти с ее расчетливым «патернализмом», фабрики, которая вроде бы опровергает социальные законы, а на деле только подтверждает их, — необходимо. Совсем не надо советскому читателю доказывать будто впервые, что религия — опиум для народа. Лучше сфотографировать случайные уличные сценки. Старуха на коленях перед мадонной, приткнувшейся у старой стены. Обыкновенная группа провинциальных экскурсантов: женщины в немодных жакетах с дешевыми сумочками. Среди них падре в длинном пальто — родственник или деревенский священник, сопровождающий прихожанок в святой город. Снимает их другой падре, в круглой шляпе. А Некрасов со стороны запечатлел и позирующих и фотографа — смотрите, убеждайтесь, думайте.

За границей не надо глотать аршина — он мешаает двигаться и говорить. Надо быть самим собой — это условие Некрасов соблюдает полностью. Некоторые не приемлют его очерки именно за «субъективизм». Но попробуйте изгнать из записок Некрасова эту свободную непринужденность рассказа. Во-первых, это просто невозможно, потому что они органичны — как задуманы, так и исполнены. А во-вторых, личное, субъективное отношение к виденному — будь то микеланджеловский «Моисей» или картины Сальвадора Дали, знаменитый Корбюзье или старичок служитель парижского Дома Инвалидов — никак не обедняет, но углубляет очерки, раздвигает их рамки.

Постоянные возвращения из Италии в Россию, от парижской могилы Неизвестного солдата к киевской могиле Неизвестного солдата, из Рима к Мамасву кургану военных лет, вначале могут удивить читателя. Потом понимаешь: чужое проверяется здесь

своим, свое — чужим, сегодняшнее — войною, решившей судьбы в России и Италии, сталинградского офицера Виктора Некрасова и итальянского солдата, попавшего в плен под Сталинградом. Потому, вероятно, книга Некрасова не только моментально разошлась в России, но внимательно читалась и в самой Италии, — с тем же вниманием, с каким читаем мы очерки иностранцев, побывавших в Советском Союзе, — от давней книжки Лиона Фейхтвангера до недавней Алана Силлитоу. (Всегда интересно, что же увидит у нас чужестранец прежде всего, чему удивится, в чем, совершенно для нас неожиданным, найдет сходство с родиной.)

Точно сказал об этом Гранин в заключенные своих очерков об Австралии «Месяц вверх ногами» («Знамя», №№ 1, 2, 1966).

Гранин водит по Ленинграду Фрэнка Харди — известного австралийского писателя, пишущего книгу о Советском Союзе. Оба задают друг другу наивные вопросы. Обоим приходит в голову внешне логичная мысль: а что, если ленинградец напишет книгу о Ленинграде, а австралиец — о своей Австралии? Никаких недоумений и наивностей в очерках не будет. И сразу же Гранину, Харди и нам становится ясной абсурдность такого замысла. Гранин привык к белым ночам и Неве, как Харди к февральской жаре и пляжам, огороженным от акул сеткой. Первоначальность восприятия у них отнята; «Фрэнк никогда не увидит мою Австралию, пусть малую ее часть, но мою. Так же, как я давно перестал удивляться ленинградским набережным, и песням в белые ночи, и многому другому, чему, наверное, следует удивляться. Поэтому я хотел бы прочесть книгу Фрэнка».

Пока же мы с интересом будем читать рассказ Гранина о том, что поразило, обрадовало и ужаснуло его в стране другого полушария. О деятельных, здоровых людях, умеющих много работать и хорошо отдыхать. О великолепном водном спорте, прекрасных фермах, грохочущих городах, небогатых музеями, — прошлое страны недолго, ему нет не только двух тысячелетий, но и двух сотен лет. Гранин рассказывает о встречах с удивительными зверями, о веселом пикнике...

Какая прекрасная, какая изобильная страна! — скажем мы, читая это. Но идиллический пикник происходит на ферме человека, живущего совсем нелегко. Известный писа-

тель Моррисон работает садовником, потому что на писательские заработки ему не прожить. Молодежь не только плавает на досках по океанским волнам — она безрадостно, убого веселится. Страшна травля электрического зайца живыми собаками. В антикварном магазине продаются картины Наматжиры, замечательного художника-аборигена, затравленного белыми властями. А в доме изящной дамы-художницы висит ее собственная картина: «Там были изображены дети аборигенов. Изглоданные голодом, болезненные, на тоненьких, подгибающихся ногах, они стояли, взявшись за руки, напоминая мне чем-то детей блокадной ленинградской зимы. Только вместо снега, зазеленелых тротуаров кругом была желтая, выжженная, грязная пустыня. Я никогда не видел такой пустыни — замусоренной банками, отбросами... В огромных глазах каждого ребенка повторялся один и тот же вопрос: что нас ждет?»

Всего несколько штрихов, но сильных, резких — и перед нами выступает бедственное положение коренного населения материка, противоречия жизни Австралии. Вслед за Граниним мы — совсем не восхищенно — скажем: сытая страна. И не только сытая, но в сытости своей не уверенная, с постоянной возможностью полного разорения для фермера, с угрозой выселения рабочего из комфортабельного домика, купленного в рассрочку, — с теми реальными кризисами капитализма, о которых все мы помним, но которые писатель показал вот в этой изобильной стране.

В гранинской Австралии воплощаются черты, отличающие этот материк от всех стран мира, и черты, роднящие Австралию с далекой от нее империалистической Америкой. И мы вместе с писателем воочию видим и понимаем, что социализм и капитализм не сближаются, благополучно «врастая» друг в друга, но противоборствуют, чем дальше — тем непримиримей.

Недавно у нас переведена книга шведского ученого-этнографа и писателя Бенгта Даниельссона «Бумеранг». Участник похода на «Кон-Тики», давний путешественник по тропическим странам, он с женой и дочкой отправился странствовать по Австралии, оснастив машину прицепом. Увидел, конечно, неизмеримо больше, чем Гранин, — он делал тысячеверстные перегоны между городами, был в резервациях, исколесил пустыни и побережья.

Книга его удивит нас сходством с записками Гранина. Сходством непринужденности и естественности описаний. Сходством отношения к Наматжире и вымирающим его соплеменникам. Уверенностью в способностях аборигенов, которые гложут в беспросветном существовании нищих-дикарей. И в то же время очень ясно увидим мы по этим книгам разность отношения к Австралии советского и шведского писателей. Даниельссона, обитателя небольшой (по австралийским и русским масштабам — крошечной) страны, привыкшего к ее налаженно-четкой комфортабельной жизни, раздражает излишняя демократичность австралийских шоферов, неторопливое достоинство рабочих-докеров, угроза забастовки, преследующая его из города в город. Гранина как раз это и привлекает. Естественный демократизм, открытость людей. Гордость их предками, высланными из матери-Европы. Ощущение молодости, силы страны, ведущей жизнь трудовую и деятельную. И ощущение острейших противоречий этой жизни, Даниельссоном не замеченных как раз потому, что к этим противоречиям он давно привык в родной Швеции.

Когда читаешь записки Гранина, все время кажется, что написаны они не для абстрактного читателя, но для тех сотрудников ленинградского этнографического института, которые в обеденный перерыв пили чай с соевыми батончиками, а в рабочее время «изучали Австралию издали, как астрономы, издали. Они знали про Австралию все: ее краски, ее людей, запахи, легенды, песни, живопись. Точность их знаний я мог оценить, лишь вернувшись из Австралии. Я пришел в институт рассказать о поездке и не заметил, как стал слушать их рассказы... Сколько возможных Миклухо-Маклаев, энтузиастов, мужественных, самоотверженных, несостоявшихся путешественников вынуждены проводить свою жизнь в этих комнатах, заставленных книжными шкапами!»

Расчет на такого читателя труден (попробуй перед ним «выехать» на том, что аборигены делают бумеранги, а в Сиднее ты увидел много интересного), но оправдывает себя совершенно, потому что правилен и честен. Интересно этнографам читать мои записки? Открыл я что-то новое в стране человеку, много знающему о ней? Значит, не зря месяц ходил «вверх ногами», обливался потом в феврале, страдал на пресс-

конференциях. Ведь именно по «путевым заметкам» особенно ясно, насколько по-иному представляют своего читателя разные литераторы.

В представлении одних — это дотошный поклонник цифр и прописных истин, в представлении других — это умный собеседник, знающий столько же, сколько знает пишущий, которому просто посчастливилось увидеть то, что не видно его собеседнику.

Эстонский писатель Юхан Смуул, несколько лет тому назад отплывший в Антарктиду на пароходе с прозаическим названием «Кооперация», видел своего читателя именно таким. И еще обладателем шестого чувства, чувства юмора. Смуул сам чуток к «стертым словам» и уверен, что собеседнику его они не нужны. Свое появление на шестом материке он представит так: «В историческое четвертое января на антарктический материк высадился представитель эстонского народа и эстонской литературы... Двадцать километров по льду, отделяющие «Кооперацию» от Мирного, он преодолел на металлических тракторных саниях. Он сидел на мотке кабеля, за его спиной лежал желтый портфель с незаконченными произведениями... Губы его потрескались, кожа на лице облезла, замерзший нос покраснел. В его груди теснились храбрость, решимость, несокрушимое намерение покорить шестой континент и другие сильные чувства. Каждый раз, как из-под гусениц трактора, тянувшего сани, струей била зеленая вода, сердце его содрогалось. Он опасался, и не без оснований, что море Дейвиса поглотит трактор, тракториста, сани и персонально его самого. Затем он прибыл в Мирный и притащил свои вещи в каюту прессы, расположенную в доме № 2 по улице Ленина, где и обнаружил, что на предназначенной ему койке спать нельзя, так как она временно отдана другому лицу. Поскольку он продрог, это обстоятельство слегка его опечалило. Тут его направили в ночную смену — разгружать прибывшие с «Кооперации» тракторные сани».

Строчки эти цитировались не раз, но хочется их вновь привести — очень уж они характерны для всей «Ледовой книги», для позиции Смуула-писателя. Сила его в том, что он сам разгружает сани, живет со всеми, работает со всеми, а не берет интервью. Если же и берет, то ощущает, что «людям в унтах и в меховых куртках явно неловко,

а мне так и вовсе не по себе». Сохраняя все время нужнейшую способность взглянуть на себя со стороны и над собой посмеяться, Смуул в то же время умеет найти синтез «объективного» и «субъективного», того, что он видит, и своего отношения к нему.

Могут сказать: об Антарктиде легко писать — кто из литераторов там был до Смуула? Снежная целина. Но, во-первых, «Кооперация» прошла океанами, швартовалась в Кейптауне, Австралии, Александрии, до Смуула не один раз описанных. Во-вторых, целина эта именно снежная, белая. Какие там пейзажи, какие памятники архитектуры, возле которых так удобно раздумывать? Пятачки в белой пустыне. Однообразно трудная жизнь, бураны, работа, обильная еда. «Ледовая книга» может получиться только, если она расскажет об этих людях во льдах: «Где бы мы ни находились, куда бы ни плыли, всюду человек возил за собой основные свойства своего характера, а порой жадность и мелочность». Не ангелы таскают грузы на станции Комсомольская: больше трех тысяч метров над уровнем моря, кислородное голодание, человек задыхается от малейшего напряжения. Не ангелы водят тракторы в антарктические морозы, пишут заметки в стенгазету, изобретательно разыгрывают друг друга, с нетерпением ждут последнего дня зимовки.

Смуул знает, что старая литературная тема ненависти людей друг к другу, одичания на зимовке, которую советуют ему использовать австралийские коллеги, может быть реальной. И все же — «я как-то не могу себе представить, чтобы на станции Комсомольская, даже при самых жутких условиях зимовки или при неудаче, могло произойти что-либо подобное. Мысль о том, что большой Морозов примется грызть маленького Сорокина, а Фокин — Иванова, вызывает только усмешку. Но, разумеется, такие вещи возможны».

Писатель не начинает поучать: «Мы — ледовые люди». И к человеку, который смысл зимовки видит в высоких суточных, свой оптимизм не относит. А к Сорокину, к Морозову относит.

Композиция этой книги — старая форма дневника. От 30 октября 1957 до 17 апреля 1958 года. Но композиция дневника выверена многократно. Вроде бы совершенно постороннему в путевом дневнике, отвлеченному разговору о «болевым пороге», об от-

ношении «ко всему вокруг, что болит и что вызывает боль», — честь и место. А о прославленных туристских объектах — совсем немного. «Чужим приехал, чужим уеду» — это о промелькнувшем Кейптауне. «Приводить ли тут даты, размеры, описания? Не стоит, потому что покамест они и для меня мертвы» — это о Каире. Что ожило лично, субъективно, лирически — как хотите это называйте — остается в книге. То, что не задело писателя, уходит за ее пределы.

Потому и получилась книга не просто путевым дневником, но именно книгой пристрастной, личной, в то же время широкой, надолго, казалось бы, исчерпавшей тему Антарктики в путевой литературе.

А в 1965 году выходят «Белые сны» В. Пескова. Он летит к Южному полюсу через Дели, Австралию, Новую Зеландию. Шлет корреспонденции в «Комсомольскую правду». Краток, как хороший газетчик. Из Индии он сообщает: «Экзотика в Дели подступает к порогу гостиницы. Полосатые бурнудочки стаями бегают под окном». Опишет скучноватое благополучие Веллингтона. Переведет из австралийских газет рассказ о некоем Михаиле Фоменко, живущем с аборигенами в зарослях. Выйдет из самолета там же, где незадолго до него жил эстонский писатель. И откроет в белой пустыне еще многое для себя и для нас. Он пойдет за Смуулом, но не повторит его, хотя оба описывают жизнь, не подчеркивая обыкновенности Антарктики и не стеная: ах, как трудно, но каких трудностей не вынесет человек! У обоих поражает отсутствие экзотического восприятия мира.

Попали на край света, видят ураганы, китов, айсберги. Но айсберг напоминает Смуулу «старинный, сужающийся книзу лакированный комод с резным верхом». В снегопаде он «словно в крынке с молоком». Песков деловито сообщает, что по нужде в Мирном ходят в ледяную пещеру, сказочно красивую, но неудобную — легко переломать ноги. В жилой комнате стоит ужасающий шкаф, заботливо снабженный инвентарным номером. А по соседству живет бухгалтер с бородкой, который ведет учет полюсного хозяйства.

Это все соответствует самой жизни зимовки, настоящей жизни, которой не нужна ни внешняя патетика, ни сентиментальность. Шутки и розыгрыши противостоят там бурянам. Там даже хорошее, но приевшееся слово «землепроходцы» заменили своим ва-



риантом: «льдопроходимцы». Попробуй напиши стандартные слова о «повседневном мужестве» и «незаметном героизме» — тебя съедят живьем, а сбежать — некуда.

Это соответствует одной из главных традиций русской «путевой литературы», всегда видевшей мир строго реально.

«Шторм был классический, во всей форме... Рассказывали, как, с одной стороны, вырывающаяся из-за туч луна озаряет море и корабль, а с другой, нестерпимым блеском играет молния. Они думали, что я буду описывать эту картину... Я... остановился посмотреть хваленый шторм. Молния как молния, только без грома, или его за ветром не слышать. Луны не было... «Какова картина?» — спросил меня капитан, ожидая восторгов и похвал.— «Безобразия, беспорядок!» — отвечал я, уходя весь мокрый в каюту...»

Так в 1853 году описывает Гончаров морскую бурю, излюбленную романтиками. Писатель не ахает перед природой, не воспринимает явления ее как чудеса, а жизнь далеких стран как нечто, к его собственной жизни отношения не имеющее. Он смотрит на все и всех взглядом умным, внимательным, но никак не восторженным. В обитателях Африки и неведомой Японии видит сходство с людьми и жизнью Средней России. Первый из больших русских писателей отправившийся дальними морскими дорогами, он в Кейптауне и Сингапуре видит не диковинки, не экзотику, но проявление общих законов жизни, выражающихся в быте, в деталях, часто в мелочах. Мелочи эти он удивительно умел описать.

Внимание к деталям, показ большого через малое становится сегодня принципом путевого очерка. Им сильны Некрасов и Паустовский, Гранин и Шагинян. Игорь Можайко ведет нас по реальной Бирме, где сохнет на веревках желтое одеяние монахов, а пагоды на рассвете покрываются каплями росы («Не только память...»). Ал. Крон видит кокосовые пальмы не «царственными», но «долговязыми». В экзотическом пейзаже канал такого цвета, «как будто в нем мыли акварельные кисти». Во время тайфуна «бархатный полог лязгает кольцами, никелированная штука, на которой висят полотенца, то визжит, как флюгер, то стучит, как метроном» («На ходу и на якоре»). Та же гончаровская интонация: «Безобразия, беспорядок!» — и в интонации этой также выражается достоинство челове-

ка перед природой, которой надо не только любоваться, но узнавать и подчинять ее. Узнавать и сообщать перedelывать землю, которую видят писатели в своих дальних поездках, а мы — в их путевых очерках, жанре нужнейшем и благодарном. Ведь, по словам того же Гончарова, путешествия в дальние страны «имеют вообще привилегию держаться долее других книг. Всякое из них составляет надолго неизгладимый след или колею, как колесо, пока дорога не проторится до того, что все колеи сольются в один общий широкий путь».

### III

Познание «общего широкого пути» всех народов — содержание сегодняшних путевых очерков. Но интонация: «Все земли, все народы прекрасны» — легко может обернуться снисходительно-равнодушным: «Все — люди, все — человеки...» Доброжелательство к другому народу подменится легковесной сентиментальностью, если в основе его нет подлинной любви к своей стране и своему народу и понимания его пути в общей истории человечества. И здесь, но иначе и по-новому продолжают традиции нашей классики. Перечитаем не только Гончарова, но путешествия Герцена, «Зимние заметки о летних впечатлениях» Достоевского (написанные, кстати, после первой поездки в Европу, длившейся всего два с половиной месяца), «За рубежом» Салтыкова-Щедрина.

Постоянные естественные параллели с родиной. «А у нас так-то» — на этом строится вся книга Щедрина. В то же время психологию французского буржуа, язвы и противоречия капитализма путешествующие петербургские литераторы изображают с трезвой реальностью: «Эта смелость предприимчивости, этот кажущийся беспорядок, который в сущности есть буржуазный порядок в высочайшей степени, эта отравленная Темза, этот воздух, пропитанный каменным углем; эти великолепные скверы и парки, эти страшные углы города, как Вайтчепель с его полуголым, диким и голодным населением» — такая Англия встает у Достоевского рядом с русским крестьянским вопросом.

Европа: не была, да и не казалась идиллией. Но николаевско-александровская Россия была еще хуже; в ней смешивались и

находили крайнее, почти неправдоподобное выражение все формы гнета западного и восточного.

Патриотизм Достоевского и Щедрина, Герцена и Глеба Успенского был высок и гневен: они видели беды родины и желали ей «выпрямиться», как «выпрямила» Венера Милосская робкого Тяпушкина из очерка Успенского. Неразрывны были у них размышления о судьбах Европы и России — часть размышлений о будущем мира, и естественна была вера в общее, большое их будущее: «Нигде не видал я, кроме Италии и России, чтоб бедность и тяжелая работа так безнаказанно проходили по лицу человека, не исказив ничего в благородных и мужественных чертах. У таких народов есть затаенная мысль или, лучше сказать, не мысль, а непочатая сила, непонятная им самим до поры до времени, которая даст возможность переносить самые подавляющие несчастья, даже крепостное состояние». Это Герцен. «Письма из Франции и Италии». 1848 год. Вера в будущее, в «непочатые силы» сочетается с отрицанием николаевской России, в которой все надо менять и переустраивать.

Сегодняшние советские путешественники связь с родиной ощущают, конечно, иначе. Во-первых, в человеке живет постоянная, иногда высказываемая, иногда подспудная тоска, особенно если уехал он не на неделю—месяц, а надолго. Песков упорно ищет в Антарктике земляков-воронежцев и, к собственному удивлению, находит многих. Смуулу в бурю не хватает только растрепанной вороны, чтобы почувствовать себя в родной деревне, картошку зимовщики режут, оказывается, так же крупно, как односельчанки, даже зебры напоминают ему дам в полосатых пижамах на пярнуском пляже.

Но кроме этих ассоциаций, постоянное ощущение родины выражается гораздо более действенно. «Мы все время говорили о Советском Союзе, проводили параллели, делали сравнения. Мы заметили, что советские люди, которых мы часто встречали в Америке, одержимы теми же чувствами. Не было разговора, который в конце концов не свелся бы к упоминанию о Советском Союзе: «А у нас то-то»... «Хорошо бы это ввести у нас», «Это у нас делают лучше», «Этого мы еще не умеем», «Это мы уже освоили». Советские люди за границей — не просто путешественники, командированные инженеры или дипломаты. Все это влюблен-

ные, оторванные от предмета своей любви и ежеминутно о нем вспоминающие».

Ильф и Петров, написавшие это, сами ежеминутно вспоминали и ежеминутно сравнивали. Но сравнивали, не резонерствуя, не осыпая читающих «Одноэтажную Америку» многозначными цифрами. В гостях они встретят секретаря райкома американской коммунистической партии: «Секретарь был молодой, скуластый, похожий на московского комсомольца. Казалось, ему не хватало для полного сходства только кепки с длинным козырьком, нависшим, как карниз». Они удивляются многому из того, что привычно в процветающей, богатой Америке. Там «нищим людям не предлагали работы, им предлагали только бога, злого и требовательного как черт». Там лучшие здания отданы школам. Но после уроков «мальчики смотрят в кино похождения гангстеров, играют на улице в гангстеров и без конца стреляют из револьверов и ручных пулеметов». Там совсем уж опустившийся бродяга с зеленоватыми небритыми щеками настаивает на том, что у богатых надо отобрать деньги — оставить им только по пять миллионов. «В глубине души он еще надеется, что сам когда-нибудь станет миллионером. Американское воспитание — это страшная вещь, сэр!»

Так видят землю и другие советские путешественники, оглядывая ее сегодня подробно и спокойно, без высокомерия и уничтожения, одинаково ненужных. Читатель всегда с благодарностью воспринимает конкретный разговор, в котором автор сравнит цены на автомашины, на книги, на детские башмаки. Плату за квартиру и качество строительства. Организацию труда, отдыха, врачебное обслуживание. В Чехословакии лекарства по рецепту врача отпускаются бесплатно. В Соединенных Штатах заболевшие разоряются — сбережения уходят на врачей, лекарства, оплату операции...

Одна из глав книги Михайлова «Иду по меридиану» называется «Разговор с Хорем и Калинычем». Очень кстати вспомнил он у берегов Африки тургеневских мужиков, хозяина Хоря, которого «занимали вопросы административные и государственные», и мечтательного Калиныча, которого «более грогали описания природы, гор, водопадов, необыкновенных зданий, больших городов».

Осматривая мир, писатели наши отмечают то, что интересно мечтателю, и то, что нужно хозяину. Видя хорошее у других,

утверждая хорошее свое. Утверждая не только прямыми сопоставлениями, но всем строем мышления. Находя близкое себе в жизни трудящихся, демократической интеллигенции, чуждое, давно изжитое Советской Россией, в самом строе жизни капиталистических стран, в отчужденности государственной власти от народа, в столь частом противопоставлении жизни частной и жизни общественной.

Долгие века мир был для путешественника непознан и огромен. В лесах таились чудовища; морские змеи утаскивали корабли в бездну.

...возвращался  
К местам своих скитаний. Говорил  
О сказочных пещерах и пустынях,  
Ущельях с пропастями и горах,  
Вершинами касающихся неба,  
О каннибалах — то есть дикарях,  
Друг друга поедающих. О людях,  
Которых плечи выше головы...—

это ведь тоже «путевые заметки» венецианского мавра, устно излагаемые им Дездемоне.

Огромна земля — с трепетом ощущали наши предки, путешествовавшие за три моря. А сейчас? За сорок часов можно обогнуть

земной шар, вернувшись в город, из которого вылетел, с другой стороны. Рейсовые самолеты летят над Северным полюсом, над местом гибели Амундсена, матери укачивают детей в дорожных люльках. Аэродром вырублен в географическом центре Бразилии, где одержимый Фосетт искал белокожий народ. Чудес нет. Неожиданности бывают, но редко. Мала земля — говорят сегодня, озирая ее из реактивного лайнера.

Для путешественника-литератора оба эти определения остаются в полной силе, дополняя друг друга. Моряки, ученые, торговцы открыли землю и узнали ее. Литераторы-профессионалы иногда шли с ними, как Пигафетта с Магелланом, чаще за ними, описывая страны, открытые учеными и моряками, да и самих ученых и моряков.

Задача их в главном едина: сблизить народы, узнать и понять их. Тем самым снова уменьшить земной шар, сделав задачу будущих путешественников еще более трудной. И показать огромность его, обилие и различия стран и народов, идеологий и государственных устройств. Вроде бы противоположные, задачи эти едины. Как едины и обе общеизвестные истины: земля мала — земля огромна.



# ЖИЖНОЕ ОБЗРЕНИЕ

## СОДЕРЖАНИЕ

★

### ЛИТЕРАТУРА И ИСКУССТВО

**Е. Старинова.** Снова Крош.— **И. Виноградов.** В маленьком городе.— **Николай Атаров.** Твоя родина.— **Н. Роскина.** Сестра Чехова.— **С. Кайдаш.** Новое из архивов советских писателей.

### ПОЛИТИКА И НАУКА

**О. Лацис.** Открытыми глазами.— **Лев Разгон.** Современный журнал для семейного чтения.— **Мих. Цунц.** Подвиги не забываются.— **Г. Герасимов.** Первые сомнения.— **А. Родионов.** Демонстрация силы?

## Литература и искусство

### СНОВА КРОШ

**Анатолий Рыбаков.** Каникулы Кроша. Повесть. «Юность», № 2, 1966.

«Я бы так и оценивал произведения искусства — по степени доброго чувства, которое они вызывают», — говорит один из героев новой повести А. Рыбакова «Каникулы Кроша». К книгам писателя о детях и подростках этот способ оценки подходит полностью и безусловно: они пробуждают добрые чувства.

Начав свой литературный путь как детский писатель, А. Рыбаков постоянно возвращается к книгам для детей и юношества, перемежая работу над «взрослыми» романами работой над детскими приключенческими повестями. Опубликовав первую свою книгу, ставшую давно уже популярной у школьников, «Кортик», А. Рыбаков в 1950 году пишет «производственный роман» «Водители»; окончив «Водителей», завершает работу над романом «Екатерина Воронина», а потом издает продолжение «Кортика» — «Бронзовую птицу»; в 1960 году выпускает в свет веселую повесть о производственной практике школьников на автобазе — «Приключения Кроша»; и наконец совсем недавно, после «Лета в Сосняках», снова возвращается к удавшемуся ему образу Сережи

Крашенинникова и пишет продолжение его приключений — повесть «Каникулы Кроша». Нельзя в то же время не заметить, что происходит постепенное слияние двух линий развития литературного дарования А. Рыбакова — «взрослого» и «детского».

«Кортик» и «Бронзовая птица» — это еще специфически детские книги, и если по той или иной случайности их читает взрослый человек, то он, чтобы по достоинству оценить и увлекательное построение сюжета, и романтические загадки, лежащие в его основе, должен все-таки представлять на своем месте то ли своего сына, то ли младшего брата, то ли самого себя в возрасте двенадцати — четырнадцати лет. Первая повесть о пятнадцатилетнем Сереже Крашенинникове, прозванном товарищами Крошем, читалась уже не только детьми, но и взрослыми с непосредственным удовольствием. И я не знаю, кому больше адресована вторая повесть о том же герое — «Каникулы Кроша» — подросткам или зрелым людям.

Конечно, все-таки подросткам, потому что это написано о них. Но если для подростка

«Каникулы Кроша» могут послужить зеркалом, в котором он весело и с любопытством рассмотрит самого себя и своих сверстников, то, как мне кажется, взрослый читатель этих повестей больше и полнее оценит и обаяние здоровой нормальной юности ее героев, и юмор, которым окрашен рассказ о них. Ведь нужно довольно далеко отойти от своих шестнадцати лет, чтобы по-настоящему почувствовать прелесть этого возраста. А Рыбаков и чувствует и передает его, передает не только в поступках Кроша, но и в манере его рассуждений и оценок.

Да, в «Приключениях Кроша» герою — пятнадцать, в «Каникулах Кроша» — шестнадцать лет. Всего год отделяет от описанных в последней повести А. Рыбакова каникул Кроша то лето, когда Крош и его товарищи проходили производственную практику на автобазе, чуть не погибли в опрокинувшейся машине, искали украденные амортизаторы и пережили много других событий. Но как вырос наш герой за этот год! Сколько новых впечатлений обступило его! Сколько новых проблем перед ним встало!

В первой повести Крошу жить намного проще, чем во второй.

Хотя уже в первой повести привычный мир школы и дома был раздвинут знакомством с настоящим производством и посильным участием в нем, все-таки все приключения Кроша происходили еще под некоторым контролем старших и его поступки мерились прежде всего их одобрением и порицанием. Его суждения об окружающем еще отличались мальчишеской безапелляционностью, а вся жизнь в идеале еще представлялась целиком сводимой к простым логическим категориям (Крош больше всего заботился о логике событий, поступков и рассуждений, все «логичное» им одобрялось, а «нелогичное» порицалось), и при помощи этих простых мерок зло легко отделялось от добра. Да и зло представало пока Крошу в своем самом очевидном виде — конечно же, воровать плохо, и врать плохо, и не выполнять обещаний, о которых разрезвонил на весь свет, плохо.

В повести «Каникулы Кроша» Сережа Крашенинников действует уже совсем самостоятельно и должен не только без старших, но, бывает, и вопреки иным из них найти твердые критерии для оценки довольно сложных нравственных явлений. Оказы-

вается, можно быть человеком высокоинтеллектуальной профессии и совершать самые неблагоприятные поступки. Оказывается, можно быть преступником и искренне привязаться к сыну своей жертвы. Оказывается, мир не всегда подчиняется законам простой логики.

Писатель оставляет на этот раз Кроша один на один перед открытыми в жизнь современного большого города дверьми. Улица, автобус, магазин, пляж, кафе, спортивный зал, читальня — все доступно шестнадцатилетнему мальчику на каникулах, все требовательно обступает его. И то, что для взрослого — обыденность, привычка, для подростка полно особого смысла. А Рыбаков не только хорошо передает обаяние этого обостренного, свежего восприятия мира, когда мальчик уже не ребенок, но еще и не совсем взрослый, но очень точно, конкретно, практически знает, как именно преломляются особенности сегодняшнего дня для подростка, какие радости дает ему его время и какие трудности перед ним возникают.

Так же, как в «Приключениях Кроша», герой повести «Каникулы Кроша» активно противостоит нечестности, обману, лжи, клевете. Но, как уже говорилось, в первой повести зло открывалось мальчику в очевидной форме. Во второй повести куда более серьезные преступления замаскированы от неискушенных глаз юноши блестящей соблазнительной упаковкой ультрасовременного шика, против которого так трудно устоять шестнадцатилетнему человеку.

Крош знакомится с искусствоведом Владимиром Николаевичем — Веэном, как таинственно, одними инициалами называют его мальчишки. Ему импонирует этот подтянутый человек с седыми висками, напоминающий одновременно стареющего спортсмена и молодого профессора, элегантно одетый, окруженный красивыми вещами, коллекционирующий японские игрушки «нэцкэ» и привлекающий подростков для походов по антикварным магазинам и другим коллекционерам.

Модная одежда, автомобиль, магнитофон, мужественная причастность к миру спортивных рекордов, наконец возвышающая близость к таинственным и красивым целям искусства — разве может все это не нравиться молодому человеку? И легко ли различить за ослепительной внешностью, за

уверенным сознанием своего превосходства, за почти интеллигентной корректностью — фальшь, пустоту, корысть и даже в отдалении прошлых лет — гнусное преступление (обычная для детской приключенческой книги «тайна» относится как раз к журналистской деятельности Веэна в 1948 году и самоубийству отца одного из мальчиков, Кости, в результате этой деятельности)?

Надо обладать сильным инстинктом нравственной брезгливости и чувством мужественной справедливости, чтобы не только противостоять соблазнам красивой формы там, где она прикрывает некрасивое содержание, но и своей наивной прямоотой побеждать изощренные и развращающие софизмы взрослых рыцарей «красивой жизни». Герой А. Рыбакова именно таков.

Но Крош действует не один. Он нарисован А. Рыбаковым и во второй повести в окружении своих одноклассников и сверстников. Мы знакомимся здесь с новым товарищем Кроша, упомянутым уже загадочным «боксером» Костей, ожесточившимся из-за сложной семейной обстановки. Мы снова встречаемся с хорошим, но несколько простоватым, бездумным Петром Шмаковым и ловкачом Игорем, из маленького школьного карьериста становящимся убежденным приверженцем «красивой жизни». В поведении и портретах всех этих точно обрисованных писателем мальчиков отчетливо видны разные тенденции в жизни современной молодежи.

При всем молодом легкомыслии Кроша и его веселой открытости впервые доступным ему радостям бытия — свободе от опеки родителей, женской красоте, возможности самому заработать деньги и по собственному усмотрению деньги истратить, интересному, волнующему воображение знакомству, — при всех тех неизбежных искушениях, которые подстерегают Кроша, как и каждого подростка, его не обольщает плохое, фальшивое, лживое. В юном герое А. Рыбакова большой заряд душевного здоровья и чистоты, который и помогает ему оттолкнуться от Игоря, перетянуть на свою сторону Костю и понять, в чем истинная суть Веэна.

В характере Веэна находит завершение погоня за «красивой жизнью» во что бы то ни стало, полная безыдейность и то житейское циничное правило, которому готов был уже следовать Костя: меня обманывают —

значит, и я могу обманывать, окружающие меня люди поступают аморально — значит, и я имею право быть аморальным. Мне кажется, что повесть А. Рыбакова в доступной форме, очень наглядно доказывает юному читателю, что человек, если он хочет оставаться человеком, не имеет права так думать. Человек должен отвечать за самого себя. И должен твердо знать, что, если он хочет, чтобы вокруг него была жизнь достойная и честная, в первую очередь должен сам сохранять достоинство и честность. Это уж как минимум. Иначе очень скоро ему вообще не понадобятся ни честность, ни достоинство. Они ему просто станут мешать.

Рыбаков показывает, как яд цинизма не только продолжает действовать на жертвы Веэна десятилетия спустя, но и то, как он в течение этих десятилетий разлагает самого отравителя. Юному Крошу трудно заглянуть в душу Веэна, но и он скоро начинает догадываться, как жалок и не уверен в себе этот преуспевающий человек. Почему он все время или заискивает, или «утверждает» себя — он, которому все дано? Но, с другой стороны, разве это легко — всегда казаться не тем, что ты есть на самом деле, всегда бояться разоблачения, опасаться остаться наедине с самим собою (тут-то уж ничего не скроешь!). И ради чего? Не слишком ли дорогая цена за машину и красивые безделушки? Ведь никаких более высоких и увлекательных целей у таких, как Веэн, нет. Ведь разговоры об искусстве, о культуре, о будущих книгах и исследованиях — все это болтовня, обман других и самого себя. Настоящая культура и настоящие книги делаются чистыми руками. Грязные руки тут противопоказаны: как ни старайся, получится эрзац.

«Каникулы Кроша», так же как «Приключения Кроша», написаны от первого лица. Обе повести имитируют записки самого мальчика о примечательных событиях нескольких месяцев его жизни. Интонация этого живого, веселого рассказа представляет, может быть, самую привлекательную черту обеих повестей о Кроше. Причем А. Рыбаков почти пренебрегает модным жаргоном молодежи, разве чуть-чуть вкрапленная в рассказ те специфические уличные словечки времени, которыми сейчас иногда слишком злоупотребляют даже переводчики западной литературы для прилания современного колорита произведению и которые,

в сущности, делают все книги, без различия их национальной принадлежности, на одно лицо.

Ощущение достоверности мира, в котором живет герой, достигается не столько словарем, сколько точными бытовыми приметами и, главное, особенностями самого мышления современного городского мальчика. Эти особенности четко отражены в лукаво-простодушном интонации повествования, где непосредственность Кроша органически

слилась с юмором автора, с его доброжелательной улыбкой — без нее он просто не может смотреть на своего юного героя. Мне кажется, что и молодой и зрелый читатель повести также полюбит Кроша за его непосредственность, за ту особую пронизательность его взгляда на мир, которая является результатом не житейского опыта, но, напротив, юной прямоты и непредвзятости восприятия вещей.

**Е. СТАРИКОВА.**



## В МАЛЕНЬКОМ ГОРОДЕ

**Е. Герасимов. Городок на Дрёме. Повести. «Советский писатель». М. 1964. 184 стр.**  
**Е. Герасимов. Куда речка течет. Повести. «Советский писатель». М. 1966. 216 стр.**

Началось все — если верить автору — совершенно случайно: решил человек съездить в Красноборск, на Дрёму, рыбу половить — сказали ему, да и сам он вычитал в какой-то старой книжке, будто течет эта Дрёма в дремучих лесах и будто рыбы в этой Дрёме «некогда была такая пропасть», что «возили зимой в Москву язей, лешей и щук целыми санными обозами».

Ну что ж — решил и поехал. Сначала на электричке. Потом — не с первого раза, правда, — удалось втиснуться и в рейсовый автобус, переполненный колхозниками окрестных сел со здоровенными мешками городских булок. Добрался до места.

И что же? Вместо язей и лешей — один полудохлый шурунок (щук, говорят, никакая химия не берет); вместо тишины, уединения, укромных местечек — толпы купающихся, стаи вездесущих мальчишек на велосипедах, парочки на мотороллерах — сплошная, словом, цивилизация кругом. Сунешься в лесок, что показался тебе издали более или менее приличным, а он весь, жалуется автор, застроен жилыми домами, сарайчиками, клетушками какими-то. И бора древнего не видно нигде, — разве если выйти на дорогу, по ухабам которой с натужным урчанием тянутся откуда-то издалека тяжелые лесовозы, волоча по земле свисающие с бортов, жалобно подрагивающие вершинки могучих сосен...

С точки зрения здравого смысла в сетованиях этих нет, конечно, никакой основательности. Что ж, в самом деле — так и

должно было все оставаться, как при царе Горохе? А промышленность, а строительство? А местный леспромхоз, из года в год успешно перевыполняющий в два-три раза свои планы? Рыбы, видите ли, в Дрёме он не нашел. А где ее найдешь?

Но, с другой стороны, не будь рассказчик столь наивен, не уверюй он в сказку о подмосковном первобытном рае, не побывал бы он и в Красноборске. Не довелось бы ему, махнув рукой на рыбалку, решиться пожить в городе несколько деньков просто так — познакомиться с Красноборском. Не было бы, значит, и «Городка на Дрёме» — как, впрочем, и таких повестей, как «Дикие берега» или «Куда речка течет», появлению которых тоже способствовала неумная страсть рассказчика к рыбалке.

А повести между тем любопытные и достойны внимания не одних только рыболовов.

Конечно, с точки зрения того же здравого смысла излюбленная автором манера повествования может опять-таки показаться и странной и неосновательной. В самом деле, возьмите, к примеру, хоть тот же «Городок на Дрёме». Вместо того, чтобы пойти для начала в соответствующие учреждения, разузнать, с чем стоит познакомиться, что посмотреть, составить себе определенный план и рассказать обо всем толково и по порядку, — вместо всего этого автор бродит просто по городу, смотрит на все, что попадется на глаза, слушает случайные разговоры местных жителей, с кем придется — познакомится, с кем понравит-

ся — побеседует, захочет отдохнуть — пойдет на озеро или в чайную, надоест бродить по улицам — вернется домой, на квартиру, и проговорит до вечера о том о сем со своим хозяином. Хоть бы о том, например, как рос город, как появлялся квартал за кварталом — этот вот порядок из Авдотьина (то есть что деревня Авдотьино, переехавшая в свое время, изба за избой, в город, и образовала эту улицу), на этой вот, Вокзальной, целые две деревни уместились, Машино и Матренки, потом к ней Гришино начало потихоньку пристраиваться...

И только потом вдруг спохватится и вспомнит наконец, что давно ведь пора сказать и о том, что Красноборск — один из самых крупных в стране центров шелковой промышленности и что одна только новая фабрика во много раз перекрывает по производительности всю прежнюю шелковую промышленность Красноборска. Вспомнит — и поведет нас наконец в центр города, на площадь, залитую асфальтом, где красуются три архитектурных памятника современной эпохи: пышный Дворец культуры с шеренгой внушительных колонн, строгое здание райкома с высоким массивным подъездом, похожим на трибуну, и веселый, канареечного цвета раймаг с десятком просторных зеркальных витрин.

Побываем мы и в самом Дворце культуры на торжественном вечере столетия шелковой фабрики, понаблюдаем — еще до начала собрания — за гуляющими по просторному фойе Дворца красноборцами. Автор подробно опишет весь, так сказать, ритуал этого гуляния: женщины ходят с женщинами, мужчины — с мужчинами; первые под руку, о чем-то переговариваясь шепотом и все время оглядываясь по сторонам, вторые — молча, напряженно вытянувшись или с заложенными за спину руками и тоже все время оглядываясь, — «но не туда-сюда, а только назад, на двери в вестибюль» («Ждут руководство... — поясняет автору Василий Иванович, квартирный его хозяин. — Первый секретарь у нас новый. Его еще не знают, побаиваются...»). Опишет и то, как по замедлившемуся сначала, а потом и вовсе смешавшемуся движению в фойе он догадался, что руководство наконец прибыло. И действительно — из дверей вышел молодой, кудрявый, веселый мужчина в распахнутом пиджаке, который походил скорее на передового комбайнера или тракто-

риста, но в котором жители шелкового города сразу же признали по каким-то неуловимым признакам того, кого они ждали. Общее круговое движение в фойе распалось, тут и там образовались небольшие круговороты. Но как только заиграл оркестр, первый секретарь тотчас вышел из круга людей и вывел из него за руку женщину с двумя орденами на жакетке — Шурочку Круглову, местную героиню. «Все отступили к стенам, давая простор этой пока еще единственной танцующей паре. Потом одна за другой закружились в вальсе еще несколько весьма пожилых и солидных пар, другие районные руководители и другие знатные ткачихи. Затем осмелели и остальные жавшиеся у стен красноборцы» («Наш новый первый, — прокомментировал опять Василий Иванович, — и тут тон задает. Такого, чтобы танцевали до окончания торжественной части, у нас еще не было»). А потом мы послушаем, что говорил директор, как делилась опытом борьбы за сортность продукции Шурочка Круглова, как декламировали свой традиционный стихотворный рапорт собранию пионеры...

Читая эти описания, начинаешь думать: вот наконец автор бросил свои случайные зарисовки и теперь перейдет к делу, расскажет как следует о городе и его жизни. Ведь даже наблюдая эту, видимо, вполне натуральную для жителей шелкового города реакцию на появление кудрявого молодого человека, автор, надо отдать ему должное, явно приближается уже к какому-то внутреннему ходу жизни красноборцев — той жизни, которая, чувствуется, так и смотрит во все глаза на своего «нового первого»: что-то принесет он ей с собой, каков-то он окажется?..

Но попробуйте спросить автора: в чем же заключается этот «внутренний ход» жизни шелкового городка на Дреме, какими же глазами смотрит она, эта жизнь, на кудрявого мужчину в распахнутом пиджаке? Так и видишь — посмотрит на вас автор просто-душно и лишь пожмет плечами: что это вы, дескать, какого еще вам от меня «хода» нужно, что умею — то умею, а чего не могу — того не могу, не взыщите. И — приметя опять за свое, начнет опять рассказывать о разных разностях: то о шелковой фабрике, а то о строительстве столовой, которая «вот-вот» должна открыться; то о пустыре, на котором решено воздвигнуть общественную уборную, а то о каких-то



сарайчиках, которые необходимы красноборцам так же, как и свои огороды, по причине разного рода дыр в городской торговле — в снабжении овощами, например; то о нападках Василия Ивановича на местных головоотяпов, что скосили гречиху на силос ради выполнения плана по силосу, а то о новой торговой точке, серебристо-голубом галантерейном киоске, где среди каскадов бус и гирлянд галстуков восседает, как царица на троне, в полном одиночестве золотоволосая продавщица с лиловыми губами. Или вдруг, по какой-то случайной ассоциации, ударится в воспоминания: либо о своем комсомольском прошлом, либо о тех годах, когда ездил он по деревням с заданием редакции агитировать за колхозы.

Никакой, словом, «последовательности в развитии темы»; сплошные разные разности.

Но удивительное дело — дочитываешь повесть, состоящую из этих разных разностей, и вдруг видишь, что узнал из нее о жизни маленького городка на Дрёме больше и лучше, чем из иного самого деловитого отчета со всеми необходимыми статистическими справками. Да и не только о жизни этого подмосковного городка. В конце концов где он — в Подмоскovie ли, в другом ли каком месте, да и есть ли вообще на карте, — не так ведь уж и важно, не правда ли? Важно, чтобы мы чувствовали, что перед нами самый настоящий, натуральный городок и что жизнь его, показанная нам, — тоже настоящая, натуральная жизнь. Отчеты при желании всегда можно в каком угодно количестве извлечь из газетных подшивков. А вот чтобы почувствовать сам, так сказать, запах жизни, ощутить ее действительное наполнение, разглядеть ее живой облик, — для этого нужно другое. Для этого нужен художник. И притом художник, чуткий именно к тем мимолетным, часто незначительным как будто бы проблескам и подробностям жизни, в которых жизнь-то как раз и показывается нам в своей естественной натуральности.

Этот чуткий и не такой уж частый дар и составляет главную особенность таланта Е. Герасимова. Он питает собою все, что есть в его повестях доброго и живого — и наблюдательность автора, и даже то природное чувство юмора, которым так счастливо он наделен и которое так выручает его, когда, как говорится, без юмора не

обойтись. Да и что удивительного? Ведь как часто то, что настырно лезет в глаза, во что раньше всего упирается взгляд, оборачивается на поверку всего лишь кажущейся видимостью...

Вот, к примеру, хотя бы та же красноборская чайная. «Еще совсем недавно, — рассказывает автор, — тут царствовала самая что ни на есть дремучая старина с нивными бочками... с окурками, мокнувшими в лужицах на столовых клеенках, с немолчным пьяным гулом... Нынче чайная стала другой. Вместо грубых деревянных столов... тут появились легкие столики из алюминиевых трубок с голубыми или зелеными, зеркально блестящими столешницами. Огурков вы уже не увидите, разве что под столом, где они скрываются, так сказать, на подпольном положении... Пьют здесь теперь только фруктовую воду, закусывают пряниками, яблоками, конфетами. Приходят по-прежнему компаниями, но какая бы большая компания ни пришла, а берет она всего одну бутылку и по пустому стакану на брата, садится за столик, предпочтительно в дальнем углу, за печкой, и из одной бутылки фруктовой воды, после некоторых манипуляций под столом, утоляют жажду два, три, а то и пять посетителей. Выпьют и сразу же выходят на крылечко покурить», где уже «толпятся долго, присаживаются на ступеньки... и ведут оживленные разговоры о своем житье-бытье...».

Забавная сценка, не правда ли? Но — и поучительная. Ведь вот, кажется, посмотришь на мирно беседующих в уголке посетителей, на то, как чинно и благонаравно отвешивает за стойкой буфетчица конфеты и отпускает мужскому люду одни фруктово-ягодные напитки, — чем не картина, рисующая жизнь красноборской чайной? А вот и нет, оказывается! Выпивоха есть выпивоха, и куда у него «смысл жизни» такой, никуда от него не денешься, потому что жизнь — это такая штука, что лезет во все щели и принаравливается ко всем обстоятельствам — нельзя на столе, она под столом умостится, нет на закуску селедочки — она фруктовой водичкой запьет, а уж покурить да потолковать о том о сем — это она и за дверью может, на крылечке...

Нужно ли говорить, что я привел это шутовское описание красноборской чайной совсем не для того, чтобы сказать: вот-де смотрите, как смело выставляет писатель

наружу неприглядные стороны жизни, вот молодец!..

Но ведь непременно найдется какой-нибудь отпетый трезвенник, никогда в жизни не бывавший в чайной, который скажет: «Очернительство! Не может там быть никаких выпивох, пьют там одну фруктовую воду!» И тут уж автора не спасут ни разговоры об оздоравливающей природе смеха, ни тем более литературные аналогии или ссылки на давность описанного происшествия (помните, как у Гоголя: «Долгом почитаю предведомить, что происшествие, описанное в этой повести, относится к очень давнему времени. Притом оно совершенная выдумка. Теперь Миргород совсем не то. Строяния другие; лужа среди города давно уже высохла, и все сановники: судья, подсудок и городничий — люди почтенные и благонамеренные»).

Нет, не потому рассказывает нам Е. Герасимов о красноборской чайной, что ему радостно заглядывать под чистые столы культуры и находить там все то же дремучее царство зеленого змия. Нетрудно догадаться, что, будь у него пристрастие к живописанию теневых сторон жизни, он нашел бы, надо думать, сюжеты полюбпытнее, чем красноборский выпивоха. Взгляду Е. Герасимова как раз вовсе не свойственна какая-либо тенденциозно-обличительная направленность, — он с равной долей внимательности относится ко всему, что видит на своем пути путешественника-рыболова: заметит недостаток — не обойдет, но увидит хорошее — тоже непременно расскажет, от души порадует. С хорошим, как всякому нормальному человеку, ему, в общем-то, куда приятнее встречаться, и он не упустит случая рассказать и о том, с каким энтузиазмом елабужская молодежь описывала ему будущее своего города, возмущаясь статьями в одном журнале, где о Елабуге пренебрежительно говорилось как о захудалом городке; и о новых домах на улицах уральского Электрогорска или подмосковной Машиносталя, и о том, как неизменно изменилась жизнь в тех местах, где когда-то проходил знаменитый рейс агитпарохода «Красная звезда», по маршруту которого он отправился через сорок лет, чтобы отыскать следы людей, упомянутых в дневнике Н. К. Крупской.

Да и люди, с которыми встречается автор во время своих путешествий, — по большей части вовсе не выпивохи и не злодеи,

а хороший, добрый народ, который если и выпивает, то в меру и только по праздникам. Ничего исключительного в знакомцах автора нет — это простые, обычные люди, работяги; громких слов говорить они не умеют, зато во всяком деле ценят прежде всего основательность и серьезность. Правда, иной раз кто-нибудь из них, выступая на собрании, возьмет да и брякнет: «Все боремся, завоевываем, то в наступление идем по всему фронту, то в атаку на отдельных участках или прорывах, штурмуем что-нибудь, то на вахте стоим по какому-нибудь случаю, а когда же, товарищи, работать будем?»...

Но вот этой-то обычностью, человеческой нормальностью своих запросов они и интересны писателю — куда интереснее, чем тот же, например, уральский знакомец его Панин, который сам о себе говорит, что он «неисправимый романтик», и при первой же встрече начинает рассказывать автору, «какая у его родителей была в областном городе хорошая квартира, а он вот по призыву комсомола поехал сюда на стройку, когда здесь была лесная глушь, не побоялся трудностей и первое время жил здесь в шалаше, мерз по ночам, а почему? Потому что романтик, а романтика окрыляет человека, возносит его над всеми мелочами жизни...» «Конечно, — замечает по этому поводу рассказчик, — далось ему это. Наверное, нелегко, но рассказывал он о себе так, словно специально сочинял свою жизнь для газеты, по ее показательным образцам, и повторяет это десятый раз, самому уже надоело»...

Да, при всей непреднамеренности и разнообразии впечатлений, при всем том, что автора нельзя упрекнуть в однобоком пристрастии к описанию лишь светлых или исключительно темных сторон жизни, наблюдательность его отнюдь не всеядна. Ее отличает очень точная и последовательная направленность взгляда, ибо то, что с комической своей стороны проступило в шутовском описании красноборской чайной, как раз и составляет постоянный предмет внимания автора. Всюду и всегда его интересует лишь реальное, действительное наполнение жизни, а не призрачные ее подобия; всюду и всегда он стремится разглядеть тот внутренний, часто невидный ее ход, проникнуть в сферу тех интересов, привычек, страстей, забот, радостей и тревог, из которых и складывается реально жизнь

добрых людей в таких вот городках, как Красноборск или Елабуга,— да и не только в них. Потому-то они и драгоценны для нас, эти разнообразные и как будто случайные зарисовки автора — именно показания и свидетельства повседневного, то есть наиболее «коренного» хода жизни служат, как известно, наиболее надежным материалом для любых социологических обобщений и лучше всего выверяют наши представления о характере и содержании наблюдаемой жизни. Недаром, видно, так высоко ценятся нашими историками новгородские берестяные грамоты, эти памятники быта наших далеких предков, позволяющие существенно иначе представить то, о чем писали официальные летописцы.

К жанру таких вот, если можно так выразиться, «берестяных грамот» нашего времени и принадлежат непритязательные, но полные любопытнейших примет живой жизни очерковые повести Е. Герасимова. В этом их немалое познавательное значение.

Но и не только познавательное.

Одна из излюбленных тем Е. Герасимова — воспоминания о годах его комсомольской юности, о тех людях, с которыми приходилось ему встречаться, когда он с мандатом укома комсомола в кармане носился на велосипеде по уезду и организовывал ячейки или в качестве корреспондента газеты совершал оперативные облеты совхозов на специальном самолете агитэскадрильи. В некоторых повестях Е. Герасимова эта тема приобретает даже как бы самостоятельное звучание, и тем не менее она отнюдь не случайна по отношению к тому, что его интересует в сегодняшней жизни.

В рассказах Е. Герасимова о прошлом тоже немало любопытного и показательно-го, и рассказывает он о жизни тех времен так же доверительно и просто, как и о Красноборске или рыбацких своих злоключениях. Здесь надо сказать, что и вообще одно из удовольствий чтения его повестей — иметь дело с таким автором, как он. Отличный рассказчик, умный и тонкий наблюдатель, он при всем том никогда не важничает — ему органически чужда какая-либо поза. Открытый, добродушный человек, он так же чистосердечно посмеется вместе с читателем над самим собой, над всеми конфузными положениями, в которые попадает, над своей неловкостью и

своими слабостями, как и над тем, что заметит забавного вокруг себя.

Добродушным юмором окрашены и многие страницы воспоминаний о людях его комсомольской юности. Но, как и всегда, ему не изменяет вместе с тем и трезвая серьезность взгляда на жизнь, умение здраво судить о вещах. Он не принадлежит к тем, кто видит доблесть в том, чтобы как можно крепче и во что бы то ни стало ругнуть при всяком случае прошлое. Но ему глубоко чуждо и то сомнительное рвение благополучных старичков, когда они, испытывая законную гордость за то, чем действительно может гордиться наше прошлое, со слезами восторга вспоминают вместе с тем и о всякого рода пережестях того времени — вот-де какой р-р-революционный дух жил в нас тогда!.. Как ни забавны порой замашки некоего Тугарова, елабужского «диктатора» первых лет революции, однако, вспоминая о них, Е. Герасимов менее всего склонен к умилению — он не забудет и о том, что даже за малейшие проступки карой, назначенной Тугаровым, был расстрел, и, кажется, не случилось, чтобы сердце Тугарова дрогнуло...

Но чаще всего вспоминает Е. Герасимов в те годы самого себя — каким он был, как понимал он тогда жизнь... И вот здесь, в этих сопоставлениях, особенно явственно, может быть, видишь, что пришедшее к автору с годами внимание к обычному, естественному, реальному — не просто ценное в писательском деле познания жизни приобретение, но и то, без чего, в сущности, нельзя говорить о нравственном достоинстве нынешнего человека. И как понимаешь автора, когда он, рассказав о том, как молоденькая официантка в парходном ресторане оскорбила безногого калеку и как происшествие это вызвало неожиданные споры среди пассажиров, пишет:

«Только один молодой вихрастый человек, перелистывавший какие-то бумажки и делавший из них выписки в блокнот, ни глазом, ни ухом не повел. Зло глядя на него, я подумал, что такого ничем не прошибешь. Вероятно, какой-нибудь заматавшийся в вечных командировках инструктор или лектор. Нет, должно быть, газетный корреспондент, решил я, увидев лежавшую у него под локтем планшетку. И вдруг во всем облике этого вихрастого молодого человека, поглощенного своими бумагами, стало проступать что-то очень знакомое,

близкое, родное... Себя самого увидел я в нем, как в зеркале, увидел таким, каким я был в молодые годы. С такой же вот планшеткой, болтавшейся на боку, мотался я в газетных командировках, с этой же планшеткой под локтем строчил я свои корреспонденции со строительных и сельскохозяйственных фронтов, строчил на вокзалах, в поездах, на самолетах и пароходах, ничего не видя и не слыша кругом. Ну что тогда могло затронуть, взволновать меня, если это не касалось самого главного, самого важ-

ного — тех великих сдвигов, переломов и мировых рекордов, о которых я писал и по сравнению с чем все в жизни казалось пустяком. А теперь... Теперь вот столкнешься с чем-нибудь, услышишь что-нибудь такое и разволнуешься, а потом всю ночь будешь ворочаться, думать, вспоминать, негодовать, будто ты один в ответе за все, и то, что, может быть, на самом деле пустяк, покажется тебе самым главным в жизни».

**И. ВИНОГРАДОВ.**

★

## ТВОЯ РОДИНА

**Аскер Евтых. Улица во всю ее длину. Роман. «Советский писатель». М. 1965. 438 стр.**

Все творчество Аскера Евтыха — а написал он уже немало — посвящено родной его Адыгее, адыгскому народу, хоть и живет Евтых в Москве и пишет по-русски. Но, пожалуй, сейчас он создал свое главное произведение, и адыгейское село — «улица во всю ее длину», предстает перед читателем в самом подробном виде.

Что такое адыгство — адыгский характер, адыгский обычай?

И то, что весенний гром среди ясного неба — по адыгским приметам — к добру; и то, что старику свекру с невесткой встречаться не положено; и что впереди идет муж, а жена сзади; и что быстро хоронят у адыгов, а тому есть свои причины; и что всегда ищут совета у старших; и что пройдет время после свадьбы, и молодая жена поедет в родной аул навестить близких.

Но что же такое настоящее адыгство?

Об этом не раз думают герои романа, ища смысла своей жизни, а значит, и смысла самого адыгства.

Конечно, хороша — по местной пословице — куриная ножка, хороша и адыгская гармошка.

«Она простая, немудрящая, ничем не украшенная — ряд клавишей для левой руки, ряд — для правой, немного, самое необходимое, без чего никак не обойтись, и на ней несложно играть, она так и устроена, чтобы несложно было, — под стать самой аульской жизни, тоже простой, как арифметика, как четыре действия: сложить, если есть что с чем, вычесть — что происходит чаще, умножить, если повезет, и разде-

лить — на себя долю, на жену, на детей, на старых родителей...»

Но что такое настоящее адыгство?

Говорят, высшая адыгская похвала выражается одной фразой: в нем, скажут адыги, человечность видна.

И вот роман Аскера Евтыха — о настоящем адыгстве. О человечности.

Целый крестьянский мир вывел А. Евтых, множество мужчин и женщин, улицу во всю ее длину. Двор Шалаховых. Двор Мешлоковых. Двор Устоковых. Двор Нашхо. Двор Титу. И Бешуковский двор. И Унороковский. Деды, сыновья и внуки, жены и невестки, вдовы. Комбайнеры, шоферы, ездики на бестарках, пастухи, печники, плотники. Адыги, русские, казаки — «...не имели они ни чинов, ни богатств, жили простой крестьянской жизнью, ели простую еду, одевались в простые одежды, а когда приходило время выбирать жен, выбирали простых девушек, и рождались от них простые дети, и нарекались они простыми именами...»

И вот странно, так случилось, что этот аул в недобрые времена произвола вдруг прослыл бандитским.

Почему бы? Уж не потому ли, что по пресловутому закону «от 7 августа» взяли в тюрьму Макара Мешлокова? Уж не потому ли, что сирота Юрка Бешуков надавал тумачков председателю сынку Эдику — за дело надавал, заступился за девушку, — и теперь надо его спасти от тюрьмы армией, везут его в город к военному?

Нет, не бандитский это аул! Всем поэтическим строем романа Евтых утверждает

человечность и правоту своих земляков-тружеников.

«— Святой он, этот народ! Великого терпения и великой веры!» — так говорит он устами Моса Устокова. И этих сильных слов можно было бы даже и не читать в романе: они растворены в самих его образах.

Что ни двор на улице — то своя история, своя судьба. А Евтых владеет нежным лирическим пером, народным юмором светятся речи его стариков; чуткий слух точно улавливает разбитную казачью скороговорку озорной жены комбайнера, хмельную запальчивость Петки, возжелавшего справедливости на «входинях» во дворе у Шалаховых; хитрые уроки поведения, какие дает восьмидесятилетний Ибрагим Шалахов своему знаменитому сыну Хатажуку, бесценному председателю колхоза. Кое-где роман от щедрости даже многословен.

Вот судьба одинокой Майданки. Первая затеяла она еще в довоенные годы разводить свиней в мусульманском селе, — и что же, обогатила тогда колхоз, получила и орден за свои заслуги; а потом, когда в войну уходила от немцев, попала в бомбежку, вернулась «сумная» и с той поры жила одиноко при конторе, при председателем телефоне. И была у нее тайная мечта, что однажды ночью позвонит к ней сам Сталин, и они вдвоем рассудят, кого наказать в селе за шкурничество, за кого заступиться, кого простить — и, конечно, раньше всех напрасно оклеветанного Хатита Устокова. Ведь это он, коммунист Устоков, поднимал и строил колхоз. Недаром и родник с лучшей водой зовется Хатитовым, и брод на реке, где когда-то в гражданскую войну провел Хатит красных конников.

Вот история Макара Мешлокова. Он и в плену, и в тюрьме побывал. Когда его в школу отправляли, «Накаром звали... Кареглазым, значит. Накар, Никарёнок, Накарище... А русский учитель, должно быть, не расслышал и по-своему записал: Макаром. Ушел, значит, Накаром, а вернулся Макаром!». Так рассказывает о нем женщина, и эта грустная шутка осмысляет жизнь колхозника — честного парня, работника. Не раз переламявалась она, эта жизнь, за какой-нибудь день. «И переломилась Макарова жизнь: до вечера на эlevator возил, а попозже к себе завернул, с полмешком пшеницы... Вчера, значит, на Доске почета висел,

а утром в милицию попал». Мы прочитаем в романе светлые страницы любви Макара к Хайрет, как он ее ночью за тридцать верст пешком привел к себе во двор, потому что грузовика не добился, — по дороге Болтушкой ее называя; как подружилась она сразу со стариком Саферби, как все было ладно во дворе Мешлоковых, пока не нашла беда неожиданная: прилетел из Москвы брат Болтушки, майор, слушатель Военно-политической академии, боевой летчик военных лет: кто-то донес по начальству, что его сестра вышла за бывшего пленного, за вора, попавшего на Магадан...

Вот история бывшего моряка Федора Грибцова, ныне комбайнера, как он собрал колхозу четвертый комбайн. Не в пример зазнавшемуся и заласканному Фроликову работал он честно, хотя рекордов не ставил, но зато и колосков за ним по полю собирать не пойдут — нету потери! И терял он в зароботке, и в списке знатных людей не числился, премий не получал, и механика к нему не высылали в поле, а запчасти все — Фроликову. С сочувствием к моряку-комбайнеру следим мы за тем, как он борется с Фроликовым не только на полях, где надо было хлеб отстоять от тайных расхитителей, но и как отвоевывал у Фроликова его жену — свою любимую, бойкую, падкую на сытую жизнь Дусю.

«— Да знаю я, знаю, какой ты есть!» — отбивалась от его любви Дуся. «Тебе же ничего не надо, корабельская жизнь приучила, всю жизнь на укороченной да на суженной коечке спал. В темной каютке... Тебе ничего не надо!..

— Надо! И мне надо! И очень много...» — так отвечал ей Грибцов.

Надо, чтобы не уходили люди в город, как уходит плотник Петка с женой — от трудодня на зарплату. Надо, чтобы колхозный трудодень — основа веры крестьянской в колхозный строй — был не хуже городской зарплаты. А то как же не бежать с земли от пустого трудодня: «Это и деньги и не деньги, продукты и не продукты, тем и другим станут лишь к концу года, а сейчас ты ни в какой лавке не купишь ни иглы, ни катушки ниток, ни пачки папирос, потому что ни в какой кассе не примут твоих трудодней. Они записаны в твою книжку, а что означают — и аллах не скажет, не то что председатель, или бригадир, или бухгалтер».

С грустной нежностью изобразил автор, как уходили Петка и Сар, ославленные, с поля, шли по дальней заброшенной дороге домой. «Шли молча — она большая, тяжелая, а он шупленький, в черной выгоревшей фетровой шляпе, в латаной сатиновой рубашке, подпоясанной крученым шпагатом, в непомерно больших, просторных штанах». Он укрял ее: «Зачем ты это сделала, ы?.. Мы же никогда ничье чужое не трогали, ни соседское, ни колхозное. Или подложили, ы?» Он знал, что это не так, а хотел помочь ей оправдаться.

Она призналась: сама насобираала колоски «у Фролика». Шли, молчали. И вдруг родилась согласная мысль: уехать в город.

«— В конце концов, могу плотничать! — объявил Петка.

— Вот и хорошо! — обрадовалась Сар. — А я постираю... Надо — так и сошью или перелицую. Мастерские за такую нестоящую работу не берутся, а я возьмусь. Не все же ходят в новом, хоть и в городе, — правда же? Уборщицей смогу... Да за два-три часа я тебе весь исполком вымою! Вот увидишь: все три этажа! И обком прихватчу!»

Так уходили из колхоза в город — на зарплату.

Нет, не на зарплату вернулся из армии сын славного коммуниста Хатита Устокова, новый бригадир Мос. Недаром же первая его затея — выдать в разгар «пшеничного дня», то есть уборки, каждому колхознику по полкило пшеницы на трудовень. Не верит Мос, что его аул — бандитский. Не хотят с этим согласиться и его товарищи — Федор Грибцов, Тох, старики Саферби, Титу-пастух, печник Конобеев, Юра Бешуков, унароковский дед, Майданка, Дана, «кулачка» Разиев и многие другие — вся без малого улица во всю ее длину.

Если и нужна кому-то молва о бандитском ауле, так это, верно, семье Шалаховых. Когда-то старый Ибрагим Шалахов вышел в степь и посадил гектар кукурузы. От этого гектара и имя получил: одногектарник. (Саферби, тот не один, а два гектара посадил в тот же год, да не внесли его в список одногектарников, потому что сын Макар у немцев побывал целых тридцать пять дней.) В тот год и появилась в доме Шалаховых на стене в «собэ», в особой комнате, куда не каждому вход доступен, под стеклом бумага с высокими словами: «Благодарю вас, Ибрагим Хапатитович...»

Дед Шалаховых в Мекку ходил, привез от туда чалму, кофейник, зубочистку, но не было дорожки в доме Шалаховых этой бумаги под стеклом. Вот и стали Шалаховы первыми людьми, а Хатажук — бессменным председателем. Дом строят — кирпич из Усть-Лабинской, шифер — из Новороссийска. Хатажук «государску служит». «Главное — «государску»... все зубы целые, а на этом одном слове шепелявит». На все готов бессменный председатель: при сдаче поставок, чтобы на элеваторе не было задержки, чтобы первым отрапортовать, подкупает он станичных элеваторщиков. И семенное зерно из амбара может вывезти на поставку. А если осталось необранное поле, сжечь его как солому.

Так понемногу — от мечты Майданки у телефона, от бумаги под стеклом в доме старого Ибрагима-одногектарника — расширяется вопрос об адыгстве, о человечности.

«Она вроде бы и так, эта наша Адыгья... Не на всех даже картах значится... Ерунда вроде бы. Но когда это твоя родина, то милее всяких царств, всяких Америк...»

И в другом месте:

«Вот она, его родина, от этой реки и дальше. Да не так уж далеко: не много у нее земель и совсем мало лесов, а горы, которыми она когда-то защищалась и не защитилась, где-то там, за горизонтом, видны только осенью, когда их верхушки припорошатся снегом, а степной воздух очистится от летней пыли... И это его родина: «Чаба, горлышко мое!»

Где же «адыгство» и где «неадыгство»? Кажется, ясно: ответ получен. Но нет — глаза писателя видят дальше, и его адыгство — та настоящая человечность, границы которой шире даже его родины. За границами этого адыгства — все злое, насильственное, антинародное.

Выслушав председательского сынка Эдика, который для своей любовницы вывозит в станицу бестарку зерна, и его дядю плута Касполета, который продает станционной буфетчице Марусе уже целый грузовик колхозной пшеницы, автор восклицает по поводу их «благородных» сентенций об адыгстве: «Господи, и тут говорят про «настоящее адыгство»! Если взять шнур из хорошей резины, то можно его растянуть бог знает насколько. Так же растягивается и понятие «настоящего адыгства», нету тут одной определенной меры, а у каждого она своя...»

Своя она у честного бригадира Моса. В споре с Фроликовым, который забыл совесть ради рекордов и славы, Мос говорит гневные слова: «Баба вы, болтливая баба, Фролик! Я среди русских прожил всю свою взрослую жизнь — и, нет, не похожи вы на русского! И на адыга не похожи! Это я вам точно говорю. Вы из особой нации...»

И на другой странице романа Федор Грибцов в тяжелую минуту, спасая для народа Моса, беря на себя его мнимую вину, снова стирает границы старого, исторически отжившего понимания «адыгства» и «неадыгства» и восстанавливает человечность в наших ленинских интернациональных границах: «Его родители прошли тогда (в голодном двадцать первом году.— Н. А.) чуть ли не семьсот верст, из поволжской деревни до Кубани, и везде, во всех станциях, кулацкие обозленные рты бросали им одно и то же:— С богом, с богом... Дальше идите, дальше!..» «С богом... Хатит Устоков именем советской власти выделил им земли, нарезал участки, а Грибцовым отдал половину своего двора...»

Трудную правду рассказывает о кубанской, закубанской земле Аскер Евтых, но какая же она, эта правда, светлая, чистая, какую веру в наше дело внушает читателю!

Еще по навету злого клеветника Нашхо угоняли из аула Федора Грибцова, еще мог-

ли зариться на его двор и хату всевластные Шалаховы, еще не услышала ночью по председательскому телефону Майданка ту новость, что возвестила начало новой, лучшей поры. Но вот унароковский дед, прихватив запряженную бестарку, едет в лес, в казенный лес, и уговаривает стражника не мешать ему — и рубит хворост без наряда. Бандитский аул? Черта с два — бандитский!

«— Созови мне стариков... С топорами... Да чтобы топоры были не тупые, и старики позубастее...»

— А на что они тебе, такие молодцы?

— Федькин двор огораживать».

Так кончается роман Аскера Евтыха — огораживают высокой и длинной оградой покинутый двор Федора Грибцова. Временно покинутый!

«Высоко и длинно протянулась грибцовская ограда, начавшись сразу после унароковской, даже не после, а влетаясь в нее, и уже нигде нет разрыва, сразу же начинается устоковская ограда, дальше — тоховская, дальше — мешлоковская, дальше — старого Титу, — и так до самого Анчока, нигде нет разрыва, а все одной сплошной стеной, вся улица, во всю ее длину...»

**Николай АТАРОВ.**



## СЕСТРА ЧЕХОВА

**Хозяйка чеховского дома. Воспоминания. Письма. Издательство «Крым». 1965. 168 стр.**

Делать подобные сборники хлопотно. Издательства принимают их неохотно — считается, что они не находят сбыта. А на самом деле они никогда не лежат на полках, потому что сейчас, как никогда, велик интерес к мемуарам, публикациям писем, ко всякого рода документальным изданиям, которые заведомо далеки от вымысла, от «беллетристики». И сразу становится ясно, что и тираж недостаточен, и тонковата книжка, можно было бы щедрее дать материал...

Сборник «Хозяйка чеховского дома», посвященный Марии Павловне Чеховой, составлен и подготовлен к печати многолетним сотрудником ялтинского Дома-музея А. П. Чехова, другом и помощником Марии

Павловны — Сергеем Георгиевичем Брагиным, которому надо отдать должное — на его плечи легла большая работа по организации сборника.

Музейные работники, как правило, замечательные энтузиасты. Этот энтузиазм иногда толкает их на преувеличения. Сколько было всяких насмешек над «музейными старичками», сколько пародий написано на музейные издания. Но вот в данном случае все совсем не так. Любовь к музею, любовь ко всему, что связано с именем Чехова (а имя его сестры прочно срослось с ялтинским Домом-музеем), не вывели С. Брагина за пределы общеннтересного, не заставили утонуть в мелочах.

Сестра великого писателя, человек волевой и энергичный, оставила заметный след в нашей культуре. Читая письма Чехова — в частности, обращенные и к ней, — мы, быть может, не всегда помним, что именно ее стараниями обширнейшее эпистолярное наследие Чехова было собрано и стало достоянием читателей. После смерти брата, около которого она выросла, с помощью которого получила образование и который был ей ближайшим другом и непререкаемым авторитетом, Мария Павловна прожила еще пятьдесят три года. Полвека, отданных памяти Чехова! Сначала издание знаменитого шеститомника писем, потом организация образцового Дома-музея в Ялте; бесконечная переписка, консультации, выступления — помощь всем, кто занимался изучением Чехова...

Марию Павловну любили друзья Чехова, а ее друзья становились чеховскими друзьями. Подругой Марии Павловны вошла в жизнь Чехова прелестная Лика Мизинова. Подругой Марии Павловны была и та, что стала женой Чехова — Ольга Леонардовна Книппер. Марию Павловну уважали и ценили — не только как сестру Чехова, но и как способную художницу, обаятельную собеседницу, сердечного человека — Левитан, Куприн, Бунин, Станиславский...

К сожалению, в рецензируемом сборнике нет воспоминаний о Марии Павловне тех, кто хорошо знал ее при жизни Чехова. Пожалуй, таких воспоминаний и не существует. Об отношениях брата и сестры мы узнаем лишь со слов самой Марии Павловны, а мемуаристы «вспоминают ее воспоминания» — то есть то, что она им рассказывала. Это естественно. Особенно хорошо записала воспоминания М. П. Чеховой Маргарита Алигер. Ей удалось передать собственную интонацию этой старой женщины, которая всю жизнь несла в себе свою молодость. Все мемуаристы (среди них К. Паустовский, С. Маршак, И. Козловский, Д. Журавлев и другие) говорят, что, общаясь с Марией Павловной, они ясно ощущали в ней частицу чеховского таланта, юмора, наблюдательности, «нечто истинно чеховское». М. Алигер и еще В. Виленкину удалось не только назвать это ощущение, но и воплотить его в живо переданной речи сестры Чехова.

Не всегда с мемуаристами можно согласиться. Грустно читать, например, в воспоминаниях Алигер, что Мария Павловна

считала Бунина скучным: известно, что в то время, о котором идет речь, Бунин сидел без копейки. Странно, что С. М. Чехов (племянник писателя и большой знаток истории всей семьи) пишет, будто Мария Павловна «кончала курс в Филаретовской гимназии», когда на самом деле (и это сказано в предисловии С. Брагина) она училась в Филаретовском епархиальном училище, а Филаретовской гимназии вообще не существовало. Впрочем, это мелочи.

Интересен раздел писем. Из обширнейшей переписки М. П. Чеховой (она теперь хранится в Библиотеке имени Ленина и других архивах) выбраны и прокомментированы А. Бабореко сорок четыре письма (жаль, что так мало!).

Трудно перечислить все интересные вопросы, затронутые в письмах. Иногда это какая-то фраза, дающая толчок работе многих исследователей. Например, готовя письма Чехова к печати, Мария Павловна пишет одному из редакторов издаваемого ею шеститомника В. Каллашу: «Пришлось много выбросить коротеньких писем». Том получался слишком велик. Хотя большая часть побывавших в руках Марии Павловны писем Чехова так или иначе отразилась в ее архиве, все-таки такое замечание очень важно для исследователей. Оно подчеркивает необходимость поисков новых писем Чехова. Издавая вскоре после смерти Чехова его письма, Мария Павловна столкнулась с понятной трудностью. В письмах затрагивались личности, встречались нелестные отзывы о знакомых. Один из участников «Книгоиздательства писателей в Москве» В. Вересаев написал Марии Павловне: «...Допустимо ли опубликование подобных отзывов о живых людях? Общественная, литературная деятельность каждого может подвергаться самой резкой критике, но личность живого человека, мне кажется, должна быть безусловно ограждена от публичного поношения. Не жестоко ли публиковать о Сумбатове, что он «задирает свой кавказский нос», о Сергеевке, что он — легкомысленный и нудный хохол, что берет авансы без отдачи?»

Письмо Вересаева возмутило Марию Павловну, и она переслала его другому редактору — В. Каллашу: «Прилагаю письмо многого г. Смидовича, он мне очень напоминает доктора Львова из пьесы «Иванов»! Очень грустно, что он читает первую корректуру».



В. Каллаш горячо принял сторону Марии Павловны и негодовал на Вересаева, объясняя его точку зрения «мелким самолюбием»: «...Сумбатов может писать и, благодаря связям, ставить плохие пьесы, но Чехов не может высказывать открыто свое к ним отрицательное отношение. Сергеенки могут цинично мошенничать в литературе, но Чехов не имеет права назвать их «нудными». Послушаться их, очистить переписку от всего специфически чеховского, применительно к их заезженным шаблонам и скрытым вожделениям — они, конечно, обрадуются. Ведь всю свою жизнь А. П. томился от нравственной тупости, и после смерти не могут дать ему покоя».

Комментатор пишет: «Редакторская работа Вересаева вызывала большое недовольство также Горького и Бунина узостью его взглядов». Нет ссылок, нет также и своей точки зрения. Правда, иметь свою точку зрения здесь не так-то просто. Быть может, и в самом деле у Вересаева оказалась здесь известная узость взгляда, но зато бесспорно, что он проявляет деликатность, уважение к человеческой личности — качества, глубоко присущие Чехову. Думается, что в каждом отдельном случае купюры — дело редакторского такта и чутья. И, не вдаваясь более в принципиальную сторону вопроса, хочется сделать комментатору такой упрек. Ведь из его комментария следует, будто Вересаев был главным виновником того, что много лет читатели знакомились с сокращенным текстом чеховских писем («Письма Чехова в 6-томном издании 1912—1916 годов напечатаны с сокращениями и изменениями в тексте, каких потребовал от М. П. Чеховой Вересаев», — читаем на странице 157). А дело обстоит совсем не так. Именно Мария Павловна сделала в письмах Чехова бесчисленное количество купюр. Чаще всего они были связаны с ее желанием идилично представить семейные отношения Чеховых. Все, что этому противоречило, вычеркивалось. К сожалению, вычеркивалось буквально. Автографы Чехова безжалостно портились — это Мария Павловна цветным карандашом, а то и чернилами или тушью замазывала целые строки, которые иногда носили куда более невинный характер, чем высказывания о Сумбатове и Сергеенко... В двадцатитомном издании сочинений и писем Чехова (Гослитиздат, 1944—1951) многие из этих купюр восстановлены, но сделаны другие купюры

(без участия Марии Павловны), целью которых была не охрана личного достоинства отдельных людей — родственников или знакомых писателя, а приглаживание взглядов самого писателя. Задача академического издания Чехова, которое сейчас готовится Институтом мировой литературы имени Горького, — дать полного Чехова, без всяких купюр, прочитать, в частности, то, что зачеркивалось (тут потребуется и помощь криминалистов).

Последний раздел книги составляет переписка М. П. Чеховой с О. Л. Книппер (комментарии Е. Коншиной). И здесь приходится посетовать на излишнюю скупость отбора: всего двадцать писем, а их сотни! Пережив пылкую молодую влюбленность друг в друга, пережив взаимную ревность и недоразумения, эти женщины трогательно дружили и переписывались до самой смерти. Конечно, следовало дать их переписку более широко, особенно в ее ранней части — когда был жив Антон Павлович.

Кстати, даже эти двадцать писем напечатаны с сокращениями. Иногда сокращения вызваны экономией места и сделаны за счет малоинтересного текста. Против этого, кажется, трудно возразить, но вместе с тем при виде традиционных трех точек невольно испытываешь раздражение: что-то ведь здесь скрыто... Притом эти три точки без скобок могут означать и авторское отточие. В общем, ни один исследователь не может полностью доверять такой публикации и должен обращаться к архивному первоисточнику. Обратились и мы: пришлось убедиться, что издательство пошло именно на те купюры, против которых только что предостерегало читателя устами Каллаша, ссылаясь на авторитет Горького и Бунина. Издательство сочло возможным буквально врываться в текст, обрывать Марию Павловну на полуслове, даже не отмечая свой обрыв никакими отточиями. Вот пример. Только что повенчавшейся с Чеховым Ольге Леонардовне Мария Павловна пишет: «И вдруг ты будешь Наташей из «Трех сестер»! Я тебя тогда задушю собственноручно. Прокусывать горло я тебе не стану, а просто задушю». В этом месте сделана купюра. А дальше идет: «О том, как я тебя люблю и что уже успела к тебе за два года привязаться, ты знаешь». Насколько же полнее, темпераментнее, ярче звучит эта фраза, если прочесть ту, что стояла перед ней!

В следующем письме читаем: «По правде сказать, я очень удивляюсь геройству матери, что она так легко примирилась с женьтибьей своего любимчика...» А в автографе дальше написано: «который все время только и толковал о том, что никогда не женится и вдруг сразу огорошил — женился, да еще на актрисе». Интонация письма нарушена, впечатление искажено, научная ценность публикации снижена, а главное — во имя чего?

Еще о комментариях. Делали их люди знающие, опытные, поэтому мы вправе ожидать разъяснения темных мест и ответственных формулировок. Но наши ожидания не всегда оправдываются. Игнорируя примеры мелких неточностей, которые, к сожалению, почти неизбежны в такой работе, остановлюсь на одном случае. Сообщая М. П. Чеховой о смертельной болезни А. С. Суворина, М. Г. Савина вспоминает, «как он любил Чехова и как отстаивал его». Комментарий счел нужным пояснить это место (хотя менее понятные места подчас оставлены без внимания): «Мнение Савиной об отношении Суворина к Чехову весьма субъективно и противоречит высказываниям на этот счет самого Антона Павловича. Чехов писал брату Михаилу Павловичу 22 февраля 1901 года: «Новое время» в настоящее время пользуется очень дурной репутацией, работают там исключительно сытые и довольные люди... Суворин лжив, ужасно лжив, особенно в так называемые

откровенные минуты, т. е. он говорит искренно, быть может, но нельзя поручиться, что через полчаса он не поступит как раз наоборот». О чем же пишет Чехов? О том, что его отношение к Суворину изменилось. Так оно и было. Под конец жизни Чехов порвал с Сувориным, но отнюдь не потому, что разуверился в любви Суворина. И как раз это письмо и было написано в связи с тем, что Суворин жаловался М. П. Чехову на охлаждение Антона Павловича, плакался, так сказать. И лжив был Суворин не в любви к Чехову. Дома и в «Дневнике» он был одним, а «через полчаса», в газете, — другим. Зачем же Суворина — черную фигуру в истории русской общественной жизни — лишать, пожалуй, единственной светлой черты — его любви к Чехову? Кстати, эта любовь (отнюдь не субъективно мнение Савиной) засвидетельствована многими мемуаристами и не оспаривалась ни одним из писавших на эту тему критиков — от Д. Мережковского до В. Еромилова.

Упомянутые недостатки книги есть недостатки, и было бы неискренним говорить, что они не снижают ценности издания. Однако, несмотря на это, издание производит хорошее впечатление. Чем больше будет издаваться сборников мемуаров, писем, документов, тем шире и полнее будет история нашей культуры.

Н. РОСКИНА.

★

## НОВОЕ ИЗ АРХИВОВ СОВЕТСКИХ ПИСАТЕЛЕЙ

Литературное наследие. Том 74. Из творческого наследия советских писателей. «Наука». М. 1965. 742 стр.

М. Горький, А. Луначарский, В. Вересаев, Д. Фурманов, А. Толстой, А. Фадеев, Э. Багрицкий, И. Бабель, Артем Веселый, И. Ильф, Евгений Петров, А. Грин, В. Луговской — вот имена деятелей советской культуры, представленных в новом томе «Литературного наследия» (редакторы — В. И. Борщук, Л. И. Тимофеев, Н. А. Трифонов). Здесь публикуются не изданные прежде статьи, рассказы, записные книжки, нутевые дневники, рисунки, письма, черновые редакции — целое достояние для литературоведов-исследователей, историков советской литературы.

Естественно, что для исследователя твор-

чества того или иного художника важны и интересны и варианты произведений, сохраняющие следы исканий и раздумий автора, и его записные книжки, и черновики, и рабочие планы, но вполне законченные и по тем или иным причинам не опубликованные в свое время произведения известного писателя могут вызвать интерес и у более широкого круга читателей.

Публикация статей А. Луначарского, подготовленная Н. Трифоновым, одна из самых интересных в томе: это «Тезисы о политике РКП в области литературы», статья «На фронте искусства», предисловие к сборнику стихов С. Городецкого, статья

«О социалистическом реализме». За последние годы дело изучения литературно-критического наследия нашего первого наркома просвещения, видного марксистского эстетика и критика, драматурга шагнуло далеко вперед. И, однако, еще многие статьи Луначарского лежат в архивах, затеряны на страницах газет, забытых ныне журналов. Между тем без них зачастую бывает невозможно понять многие события идеологической и литературной жизни двадцатых годов.

«Тезисы о политике РКП в области литературы» показывают, какое активное и непосредственное участие принимал А. Луначарский в подготовке исторической резолюции ЦК партии от 18 июня 1925 года. В этих тезисах Луначарский ставит и решает важнейшие проблемы литературной жизни страны: он говорит о принципах строительства новой культуры, об отношении к пролетарским писателям, к так называемым «сменовеховцам» и «попутчикам» — А. Белому, Замятину, А. Толстому, Пильняку, Леонову, Сейфуллиной; футуристам, левовцам.

В своих рассуждениях о политике партии в литературе Луначарский исходит из ленинского взгляда на преемственность культуры. Опираясь на Ленина, он предостерегает от «проявления коммунистического и рабочего чванства под предлогом обострения классово-борьбы с буржуазной идеологией». Главной целью литературы и после победы революции остается «острое наблюдение общественной действительности».

Луначарский критикует Воронского за его отношение к А. Белому, Замятину, А. Толстому, серапионовцам, в которых тот видел «главный хребет» нашей послереволюционной литературы. Одновременно он предостерегает и против другой крайности: «...Я никак не могу согласиться на оценку писателей-сменовеховцев как главного элемента нашей литературы. Но, с другой стороны, нападение на этих людей как на крупного классового врага, как на опасных распространителей буржуазной заразы и т. д., призыв к тому, чтобы ограничить их писательские права, подвергнуть их более суровой цензуре, не оказывать им никакой государственной поддержки и т. д. (а все это прозрачно сквозило в положениях напостовцев), также не встречает никакого моего сочувствия».

«Нам нужна,— пишет далее Луначар-

ский,— широкая, цветущая и многообразная литература. Конечно, цензура не должна пропускать явной контрреволюции. Но за вычетом этого все талантливое должно находить возможно более свободный доступ на книжный рынок. Только при наличии такой широкой литературы мы будем иметь перед собой настоящий рупор, в который будут говорить все слои и группы нашей огромной страны, только тогда мы будем иметь достаточный материал и в субъективных высказываниях этих писателей как представителей этих групп, и в объективных наблюдениях над нашей действительностью, взятых с различных точек зрения. Ниже я специально говорю о цензуре и критике, и тогда делается ясным, при каких условиях считаю я такую свободу развития литературы полезной». (К сожалению, эта фраза повисает в воздухе, так как весь раздел о цензуре — шестой по нумерации автора — в данной публикации сокращен, и это не только нигде не оговорено, но вопреки всем правилам научной публикации следующий — седьмой — раздел произвольно перенумерован в шестой.)

Критике Луначарский отводит серьезную и значительную роль и считает, что «необходимая нам относительная свобода литературы будет безвредной или даже чрезвычайно полезной, если мы сможем организовать влиятельную марксистскую критику», которая будет помогать разбираться и в «силах пролетарской идеологии и влиянии мещанского быта».

Такой критикой и была критика А. Луначарского. Статьи «На фронте искусства» (1926) и предисловие к сборнику стихов Сергея Городецкого (1929) содержат талантливые наблюдения над столь разными по своим литературным особенностям произведениями, как «Цемент» Ф. Gladкова, «Дума про Опанаса» Э. Багрицкого, стихотворения В. Маяковского, поэма В. Казина, стихи Н. Тихонова, Б. Пастернака, рассказ А. Толстого, повесть С. Клычкова «Чертунинский балакирь», пьеса М. Булгакова «Дни Турбиных». Все они находят в Луначарском доброжелательного и трезвого критика, серьезно анализирующего явления литературной современности.

Раздумывая над судьбами послереволюционного искусства и литературы, Луначарский много сил положил на разработку вопроса о творческом методе советской литературы. Публикуемая статья «О социали-

стическом реализме» (1933), предназначенная согласно пометке на ее машинописи для немецкого издания «Литературной газеты», точно формулирует его представление о сути этого метода.

Опубликованные «Литературным наследством» статьи Луначарского вводят нас в круг жизненно важных проблем литературной жизни двадцатых — тридцатых годов, помогают острее воспринять наследие таких деятелей нашей литературы, как, например, И. Бабель.

С интересом приступаешь в томе к чтению публикации, посвященной Бабелю, писателю еще недостаточно полно нам известному (публикация А. Пирожковой, статья И. Смирин). Во вступительной статье И. Смирин пишет, что даже «в наиболее полные сборники произведений Бабеля вошло далеко не все, что было им написано... Некоторые материалы остались неопубликованными, и многое до сих пор еще не найдено».

К сожалению, организаторы издания познакомили нас только с одним из ранних произведений писателя дооктябрьского периода его творчества, не представляющим, по словам самого Смирин, «большой и самостоятельной художественной ценности».

Отрывок из воспоминаний автора о своем детстве не утоляет желания читателя больше узнать о главных произведениях Бабеля — прежде всего о «Конармии». А такая возможность у публикаторов была. У вдовы писателя А. Пирожковой хранится дневник Бабеля, который он вел во время своей службы в Первой конной армии. В нем, по словам Смирин, можно найти «множество имен, фактов, красок, деталей, которые впоследствии — художественно преображенные — войдут в «Конармию». В своей вступительной статье Смирин, опираясь на текст дневника, доказывает, что в «Конармии» автор стремился не столько к тому, чтобы передать свое мироощущение, как думали иные критики, сколько к тому, чтобы показать, как бойцы Первой конной, «эти герои и «барахольщики», подвижники и головорезы, осуществляют великую историческую миссию — освобождение человечества, несут в своих обгаренных кровью руках высшую правду». Дневник И. Бабеля до сих пор не напечатан, и, хотя Смирин в своей статье обильно его цитирует, мы предпочли бы прочесть его самостоятельно. Опубликованные планы и наброски к «Конармии» были бы,

вероятно, во много раз интереснее, если бы параллельно с ними были опубликованы и тексты дневника.

Публикация из литературного наследия Е. Петрова (предисловие В. Роговина, публикация В. Катаевой (Петровой) и Роговина) дает более значительный материал, чем публикация о Бабеле.

Неоконченный роман «Путешествие в страну коммунизма» написан в жанре, несколько неожиданным для известного сатирика. Это, по определению автора, «публицистический роман», роман — социальная утопия. Е. Петров начал писать свою книгу в 1939 году. Работу над нею прервала война. Но, раздумывая над судьбой этого замысла, приходится признать, что, даже если бы автор вернулся с войны живым, роман все равно вряд ли был бы им дописан. Война и события послевоенной жизни показали иллюзорность, приближенность, облегченность некоторых представлений конца тридцатых годов, разделявшихся и писателем. Пути истории оказались сложнее, чем виделись издали, и ныне — из 1966 года — следить за сюжетом фантастического романа Е. Петрова и любопытно и поучительно.

Действие романа происходит в будущем — 1963 году. В СССР только что «заключилась пятилетка комфорта и началась пятилетка роскоши», главным трудовым стимулом общества является артистичность: «Труд стал искусством, а с искусства не спрашивают, чем оно вызвано». Побеждены все смертельные болезни, любимое занятие людей коммунистического общества — путешествия, которые они совершают во время своих двух полуторамесячных отпусков в году. Тщетно ищет герой романа хотя бы одного несчастного человека, но все-таки находит его — им оказывается незадачливый автор провалившейся пьесы.

Судя по двум сохранившимся и опубликованным планам романа (один план намечал конкретности и подробности общественного и политического устройства ССКР — Союза Советских Коммунистических Республик, другой рисовал сюжетное движение произведения), автора особенно волновали проблемы непосредственного жизнеустройства людей коммунистического общества, их нравы, мораль, быт, занимало, как они будут есть, чему, как и где учиться, как строить семьи и работать.

Автор не был увлечен обычными для фантастического жанра догадками о техниче-

ском прогрессе будущего, и в этом заключается одна из интересных особенностей замысла романа. «Силу и значение технического коммунизма» Петров видит не в том, чтобы до бесконечности увеличивать число изобретений, а в том, чтобы сделать их «доступными всем людям».

Самыми главными в своей работе Петров считал главы о психологии людей коммунистического общества. Основой основ для гармонического развития людей, по Петрову, будет «полная, ничем не ограниченная свобода индивидуальности»: «В коммунистическом обществе исчезли классы и осталась надстройка — все интеллигенты». В нем не будет ни убийств, ни автомобильных катастроф. Правда, мечта о межпланетных полетах останется неосуществленной, но ведь «в этой стране — техника уже не главное... Люди обожают философские разговоры, они любят отвлеченно мыслить».

Мечтать и воображать вместе с Е. Петровым все подробности коммунистического будущего нам интересно и сейчас. Но в чем-то существенном роман этот ныне кажется наивным. Принадлежа целиком своему времени, он представляет собой заслуживающий внимания документ общественного сознания. Путь нашего народа к коммунизму здесь безоблачен и ясен. Ни надвигающейся войны писатель не увидел, ни трудностей, связанных с явлениями культа личности, не заметил. Можно ли упрекать автора за то, что в наш бурный век он не предвидел реального переворота исторических событий? Нет, мы не хотим сделать ему такой упрек. Однако можно сожалеть, что, мечтая о будущем, писатель не столько вглядывался в окружающую жизнь и ее тенденции зорким взглядом художника, сколько стремился увидеть в ней то, что ему хотелось, о чем мечталось.

Текстологические разыскания, которыми так обилён том, казалось бы, представляют собой область чистой филологии, доступной лишь «посвященным». Однако в истории литературы за спорами о разных редакциях и вариантах часто стоят сложные историко-общественные проблемы, решать которые приходится уже не с помощью филологических тонкостей. Именно так обстоит дело с двумя редакциями романа «Молодая гвардия» А. Фадеева первая была напечатана в 1945 году, вторая — в 1951 году. Спор о том, какую редакцию романа считать художественно более убедительной, продолжается до сих пор.

Публикация черновики некоторых глав романа (приготовлена В. Боборыкиным), где завязываются важнейшие идейные и сюжетные узлы произведения, свидетельствует о том, что первоначальный замысел Фадеева правдиво показать панику и неразбериху поры отступления и противопоставить им усилия краснодонских комсомольцев был еще более определенным, чем даже в первой редакции романа. В публикации В. Боборыкина мы находим также новые штрихи для характеристики замысла, связанного с людьми старшего поколения, такими, как Валько.

Публикация из творческого наследия А. С. Грина называется «Из неизданного и забытого» (статья Вл. Россельса, публикация и послесловие Н. Грин) и состоит из печатавшегося прежде, правда в несколько иной редакции, рассказа «Маятник души» и черновых набросков из романа «Недотрога». Вл. Россельс сетует на то, что, хотя книги Грина выходят каждый год, состав их стереотипен и читатель по существу мало знаком с его наследием, среди которого еще много несобранного и незаслуженно забытого.

Рассказ «Маятник души» в какой-то степени связан с любопытной страницей творческой биографии А. С. Грина — развенчанном эсеровском движении, участником которого он был в 1908—1913 годах. Известно, что в 1908 году вышел сборник рассказов Грина, в котором эсеровщина, талантливо показанная изнутри, так же талантливо развенчана. Бессмысленность доктрины террора, жестокость и позерство руководителей движения (см. рассказ «Маленький заговор»), «сутолока, грязь борьбы», честолобие и жажда ярких впечатлений, стремление найти утеху самолюбно, характерные для социал-революционеров, мастерски раскрыты в рассказах сборника «Шапка-невидимка».

Репьев, герой «Маятника души», как и герои «эсеровских» рассказов Грина, из той «категории современников, которым эта действительность топтала мозг и давила душу». Как и они, Репьев также больше всего любит себя на фоне исторической перспективы. Но он не выдерживает испытания созерцать будни исторических событий. Видеть, «у кого на сапоге дырка, кто пьет валериановые капли и кто где достает масло», Репьеву невыносимо, и он кончает

жизнь самоубийством. А ведь он упивался «страницами истории, полных сказочно величавых дел, слов, поступков, людей — гремящих и страшных; картин трагических и волнений отдельных жизней, напоминающих цветные огни». «Маятник души» заставляет отчасти понять, что и для самого Грина, мечтающего о «цветных огнях», они невозможны, когда на улице «идет дождь. дворники метут улицы... и ноги от ходьбы устают совершенно так же, как уставали они при Цезаре или Марате». И писатель, мечтающий о «сказочно величавых делах, словах, поступках, людях», уплывает в свою страну, «омываемую вечным океаном, освещенную полуденным солнцем», где на сапогах нет дырок, люди не пьют валериановых капель, не заботятся о том, где достать масло. Там важны лишь «главные элементы реальной вселенной: солнце, юг, океан». Так определяет основные черты страны Грина А. Платонов в своей небольшой рецензии, написанной в 1938 году на выход гриновского однотомника.

Страна Грина существует, и спорить с этим, как это делает Вл. Россельс в своей статье, было бы несправедливо. Не нужно, стремясь что-то защитить, пытаться доказывать, что этого нет. Гораздо важнее правильно понять писателя, и это будет ему лучшей защитой.

Для Платонова конкретность, обыденность окружающей нас жизни, «сила дрожжащих, нуждающихся, не абсолютно прекрасных человеческих сердец» кажется не менее высокой, чем «высшая, страстная, поэтическая сила» людей особого, лучшего качества, почти не присущая прочим людям, но которой отличаются многие герои Грина. А. Платонов считает, что для создания Ассоль, героини «Алых парусов», живущей, скажем, в Моршанске, а не в деревне Каперне, одетой «покрывалами воздушного золота», художнику пришлось бы потратить «в несколько раз более поэтической энергии, чем ее потратил Грин».

Вл. Россельс воспринял эти слова как упрек в том, будто Грину было легко работать, и в качестве опровержения печатает в томе черновые наброски одной из глав романа «Недотрога», доказывающие, как напряженно работал над своими произведениями писатель. Но ведь Платонов пишет совсем о другом. Ему представлялось трудным не только найти счастье, но и с найденным счастьем жить дальше, не растратив и

не растеряв его. Поэтому там, где для Грина самое трудное оставалось позади — алые паруса увозили Ассоль, — для Платонова все только еще начиналось.

Значительна собственно документальная часть тома — дневники, письма и записные книжки. Это тот непосредственно фактический материал, который свидетельствует, какими путями идет отбор художником материала, на чем он останавливает свое внимание. Однако способы ведения этих записных книжек у разных писателей разные. Вересаев вел беллетризованные записи, которые представляют собой если не законченные художественные наброски, то во всяком случае ясно для читателя оформленные мысли. Материал этот, который, по мнению автора предисловия и публикации Ю. Бабушкина, представляет собой заготовки к так и не осуществленному произведению о революции 1905 года, вызывает серьезный интерес как непосредственное историческое свидетельство одного из очевидцев русской революции.

Записные книжки А. Н. Толстого (предисловие и публикация Ю. Крестинского и Л. Толстой, примечания Ю. Крестинского и П. Якира) во многом представляют собой рабочие заготовки к произведениям: подслушанные выражения, увиденные сценки, наброски глав, эпизодов. Но во всем этом материале, казалось бы, лишенном отпечатка личного, видна такая неуемная жадность собирателя его, что к этим книжкам эпиграфом могла бы стоять такая запись в одной из книжек: «Полнота жизни как цель, как ощущение и необходимость воспитывать в себе презрение к смерти и щедрость в трате жизни».

Американский дневник И. Ильфа можно считать ключом, который отлично расшифровывает всю фактическую основу «Одноэтажной Америки» (публикация А. Ильф).

Однако среди документальной части тома наибольший интерес вызывает публикация рисунков и писем Э. Багрицкого.

Мы знаем немало поэтов и писателей, которые оставили нам в наследство свои рисунки и картины: Пушкин, Шевченко, Маяковский, Короленко и другие. Публикация, сделанная совместными усилиями В. Азарова и Н. Эфрос по материалам М. Голосовкер, скончавшейся прежде, чем она успела довести до конца начатую работу, по праву вводит в этот ряд и Эдуарда Багрицкого. Рисунки поэта, выполненные зачастую на

отдельных листках, обложках книг, папиросных коробках, бланках редакций, дружеские пародии и автошаржи, иллюстрации к собственным произведениям, политические карикатуры, изображения так любимых Багрицким зверей и птиц, героев произведений, исторических лиц, зарисовки с натуры неожиданно открывают перед нами целый мир, увиденный зорким художником. Голосовкер выявила и систематизировала четыреста рисунков поэта. Собираясь готовить к изданию альбом-книгу графики Багрицкого, она справедливо писала:

«Это такое скромное по внешнему виду наследие поэта при углубленном анализе вскрывает не только большой яркий и чрезвычайно своеобразный графический талант Багрицкого, но дает возможность своеобразными путями проникнуть в творческую поэтическую лабораторию поэта. Линии и краски не только расширяют слово поэта, но они часто заполняют периоды творческих исканий, подсказывают пути, по которым шли творческие его раздумья».

Скромное эпистолярное наследие Э. Багрицкого (публикация Е. Динерштейна) невелико по объему: всего тридцать писем, но они по-человечески приближают к нам поэта.

Как и его рисунки, как и его стихи, письма Багрицкого убеждают: мир полон для него красивых птиц и рыб, хороших людей, книг, наконец тайн и раздумий.

Письма Багрицкого, при всей их сдержанности, свидетельствуют, что в близких ему людях он видит свою опору, которая помогает ему шагнуть в «распахнутую дверь в добротный запах дома», в дымок младенческого сна от «огня олонечкой звезды». Письма этого «бунтаря» и романтика полны уважением к «повседневной жизни», к ее заботам, ее простым людям. Сама по себе

повседневность не страшна поэту. Страшно, когда она становится «поручкой в неподвижности бытия» и мешает услышать воинственного петуха, орущего «в дни восстаний и сражений».

Неизвестная пьеса Д. Фурманова «За коммунизм» (статья П. Куприяновского, публикация А. Антоненковой), цикл стихотворений в прозе «Золотой чекан» Артема Веселого (предисловие и публикация З. Веселой и В. Муравьева), публицистический очерк «Ее день» Бабеля, как и сообщение Л. Кувановой «Фурманов и Бабель», — все это пополняет том интересными для читателей сведениями и фактами.

Обширно представлена в томе «Горьковиана»: это творческая история пьесы Горького «Фальшивая монета» (предисловие Б. Бялика), анализ работы над нею автора (статья и публикация В. Нечаевой), ранние редакции некоторых глав «Жизни Клима Самгина» (предисловие Н. Жегалова, публикация Архива А. М. Горького), статья В. Новикова, посвященная работе Горького над второй редакцией пьесы «Васса Железнова». «Горьковиана», как и материалы к творческой истории книги В. Луговского «Середина века» (статья И. Гринберга, публикация Е. Быковой), представляет собой тщательный труд текстологов.

Период после XX съезда ознаменовался в нашей общественной жизни, в частности, тем, что мы получили возможность шире знакомиться с архивными материалами советской истории, в том числе архивами советских писателей. Надеемся, что редакция «Литературного наследства» успешно продолжит начатое ею интересное дело и порадует нас выпуском в свет новых томов, посвященных путям развития советской литературы.

С. КАЙДАШ.

Политика и наука

## ОТКРЫТЫМИ ГЛАЗАМИ

**В. Г. Венжер, Я. Б. Кваша, А. И. Ноткин, С. П. Первушин, С. А. Хейнман.**  
Производство, накопление, потребление. «Экономика». М. 1965. 304 стр.

**В. О. Чернявский.** Эффективность экономических решений (Очерки по вопросам совершенствования и оптимизации планирования). «Экономика». М. 1965. 255 стр.

Об отставании экономической науки писали и говорили в последние годы много. К этим утверждениям привыкли, никто их не оспаривает — истина кажется общепризнанной и общеизвестной. Между тем экономическая наука не стоит на месте, и кочующее из статьи в статью сетование по поводу ее отставания верно уже далеко не полностью. Сейчас правомерно говорить об отставании лишь отдельных участков экономической науки, о бесплодности некоторых ее направлений. Но пора отметить и очевидные достижения ряда других направлений. Решения мартовского и сентябрьского (1965 года) Пленумов ЦК КПСС, которыми начата важнейшая хозяйственная реформа, знаменуют признание верности многих идей, высказанных в ходе экономической дискуссии истекших лет. Это нашло свое подтверждение в решениях XXIII съезда КПСС.

Среди книг, отражающих определенную зрелость экономической мысли, мне хочется обратить внимание читателей на сборник статей «Производство, накопление, потребление» и очерки В. О. Чернявского «Эффективность экономических решений». В этих книгах дан подлинно научный анализ наших хозяйственных дел, и прежде всего наших трудностей, которые надо ясно представлять, чтобы вырвать самые корни помех.

Вот, например, статья С. П. Первушина «Производство и потребление на новом этапе». Внятно и четко отмечает автор особенность сегодняшней обстановки: «Раньше задача хозяйственного строительства решалась проще. Лозунг «Больше угля, металла, машин» позволял на время откладывать решение других социальных проблем и сосредоточить все людские силы и средства на решении этой актуальной проблемы во имя будущего коммунистического общества. Теперь это будущее на пороге. Надо смотреть ему прямо в глаза и платить по векселям, выдаваемым в течение десятилетий. Сейчас дефицит предметов первой необходимости нельзя оправдывать причинами, лежащими за пределами самого производства».

Да, источник благосостояния у нас один — общественное производство. Темпы его развития, эффективность его — дело, жизненно важное для каждого из нас. Каковы же эти темпы сейчас? Анализируя данные последних десяти — пятнадцати лет, С. Первушин показывает, что темпы роста промышленного производства и национального дохода в социалистических странах вообще и в СССР в частности за последние годы снизились. Преимущество в темпах перед капиталистическими странами вообще и перед США в частности сократилось.

Впрочем, дело даже не в этом сравнении. В США и в шестидесятые годы, в период благоприятной для них конъюнктуры, темпы ниже наших. Однако нас больше интересует другое: соответствуют ли наши темпы нашим возможностям? Автор статьи отвечает: нет, возможности социалистической экономики гораздо шире — и делает попытку рассчитать оптимальный для нас темп. Не берусь ручаться за точность расчета — важно отметить ценность самой этой попытки. Известно, что темп в десять — двенадцать процентов подолгу выдерживали и выдерживают многие социалистические страны, да и в СССР, если взять длительный период (десятилетия), среднегодовой прирост промышленного производства составляет около десяти процентов. Уже поэтому нынешнее снижение темпов до шести — восьми процентов нельзя признать неизбежным. Это снижение имеет свою вполне определенную причину: прежние методы управления хозяйством исчерпали свои возможности и современным условиям не соответствуют. Об этом убедительно пишут и авторы статей в сборнике, и В. Чернявский в своей книге. Они принадлежат к числу тех ученых, которые придают решающее значение развитию экономических методов воздействия на производство, развитию ленинских идей хозрасчета, отвергающих административные и дающих простор инициативе предприятий.

В главе «Эффективность социалистического производства» В. Чернявский дает де-



тальное обоснование хозрасчетной системы планового руководства хозяйством. Эта глава не случайно снабжена подзаголовком «Экономическая гипотеза». Автор показывает, как, по его мнению, будет организовано планирование после выполнения нового пятилетнего плана в 1970 году.

«Существовавшая в прошлом громоздкая и сложная система планирования снабжения и фондирования,— пишет он,— сама по себе порождала дефицитность, «психологию голода» даже на те товары, которые производились в достаточном количестве... С большим трудом удалось отказаться от этой системы снабжения и перейти на новую эластичную систему сбыта. На нестандартное оборудование, на сырье (железная руда, кокс, серная кислота) предприятия — потребители и поставщики заключают между собой многолетние договоры, которые и являются основанием для составления планов. Аналогичные договоры заключаются на устойчивые поставки черных и цветных металлов, оборудования и т. д... Договоры рассматриваются и утверждаются объединениями, после чего они имеют силу плана. В случае нарушения договора поставщики (здесь точнее было бы сказать «стороны», ибо нарушителем может быть и покупатель.— *О. Л.*) несут материальную ответственность. Все производимые товары, не охваченные прямыми договорами, реализуются через торговые базы на основании договоров объединений с заводами-производителями». Не команда сверху, а собственный материальный интерес коллектива заставляет каждое предприятие делать то, что нужно обществу.

Что же, «экономическая гипотеза» В. Чернявского, идеи С. Первушина, В. Венжера и других — фантастика? Нет. Решения сентябрьского Пленума ЦК подтвердили, что это — реальность нашей жизни. Конечно, буквального и стопроцентного совпадения в предложениях этих экономистов и в решениях Пленума нет. Однако основные линии развития совпали точно, в том числе и в тех случаях, когда на Пленуме показывались и пути развития на будущее. В частности, Пленум не принял решения о немедленной отмене «карточной системы» распределения материальных ресурсов в производстве, но было решено ограничить ее действие и сказано также, что в дальнейшем распределение продукции по фондам надо все более сокращать.

Имя В. Г. Венжера известно не только экономистам, но и всем тем, кто помнит 1952 год, последний теоретический труд И. В. Сталина — «Экономические проблемы социализма в СССР» и раздел этого труда — «Ответ товарищам Саниной А. В. и Венжеру В. Г.». В том ответе подробно объяснялось «заблуждающимся» товарищам Саниной и Венжеру, что их предложения (ныне осуществленные) неосуществимы, что колхозная собственность — это будто бы собственность второго сорта, она ниже общенародной. «Чтобы поднять колхозную собственность до уровня общенародной собственности,— писал Сталин,— нужно выключить излишки колхозного производства из системы товарного обращения и включить их в систему продуктообмена между государственной промышленностью и колхозами. В этом суть». В ликвидации товарного обращения видел Сталин задачу перехода к коммунизму.

За прошедшие годы В. Венжер не утратил ни убедительности, ни резкости своего протеста против глубоко въевшегося недоверия к колхозам как к социалистическим хозяйствам. Последовательно и неопровержимо показывает он жизненность колхозной формы, наглядно демонстрирует необоснованность преобразования части колхозов в совхозы, разъясняет ленинский кооперативный план.

Трудности колхозов происходили не от мнимых недостатков этой формы хозяйства, а от ошибок в управлении, когда, во-первых, подрывалась самостоятельность колхозов, а во-вторых, нарушалась эквивалентность в товарных отношениях с промышленностью — проще говоря, занижались цены на продукцию сельского хозяйства. В том и другом случае возместить убытки было некому: собственность кооперативная, государство за нее не отвечает.

Статья В. Венжера — произведение столь же научное, сколь и публицистическое. Полно сарказма его рассуждение об осторожных людях, боящихся предоставления самостоятельности колхозам. Вот как излагается ход их мыслей: «Сколько, мол, было мер, административных распоряжений, какая масса реорганизаций и рекомендаций, какое количество разнообразных органов... И все-таки, несмотря на все это, экономика колхозов развивалась не так, как ей было положено. А тут самостоятельность, да еще полная!»

К сожалению, не все статьи сборника написаны так же ясно, как статьи В. Венжера и С. Первушина. Статья А. Ноткина, например, тяжела сверх необходимости. Силен все-таки предрассудок, будто понятность изложения — признак недостаточной учености. А ведь дело обстоит как раз наоборот. Кто ясно мыслит — ясно говорит. Могли же Обручев, Ферсман и другие крупнейшие наши ученые о сложнейших проблемах своих наук писать так, что ясно и занятно было каждому читателю. Тем более надо писать так об экономике — науке, касающейся всех нас.

Впрочем, есть претензии к авторам не только стилистические. Вот, например, в статье С. Первушина, вполне современной от начала до конца, вдруг мелькает фраза о «практически неограниченной емкости рынка» социалистических стран. Зачем это? Мы ведь помним, как этим утверждением прикрывалось нежелание экономистов считаться с рынком, изучать его объективные требования. И помним, что из этого получилось.

Статья С. Хейнмана содержит множество характеристик отраслевой структуры нашей промышленности. Они весьма интересны сами по себе. Совершенно справедливо его заключительное суждение о необходимых мерах укрепления материального стимулирования производства. Предлагается ввести платность производственных фондов, улучшить систему ценообразования, постепенно перейти от фондового снабжения к оптовой продаже материалов — все это в русле принятых вскоре после выхода книги решений сентябрьского Пленума. Но все это воспри-

нимается как довесок к статье о совершенствовании структуры производства. Получилось так, что анализ структуры сам по себе — экономическое стимулирование само по себе. Связь не проведена и не ясно, как же материальные стимулы будут влиять на структуру. Создается впечатление, что структуру надо менять прежними методами: лишь следуя указаниям о том, что надо выплачивать и что надо сеять.

В. Венжер, увлекшись блестящей защитой колхозного строя, так упирает на особенности групповой формы собственности, что создается впечатление, будто только этими особенностями и диктуется необходимость хозяйственной самостоятельности колхозов и эквивалентного обмена их продукции. Ну, а у государственных предприятий таких особенностей нет. Так что же — им самостоятельность не нужна и торговать можно в убыток? Очевидно, надо вести речь о более общих и глубоких требованиях социалистического производства.

Есть и другая претензия к этой интересной статье. В конце ее, когда изображается идеальная схема хозяйственных связей колхозов, рыночная система представляется чем-то самодовлеющим и остается неясным механизм ее подчинения плановым рычагам.

А все-таки интересной становится наша экономическая литература! Надо выпускать ее большими тиражами, продвигать, объяснять читателю, что это интересно, что на такое чтение стоит тратить время и усилия ума.

О. ЛАЦИС.

★

## СОВРЕМЕННЫЙ ЖУРНАЛ ДЛЯ СЕМЕЙНОГО ЧТЕНИЯ

Журнал «Наука и жизнь», №№ 1—12, 1965.

Сначала немного истории. Пять лет назад было решено превратить «Науку и жизнь» — орган Всесоюзного общества по распространению научных и политических знаний — в массовый научно-популярный журнал. К этому времени за журналом было большое и почтенное прошлое: он уже издавался двадцать восемь лет, тираж его достиг солидной цифры — 193 тысяч экземпляров. Правда, он отличался от других научно-популярных журналов тем, что был единственным, который легко было

всегда найти на прилавке газетного киоска... Но ведь он и был обращен только к тем, кто является посредником между наукой и массовым читателем — к лекторам, учителям.

Новая редколлегия создала по сути дела совершенно новый журнал, в котором от старого осталось только название. О том, насколько успешно журнал справился со своей задачей, свидетельствуют цифры тиража: к началу 1963 года — 425 тысяч, к январю 1964-го — 750 тысяч. В конце

1964 года впервые были отменены лимиты и объявлена свободная подписка на газеты и журналы. Для «Науки и жизни» это сразу же дало прирост в один миллион — тираж на 1965 год достиг 1750 тысяч. А на следующий год тираж журнала достиг 3100 тысяч экземпляров.

Называя эту цифру, надо иметь в виду, что рецензируемый журнал не огносится к числу тех, которые покупают для несколькихминутного чтения в вагоне или для того, чтобы скрасить унылые минуты ожидания в очередях в парикмахерских. В «Науке и жизни» почти пятнадцать печатных листов, это вполне «толстый» журнал. И достаточно его перелистать, чтобы увидеть в нем и математические формулы, и пчелиные соты химических структур, и инженерные чертежи, и прочее в оглавлении имена известных ученых — докторов, профессоров, академиков...

Свободная подписка на журналы имеет своих противников. И не только у книжных издателей, с ужасом наблюдающих, как журналы пожирают те самые тонны дефицитной бумаги, которых не хватает на печатанье книг... Нет, есть и более объективные критики. Они полагают, что такая система подписки означает ориентацию на недостаточно развитые вкусы читателей, что она неминуемо вызовет некоторую спекулятивность в журналах, приноравливание их к этим самым недоразвитым вкусам... И они приводят доказательства: солидные журналы начинают печатать приключенческие романы и повести, сенсационные мемуары с подробностями интимной жизни различного рода деятелей. Журналы потоньше — в вечной погоне за хлесткостью материала, рассчитанного на то, чтобы привлечь побольше читателей. И тем не менее неуважительное отношение к свободной подписке недопустимо. Нельзя отказывать зрителю в праве самому оценивать спектакль, а читателю — книгу. В пренебрежительных терминах «кассовый спектакль», «читабельная книга» выражено недоверие к тому, кто смотрит спектакли и читает книги, к его способности самостоятельно оценивать явление искусства и литературы.

Нет, свободная подписка заставляет уважать требования читателя к нужному и интересному чтению, заставляет отказываться от риторической мишуры, лживой многозначительности, скучной иллюстративности. И — кроме того — она дает воз-

можность довольно точно увидеть рост читателя, происходящие в нем изменения. Все это можно проследить на примере журнала «Наука и жизнь».

Нам приходилось слышать, как некоторые ревнители науки говорили, что «Наука и жизнь» — журнал для семейного чтения... Они вкладывали в это определение оттенок застарелого презрения к дореволюционным мешанским журналам, рассчитанным на то, чтобы обыватели разных возрастов находили себе разнообразнейшее чтение: великосветский роман, сентиментальный рассказ, модные стишки, занимательную «смесь» из старых анекдотов и чудес современной техники. В отзывах такого рода о журнале «Наука и жизнь» справедливо только одно — это действительно журнал для семейного чтения.

И не будем этого пугаться. Да, «Наука и жизнь» строится как журнал «семейного чтения», он приспособлен к разным интересам разных членов семьи, неодинаковых по возрасту, подготовке, вкусам. Этим и объясняется огромный успех журнала: превращение его из скучноватого инструктивного журнала для лекторов в подлинно массовое, не побоимся сказать — народное издание. Недаром в анкетах, которые журнал проводил в 1963 и 1965 годах, он, спрашивая своих читателей об их возрасте, образовании, профессии, какими областями науки и техники интересуются, просил заполнить эту анкету не только прямых подписчиков, но и тех членов семьи, которые читают журнал.

Самый факт, что это журнал о науке, исключает пренебрежительное уподобление его дореволюционным журналам «семейного чтения». Успех «Науки и жизни» ярко говорит об огромных изменениях, происшедших в нашем обществе. Ведь это свидетельство того, что наука, ее проблемы, ее поиски, ее горести и радости увлекают миллионы людей. Это свидетельство места, которое наука начинает занимать в быте, в духовной жизни.

Первое впечатление от журнала — необыкновенная пестрота его содержания. Пестрота тематическая: химия полимеров и очерк о том, как обучать попугаев и скворцов произносить слова и фразы; новая космогоническая теория и жизнеописание центрфорварда двадцатых годов; серьезный семинар по математике для готовящихся к конкурсному экзамену и отве-

ты на такие наивные вопросы, как, например, почему сахар сладкий... И пестрота жанровая: суховатый отчет о международном конгрессе химиков рядом с коллекцией старых анекдотов о чудачествах знаменитых ученых; добротная проза перебивается научно-технической информацией; стихи напечатаны по соседству с таблицей содержания витаминов в различных продуктах... Эта пестрота поначалу пугает... Кажется невозможным, чтобы все это было предназначено для одного человека с таким разнообразием наклонностей и интересов.

Но мы уже знаем, что журнал ориентируется не на одного какого-то необыкновенного человека, а на разных и совершенно нормальных людей. Мы легко можем себе представить группу людей, составляющих первичную ячейку его читателей. Это и взрослый, уже совершенно подготовленный человек, которого интересуют серьезные доказательные научные статьи и который одновременно находит в журнале то, чем он увлекается в свободное время — от певчих птиц до коллекционирования марок. А рядом с ним читатель помоложе, который со вздохом необходимости внимательно прочтет материалы для готовящихся к экзаменам и с увлечением обратится к инструкции о починке магнитофона «Днепр». И матери, занимающейся воспитанием своих детей, журнал не только сообщит советы о вкусных и недорогих блюдах, но и предложит статью о воспитании, и психологический практикум, и странички, которые интересно читать вслух детям. Нетрудно представить себе, что в семье не окажется ни одного человека, который не поторопится опередить остальных, чтобы полистать новый, только что полученный журнал «Наука и жизнь».

Как мне кажется, главным качеством журнала, полностью оправдывающим его ответственное название, является устремление вперед. раскрытие перед читателем дальних поисков науки. «Наука и жизнь» отвечает на естественную человеческую любознательность, приучая своих читателей относиться с уважением к науке, открывающей тайны природы. Журнал настойчиво — и всегда на конкретном и интересном материале — убеждает своих читателей в необходимости «безумных» идей в современной науке и в пользу самых невероятных гипотез, если за ними стоит ищущая, мятающаяся мысль ученого.

В таком раскрытии науки выражено его устремление к тому, чтобы быть не информатором, а воспитателем своих читателей. Журнал стремится раскрыть не только практическую пользу науки, но и ее нравственное значение, ее высокие требования к тем, кто посвятил себя науке. Невозможно переоценить значение таких выступлений, как «Движущие силы научного творчества» академика В. Энгельгардта, «Наука не терпит субъективизма» академика Н. Семенова и прямо примыкающую к ним повесть «Мысли и сердце» знаменитого хирурга, лауреата Ленинской премии профессора Н. Амосова.

«Пытливость человеческого ума, неистребимая потребность раздвинуть границы нашего знания окружающего мира — вот первооснова научного творчества», — пишет академик В. Энгельгардт. Он с волинием говорит о несовместимости науки с прагматизмом, спекулятивностью. В. Энгельгардт приводит слова гениального Луи Пастера: «Быть убежденным, что ты обнаружил научный факт, с жаром хотеть его обнародовать и сдерживать себя днями, неделями, порой целыми годами, оспаривать самого себя, пытаться опровергнуть свои собственные опыты и сообщить о сделанном открытии лишь после того, как истощены и отвергнуты все противоречащие гипотезы и предположения, да, это — тяжелое испытание». А о том, к чему приводит нарушение этих нравственных норм в науке, рассказывает в своей подлинно драматической статье академик Н. Семенов. Он говорит о большом ущербе, который нанесла биологической науке и народному хозяйству группа ученых во главе с Т. Д. Лысенко.

Из очень многих журналов, пишущих о науке, «Наука и жизнь» больше, чем кто бы то ни было, имел право на публикацию этой взволнованной и волнующей статьи, ибо этот журнал в своем новом виде начиная с 1961 года защищал и пропагандировал те подлинно научные идеи и достижения, на которые догматики навешивали клички «биологический идеализм», зловредный «вейсманизм-морганизм» и прочее. «Наука и жизнь» был тем редким, а иногда и единственным журналом, из которого наш читатель мог узнать об успехах ученых в раскрытии кода наследственности и о других достижениях современной гене-

гической науки. Надо ли удивляться той приподнятости, с которой журнал теперь рассказывает о жизни и работе великого естествоиспытателя — Грегора Менделя, с какой радостью делится с читателями содержанием первого номера нового журнала «Генетика». «Наука и жизнь» публикует фотографии и краткие биографии замечательных советских генетиков: Н. К. Колцова, Н. И. Вавилова, С. С. Четверикова, А. С. Серебровского, Ю. А. Филлипенко — людей, несправедливо вычеркнутых из истории нашей науки, а то и вовсе из жизни.

Мы привыкли к тому, что наш читатель о самых сенсационных новостях в науке узнает не от самих ученых, а от литераторов. В «Науке и жизни» — чаще наоборот. О самых сенсационных гипотезах рассказывают сами ученые. О влиянии электромагнитного поля на живые существа пишет кандидат биологических наук А. Пресман; о новой гипотезе «великих потопов» древности и современного колебания уровня океана пишет доктор биологических наук Г. Линдберг; о новых данных, касающихся каналов Марса, — известный астроном-популяризатор Ф. Зигель; о проблеме установления контактов с предполагаемыми разумными существами на других мирах — профессор И. Шкловский. В высуглении таких авторов самая невероятная гипотеза утрачивает лихую сенсационность, превращается в достоверную информацию о научном поиске.

И все же сотрудничество литератора с ученым иногда необходимо. Я думаю, что редкий ученый был бы в состоянии так вдохновенно рассказать читателю об одной из важнейших проблем современной медицины, как сделал это журналист А. Турбин — автор очерка «Каучуковый шарик в роли митрального клапана» — во втором номере журнала. А рядом — другой очерк, который носит длинное название: «Модель «А». История, которую рассказал заведующий отделом ультразвука Акустического института доктор технических наук, профессор Л. Розенберг, а записал журналист Л. Кокин». Рассказ ученого о разнообразнейшем применении ультразвука в технике не утратил в пересказе журналиста точности. Но он приобрел живую интонацию, мы отчетливо распознаем и голос ученого, и голос журналиста — один не выдает себя за другого в этом литературном дуэте.

Но если в естественных науках популяризация порою не может обойтись без опытных посредников, то в науках гуманитарных — в истории, филологии — журнал постоянно ищет возможность передать читателю непосредственное ощущение открытия. Читая увлекательнейший очерк кандидата исторических наук Н. Эйдельмана «Случай ненадежен, но щедр», мы вместе с автором переживаем волнение человека, наткнувшегося на новые, еще неизвестные материалы о тайных корреспондентах Герцена и шаг за шагом разбирающегося в сложной паутине фактов, догадок, предположений. О берестяных грамотах, найденных в Новгороде, увлекательно пишет доктор исторических наук В. Л. Янин, сам непосредственно принимавший участие в знаменитых новгородских раскопках. И когда в журнале выступает литератор, а не ученый, то и он часто выступает в качестве открывателя, исследователя.

Очерк Л. Лозинской о Е. Воронцовой-Дашковой, президенте Российской Академии наук, читается с таким интересом не только потому, что сообщает нечто новое, а еще и потому, что написан с подлинным литературным умением.

Естественно, что в журнале «Наука и жизнь» наибольшее место занимает отечественная наука. Но он всегда показывает ее в органической слитности с мировой наукой. Читатель все время ощущает неразрывность науки, ее поступательный ход в результате труда множества людей в самых разных странах мира.

Похвально стремление журнала знакомить читателей с обнаруженными в архивах интересными документами. Хотелось бы, однако, пожелать работникам редакции тщательней проверять, не подают ли они как новинку то, что уже задолго до этого было опубликовано (как это, например, случилось с письмом Н. Горбунова В. И. Ленину, напечатанным в четвертом номере «Науки и жизни» за этот год).

В журнале большое место занимает раздел, который называется декларативно «Школа № 1 — семья». Здесь много интересного, что не грех позаимствовать и тем изданиям, которые целиком посвящены педагогическим проблемам. Это и психологические практикумы с остроумным текстом и остроумными рисунками, предназначенные для тренировки наблюдательности и

сообразительности. Это математические и физические досуги, сделанные в лучших традициях Перельмана и других выдающихся русских популяризаторов: очень хорошие простые и остроумные опыты со свечой, с пылесосом, с расческой. Хороши самоделки, советы старшим ребятам, как сделать для младших братьев любопытные модели, веселые игрушки, домики для птиц.

Очень трудно избежать дидактичности, когда речь идет о воспитании, где без дидактики не обойтись... Но журнал умеет находить нужный тон, соблюсти чувствую меры, и даже очерк о том, как «себя вести в обществе», читаешь без раздражения. Потому что этот разговор ведется ненавязчиво, спокойно, с необходимой мерой юмора. Вполне оправдано обращение и к иностранному опыту. Печатавшиеся главы из книги датского писателя-юмориста В. Брейнхолста «Искусство быть отцом» — это веселое и очень умное изложение основных принципов воспитания в семье.

Помните отчаянный призыв Ильфа и Петрова не устраивать ударные мероприятия с призывами к соблюдению чистоты, а просто взять метлу и подмести?.. Когда мы говорим о необходимости любить и уважать природу, историю и культуру своей страны, как часто мы сбиваемся на «мероприятия», высмеянные десятки лет назад. «Наука и жизнь» никого не уговаривает в важности любить природу или сохранять исторические памятники. Просто в каждом номере журнала публикуются интересные, тонкие и поэтические наблюдения за жизнью природы, повадками животных и птиц, удивительными свойствами рыб и насекомых. В журнале печатаются отличные очерки о старинных, дивной красоты дворцах и храмах. И не только интересно об этом рассказывают, но и объясняют, как удобно проехать к этому памятнику.

Вообще деловитость журнала представляет его особое достоинство. При всем своем уважении к теории и увлечении всеми новыми гипотезами — включая сюда и самые «безумные», — журнал постоянно помнит о том, что наука порождает технику, что техника — в большом и малом — обязана делать жизнь человека удобнее, лучше, уютнее. И так же, как нет для журнала слишком «высоких» тем, так нет для него и слишком «низких». И нас вовсе не коробит, когда рядом с очерком о нейтронных звездах и рентгеновской астрономии

мы читаем заметку о том, как врезать шуруп в пластмассовое изделие...

Так что же, все хорошо в «Науке и жизни»? И он представляет собой образец и идеал современного журнала для семейного чтения? Наверное, так не думают и сами увлеченные своим делом сотрудники журнала. Комплект «Науки и жизни» за год дает ясную и сильную картину не только «прибылей», но и «убытков» журнала в его стремлении сделаться как можно более интересным и доходчивым. Как мы уже говорили, тематическая и жанровая пестрота журнала оправдана. Но журнал очень часто утрачивает необходимое чувство меры. Он забывает истину относительно невозможности объять необъятное, становится жадным и всеядным в стремлении угодить всем — и без всякого исключения! — вкусу, интересам. Он способен иногда в своем увлечении забыть, что он хотя и журнал для всех, но журнал о науке. В нескольких номерах журнала большее место занимают очерки со множеством фотографий. Автор этих очерков, говоря о своих героях, употребляет такие выражения, которые не часто можно встретить в очерках о живых наших современниках: «светлый талант», «яркая звезда», «великий мастер», «драгоценный самородок»... Но не надо пугаться: речь идет не о великих ученых, чья скромность может быть смущена такими эпитетами, а о футболистах, как известно, более терпимо относящихся к своей славе... Мы не сомневаемся, что написанные Н. Старостиным жизнеописания знаменитых футболистов, подробности их биографий, данные об их сложении, росте, цвете волос с интересом читаются миллионами любителей футбола, без которых не обходится, вероятно, ни одна семья. Но все же какое это имеет отношение к науке? Для любителей футбола есть достаточно специальных изданий, и журналу «Наука и жизнь» нет надобности подменять собою эти издания. Как нет надобности и подменять собою юмористические журналы и некоторые еженедельники с их неразборчивой «смесью» фактов, обладающих единственным качеством: они — «занятные»...

К сожалению, эта неразборчивость очень часто ощущается и на множестве страниц журнала «Наука и жизнь». Неудержимое (и по сути дела неуважительное) стремление позабыть своих читателей толкает

к печатанию множества старых и совсем не смешных анекдотов в различных разделах журнала с кокетливыми и жеманными названиями: «По разным поводам улыбки», «Кунсткамера», «Хотите — верьте, хотите — проверьте»... Странно и обидно видеть элементарное нарушение хорошего вкуса в журнале, столь много делающем, чтобы этот вкус развить в своем читателе.

Но не следует, конечно, и пугаться этих «убытков» журнала. Есть в «Науке и жизни» очень важное качество: он не боится перестраиваться, искать новое, отказывать-

ся от того, что неудачно. Ведь только этим он и сумел из скучного камерного журнала превратиться в журнал массовый, народный.

Четыре года назад автор этой рецензии, обозревая журнал «Наука и жизнь» в первый год после его перестройки, с радостью писал, что старейший научно-популярный журнал ищет и успешно находит дорогу к массовому читателю. Еще радостнее увидеть, что он уверенно вышел на эту дорогу.

Лев РАЗГОН.

★

## ПОДВИГИ НЕ ЗАБЫВАЮТСЯ

В и т. И в а н о в. Герои земли Новгородской. Лениздат. 1966. 232 стр.

Несколько слов об авторе этой книги. В кратком издательском предисловии говорится, что Виталий Иванов — участник Великой Отечественной войны и что он «более десяти лет собирал материалы о своих земляках — кавалерах Золотой Звезды». Добавим, что, когда окончилась война, Виталию Иванову шел двадцатый год, а за его плечами уже был большой и нелегкий боевой путь пулеметчика и артиллерийского наводчика во время боев за Шлиссельбург, у Синявина, под Пулковом. Более десяти лет автор ведет неустанные розыски, посвящает свой отпуск поездкам по стране. И все это с одной целью — установить историю еще одного подвига, узнать новое о павшем герое, найти его родственников, друзей, однополчан, воскресить еще одну страницу, а иногда лишь одну строку великой и суровой военной эпопеи 1941—1945 годов. Десятилетие исканий потребовало не только упорства, пылливости, неутомимой воли, но, я сказал бы, и благородной одержимости.

Обратимся, однако, к книге. Она посвящена уроженцам Новгородской области, удостоенным звания Героя Советского Союза. Рассказы о героях просты, сдержанны, немногословны. Автор почти не комментирует — он излагает факты. Его больше заботит достоверность, нежели словесный орнамент. Он выступает как строгий летописец, стремящийся как можно более точно запечатлеть ратные деяния земляков — людей обычных и в то же время необыкновенных.

Перед читателем проходят представители разных поколений и профессий. Вчерашние землепашцы и учителя, агрономы и школь-

ники, люди разного военного профиля: летчики, танкисты, саперы, генералы и рядовые. Они действуют на суше, в воздухе, на море, отстаивают свободу и честь родины на Волхове и Волге, в карельской тайге и среди скал Заполярья, на Керченском плацдарме и на берегах Балтики. И сколь много мы бы ни знали о подвигах советских воинов, нельзя без волнения читать о «ста смертях» сапера Николая Федина, о поединке учителя русского языка Ивана Виноградова с фашистскими танками, о «новгородском богатыре» Иване Барченко, который двадцать пять раз высаживался с десантами в занятых врагом северных фьордах, о рейдах лихого кавалериста Александра Смелова по немецким тылам, о миллионе (миллионе!) боевых километров летчика-штурмовика Владимира Молодчикова.

Читаешь скупые рассказы — и убеждаешься: нет предела человеческому мужеству, освященному высокой целью.

Помню, на Волховском фронте в феврале 1942 года прошел слух о немыслимом, просто невероятном таране: танк против бронепоезда. И вот теперь из книги Виталия Иванова я узнаю, что действительно в районе Погостья механик-водитель Дмитрий Некрасов, израсходовав боеприпасы и имея задачу во что бы то ни стало остановить фашистский бронепоезд, пошел на таран. Мало того: герой остался жив и, вернувшись из госпиталей, совершил новые подвиги на долгом боевом пути от Волги до чехословацкого города Брно. Этот человек четырнадцать раз горел в танках, дважды тонул — в Волхове и Дону, участвовал более чем в

двухстах боях. И вот последняя строка строго документированного рассказа: «Герой-танкист по сей день служит в Советской Армии». Разве это не удивительная биография?!

Отдельные рассказы о героях, их боевые биографии сливаются в сознании читателя в единое повествование, в биографию борющегося народа. Перед нами как бы проходят главные этапы войны. Сначала мы видим героев, с жертвенной стойкостью обороняющих редную землю. Потом знакомимся с героями наступательных боев, с новгородцами, прославившимися при форсировании Днепра, Немана, Сана, Одера. Если раньше высшим законом мужества было «ни шагу назад!», то теперь все чаще звания Героя удостоиваются храбрецы, отличившиеся в наступательных сражениях. В чем, например, сущность подвига гвардии майора Ивана Сорокина? Действуя в Восточной Померании, он в феврале 1945 года выходит со своей подвижной танковой группой в тыл врага, перерезает важную дорогу, за сорок минут уничтожает большую вражескую автоколонну, затем штурмом овладевает укрепленными узлами немецкой обороны. Воюя слаженно и уверенно, искусно маневрируя, танковая группа Сорокина за семь дней блестящего рейда овладела с боями шестью немецкими городами, в том числе крепостью Кеслин, и открыла путь нашим частям на берег Балтики. За этот боевой подвиг, в котором слились мужество и высокое воинское мастерство, гвардии майор Иван Сорокин был удостоен Золотой Звезды Героя.

Особое место в книге Виталия Иванова занимают рассказы о тех, кто сражался в тылу врага. Как известно, в новгородских лесах существовал обширный партизанский край, где действовали органы советской власти, были восстановлены колхозы, выходили газеты. Много интересного найдет читатель, знакомясь с героями партизанами, среди которых были и совсем юные новгородцы. Автор рассказывает не только о знаменитом Лене Голикове, но и рисует боевой путь шестнадцатилетнего Мити Соколова — партизанского проводника, который находил дорогу «по звездам, по пням и деревьям, по крику птицы». Митя Соколов участвовал в боях и диверсиях и стал руководителем разведки партизанского полка. Столь же интересен рассказ о Володе Никифорове — сыне учителя, в девятнадцать лет возглавив-

шем диверсионно-разведывательный отряд, который отличился в рельсовой войне в зоне Остров — Псков — Дно. 2 апреля 1944 года Мите Соколову и Володе Никифорову было присвоено звание Героев Советского Союза.

Бывало и так, что многие годы отделяли свершение подвига от его официального признания. Автор книги как бы говорит нам: никогда не поздно воздать должное герою! В одном из лучших своих очерков «Хирург» он рассказывает о враче-подпольщике Федоре Михайлове, которому звание Героя было присвоено совсем недавно — 8 мая 1965 года. Мы знакомимся с замечательной жизнью: пастушок из новгородской деревушки Перелучи становится балтийским моряком, участвует в Октябрьском вооруженном восстании в Петрограде, затем в 1919 году получает ранение при штурме мятежного форта Красная Горка и, возвратившись в родные места, отдается науке. Революционный матрос получает диплом врача-хирурга. Он работает в украинском городе Славуте и во время фашистского нашествия становится душой большевистского подполья. Он спасает военнопленных, переправляет их в леса, создает конспиративные склады с оружием и боеприпасами, организует диверсии, формирует партизанские отряды. Преданный провокатором, он подвергается изуверским истязаниям в застенках гестапо. На казнь Федора Михайлова гитлеровцы согнали сотни людей. Они видели, как смело шел он к виселице, слышали его последние слова: «Да здравствует советская власть! Смерть фашизму!»

Когда читаешь о герое, хочется знать не только о его подвиге, но и о дальнейшем его боевом и жизненном пути. Виталий Иванов стремится сообщить и об этом. Мы узнаем, что многие герои земли Новгородской живы. Юный партизан Володя Никифоров окончил военно-морское училище, служил на боевых кораблях Балтики и Тихого океана и теперь работает в Ленинграде. Артиллерист Алексей Горев, вышедший победителем из героического поединка с «тиграми» и «пантерами», служит поныне в рядах Советской Армии. В строю и гвардии майор Иван Сорокин. Бесстрашный летчик Александр Яковлев — ныне начальник цеха в Боровичах, а другой воздушный ас Дмитрий Петров — инженер на ленинградском заводе.

Виталий Иванов счастливо избегает риторики, общих фраз, мы видим героев таки-



ми, какие они и есть в действительности — идущими на подвиг «не ради славы — ради жизни на земле», скромных, простых, чело- вечных. Возьмите хотя бы такого порази- тельно храброго воина, как Сергей Шпуня- ков, который выжил «всем смертям назло». О своем боевом пути он говорит просто и скромно: «Наши парни дошли до Берлина и многие расписались на стенах рейхстага. Это сделал и я».

Хорошо, что в книге рассказано и о том, как народ увековечивает светлую память героев. Мурманский траулер «Анатолий Бредов»; проспект в Валдае, носящий имя Николая Васильева; пионерский отряд в де- ревне Рукли под Оршей, которому присвое- но имя Сергея Митта; улица в Сольцах, на домах которой значится «имени Василия Сухова»; памятник Василию Челпанову в городе Ливны.

В книге есть и более удачные, и менее удачные очерки. Облик некоторых героев обрисован полно и живо, а других — схе- матично, бегло, иногда лишь намечен пункти- ром. Встречается и неудачная фраза, и не- точно выраженная мысль. Но было бы не- справедливо делать акцент на этом. Книга

Виталия Иванова — это в первую очередь историческое свидетельство, результат мно- голетних поисков. И о ней мы говорим так заинтересованно потому, что она одна из многих подобных работ, представительница никем не объявленной серии книг о героях Отечественной войны, выходящих в местных издательствах. Не только в Новгороде, но и в Калининне, Харькове, Таллине, Кишиневе люди собирают новые и новые материалы о войне и ее героях. Благородный девиз не- утомимых искателей: никто и ничто не дол- жно быть забыто!

Да, поля сражений, партизанские стоянки хранят еще множество тайн. Авторы книг, подобных «Героям земли Новгородской», помогают открывать эти тайны, обогащать историю Отечественной войны новыми фрагментами, новыми именами. Докумен- тальные книги о ратных подвигах — не только литературные памятники героям, но и живой источник, питающий патриотиче- ские чувства молодого поколения — наслед- ника и хранителя воинской славы народа.

Мих. ЦУНЦ.

★

## ПЕРВЫЕ СОМНЕНИЯ

**Гельмут Вельц. Солдаты, которых предали. Записки бывшего офицера вермахта. Перевод с немецкого Г. Рудого. «Мысль». М. 1965. 359 стр.**

**В** воспоминаниях о событиях более чем двадцатилетней давности трудно не подменить чувства и мысли того времени сегодняшними оценками. Бывший майор вермахта Гельмут Вельц воспользовался сохранившимися записками, и в его рассказе слышится голос очевидца, если не считать нескольких соскальзываний из прошлого в будущее. Вряд ли, например, офицер вермахта, взятый в плен в 1943 году, прибегал уже в то время к выражению «злodeяния нацистов». Это тем более сомнительно, что в его воспоминаниях немецкие солдаты ника- ких зверств не совершают и предстают овечками, посланными злым фюрером на убой.

В книге Вельца рассказывается о битве на Волге, какой ее видел командир немецко- го саперного батальона. Перед читателем проходят знакомые черты аналогичных фронтовых воспоминаний: нелепые смерти говорившей и сочинение для родных высоко- парных небывлиц об их героической гибели;

муки окопной жизни без табака и наслаж- дение случайной затяжкой; тоска по дому, по жене, письма, приходящие на имя уже убитых; наконец неизбежные ворчания фронтовика на «тыловых крыс». Все эти детали делают книгу Вельца похожей на другие мемуары. Этому же способствует и место действия — о битве на Волге книг написано особенно много. Конечно, автор лучше других помнит, как его батальон безуспешно пытался овладеть цехом № 4 завода «Красный Октябрь». Но у его сосе- да слева или справа происходило прибли- зительно то же самое.

Более интересной представляется попыт- ка автора установить степень личной ответ- ственности немецких солдат за их собствен- ную незавидную судьбу

Как-то потрепанному батальону Вельца прислали в подкрепление две румынские ро- ты. Немецкий майор не очень-то был этим доволен, поскольку считал румынских сол- дат второсортными — они «вообще не

знают, за что воюют, а это лишает их боевого духа и наступательного порыва, рождает в них безразличие». Немцы воюют лучше.

Но знают ли и сами немцы, за что складывают головы?

Разумеется. «Раз Иван хотел на нас напасть,— говорит один из них,— поневоле пришлось защищаться».

И только когда их начинают бить, им приходит мысль, что «защищать границы Германии здесь, на Волге, немного далеко».

В голову самого Вельца первые сомнения закрадываются медленно и косвенно. Им предшествует ворчание. Вот он едет в отпуск домой, и его возмущают сытые рожки тыловиков. Вот его багальон сидит на бульоне из конины, а штабисты объедаются экзотическими консервами. Ворчание переходит в сомнение, только когда 6-я армия попадает в окружение. Он видит бессмысленность дальнейшего сопротивления, но получает приказ стоять насмерть.

И многие в самом деле стоят. В книге рассказывается, как офицеры пускали себе пулю в лоб, но не сдавались; описан случай массового самоубийства: желавшие погибнуть уселись на ящики с взрывчаткой рассматривать семейные фотографии, а один из них замкнул взрыватель: есть также вышедший навстречу пулям генерал.

Эти эпизоды поднимают проблему предела обольщения людей фашистской пропагандой. Почему некоторые добровольно предпочли тот свет советскому плену?

Вельц много размышляет о том, как он и другие офицеры превратились «в простых исполнителей приказов, в людей, мышление которых не выходит за пределы тактических задач». Ответ, впрочем, не сложен: «шовинистическое воспитание тех лет». Метод воспитания — опьянение фразами, простыми, звучными и ложными. Лозунги, вспоминает автор, стали содержанием жизни. Воспитание в «Гитлерюгенде» подорвало способность самостоятельно мыслить. Да и зачем думать? Проще оставить мыслительный процесс для фюрера.

Герберт Уэллс, занимавшийся пропагандой на Германию в годы первой мировой войны, считал, что за немцами водится особая склонность к схемам, формулировкам и лозунгам. На этом стремлении к упорядоченности и паразитировала фашистская пропаганда. Она также исходила из расчета

на то, что средний немец ленится самостоятельно думать. Гитлер подчеркивал, что пропаганда должна быть простой, понятной и однообразной. Ей противопоставлены полемика, аргументация и поиски разнообразия в форме подачи материала. Главное, как подчеркивал он в книге «Моя борьба», — «тысячекратное повторение самых простых идей». Примитивность пропаганды — условие ее успеха. Что касается правдивости, то она никакого отношения к пропаганде не имеет. Повторение обеспечивает веру в любую ложь.

Во что только не верили в фашистской Германии! Верили в «заговор международного еврейства» против третьего рейха. Верили в то, что Коминтерн имеет целью утвердить «мировое господство евреев». И автор книги тоже верил. Понадобились военный разгром и плен для того, чтобы начать самому за себя думать.

Первые проникшие в голову сомнения не талкивались на непререкаемую заповедь беспрекословного солдатского повиновения приказу. Каждый военослужащий принес в свое время присягу, где клялся перед господом-богом, что будет «безропотно подчиняться фюреру немецкого государства и народа Адольфу Гитлеру, верховному главнокомандующему вооруженными силами...». Конкретные разногласия с фюрером возникли у Вельца только после получения приказа стоять в Сталинграде насмерть. Он уже увидел, что такой приказ ведет к ненужному уничтожению его батальона. «Целая армия должна остаться на верную гибель только потому, что это приказал один человек», — пишет автор. Говоря военным языком, его сомнение относится к области тактики. Ему кажется, что он лучше представляет, как следует поступить на Сталинградском фронте. Но его сомнение еще не распространяется на область «стратегии»: он еще не ставит под вопрос политику третьего рейха в целом. Поэтому он пишет о «солдатах, которых предали» в том смысле, что их оставили умирать в «котле» между Доном и Волгой, а не в том смысле, что их вообще погнали на убой уже в 1941 году. Его мысли еще не сбросили, как он сам выражается, «давно сношенные детские башмаки».

Берлин сознательно списал в расход всю бою армию, дабы «увенчать достойной конюшковой песней о новых Нибелунгах». Геббельсовская пропаганда похоронила в брат-

ской могиле всех до единого, хотя девяносто тысяч человек сдались в плен.

Фашистские главари были готовы списать в расход и всю немецкую нацию, о чем свидетельствует их отчаянное сопротивление на заключительном этапе войны. И до самых последних дней были люди, продолжавшие идти за ними, продолжавшие верить фюреру и в фюрера.

Этот факт — свидетельство зловещей силы нацистской системы обмана народа. «Пропаганда, воспитание,— говорит в книге один осмелевший от неудач офицер,— вот что завело нас так далеко. Но все это возможно только в таком государстве, где господствует принцип фюрера».

В соответствии с этим принципом любое высказывание фюрера воспринималось как истина в последней инстанции, и уж тем более невозможным казалось оспаривать его приказ, изданный им в качестве главнокомандующего.

В книге Вельца центральным можно считать вопрос об отношении солдата к приказу, которым его фактически предают. В приложении приводятся слова бывшего командующего 6-й армией генерал-фельдмаршала Паулюса: «Разве перспектива собственной смерти, а также вероятной гибели и пленения своих войск освобождает ответственное лицо от солдатского повиновения?.. В то время вермахт и народ не поняли бы такого образа действий с моей стороны. Он явился бы по своему воздействию явно выраженным революционным актом против Гитлера».

Самого автора этот вопрос мучает на протяжении всей книги. «Да, конечно,— рассуждает он,— долг и главная добродетель хорошего солдата — повиноваться всегда и всюду, даже если он и не понимает смысла полученного приказа». «Присяга,— думает он вслух в другом месте,— вот что связывает нас руки, хотя в голове постепенно проясняется». И как же поступать, если приказ губелен и неразумен, вроде приказа штаба 6-й армии от 12 декабря 1942 года: «Сдаваться живыми в плен — позор; когда выхода больше нет, офицер обязан расстрелять солдат!»?

После горечи поражения автор прозрел, обрел, как он пишет, «способность различать добро и зло», но произошло это уже в советском плену. А тысячи других подобных ему офицеров, жславших оставаться

вне политики и потому ставших солдатами (вероятно, и их матери, подобно фрау Вельц, тоже радовались, впервые увидев сыновей в военной форме),— тысячи офицеров продолжали выполнять безумные приказы фюрера. Для прозрения им понадобился разгром, подобно тому как автор рецензируемой книги прозрел только тогда, когда ему удалось, как он удачно выразился, «спрыгнуть с лопаты могильщика».

Воспоминания Вельца наводят на сегодняшние размышления. Двести пятьдесят тысяч американских парней воюют во Вьетнаме. Сколько из них верят, что за тысячи километров защищают родину от «международного коммунистического заговора»? Именно это выражение, столь похожее на выражение из директивы для печати гоббельсовского министерства пропаганды, фигурирует, например, в тексте американского закона о военной помощи иностранным государствам в 1966 году. Его вдалбливают в солдатские головы. Оболванивание идет в несколько иных формах, чем в третьем рейхе, но в том же духе оголтелого антикоммунизма и отваживания от самостоятельного мышления.

А в самой Германии, в западной ее части, тоска по фюреру дает себя знать и в формах подготовки бундесвера. «Решимость солдата стрелять в того, в кого ему прикажут стрелять,— пишет западногерманский военный журнал «Веркунде»,— не должна зависеть от того, сознает ли он все мотивы, цели, убеждения и идеи, приведшие к отдаче данного приказа». Тем актуальнее воспоминания Вельца, способные пробудить критическое отношение к официальной пропаганде об «угрозе с Востока» и заронить первые зерна сомнения. Автор прав, выражая уверенность в том, что его книга «не будет включена в список литературы, рекомендуемой солдатам и офицерам бундесвера». К счастью, в другой части Германии, с которой автор связал свою судьбу, родились новые силы, направившие развитие немецкого народа по созидательному пути. Эти силы создают идеологический и политический противовес возврату к идиотизму прошлого, затрудняют возрождение в Западной Германии безвопросного послушания новой официальной иконе. Борьба продолжается, и самокритичная и потому убедительная книга Вельца — одна из ее страниц или глав.

**Г. ГЕРАСИМОВ.**

## ДЕМОНСТРАЦИЯ СИЛЫ?

Э. Бич, Д. Стил и др. *Вокруг света под водой. Сокращенный перевод с английского очерков о походах американских атомных подводных лодок. «Воениздат».*  
М. 1965. 516 стр.

Кто из нас в юношеские годы не читал — с возрастающим от страницы к странице интересом — роман Жюль Верна «80 000 километров под водой»? Вспомним, какие необыкновенные возможности для изучения морских глубин открыла перед профессором Аронаком подводная лодка капитана Немо. Через иллюминаторы можно было увидеть диковинные картины подводного мира, наблюдать жизнь морских обитателей. В некоторых местах путешественники делали остановки, в специальных костюмах выходили из лодки и обследовали морское дно.

Книга «Вокруг света под водой», предлагаемая вниманию читателей, и подводные лодки, действующие в ней, не имеют ничего общего с жюль-верновским «Наутилусом», а дела ее героев далеки от добрых дел благородного профессора Аронакса.

Речь идет о морском оружии агрессивного американского империализма — атомных подводных лодках, об их дальних и важных по значению плаваниях. И экзотики, характерной для морских романов, в ней мало. Но эту книгу надо прочесть, чтобы отчетливой представить себе характер и направленные авантюристические планы Пентагона.

В книгу вошли очерки, написанные командирами американских атомных подводных лодок У. Андерсоном, Д. Калвертом, Д. Стилом, Э. Бичем и военно-морским обозревателем Н. Полмаром. Первые три очерка посвящены плаваниям подводных лодок «Наутилус», «Скейт» и «Сидрэгон» подо льдами Арктики, четвертый — кругосветному плаванию «Тритона». В последнем рассказывается о загадочной гибели «Трешера».

Один из примечательных результатов научно-технического прогресса наших дней — вступление флота в эпоху атомной энергетики. Применение атомной энергетической установки (АЭУ) на подводных лодках обеспечивает неограниченную дальность плавания без пополнения запасов топлива. Продолжительность пребывания атомной подводной лодки в море зависит сейчас не от наличия продовольствия, воды и прочих запасов, а от физической выносливости ее экипажа.

Самые лучшие доатомные (так называемые «дизель-аккумуляторные») подводные

лодки имели максимальную скорость под водой двадцать пять — двадцать семь километров в час. Но только один час они могли двигаться с такой скоростью. Если же командир лодки хотел находиться под водой десятки часов, приходилось идти со скоростью пять—семь километров в час. А ныне атомные энергетические установки дают такое количество энергии, которое позволяет лодке в течение всего периода плавания держать скорость сорок—пятьдесят километров в час.

Наконец АЭУ разрешила коренную проблему подводного плазания — превратила подводную лодку из «ныряющего» корабля (надо было то и дело всплывать, чтобы получать атмосферный воздух для работы дизель-генераторов и зарядки аккумуляторных батарей) в подлинно подводный корабль.

На атомной подводной лодке не надо возить большого количества химических средств для получения кислорода. Здесь имеются системы, которые вырабатывают из морской воды воздух необходимой кондиции, сколь долго ни находилась бы лодка под водой.

Атомная энергетическая установка увеличила автономность подводной лодки, обеспечила большие дальности плавания и сделала доступной для нее как арктический бассейн, так и другие моря и океаны. Ныне нет в мировом океане района, куда бы не могли пойти атомные подводные лодки из самых удаленных мест базирования.

Дальние плавания атомных подводных лодок используются пропагандистами из государственного департамента и Пентагона для раздувания военного психоза, запугивания миролюбивых народов мощью американского флота, пропаганды качества американской техники и, конечно, для выколачивания новых миллиардов долларов на военные расходы.

Начало походам американских подводных лодок к Северному полюсу положил «Наутилус». Это первая экспериментальная атомная подводная лодка США. Ее энергетическая установка обеспечивает скорость хода под водой около двадцати узлов (тридцать семь километров в час). В 1957—

1958 годах «Наутилус» три раза пытался пройти подо льдом к Северному полюсу. И только при четвертой попытке ему удалось это сделать, хотя подготовительная работа к плаванию велась весьма тщательно.

На борту «Наутилуса», как свидетельствует его командир, находился свой «профессор Аронакс» — ученый-полярник доктор Уолдо Лайен, до этого участвовавший в тринадцати арктических экспедициях. Предмет его исследований был определен заданиями Пентагона.

Из очерка читатель узнает, как решалась на «Наутилусе» проблема кораблевождения в Арктике. Ведь обычное навигационное оборудование не обеспечивает необходимой точности плавания в высоких широтах. На лодке была установлена специальная так называемая «инерциальная» система. Но и она оказалась не безупречной. Приблизительно в сорока милях от полюса было обнаружено, что лодка уклонилась от рассчитанного маршрута.

При подготовке «Наутилуса» к плаванию в полярном бассейне на лодке было установлено большое количество разнообразных гидроакустических средств. Некоторые из них обеспечивали наблюдение за ледовым покровом и измерение толщины льда, другие информировали о глубинах и профиле дна океана. На рубке была смонтирована передающая часть подводного телевизора для наблюдения за нижней кромкой льда.

Наблюдения, проведенные на лодке, показали, что летом (плавание происходило в июле) толщина арктического льда колеблется в пределах от трех до четырех с половиной метров, но некоторые выступы нижней кромки достигают толщины в пятнадцать метров. В очерке подтверждаются выводы советских гляциологов, что лед Арктики не сплошная шапка и что ледовый покров состоит из отдельных полей, между которыми имеются многочисленные участки воды.

Сообщение о трансполярном переходе «Наутилуса» послужило сигналом для пропагандистского бума в американской и западноевропейской прессе по поводу открытия «нового морского пути», связывающего Тихий океан с Атлантическим. Однако разговоры о мирной стороне дела вскоре были прекращены. Из того, что рейс «Наутилуса» служил прежде всего агрессивным целям, не стали больше делать тайны.

Арктическое плавание «Наутилуса» не ответило на все вопросы, интересовавшие руководителей Пентагона. Восполнение этих пробелов было возложено на атомную подводную лодку «Скейт». Как явствует из оперативного приказа, выдержки из которого приводит Калверт, главной задачей плавания была отработка методов всплытия лодки в районе паковых льдов. Иначе говоря, предстояло выявить возможность боевого применения подводными лодками-ракетоносцами баллистических ракет «поларис». Принимая к сведению это обстоятельство, советский читатель должен знать, что нашим атомным подводным лодкам, являющимся лучшим средством борьбы с врагами, прячущимися под ледовым покровом. Арктика знакома значительно лучше, чем американским.

Из книги читатель узнает, что «Скейт» был в Арктике дважды: летом и зимой. При этом он, очевидно, заметит, что, живя и быт экипажа, Калверт стремится замаскировать военную направленность плаваний. Превознося второстепенные факты, он только мимоходом упоминает о серьезных дефектах американской подводной техники, хотя на его лодке были серьезные происшествия, и в частности попадание забортной воды в лодку. В подводном плавании это серьезное ЧП. Для подводника вода, находящаяся под килем, — друг, а непроизвольно попавшая в лодку — враг.

Третий очерк в книге посвящен плаванию подводной лодки «Сидрэгон», которая прошла в Северный Ледовитый океан по новой трассе — через проливы Канадского арктического архипелага. Этот морской путь до последнего времени кораблями почти не использовался. Все предпочитали входить в Арктику через широкий и глубоководный проход между Гренландией и Шпицбергом.

Автор очерка Стил свидетельствует, что во время плавания канадскими проливами было обнаружено много мелководных районов, а значительная часть островов и мелей на морские карты нанесена неверно.

Находившиеся на борту «Сидрэгона» научные согрудники изучали условия плавания в Арктике, особенно в районах с большим числом айсбергов. Так же как «Наутилус» и «Скейт», эта лодка неоднократно всплывала в полыньях и разводьях среди паковых льдов. Сведения о состоянии

льдов, о течениях и других природных факторах, описания использования новой электронной аппаратуры для научных наблюдений, а также работ аквалангистов, в меру сдобренные полярно-подводной экзотикой, представляют несомненный интерес не только для специалистов, но и для широкого круга читателей, особенно для молодежи.

На протяжении похода «Сидрэгон» двадцать восемь раз нырял под айсберги. Некоторые из них, как свидетельствует автор очерка, были длиною до пятисот метров и имели осадку более девяноста метров.

Особый интерес представляет в книге очерк командира подводной лодки «Тритон», которая за шестьдесят суток (с одним всплытием на поверхность) совершила кругосветное плавание по маршруту: остров Сан-Педро — мыс Горн — остров Гуам — Филиппины — мыс Доброй Надежды — остров Сан-Педро. Пройдены Атлантический, Тихий и Индийский океаны. Длина маршрута составила двадцать шесть тысяч семьсот двадцать три мили (около пятидесяти тысяч километров). Всего же лодка с момента выхода из базы Нью-Лондон (восточное побережье США) до возвращения в нее пробыла в море восемьдесят пять суток, пройдя около шестидесяти семи тысяч километров. На ее борту было сто восемьдесят три человека.

Командир пишет, что «Тритон» «еще не был оснащен... эффективными установками для получения кислорода из морской воды», и пришлось взять на борт дополнительный запас больших «кислородных свечей». Это усложняло длительное пребывание под водой, и лодка каждый вечер всплывала на перископную глубину (десять—двенадцать метров), выдвигала над поверхностью воды специальное устройство, которое автор называет «шноркелем», и вентилировалась. В военное время такие действия могут иметь роковой исход.

Читая очерк Э. Бича, невольно обращаешь внимание на бесчисленное количество поломок и аварий, имевших место в течение всего плавания. Не надо быть специалистом-подводником или инженером, чтобы сделать заключение, что не так уж безупречна американская техника, как ее пытаются представить американские военно-морские обозреватели. Да и выучка экипажа не на высоком уровне, о чем свидетельствует факт потери плавучести лодкой. Продувание и заполнение цистерн, о которых с по-

казной беспечностью повествует Э. Бич, не могут скрыть факта, что ситуация была аварийной.

Заканчивая очерк, Э. Бич указывает, что этот поход должен был стать одним из козырей дипломатии США на предполагавшейся в мае 1960 года встрече глав правительств. Видимо, на какое-то время он забывал, что Советский Союз тоже имеет атомный подводный флот, который объективно мыслящие западные специалисты считают не менее совершенным, чем американский.

Пятый, последний очерк — «Гибель «Трешера» — написан Н. Полмаром. Тщетно будет читатель искать тут объективного освещения причин катастрофы, происшедшей 10 апреля 1963 года. Лодка затонула во время проведения испытаний после ремонта на глубине около двух с половиной тысяч метров. Погибли сто двадцать девять членов экипажа и представителей завода.

Автор невнятно говорит о том, что после приема лодки на ней было обнаружено большое количество производственных дефектов, часть которых имела прямое отношение к жизненно важным системам. Он ограничивается описанием фактической стороны событий, выявленных комиссией, расследовавшей катастрофу, и умалчивает, что гибель «Трешера» оказала серьезное влияние на весь ход выполнения программы строительства атомных подводных лодок США. Пришлось многое исправлять.

Гибель этой подводной лодки, которую американская пропаганда рекламировала как самую современную и надежную, не явилась делом слепого случая. Она имеет глубокие причины, и на многие из них уже указывалось в советской прессе.

Книге предпослано обстоятельное предисловие контр-адмирала А. Гонтаева, в котором дается правильная оценка походам подводных лодок США и планам использования американским империализмом Арктики и Мирового океана, многие районы которого они намерены превратить в ракетно-ядерные позиции для внезапного нападения на социалистические страны.

Эта рецензия, написанная до XXIII съезда КПСС, заканчивалась такими словами: «По прочтении книги у читателя может возникнуть вопрос: «А что делают наши подводные лодки, не стоят ли они у причалов?» Сейчас, после выступления на съезде министра обо-

роны Р. Я. Малиновского, ни у кого уже не возникнет такого вопроса. Министр сообщил, что группа наших подводных лодок недавно успешно завершила кругосветный поход в подводном положении. Стали известны и некоторые подробности: лодки шли не подо льдом Арктики (этот путь был освоен ранее), а вокруг Южной Америки, среди айсбергов и ледяных полей в проливе Дрейка и водах Антарктики. Плавание продолжалось немногим более полутора меся-

цев. Было пройдено около сорока тысяч километров без всплытия на поверхность. Все это весьма красноречиво говорит о возможностях нашего подводного флота, стоящего на охране мира. И если американские адмиралы, расхваливающие свои подводные лодки, думают, что демонстрируют силу, способную кого-то запугать, то они глубоко заблуждаются.

**А. РОДИОНОВ,**  
*контр-адмирал.*



## КОРОТКО О КНИГАХ



**В. М. КОРОЧКИН.** Русские корреспонденты К. Маркса (А. А. Серно-Соловьевич и Н. И. Утин). «Мысль». 1965. 173 стр.

Десятого августа 1871 года русские пограничные заставы получили циркуляр, в котором говорилось: «Председатель Германского отдела общества и один из деятельных членов оного литератор Карл Маркс с английским паспортом под именем Валласа (Wallas) намерен пробраться в Россию с злонамеренной целью». Жандармерия пограничных городов была поставлена на ноги. И вот в Третье отделение поступила из Одессы шифрованная телеграмма о задержании в порту иностранца Маркса. Однако поймаанным оказался однофамилец великого революционера — немецкий коммерсант Маркс.

Поездка К. Маркса в Россию не состоялась, но этот инцидент еще раз показал, как тщательно агенты Третьего отделения императорской канцелярии следили за перепиской К. Маркса с его русскими друзьями. Ведь паспорт для предполагавшейся поездки в Россию достал Марксу по его просьбе Николай Исаакович Утин. Этот паспорт он заказным письмом переслал Энгельсу.

К. Маркс и Ф. Энгельс вели оживленную переписку со многими политическими деятелями. Активными их корреспондентами были русские революционеры А. А. Серно-Соловьевич и Н. И. Утин. Оба они, начав свою деятельность как члены тайной организации «Земля и воля», очутились в эмиграции. Обоим был заказан обратный путь на родину: Серно-Соловьевича заочно приговорили к вечному изгнанию, а Утина — к расстрелу.

Их замечательной жизни и деятельности и посвятил свою небольшую, но насыщенную интересными фактами книжку В. М. Корочкин.

Автор последовательно показывает эволюцию взглядов этих учеников Н. Г. Чернышевского на пути к марксистскому учению. Русские корреспонденты Карла Маркса приняли активное участие в работе Первого Интернационала, создали в нем русскую секцию, сыгравшую большую роль в попытке русских революционеров «перенести в Россию самую передовую и самую крупную особенность европейского устройства» — Интернационал (В. И. Ленин).

С большим интересом читаются страницы, посвященные борьбе А. А. Серно-Соловьевича и Н. И. Утина с Бакуниным и его последователями — анархистами. Н. И. Утин собрал огромный фактический материал, подтверждающий подрывную деятельность Бакунина в Первом Интернационале, и на основе этого материала тот был исключен из членов Интернационала.

Книжка В. М. Корочкина помогает лучше понять, как подготовлялась почва для марксизма в России, и почувствовать живой интерес, который неизменно проявлял К. Маркс и к своим русским корреспондентам, и к революционной ситуации в далекой для него России.

Л. Давыдова.



**П. ЛЯТИЛЬ.** Энрико Ферми. Перевод с французского. Атомиздат. М. 1965. 147 стр.

Энрико Ферми был и выдающимся физиком-теоретиком самого высокого класса, и прекрасным экспериментатором, и наконец талантливым инженером.

Автор книги прослеживает жизненный путь Э. Ферми со школьных лет до его последних дней в США, связанных (до 1946 года) с работами по ядерной физике и атомной бомбе. Этой стороне деятельности Ферми, предыстория которой относится еще к тридцатым годам, когда он жил в Италии, уделено в книге основное внимание. Наряду с изложением научных работ Ферми автор рассказывает о нем как о человеке, а также об его окружении. В этой части он следует известной биографии Ферми, написанной его женой. Это книга «Атомы у нас дома», выдержавшая в нашей стране два издания.

Научно-популярная часть книги написана легко и живо (хотя при переводе, к сожалению, допущен ряд терминологических неточностей). Автор, однако, уделяет сравнительно мало места рассказу о выдающихся теоретических работах Ферми (например, по бета-распаду или по космическим лучам), и это обстоятельство нельзя оправдать их сложностью. О Ферми-теоретике, кроме общих — и совершенно справедливых — деклараций об исключительном масштабе его дарования, сказано совершенно недостаточно. Вообще с некоторыми из вы-



сказываний автора в этой части книги согласиться нельзя. В частности, вряд ли Ферми претендовал бы на роль основоположника современной квантовой электроники и технических ее приложений, о которых пишет автор (квантовая радиофизика). С таким же основанием можно было бы назвать в этом случае основоположниками этой отрасли современной науки многих представителей той блестящей когорты ученых нашего века, чьи труды составили фундамент квантовой механики и статистики. Для П. Ляпиля характерна некоторая склонность к преувеличению роли Э. Ферми,— преувеличению, в котором этот исключительный ученый совершенно не нуждается: и без того он стоит в ряду титанов физики двадцатого века. Свою книгу П. Ляпиль озаглавил «Энрикко Ферми, или Христовор Колумб атома» и при переводе ее с французского правильно сделали, оставив лишь первую часть этого заглавия Колумба атома с гораздо большим основанием можно назвать Резерфорда и Бора. И среди их предшественников тоже было немало «викингов атома».

Книга П. Ляпиля, хотя и не содержит каких-либо новых сведений о Ферми и его работах, будет тем не менее с интересом прочтена теми многочисленными читателями, которых она впервые познакомит с жизнью и деятельностью замечательного итальянского ученого.

**В. Френкель.**

Ленинград.

★

**Е. ШАТРОВ. Подвиг во тьме. Политиздат. М. 1966. 197 стр.**

1941 год. В украинском городе Нежине, оккупированном фашистами, установлен «новый порядок»: голод, аресты, расстрелы, угон трудоспособного населения на фашистскую каторгу в Германию.

Советские патриоты ведут упорную борьбу с врагом. В городе действуют подпольщики. Они распространяют листовки, совершают диверсии, ведут разведку, освобождают пленных, мешают гитлеровцам угонять в неволю земляков, помогают партизанам медикаментами, оружием, боеприпасами. Обо всем этом рассказывается в документальной повести «Подвиг во тьме».

О многих славных делах подпольщиков читаем мы в этой книге. «Все, что они совершали, было подвигом,— пишет автор.— Потому подвигом, что их — горстка, а врагов — орда, и потому еще, что боролись они во мраке подполья, во тьме».

В двойном мраке совершал свой великий подвиг человек, который организовал нежинское подполье — Яков Батюк: он был слепым. Батюк знал каждого подпольщика, был в курсе того, что делала вся организация, руководил ее действиями. Он определял задачи, разрабатывал планы их выполнения, намечал людей.

В книге показано неиссякаемое мужество Батюка, его готовность к самопожертвованию.

Тяжкий недуг не породил в этом слепом человеке никакого ощущения ущербности. В мирное время он закончил с отличием юридический факультет и работал адвокатом. В войну проявил беспримерный героизм. Ему помогли воля, феноменальная память. Его соратники показали себя мужественными борцами на поле и стойкими товарищами в застенках гестапо.

Якова Батюка, а с ним и группу его товарищей по подполью, выданных провокатором, расстреляли за несколько дней до освобождения Нежина. В мае прошлого года Якову Петровичу Батюку было посмертно присвоено звание Героя Советского Союза.

**Е. Городецкая.**

★

**Б. БАНТИНГ. Становление южноафриканского рейха. Перевод с английского. «Мысль». М. 1965. 390 стр.**

Автор этой книги — известный борец за свободу Южной Африки, лауреат премии Международной организации журналистов. Несколько лет назад он вместе с группой других южноафриканских демократов был вынужден покинуть родину. Сейчас он — корреспондент ТАСС в Лондоне.

Книга посвящена Южно-Африканской Республике — самой высокоорганизованной в экономическом отношении африканской стране, дающей почти треть доходов всего континента и производящей стали и электроэнергию в три раза больше, чем почти пятьдесят других африканских стран, вместе взятых. За экономическую мощь ЮАР недаром называют «африканской Америкой». Однако во всех уголках земли ЮАР больше известна не как экономически развитая страна Африки, а как гнездо самого неприкрытого расизма (апартеида), где три миллиона белых господ удерживают четырнадцать миллионов африканцев на положении бесправных рабов.

В книге прослеживаются прямые связи южноафриканского фашизма с германским, установившиеся сразу же после прихода Гитлера к власти. Приведенные автором цитаты Гитлера и недавнего главы южноафриканских расистов, «отца апартеида» Маланга написаны как бы одной рукой.

На большом фактическом материале показано, что расовая дискриминация коренного населения Южно-Африканской Республики принимает в последние годы самые неприглядные формы. Правительство Фервурда проводит свою политику при прямой экономической, политической и военной поддержке ряда западных держав, прежде всего членов НАТО, и в частности Англии.

В своем небольшом предисловии к русскому изданию автор выражает надежду, что советский читатель оценит его книгу как вклад в общую борьбу за свободу и справедливость. В этом можно не сомневаться. Как пишет Бантинг, «чтобы победить врага, нужно сначала его узнать...». Его книга «Становление южноафриканско-

го рейха» значительно расширяет наши представления об одной из крупнейших стран Африки и обо всем «континенте в движении».

**В. Молчанов.**

★

**570 ВОПРОСОВ И ОТВЕТОВ ПО СОВЕТСКОМУ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ. Юридический справочник для населения. «Наукова думка». Киев. 1965. 502 стр.**

Конечно, эти пятьсот семьдесят ответов не позволяют исчерпывающим образом изложить все обширное и разностороннее советское законодательство. Но авторы и не стремятся к этому. Они отобрали те вопросы, которые больше всего интересуют население и с которыми граждане часто обращаются в различные учреждения. Все вопросы и ответы сгруппированы в девяти разделах. Это облегчает пользование справочником и позволяет легко найти нужный ответ.

Наиболее обширен раздел, посвященный трудовому законодательству. Здесь рассматриваются порядок приема на работу, перевод из одного предприятия (учреждения) в другое, увольнение, регулирование оплаты труда, выдача пособий и пенсий, порядок рассмотрения трудовых споров и т. д.

В специальном разделе сгруппированы вопросы, связанные с порядком распределения жилой площади, обмена и оплаты жилого помещения, выселения и другие. В книге имеются также разделы, посвященные законодательству о семье, праву наследования, колхозному и земельному праву и т. д. При этом авторы приводят ссылки на действующее законодательство СССР и УССР (статьи кодексов, постановления правительства, различные инструкции и т. д.). Справочник написан ясным, доступным языком.

Несколько частных замечаний. В разделе первом, где говорится о защите прав граждан, не упомянуты органы народного контроля, деятельность которых имеет важное значение в борьбе с нарушениями законности, бюрократизмом и волокитой. Ничего не сказано также о правах народных заседателей в советском суде. А ведь участие трудящихся в отправлении правосудия — это важнейший принцип, закреплённый Конституцией СССР. Думается, что подробней следовало осветить вопросы о праве наследования. Хорошо было бы также предположить справочнику более обширное предисловие с обстоятельным изложением основных конституционных прав и обязанностей граждан СССР.

Издательство «Наукова думка» выпустило хорошую, полезную книгу по советскому законодательству, и его опыт следовало бы использовать в других союзных республиках.

**И. Яхнина.**

★

**ЭЛЕН И ФРЭНК ШРЕЙДЕР. Ля Тортуга. От Аляски до Огненной Земли. Перевод с английского. «Мысль». М. 1965. 247 стр.**

От самого северного городка в Северной Америке до самого южного в Южной проехали по дорогам и бездорожью американцы Элен и Фрэнк Шрейдер. К этому большому путешествию, длившемуся полтора года, они готовились долго и кропотливо. Работая на Аляске, супруги Шрейдер — художница и инженер — отказывали себе во многом, чтобы отложить для поездки необходимые средства, и собственноручно собрали автомобиль-амфибию который назвали «Ля Тортуга» (черепаха).

И вот двадцать тысяч миль позади.

В книге, написанной после путешествия, авторы знакомят нас с местами своеобразными, неповторимыми по своей красоте и такими глухими, что даже и в наши дни знания о них скупы и недостоверны. Зари-совки, сделанные Элен и Фрэнком Шрейдер, приводят нас в джунгли Южной Мексики и Гватемалы, в болота Коста-Рики, в бескрайнюю ширь холодных равнин Патагонии, на песчаные пляжи островов Карибского моря и на заснеженные высокогорные дороги Анд.

Путешественники с памятливым вниманием и интересом относились к жизни народов стран, по которым проходил их маршрут. Сценки городской жизни Мексики сменяются картинами быта крестьян Гватемалы и Коста-Рики. И авторы заставляют нас вместе с собою искренне радоваться душевности и доброте и огорчаться невежеством и нищетою этих людей. С участием путешественники описывают тяжелую, полную лишений жизнь негров и индейцев, гостями которых они были во время плавания по Карибскому морю. Историческое прошлое коренных жителей Америки вызывает у них восхищение. В то же время с иронией и с сарказмом показаны в книге представители местной власти, чиновники и полицейские, с юмором описаны бюрократические препоны и рогатки, преодолевать которые путешественникам приходилось с не меньшим трудом, чем бездорожье.

Меткость и широта наблюдений авторов и живой язык книги, несомненно, будут оценены читателем.

**Г. Макаров.**

★

**ГЕОРГИЙ СЕМЕНОВ. Распахнутые окна. Рассказы. «Советский писатель». М. 1966. 206 стр.**

Сборник рассказов «Распахнутые окна» — третья книга Г. Семенова. Лесные дороги, непролазные топи, дальние озера, ветреные, туманные, грозные, метельные ночи — вся эта живопись в его рассказах не просто фон действия, это та атмосфера, в которой живут герои, она и определяет их, дает возможность их понять.

Г. Семенов не навязывает своего отношения к происходящему, не торопит читателя и не ведет его за руку. Реалистически точ-

ное описание того, что окружает героя, внимательно наблюдение за его меняющимся состоянием, порой взгляд со стороны, через неживую природу, ритм повествования, точно соответствующий происходящему,— все это и создает у читателя нужное ощущение, заставляет его задуматься. Читателю становятся близкими герои Г. Семенова, их внутренняя жизнь — глубокая и непростая, ему важны и те мучительные вопросы, которыми задаются его герои — такие, как Сохин в «Первом море», Коньков в «Кушаверо»...

В новой книжке меньше случайного, не обязательного, о чем Г. Семенов порой пишет столь же добротнo и обстоятельно, так что читатель, замороженный этой уверенной манерой, начинает недоумевать: а где же главное? Критика уже предупреждала писателя о недостаточном отборе материала, о некоторой банальности мысли, от которой не спасает порой и реалистическая точность письма... Но в новой книжке таких рассказов мало.

Думается, что читатель уже заметил новое имя, запомнил его и ждет встреч со следующими книгами Г. Семенова. Разумеется, это повышает ответственность писателя.

Ф. Светов.



**БРИГАНТИНА.** Сборник рассказов о путешествиях, поисках, открытиях. «Молодая гвардия». М. 1968. 236 стр.

Составители сборника дали ему традиционно-романтическое название — «Бригантина». И бригантина эта увлекает читателя не только в отдаленные уголки земного шара, в ледяное безмолвие севера и горячие пески юга, но и ведет в седую глубь веков. Новое в самых различных областях ждет здесь читателя на каждом шагу. Путевые заметки К. Паустовского дают нам возможность глазами писателя посмотреть на современную Англию. Вместе с М. Алигер мы в декабре, под Новый год, попадаем в жаркое чилийское лето. Новая страница — и мы оказываемся в джунглях Камбоджи, где среди непроходимых зарослей путешественники видят постройки древнего города, единственными обитателями которого являются змеи и летучие мыши (Л. Волановский, «Каменная слава»).

Помещенный в сборнике отрывок из книги Д. Дагена знакомит нас с «человеко-рыбам» — Жаком-Ивом Кусто, Фредериком Дюма и Филипом Тайе. Сколько необыкновенного, экзотического наблюдали отважные французские исследователи подземного мира, пассажиры «Калипсо», спускавшиеся на морское дно с кинокамерой в руках: бой акул и деликатный праздник, ветки драгоценного черного коралла в причудливых гротах — и тут же заросшие илом древнегреческие амфоры, ставшие убежищем осьминогов, остатки корабля, погибшего в третьем веке до нашей эры.

Чтобы встретиться с «чудом из чудес», не обязательно ездить в дальние страны. Немало неразгаданных тайн ждет своих исследователей и в нашем большом родном доме. Разве не заманчиво для историка, например, найти на Соловецких островах писанную старинной вязью книгу, которую пожаловал монастырю лично Иван Грозный? Для археолога — обнаружить в горах Кобыстана на Апшероне не известный доселе науке наскальный рисунок? Ведь, пожалуй, только Сахаре уступает Кобыстан по обилию и разнообразию произведений первобытного искусства!

«Бригантина» — книга не только увлекательная, но и добрая. Авторы ее рассказов бережно и любовно относятся к природе, встречают зверя, птицу и рыбу, вооруженные не ружьем или сетями, а всего лишь фотоаппаратом. Запоминается в рассказах Г. Снегирева осьминог, который, зажмурившись, ждет, чтобы человек его погладил, тюлень Федя, спешащий из океана на берег при виде алюминиевой миски — сигнала к обеду. В этом смысле особенно характерен отрывок из таймырского дневника И. Соколова-Микитова. «Выходя в тундру, редко беру с собой ружье», — рассказывает автор, — «...жалко убивать прекрасных доверчивых птиц, после великого опасного путешествия вернувшихся на далекую родину, радостными голосами своими ожививших застывшую и мертвую страну». Необычайно много интересного видит путешественник и с мастерством большого художника делится своими наблюдениями.

Сборник «Бригантина» будет выходить ежегодно. Ведь описания замечательных уголков земли и удивительных явлений природы — это тот материал, который, по словам К. Паустовского, «никогда не приесться и не набьет оскомину».

К. Бродер.



**С. ГЛУХОВСКИЙ.** Когда выросли крылья. Воениздат. М. 1965. 155 стр.

Нынешним школьникам вряд ли известно это имя, а мы мальчишками знали: у Петра Баранова четыре «ромба», орден Красного Знамени. Оно сыяло для нас среди овеванных романтикой и пороховой гарью имен героев гражданской войны. Но его слава продолжалась и в мирное время: теперь Баранова называют рядом с Чкаловым, Грозовым, пилотами челюскинской эпопеи. Потому что командир и комиссар Баранов — это не только бои на юге России, штурм Кронштадта но и история советской авиации — от неуклюжих «фарманов» до знаменитых туполевских АНТов и ТБ-3.

Документальная книга С. Глуховского рассказывает о доблестном сорокалетнем пути Баранова — подпольщика, солдата, начальника ВВС Красной Армии, руководителя авиационной промышленности, человека, одержимо преданного отечественному воздухоплаванию, погибшего в самолетной ка-

тастрофе. Книга непритязательная, скромная, построенная на тщательно собранных фактах, архивных материалах, воспоминаниях.

С. Глуховский — не новичок в этом сложном жанре, где автора подстерегают соблазны книжных банальностей («Время бессильно стереть из памяти Петра дорогой образ») и газетной скороговорки («Авиация вышла на широкую и прямую дорогу технического прогресса»). Цитированные фразы не позволяют утверждать, будто писатель полностью избег всех опасностей подобного рода.

Баранов предстает в повести как своеобразный и богатый характер. Его целеустремленность не оборачивается сухостью, а деловитость не отдает однолинейностью. Юношей доверяет он тюремной тетради мысли о живописи, искусстве и, завершая начатые еще на воле споры, пишет: «Небо да хранит нас от законодателей в понимании красоты». Уже в зрелые годы он дружит с писателями, художниками, композиторами.

На наших глазах растет, мужает Петр Баранов. Но ни в чем не изменяет себе. Авторитет, пост, популярность не лишают его скромности. Начальник ВВС и член Реввоенсовета, надев спецовку, работает механиком в мастерской. А когда на авиационном празднике разбился пилот, Баранов сам сел на место летнаба.

О подвигах советской авиации сказано и написано немало. Следует помнить и о том, кто стоял у истоков этих подвигов.

В. Кардин.

★

**МЭРИ ШЕЛЛИ.** Франкенштейн, или Современный Прометей. Роман. Перевод с английского З. Александровой. «Художественная литература». М. 1965. 245 стр.

В предисловии к одному из первых изданий «Франкенштейна» Мэри Шелли писала, что с раннего детства самой большой радостью для нее было «возведение воздушных замков — грезы наяву, когда я отдавалась течению мыслей, из которых сплетались воображаемые события». Слова писательницы мало кого могли удивить из современных ей читателей: столько литературных ассоциаций связано с ее именем. Дочь прославленного философа-публициста Уильяма Годвина и известной писательницы Мэри Уолстонкрафт, она была женой Шелли и хорошо знала Байрона и других английских поэтов-романтиков. Да и сама история ее жизни похожа на главы из увлекательной, но трагической повести — к двадцати пяти годам Мэри успела уже похоронить троих детей и потерять мужа, который утонул во время шторма летом 1822 года.

Роман «Франкенштейн, или Современный Прометей» — самый прочный и знаменитый из всех «воздушных замков» ее фантазии, Мэри написала эту книгу, когда ей было девятнадцать лет. Это фантастический рассказ о судьбе ученого, совершившего вели-

кое открытие, губительные последствия которого он не смог предугадать. Движимый фаустовским желанием «познать тайны земли и неба», Франкенштейн сумел оживить материю и создать искусственного человека. Но стихии, выпущенные на свет героем книги, выходят из его повиновения, оказываются сильнее его. Детище Франкенштейна — огромное, отталкивающее в своем безобразии чудовище — становится злым гением ученого. Оно постепенно убивает всех его близких и ведет его самого навстречу смерти — во льды далекого Северного Ледовитого океана. Таков удел Прометейя начала XIX века: его стремление к знаниям, способным сделать жизнь человека прекрасной, обращается против него самого, и наказание героя Мэри Шелли гораздо страшнее мук его мифологического предшественника. Уж слишком разрушительны силы, которые он столь безрассудно привел в движение.

Философское содержание своей книги писательница решила облечь в традиционную форму «готического» романа ужасов. И в наши дни «Франкенштейн» поражает своей мрачностью, обилием темных красок, почти полной безысходностью. Несчастливы и обречены на гибель все герои романа. Не менее несчастно и само чудовище, убивающее их. Это еще один романтический «падший ангел», по-байроновски гордый и одинокий. Уродливый гигант наделен человеческими чувствами: он восторженно поклоняется добру и красоте. Но в людях его вид вызывает лишь смертельный ужас и отвращение. Невыносимые муки одиночества ожесточают чудовище, превращая его в «злобного дьявола», идущего на все, чтобы отомстить своему создателю. Но и в торжестве мести гигант не находит отрады. В безлюдной пустыне Севера он воздвигает себе погребальный костер. Ответственность за свои несчастия чудовище возлагает на ученого. Ведь он не осознал «долг создателя перед своим творением» и не понял, что должен был позаботиться о его счастье.

В наш век великих научных открытий и мировых общественных столкновений, век кибернетики и атомной энергии книга Мэри Шелли звучит поразительно злободневно, а имя героя романа, побежденного созданной им злой силой, стало теперь нарицательным. В современном обществе тема «Франкенштейна», носившая ранее чисто фантастический характер, приобрела вполне реальный смысл. Недаром Норберт Винер сказал, что роботы будущего смогут служить человечеству только при условии, что наши честь и разум будут удовлетворять требованиям самой высокой морали. Эту же самую мысль подчеркивает и А. Елистратова в предисловии к книге. Вступительная статья написана увлекательно и вместе с тем полна тонких и интересных историко-литературных наблюдений.

А. Горбунов.

★

**Н. СНЕТКОВА.** «Дон Кихот» Сервантеса. «Художественная литература». М.—Л. 1965. 158 стр.

Написать глубоко и просто о великом творении искусства — задача сложная. Вероятно, задача серии «Массовой историко-литературной библиотеки» и состоит в том, чтобы, используя все достижения научно-критической мысли, пробиться сквозь чащу ученых комментариев и устаревших толкований, сохранив свежесть «первого» впечатления, живость и остроту собственного, современного взгляда. Н. Снеткова решила эту задачу.

Повествуя об эпохе и авторе «Дон Кихота», Н. Снеткова не ограничивается фразами о грандиозности эпохи Возрождения и о кричащих социальных контрастах, раздражавших испанскую монархию. У одного лишь герцога Альбукерского, замечает Н. Снеткова, во дворце насчитывалось тысяча четыреста дюжин золотых тарелок, несколько сотен серебряных лестниц, отлитых, чтобы доставать посуду из буфетов, — и такого рода живописные детали ярче, чем избитые цитаты, говорят о социальных противоречиях державы, над которой «никогда не заходило солнце».

Возрождение предстает в книге как эпоха, открывавшая перед человечеством новые горизонты, широчайшие перспективы и одновременно не оставлявшая надежд на их осуществление в обозримом будущем, — и эта трактовка дает ключ к мировоззрению и нравственному облику Сервантеса, позволяет проникнуть в образ хитроумного идальго из Ламанчи, в природу гениально-го романа.

Он много заденет в сердце нынешнего читателя, этот сухорылый провинциальный комиссар Мигель Сервантес, великий неудачник, переживший войны, нищету, плен и познавший «самую большую из всех возможных радостей — радость вновь обретенной свободы». Н. Снеткова рисует облик писателя, опираясь, помимо фактов его биографии, и на высокую традицию их толкования, замечательно представленную статьей Генриха Гейне, в которой он писал: «...истинный поэт — в то же время истинный герой; в его груди живет терпение — второе мужество, как говорят испанцы». Н. Снеткова следует мысли Гейне («перо гения всегда больше самого гения») и тогда, когда показывает, как значение романа перерастало его первоначальный замысел. На этом пути ее проводниками становятся Стендаль и Филдинг, немецкие романтики и Тургенев, Герцен и Достоевский, Томас Манн и Горький, Эйнштейн и Чаплин... Именно в искусстве Чаплина находит она внутренне близкую, современную параллель к «Дон Кихоту», объясняющую, как создавался сплав смешного, трагического и возвышенного, пародии, гротеска и эксцентрики, названный иронией Сервантеса.

Автору книги свойственно тонкое понимание внутреннего, органичного единства романа — гораздо более прочного и поэтич-

ного, чем единство, возникающее из внешних, механических сцеплений и связей. Интересны рассуждения о кажущемся «неправдоподобии» образа Дон Кихота — как показало время, гораздо более достоверного, чем сотни и сотни картонных персонажей, скроенных по всем правилам трезвожителеской рассудочности. Опираясь на превосходный перевод Н. Любимова, Н. Снеткова сумела чутко уловить стилистический лад романа. По всем этим причинам ее небольшая книжка займет достойное место в появившейся к четырехсотлетию со дня смерти Сервантеса литературе.

М. Кораллов.

★

**А. В. ЧИЧЕРИН.** Идеи и стиль. О природе поэтического слова. «Советский писатель». М. 1965. 300 стр.

В книгах, посвященных искусству, дело обычно не обходится без заклиний о том, что исследование надо вести, учитывая единство содержания и формы. Но провозглашенное единство нередко дается авторам трудно. И вот перед нами книга, где этой трудности вовсе не ощущаешь. Книга по стилистике художественной литературы, в которой идеи-образы не кажутся искусственно облаченными в словесные одежды, но постигаются вместе со стилем и только через него.

Исследователь свободно чувствует себя в разнохарактерных, разноязычных стилевых стихиях, рассматривая творчество Гёте и Бальзака, Пушкина и Толстого, Достоевского и Чехова, Кошобинского и Я. Неруды (этим привлекали читателя и прежние работы А. Чичерина — «О языке и стиле романа-эпопеи «Война и мир» и «Возникновение романа-эпопеи»). Он умеет обнаружить «скрытые силы слова» и в сложной структуре классического романа, и в народной пословице, прибаутке.

Одна только превосходно разобранный в подлиннике (непреренно в подлиннике!) фраза Бальзака — «Сколько событий теснится в пространстве одной секунды, и как многое зависит от падения костяшки!» — дает мгновенное представление о небывалой насыщенности и реальной ошущенности времени в «Человеческой комедии». А вот зазвучавшая в России в 1812 году поговорка — откровенная игра словами: «Русь, не трусь, это не гусь, а вор воробей, вора бей, не робей». А. Чичерин показывает, как неожиданные сопоставления, столкновения слов, созвучия, рифмы обнажают смысл, обостряют его восприятие.

Своеобразен подход А. Чичерина к стилю Чехова, определяемому обычно как «четкий, ясный, простой». Речь идет, казалось бы, всего лишь о «противительной интонации», обо всех этих «но», «а», «однако», «все же», «хотя», так часто встречающихся в чеховской прозе. Но эта тонкая стилистическая нить ведет нас в глубь авторского замысла, художественной концепции.

В самом стиле Чехова обнаруживается, по мысли А. Чичерина, несоответствие того, как живут герои писателя, с тем, как они могли бы и должны были бы жить.

Сопоставляя в своей книге Чехова, Коцюбинского и Яна Неруду, А. Чичерин улавливает в «антимонументальной» прозе этих писателей определенную идейно-стилистическую общность, связанную с характерными чертами эпохи.

Особенно ценно, что для А. Чичерина Гёте, Бальзак, Достоевский и Толстой, Чехов и Ян Неруда — не только могучие авторские индивидуальности, но их творчество представляет собою закономерные этапы литературного развития. И убеждаешься в этом в процессе стилистического анализа. Можно только пожалеть, что главы, посвященные стилю Бальзака, Достоевского, Яна Неруды, слишком сжаты, а кое-где отрывочны, конспективны.

М. Бойко.

★

**А. О. БОГУСЛАВСКИЙ, В. А. ДИЕВ.** Русская советская драматургия. Основные проблемы развития. 1936—1945. «Наука». М. 1965. 287 стр.

О советской драматургии тридцатых и сороковых годов написано много. Есть монографии о творчестве писателей, монографии о пьесах или группе пьес, попытки создания очерков истории драматургии. А. Богуславский и В. Диев во второй части своего исследования (первая часть, посвященная русской советской драматургии 1917—1935 годов, вышла в издательстве Академии наук в 1963 году) попробовали найти собственный путь рассмотрения материала.

Авторы останавливают внимание читателей на нескольких важных проблемах развития советской драмы. Это рождение «Ленинианы», становление советской психологической драмы, героика в пьесах, посвященных Великой Отечественной войне, и проблемы развития исторической драмы в 1941—1945 годах.

В свете этих четырех проблем знакомые, не раз исследованные пьесы острее и ярче выявили свою родственность, обусловленную отчасти общими тенденциями развития литературы этого периода. Так, например, ставится вопрос о «шекспиризации» в пьесах о В. И. Ленине тридцатых годов, а конкретный анализ и сравнение «Человека с ружьем» Н. Погодина, пьес «Правда» А. Корнейчука и «На берегу Невы» К. Тренева дает возможность прийти к широким обобщениям. Или, скажем, авторов интересует новый герой советских психологических драм, написанных незадолго до войны. Сближение таких пьес, как «Таня» А. Арбузова, «Обыкновенный человек» Л. Леонова, «Машенька» А. Афиногенова, позволяет отчетливее уяснить некоторые существенные черты героя этого времени.

Однако путь, избранный авторами исследования, имеет и свои уязвимые стороны. Порой он затрудняет выявление художественных, стилистических особенностей произведе-

ний, написанных очень разными драматургами. Индивидуальное, особое, свойственное Афиногенову или Леонову, Арбузову или Погодину, в меньшей мере интересует авторов, чем то общее, что сближает их. И мы перестаем в результате чувствовать своеобразие того или иного драматурга. Этот недостаток книги в особенности дает себя знать в главе об исторической драме 1941—1945 годов. Автор этой главы В. Диев порой интересно сопоставляет ситуации, идеи и характеры исторических пьес, преимущественно пьес об Иване Грозном, с реальными историческими фактами, конфликтами и характерами. Но мы не получаем при этом представления о пьесах, даже о наиболее ярких и самобытных из них, как о художественных произведениях.

В чем-то авторы недостаточно последовательны, словно бы не доверяя до конца принципам подхода к материалу, которые они же сами установили. Так, думается, в ряде случаев вполне обоснован был бы серьезный разговор о традициях русской драмы и развитии этих традиций в советской драматургии. Эта тема поднята в главе А. Богуславского «Развитие психологизма в драме». Автором высказаны некоторые любопытные соображения о «толстовском» и «чеховском» в творчестве Афиногенова, Арбузова и других. Но высказаны эти соображения все же слишком скупое, почти мимоходом.

При всем том А. Богуславский и В. Диев раскрыли некоторые существенные стороны сложного процесса поисков и достижений русской советской драмы тридцатых—сороковых годов, и написанная ими книга заслуживает внимания читателей.

А. Образцова.

★

**Л. БУБЛИК.** Становление. Из дневника безвестного строителя. Перевод с чешского И. Бернштейн и Л. Лерер. «Молодая гвардия». М. 1965. 288 стр.

Чешский писатель Л. Бублик — достойный продолжатель традиций демократической сатиры, восходящих к Карелу Гавличку-Боровскому и Ярославу Гашеку. Встреча с новым именем (новым не только для нас: «Становление» — первый роман писателя, опубликован он в Чехословакии в 1963 году) радостна и потому, что мы узнаем знакомую нам интонацию чешского народного юмора, не покидающего автора и тогда, когда он говорит о событиях драматических. В то же время Л. Бублик вполне современный писатель — не только по жизненному материалу, который он анализирует, но и по манере повествования, по композиционным приемам, наконец по языку.

«Становление» — роман в форме дневника, ведущегося Карелом Крагохвилем, молодым рабочим, коммунистом, рабкором. Избранная автором литературная форма позволяет открыто, «не выбирая выражений», обрисовывать конфликты, характеризовать смену настроений героя, эволюцию его сознания. Дневниковые записи Карела отрывисты,

импульсивны. Сегодняшние, сиюминутные события перемежаются то записью какого-то разговора, то воспоминаниями детства, то письмом матери, то фрагментами из архивных протоколов.

Из подобной вроде бы лоскутной, в действительности же довольно умелой композиции материала выступает облик времени первых лет строительства нового общества в Чехословакии с его победами, противоречиями и трудностями.

Карел Крагсхзил — один из людей, которых в ту пору иногда называли «винтиками», человек, оказавшийся вдруг, стараниями карьериста и демагога Шведы, вышвырнутым с завода, где он работал. В нем подорвали доверие к себе и к людям, он болезненно переживает и собственные злоключения, и бесчисленные большие и малые неполадки вокруг себя. Тогда-то и уехал он в Кунчицы — «чешский Донбасс» — чернокопачим.

С бригадой, составленной из самой разношерстной и разновозрастной публики, Карел чистит канавы и таскает стройматериалы, роет землю и готовит бетон. Все переживания Крагохвила, как и весь калейдоскоп стройки, быта, заседаний, интимных отношений и отношений с товарищами по бригаде, по партии, неразрывно переплетены и органично сотканы с первой чешской стройкой социализма Бригада Крагохвила поначалу работает хуже некуда, но постепенно труд организует и сплачивает людей в настоящий коллектив, помогает им обрести уверенность в своих силах.

Но в Кунчицах есть и такие люди, как нарядчица Кафкова. Она фабрикует клеветническое «дело» и пытается скомпрометировать старого антифашиста, коммуниста-подпольщика Бедржиха Невержила. Ненависть к демагогам и приспособленцам, подобным Кафковой, определяет и характер оптимизма в романе Л. Бублика. Это оптимизм активно-наступательный, оптимизм борьбы за правду.

Думается, что русский читатель встретит роман Л. Бублика не менее сочувственно, чем соотечественники чешского писателя.

С. Корытная.

★

**АЛЕКСАНДР ПЕРЕГУДОВ. В те далекие годы. Роман. «Московский рабочий». 1965. 552 стр.**

А. Перегудов, один из старейших советских писателей, незаслуженно обойден критикой, хотя его чуть ли не полувековое творчество заслуживает несомненного внимания.

Он автор нескольких романов, интересных охотничьих рассказов, а также создатель ценной биографии А. С. Новикова-Прибоя, своего долголетнего и близкого друга.

Лучшим из художественных произведений Перегудова является, безусловно, роман «В те далекие годы», выдержавший несколько изданий и не получивший опять-таки достойного отклика в печати.

Роман переносит читателя в шестидесятые — восьмидесятые годы прошлого века, в тогдашние дремучие леса между Москвой и Владимиром — гуслицкие и гжелские земли, — и показывает в живописных и свободных картинах жизнь рабочих и владельцев фарфоровых заводов.

Роман развернут широко. Здесь и жадная стихия купеческого стяжательства, и борьба рабочих за свои насущные интересы и нужды, и заповедная лесная глушь, и старообрядческие скиты, и древний Касимовский тракт с постояльми дворами, и нищие рабочие каморки, и богатые хозяйские особняки.

Местами у Перегудова чувствуется влияние Мельникова-Печерского (особенно в образе дельца-хищника Запехова), но влияние это, в сущности, говорит лишь о литературной преемственности и не подрывает самобытности романа.

В романе много интересных, живых образов. Запоминаются фигуры двух мастеров-живописцев Брыкалова и Звонарева. Печальные и трагические, они как бы символизируют судьбу художника в мире чистогана.

Колоритны эпизодические лица — старообрядческий игумен Авда, миллионер Тимофей Морозов, фальшивомонетчик Сергеев, разбитная и красивая содержательница постоялого двора Ульяна, ставшая женой фабриканта Карпухина (кстати, Карпухин особенно удался писателю). Бунтари-рабочие (Моисеенко, Граблин, Дюжилин) выписаны несколько суше и бледнее.

Мельком, к сожалению, показан иннок Парфений, труд которого — «Сказание о странствии и путешествии по России, Молдавии, Турции и святой земле» — очень ценили Тургенев, Ап. Григорьев, Горький.

К недостаткам романа надо отнести рыхлость и растянутость отдельных глав, беглость в описании знаменитой морозовской стачки восьмидесятых годов и некоторую «модернизацию» в разговорах купцов на общественно-политические темы: вряд ли они были так изощрены в политике «в те далекие годы».

Но в целом роман дает выразительную и яркую панораму далекого прошлого России. Написан он богатым и щедрым языком, не загруженным местными «речениями», но вобравшим известные элементы фольклора.

Нельзя не согласиться с Л. М. Леоновым, который в своем предисловии к роману пишет: «Несомненно, читатель с благодарностью прочтет эту книгу, полную душевных и поэтических образов, ценных и долговременных наблюдений».

Ник. Смирнов.



# КНИЖНЫЕ НОВИНКИ



## ПОЛИТИЗДАТ

- К. Маркс, Ф. Энгельс, В. И. Ленин.** Об историческом материализме. 478 стр. Цена 81 к.
- В. Бонч-Бруевич.** В. И. Ленин в Петрограде и в Москве (1917—1920 гг.). 48 стр. Цена 9 к.
- И. Горохов, Л. Замятин, И. Земсков.** Г. В. Чичерин — дипломат ленинской школы. 112 стр. Цена 15 к.
- Жизнь как фанел.** История героической борьбы и трагической гибели Александра Ульянова, рассказанная его современниками. 520 стр. Цена 78 к.
- История Коммунистической партии Советского Союза.** В шести томах. Том второй. Партия большевиков в борьбе за свержение царизма. 1904 — февраль 1917 года. 788 стр. Цена 1 р. 50 к.
- О. Куусинен.** Избранные произведения (1918—1964). 688 стр. Цена 1 р. 12 к.
- А. Луначарский.** Рассказы о Ленине. 32 стр. Цена 5 к.
- С. Продев.** Весна гения. Опыт литературного портрета. Перевод с болгарского. 328 стр. Цена 85 к.
- Совропищица великих идей ленинизма.** О Полном собрании сочинений В. И. Ленина. 208 стр. Цена 25 к.
- М. Торез.** Избранные статьи и речи. 1930—1964 гг. Перевод с французского. 664 стр. Цена 1 р. 14 к.
- Д. И. Ульянов.** Воспоминания о Владимире Ильиче. 62 стр. Цена 10 к.
- Ю. Щербанов.** Писатель, агитатор, боец (Ярослав Гашек). 120 стр. Цена 12 к.
- М. Эссен.** Встречи с Лениным. 32 стр. Цена 5 к.

## «МЫСЛЬ»

- Я. Кронрод.** Законы политической экономики социализма. Очерки методологии и теории. 581 стр. Цена 2 р. 25 к.
- Н. Румянцева.** Фридрих Зорге — человек упрямой справедливости. 176 стр. Цена 27 к.
- Русские просветители (от Радищева до декабристов).** Собрание произведений. В двух томах. Том I. 440 стр. Цена 1 р. 55 к. Том II. 478 стр. Цена 1 р. 65 к.
- Е. Устнев.** По ту сторону ночи. 311 стр. Цена 84 к.
- В. Цага.** Современные псевдонаучные теории социализма. 270 стр. Цена 96 к.

## «ЭКОНОМИКА»

- П. Бычков.** Оборотные средства социалистических промышленных предприятий. 151 стр. Цена 31 к.
- В. Веннер.** Колхозный строй на современном этапе. 303 стр. Цена 1 р. 15 к.
- Г. Лисичкин.** План и рынок. 96 стр. Цена 29 к.
- Материальное стимулирование внедрения новой техники.** Справочник. 183 стр. Цена 53 к.
- В. Медведев.** Закон стоимости и материальные стимулы социалистического производства. 183 стр. Цена 56 к.
- Положение о социалистическом государственном производственном предприятии.** 32 стр. Цена 4 к.

## «СОВЕТСКИЙ ПИСАТЕЛЬ»

- А. Безыменский.** Трагедийная ночь. Поэма. 288 стр. Цена 82 к.
- Е. Герасимов.** Куда речка течет. Повести. 216 стр. Цена 44 к.
- Д. Голубнов.** Твердь. Книга лирики. 128 стр. Цена 22 к.
- Д. Икрами, А. Одинцов.** Приключения в дороге. Очерки. Перевод с таджикского. 176 стр. Цена 36 к.
- Н. Ильина.** Возвращение. Роман. Кн. II. 464 стр. Цена 82 к.
- Р. Кутуй.** Я леплю снежную бабу. Рассказы и повесть. 336 стр. Цена 51 к.
- Ф. Мамедов.** Облака внизу. Стихи. Перевод с азербайджанского. 96 стр. Цена 17 к.
- С. Марнов.** Земной круг. Книга о землепроходцах и мореходах. 656 стр. Цена 1 р. 24 к.
- А. Марьямов.** Полярный август. Очерк. 232 стр. Цена 35 к.
- С. Наровчатов.** Поэзия в движении. Статьи. 248 стр. Цена 36 к.
- А. Павловский.** Поэты-современники. Сборник статей. 272 стр. Цена 51 к.
- А. Тарковский.** Земле — земное. Стихи. 176 стр. Цена 33 к.
- А. Шаров.** Дети и взрослые. Маленькие повести и очерки. 278 стр. Цена 47 к.
- С. Шатров.** Крупный выигрыш. Роман-фельетоны. 263 стр. Цена 47 к.

## «ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА»

- Ф. Абрамов.** Братья и сестры. Везотцовщина. Рассказы. 420 стр. Цена 82 к.
- С. Вальехо.** Черные герольды. Стихи. Перевод с испанского. 224 стр. («Библиотека латиноамериканской поэзии»). Цена 37 к.
- Э. Межелайтис.** Авиатюды. Стихи, написанные в самолете. Перевод с литовского. 312 стр. Цена 1 р. 70 к.
- Л. Отеро.** Так было... Роман. Перевод с испанского. 352 стр. Цена 66 к.
- Б. Пастернак.** Стихи. 368 стр. («Библиотека советской поэзии»). Цена 58 к.
- Р. Роллан.** Воспоминания. Перевод с французского. 591 стр. Цена 1 р. 18 к.
- И. Танубону.** Лирика. Перевод с японского. 180 стр. («Совропищица лирической поэзии»). Цена 30 к.
- Л. Чуковская.** «Былое и думы» Герцена. 184 стр. Цена 30 к.

## «МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ»

- М. Ауэзов.** Племя младое. Роман. Перевод с казахского. 192 стр. Цена 40 к.
- Ф. Дзержинский.** Дневник заключенного. Письма. 336 стр. Цена 86 к.
- И. Дубинский-Мухадзе.** Шаумян. 336 стр. («Жизнь замечательных людей»). Цена 76 к.
- М. Дудин.** Избранная лирика. 32 стр. Цена 5 к.
- И. Козлов.** Ни время, ни расстояние. 320 стр. Цена 60 к.
- К. Маккаллес.** Часы без стрелок. Роман. Перевод с английского. 272 стр. Цена 68 к.
- И. Уткин.** Избранная лирика. 32 стр. Цена 5 к.



## «ДЕТСКАЯ ЛИТЕРАТУРА»

- В. Бонч-Бруевич.** Наш Ильич. Воспоминания. 62 стр. Цена 10 к.  
**Д. Дар.** Баллада о человеке и его крыльях. 237 стр. Цена 48 к.  
**Н. Жданов.** Минута истории. Рассказы об Октябрьской революции. 79 стр. Цена 22 к.  
**С. Загорчинов.** Ивайло. Роман. Перевод с болгарского. 336 стр. Цена 79 к.  
**Н. К. Крупная.** Владимир Ильич Ленин. 16 стр. Цена 14 к.  
**С. Лукьянов.** Жизнь А. С. Голубкиной. 112 стр. (В мире прекрасного). Цена 51 к.  
**Г. Скребинский.** У птенцов подрастают крылья. Повесть о юности. 512 стр. Цена 1 р. 3 к.  
**Е. Тагер.** Повесть об Афанасии Никитине. 104 стр. Цена 26 к.

## «МИР»

- А. Моль.** Теория информации и эстетическое восприятие. Перевод с французского. 351 стр. Цена 1 р. 60 к.  
**К. Уллерих.** Ночи у телескопа. Путеводитель по звездному небу. Перевод с немецкого. 268 стр. Цена 54 к.  
**К. Фиалковский.** Пятое измерение. Сборник научно-фантастических рассказов. Перевод с польского. 262 стр. Цена 49 к.  
**К. Фриш.** Из жизни пчел. Перевод с немецкого. 200 стр. Цена 50 к.

## «НАУКА»

- Временник Пушкинской комиссии.** 1963. 126 стр. Цена 35 к.  
**В. Гилпиус.** От Пушкина до Блока. 347 стр. Цена 1 р. 16 к.  
**И. Грабарь.** О древнерусском искусстве. Исследования, реставрация и охрана памятников. 387 стр. Цена 3 р. 75 к.  
**Б. Иванов.** Новая физика (Обзор основных принципов современной физики). 208 стр. Цена 32 к.  
**Индийские сказки и легенды, собранные в Камаоне в 1875 году И. П. Минаевым.** 259 стр. Цена 84 к.  
**Н. Конрад.** Запад и Восток. Статьи. 518 стр. Цена 2 р. 4 к.  
**Пушкин.** Итоги и проблемы изучения. 663 стр. Цена 2 р. 16 к.  
**Разрядная книга.** 1475—1598 гг. 614 стр. Цена 2 р. 61 к.  
**И. Серман.** Поэтический стиль Ломоносова. 259 стр. Цена 90 к.

- Н. Степанов.** Некрасов и советская поэзия. 240 стр. Цена 1 р. 16 к.  
**П. Третьяков.** Финно-угры, балты и славяне на Днестре и Волге. 308 стр. Цена 1 р. 31 к.  
**О. Фишман.** Китайский сатирический роман (Эпоха Просвещения). 196 стр. Цена 1 р. 5 к.  
**А. Чичерин.** Дневник. 1812—1813. Перевод с французского. 280 стр. Цена 1 р. 33 к.

## «ПРОГРЕСС»

- Вех (Стефан Вехецкий).** Сирена в котелке. Юмористические рассказы и фельетоны. Перевод с польского. 294 стр. Цена 60 к.  
**С. Гейм.** Бумаги Андреаса Ленца. Роман. Перевод с английского. 791 стр. Цена 2 р. 49 к.  
**У. Контон.** Африканец. Роман. Перевод с английского. 215 стр. Цена 74 к.  
**Ч. Лодойдамба.** Прозрачный Тамир. Роман. Перевод с монгольского. 260 стр. Цена 83 к.  
**М. Нильсен.** Рапорт из Штуттгофа. Повесть. Перевод с датского. 230 стр. Цена 75 к.  
**Б. Олмонд.** Позолоти медный фартигг. Роман. Перевод с английского. 254 стр. Цена 64 к.  
**С. Пант.** Гималайская тетрадь. Стихи. Перевод с хинди. 86 стр. Цена 18 к.

## «СОВЕТСКАЯ РОССИЯ»

- В. Азерников.** Тайнопись жизни. 168 стр. Цена 34 к.  
**Г. Банланов.** Мертвые сраму не имут. Повесть. 112 стр. Цена 13 к.  
**Второй съезд писателей РСФСР. 3—7 марта 1965 года.** Стенографический отчет. 472 стр. Цена 80 к.  
**В. Прянишников. С. Введенский.** По Волге. Путеводитель. 219 стр. Цена 48 к.  
**В. Субботин.** Живница. Рассказы. 104 стр. Цена 12 к.  
**Л. Уварова.** Мыс Доброй Надежды. Рассказы и повесть. 152 стр. Цена 38 к.  
**К. Федин.** Как мы пишем. 96 стр. Цена 11 к.

## «ЛИЕСМА» (РИГА)

- В. Кайя.** В метель. Повесть. Перевод с латышского. 221 стр. Цена 29 к.  
**Г. Курпник.** Повесть о неподкупном солдате. 240 стр. Цена 63 к.  
**В. Ядин.** На борту останутся трое. Повесть. Рассказы. 366 стр. Цена 43 к.

Главный редактор А. Т. Твардовский

Редакционная коллегия:

И. И. Виноградов, А. Г. Дементьев (зам. главного редактора), Б. Г. Закс (ответственный секретарь), А. И. Кондратович (зам. главного редактора), В. Я. Лакшин, А. М. Марьямов, В. В. Овечкин, И. А. Сац, К. А. Федин

Редакция: Малый Путинковский пер., д. 1/2. Тел. К 9-81-77.  
 Почтовый адрес: Москва, К-6, пл. Пушкина, д. 5.

Сдано в набор 31/III 1966 г. Объем 18 п. л. Подписано к печати 21/V 1966 г.  
 А 10050. Формат бумаги 70 × 108<sup>1/2</sup>. 9 бум. л. (24,66 усл. п. л.) Тираж 148.750.  
 Зак. 1155.

Типография «Известий Советов депутатов трудящихся СССР» имени И. И. Скворцова-Степанова, Москва, Пушкинская пл., 5.

Цена 70 коп.

70636